1.1978

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИВАН ВЕЧЕНАЙ (Югославия). Ярмарка

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

1978

1 ЯНВАРЬ

Содержание

ГИЛЬЕРМО АТИАС — Против течения *(Повесть. Перевод с испанского Юрия Павлова)* 3

ГАБОР ГАРАИ — Из книги «Отсвет» (1976) *(Стихи. Перевод с венгерского Валентина Корчагина)* 54

ПАВЕЛ ВЕЖИНОВ — Барьер *(Повесть. Перевод с болгарского М. Тарасовой. Предисловие Льва Озерова)* 58

Молодые греческие поэты

ЛЕФТЕРИС ПУЛИОС. ЯННИС КОНДОС. НАСОС ВАГЕНАС. ДЗЕНИ МАСТОРАКИ *(Переводы Юнны Мориц и С. Ильинской. Вступление С. Ильинской)* 113

СЬЮЗЕН ХИЛЛ — Я в замке король *(Роман. Перевод с английского Е. Суриц)* 123

Критика

Т. МОТЫЛЕВА — Толстой и художественные искания зарубежных писателей XX века 188

Заметки писателя

ЯН КОЗАК — Об интернационализме и патриотизме в литературе Чехословакии *(Перевод с чешского Л. Будаговой)* 197

Литературные портреты

В. СТЕЖЕНСКИЙ — Суровая правда Макса фон дер Грюна 200

Культура и современность

Заметки на полях

Н. Матяш — Трудные дороги испанской культуры. ✦
Ю. Палиевская — Фолкнер в Голливуде 208

Публицистика

Л. ТОДОРОВА — Мифы о конвергенции и культурный обмен 216
РОН КОВИК — Рожденный четвертого июля *(Фрагменты книги. Перевод с английского Н. Толкуновой под редакцией И. Гуровой. Вступление С. Кондрашова)* 227

Антирубрика

АВРАМ ДЭВИДСОН — Булыжники Саратога-стрит *(Перевод с английского Суламифи Митиной)* 245
РИФАТ ИЛГАЗ — Рассказы *(Перевод с турецкого Чанга Малишевского)* 248

Из нашей почты

254

Среди книг

Издано в СССР

Французская литература в Советском Союзе. Пьер Гамарра — Век новеллы. Вл. Солоухин — Объединяет личность поэта... Юрий Нагибин — Немного о Базене. И. Лилеева — Интерес к классике 262

Издано за рубежом

О. Малевич — «Нет» нейтронной бомбе ✦ Карло Бенедетти — «Послание» режиссера ✦ Е. Гальперина — Игра в жмурки 268

Из месяца в месяц

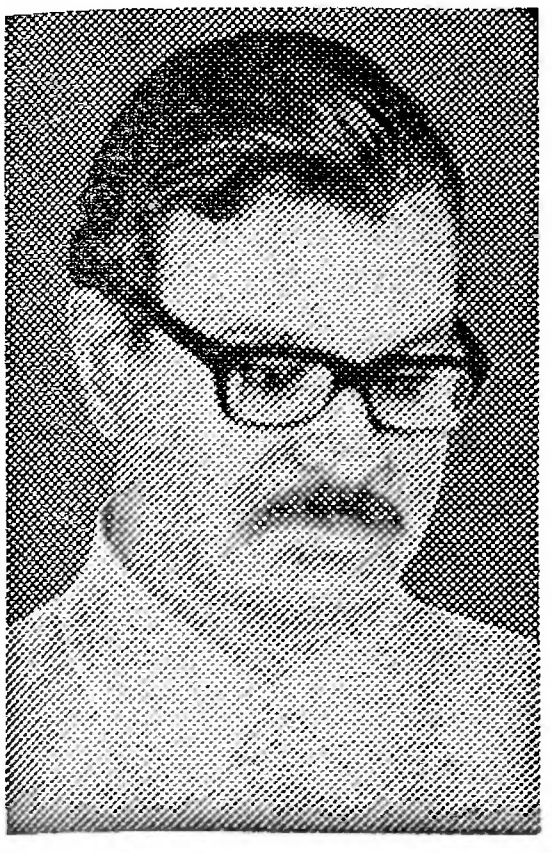
273

Авторы этого номера

285

На обложке: *иллюстрация к сборнику стихов румынской поэтессы КОНСТАНЦЫ БУЗЯ «Пастели».*

© «Иностранная литература», 1978



ГИЛЬЕРМО АТИАС

Против течения

ПОВЕСТЬ

Перевод с испанского ЮРИЯ ПАВЛОВА

Уже несколько дней я в Сантьяго, но никак не могу разобраться в этих чилийцах. Не могу разгадать затаенное в их лицах и душе, проникнуть за черту их замкнутости, будто сама природа закрыла сердце чилийца на замок, а ключ схоронила в тайниках Анд. Да и манера говорить у них своеобразна: скупо, к тому же невнятно, проронят полслова — и все. Нелегко сразу составить и сколько-нибудь определенное мнение о Сантьяго: такая ли у него беспорядочная и неприглядная мешанина архитектурных стилей, как у других латиноамериканских столиц, либо лежит на нем отпечаток некоей своеобразности? Трудно, конечно, судить о городе, бегло окидывая взглядом его панораму на ходу, когда пребываешь под впечатлением величественных Кордильер — цепи горных вершин в добрых пять тысяч метров высотой, и в эту гигантскую стену где-то вдали упираются улицы столичного предместья. Кордильеры Анд словно отгородили Чили и чилийцев от остального мира, однако то, что тут происходит, не может не привлечь внимания всех по другую сторону Анд.

Еще до приезда сюда у меня сложилось представление о чилийских левых как о людях, которые, кажется, считают, что они действительно нашли нечто вроде философского камня революции, вычислили квадратуру революционного круга. И неизбежные родовые муки любой социальной бури — насилие и кровопролитие — отнюдь не являются, как утверждают здесь, естественной ценой политических перемен. Похоже, тут в самом деле верят, что научились обезболивать роды революции и сумеют парализовать буржуазию массовыми демонстрациями, хитроумными административными мерами. Поэтому нет необходимости физически уничтожать противника — загнанного в угол, обессилевшего, неспособного дать ответ.

Из здешних знакомых более открытым, более раскованным, более общительным мне показался репортер из газеты «Кларин». И ведет он себя не так, как другие чилийцы: беседует непринужденно, легко, красноречиво. Не раз я ловил себя на мысли, уж не аргентинец ли он,

не соотечественник ли? Видимо, мои осторожные попытки уточнить, с кем же я веду разговор, а с другой стороны, его аргентинизмы, вводившие меня в заблуждение, были замечены нашими соседями по бару «Клуба журналистов» и немало их развлекали. Я слушал его и думал: все происходящее в Чили, разумеется, необычно, само по себе исключительно, и все же то Народное единство, о котором с таким жаром говорил коллега из «Кларин», по-моему, выходило за рамки местной политической действительности, скорее напоминало какую-то абстракцию, схему, нечто желаемое. Увы, вряд ли его высказывания смогу использовать для своих корреспонденций в Буэнос-Айрес.

Изрядно нагрузившись напитками (к чему я не привык у себя дома), несколько утомленные, мы довольно поздно покинули «Клуб журналистов». Вечерняя свежесть располагала к прогулке, однако коллеге из «Кларин» и еще одному парню нужно было вернуться в свои редакции, они простились со мной в подъезде, и я остался с другим журналистом, которого едва знал. Человек уже зрелый, моих лет и, если так можно выразиться, одинаковой со мной выпечки: детство и юность, по-видимому, относятся к двадцатым-тридцатым годам, война в Испании, фашизм, вторая мировая война, а что касается меня, так еще надо добавить Перона и Евиту[1], оскомину от танго, открытие Фолкнера и Сартра... Бросались в глаза его густые усы, настоящие усищи, дань нынешней «революционной» моде, хотя такие усы испокон века носили народные музыканты у нас, в Аргентине.

Он предложил проводить меня до отеля, очевидно поразмыслив, как бы не сочли его невоспитанным, если он оставит иностранца одного на улице, в малознакомом городе. Мы молча шли к главному столичному проспекту — Аламеде. И я наслаждался безмолвием, тишиной — правда, меня не покидала мысль о том, до каких же пор может длиться молчание, когда же наконец мой спутник выйдет из своей раковины, освободится от своих раздумий? Ведь не могут же чилийцы предаваться бесконечным размышлениям! А может быть, здесь молчание — своеобразная форма общения, так сказать, наподобие какой-то растительной, и, быть может, интимность молчания в общении выглядит ничуть не хуже, чем наше аргентинское многословие? Как все же понять: положительная это или отрицательная черта национального характера? Придется решить и этот вопрос в течение тех месяцев, пока буду находиться в Чили.

В конце концов я рискнул нарушить молчание. И заговорил о том большом интересе, с которым весь мир отнесся к приходу Народного единства к власти.

Если он буркнет односложно, расплывчато, туманно, следовательно, предпочитает и дальше хранить молчание — меня это не смутило и не обидело бы. Я уже стал привыкать к молчанию в Чили и даже начал расценивать его как одну из черт национального характера чилийцев.

Однако мои вопросы как бы пробудили моего спутника. На его лице мелькнула улыбка, чуть шевельнулись усы.

Неожиданно он предложил мне свою помощь, если я буду работать над репортажами о Народном единстве, и добавил, что ему известны кое-какие подробности начала деятельности правительства Альенде: «Помню, когда новый кабинет пришел к власти, в конце семидесятого года, многие стали глумиться над ним, особенно изощря-

---

[1] Имеется в виду Ева Дуарте де Перон (1918—1952) — жена бывшего президента Аргентины Хуана Доминго Перона, провозглашенная вице-президентом страны. *(Здесь и далее прим. переводчика).*

лись насчет двух или трех рабочих, назначенных министрами. Про одного, например, говорили, что по указанию «сверху» он распорядился подготовить циркуляр, в котором излагались бы цели нового правительства, а когда принесли ему бумаги, он с негодованием воскликнул: «Я же просил подготовить циркуляры [1], а у вас получились прямоугольники! Министров Народного единства нельзя обманывать и не удастся, никому не удастся обмануть!..»

— И такого рода анекдотики не боялись рассказывать? — поинтересовался я.

— Рассказывали и смеялись в открытую. Даже люди из Народного единства. И министры-рабочие повторяли их своим товарищам по партии...

— Реакционеры порой начинают с шуточек, с глумления, с погремушек. А теперь их жены митингуют, бьют в пустые кастрюли, и звон отдается повсюду...

■

Звон пустых кастрюль впервые прозвучал в верхних кварталах столицы. Сантьяго, как почти все столицы, возникшие на месте прежних селений, рос по обе стороны главной улицы, превратившейся в центральную городскую магистраль. В одном ее конце, на отрогах гор, где воздух кристально чист, селились богачи, чуть ниже с достоинством расположились деловые кварталы, а в самом низу, на равнине, скучились безликие лачуги бедноты.

Подходил к концу первый год пребывания у власти правительства Народного единства. Экономическая политика кабинета Альенде позволила широким массам жить лучше, получать повышенную зарплату — люди стали покупать больше, но промышленность продолжала работать по-прежнему, а то и сокращала производство, и некоторые товары исчезали из магазинов, ощущалась нехватка продуктов. Начал действовать «черный рынок» — первый мрачный персонаж готовившейся драмы.

За неделю до «марша пустых кастрюль» я получил согласие на интервью от Педро Вусковича, вдохновителя новой экономической политики Народного единства. Деятельностью этого самого занятого в те дни человека — министра национальной экономики — нельзя было не восхищаться. Его план борьбы с безработицей был направлен на загрузку всех производственных мощностей и, в частности, тех предприятий, которые сокращали выпуск продукции.

Вускович оказался человеком невысокого роста; на меня произвели впечатление его живые, проницательные и вместе с тем очень добрые глаза. Свою научную работу в университете он прервал, чтобы посвятить себя крайне беспокойному и тяжелому делу — преобразованию экономической структуры страны. Надо было работать в очень сложных условиях, строго придерживаясь норм конституционной игры, что провозгласило правительство Сальвадора Альенде. Иными словами: вести наступление против интересов крупной буржуазии, не разрушая созданный ею для защиты собственных интересов государственный аппарат. Таковы знаменитые «безболезненные роды».

Я высказал Вусковичу сомнения насчет осуществимости его планов. Конечно, парировал он, не все пойдет легко и гладко, это неизбежно в ходе революционных преобразований, однако нет сомнений в решимости народных масс, в мобилизации всех сил, поддерживающих меры правительства.

---

[1] Circular *(исп.)* — может означать: круг, круглый и директивное распоряжение.

А вот теперь мобилизация проявилась совсем не тех сил и не так, как предполагалось.

Как раз в день объявленного «марша пустых кастрюль» знакомые аргентинские коллеги пригласили меня на наше традиционное прославленное жаркое — «асадо криожо». Я, правда, колебался: то ли отказаться от приглашения соотечественников, то ли пропустить «манифестацию домохозяек»? Выступление последних ожидалось давно — каждый вечер солидные дамы-аристократки с балконов своих вилл напоминали о нем бесконечным перестуком кастрюль, выматывавшим нервы сторонникам Народного единства. Любопытство и чувство профессионального журналистского долга взяли верх: я решил посмотреть на «марш», а к приятелям — заглянуть на минуту, чтобы извиниться и договориться о новой встрече. И, к счастью, у них впервые увидел Марту.

Дверь открыла, держа в руке бокал с вином, молодая, стройная женщина, мальчишеская прическа которой придавала ей вид рослой лицеистки, подстриженные волосы падали на лоб; она приветливо улыбалась, а огромные глаза ее изумительно лучились; из-под короткой твидовой юбки виднелись изящные ноги. Признаюсь, я был сражен. Увидев незнакомое лицо, она, как мне показалось, смущенно зарделась. Нас друг другу представили: Марта — тоже журналистка, работает в здешней влиятельной газете «Комбате». Еще не оправившись от неожиданной встречи, я неловко чокнулся с ней, обрызгав вином себя и других. «Неплохо для начала»,— живо откликнулась вся компания, и эта реплика, пожалуй, разрядила обстановку. К тому же Марта так говорлива, что я готов был отказаться от прежнего суждения насчет молчаливости чилийцев.

Великолепное креольское пиршество подготовили Гонсало и его друзья, которым чудом удалось своевременно спастись от железной хватки диктатора Онгании [1], и в Чили они чувствовали себя будто дома, если судить по их приятным спутницам и по запасам доброго вина, подготовленным для обильного застолья, что красноречиво опровергало шумную пропаганду дам с пустыми кастрюльками.

Пообещав вернуться к друзьям попозже, я на своей приобретенной по случаю машине проехал по авениде Провиденсия, где собирались участницы «марша». Вначале мне представлялось, что речь идет о местного значения символическом акте какой-нибудь сотни лиц, шествии карнавального типа. Может быть, и правительство считало так же, дав согласие на его проведение. И наверно, поэтому то, что я увидел, ошеломило меня. Тысячи женщин с детьми и служанками заполнили широкую авениду. Весьма респектабельная на вид публика, облачившись в лучшее из своих гардеробов, буквально гудела от переполнявшей ее ненависти. Вместо карнавального шествия передо мной предстала ревущая и грохочущая толпа, которой веселье было чуждо. Все участницы «марша» остервенело били в новенькие, купленные для этого случая кастрюли, изрыгая оскорбления в адрес правительства, отдельных членов кабинета, больше всего доставалось Альенде. «Убийцы», «воры», «бессовестные обманщики» — выкрики раскатами грома проносились над толпой. Впервые после победы Народного единства его враги осмелились выйти на улицу и выплеснуть скопившуюся в них лютую злобу к левым — «каналья м-марксистам», «преступникам-коммунистам» и «бандитам-социалистам».

---

[1] Генерал Х. Онганиа провозгласил себя президентом Аргентины после военного переворота в 1965 году.

Бросалось в глаза, что манифестацию тщательно спланировали и подготовили. Очевидно, организаторам хотелось представить ее и как «волеизъявление масс», что до сих пор казалось привилегией левых, и как открытое объявление Народному единству войны со стороны реакции.

Фашистский характер выступления был бесспорен: манифестацию прикрывали молодчики в военных касках, вооруженные обрезками железных труб и цепями,— члены контрреволюционной организации «Патриа и либертад», поспешившие афишировать свои хорошо организованные ударные силы. Кроме того, вдоль улиц были выстроены кордоны карабинеров, чтобы не допустить возможных контрдемонстраций.

Оставив машину, я смешался с толпой и направился к центру города. Когда передние ряды огромной колонны попытались выйти за установленные для шествия границы и проникнуть в коммерческие кварталы города, вспыхнула было перебранка с полицией. И тут же раздались крики: «Мирная демонстрация женщин подверглась нападению!» С этого момента «марш» превратился в разнузданную оргию хулиганства, беспорядков и насилия: стали опрокидывать стоявшие на улице автомобили, поджигать скамьи, бить стекла в жилых домах, в магазинах, в конторах...

Насмотревшись на этот чудовищный разгул, я повернул назад — к своей машине. Навстречу двигалась группа парней и девушек с транспарантами. Они горланили песни, выкрикивали антиправительственные лозунги и, размахивая дубинками, крушили все, что попадалось на пути. Видно было, что они принадлежали к «приличным семьям»: одеты в новенькие джинсы, на парнях белые рубашки с открытым воротом, девушки перед тем, как выйти на улицу, наверняка долго вертелись перед зеркалом. И в то же время они были полны дикого, необузданного хамства, наглости и слепой агрессивности. Зеваки, стоявшие на тротуарах, завидев эту банду, немедля разбегались. А вот я оказался перед ними.

Как бы инстинктивно почувствовав чужого, все они, словно по команде, остановились, окружили меня.

Я не ношу на лбу значка с портретом Маркса. И моя фигура не могла сказать им ничего особенного. Тем не менее было ясно, что мой вид пришелся им явно не по душе.

— Смотри-ка, а этот не кричит!

— Что за тип?

— Ну, чего уставился?

В их словах и жестах сквозили злоба, ненависть.

Я попал в западню, но гордость не позволяла отступить. И чувство самосохранения подсказывало: «Молчи!» Конечно, лучше было помалкивать.

Одна из девиц крикнула:

— Должно быть, он — осведомитель Альенде, много их развелось. Бей его!

Кольцо вокруг меня угрожающе стягивалось, перед носом замелькали кулаки. Внезапно послышался резкий свист. Некий субъект, по виду старший этой группы, протолкался сквозь толпу:

— Прекратить! Действовать только по моему приказу! А ну, вперед, и оставьте этого сеньора в покое. Он, по всем признакам, из наших кварталов.

Юнцы нехотя удалились. Зеваки, толпившиеся на тротуарах, молчали, хотя, конечно, расслышали мои слова: фашизм наступает в Чили.

■

В тот вечер я вернулся к своим землякам в совершенно подавленном состоянии. А праздник там был в полном разгаре, и мое появление вызвало взрыв шумного восторга. Меня потащили к столу, наперебой предлагая «асадо».

Не хотелось портить общее настроение. И я молчал, делая вид, что занят яствами и напитками.

— Что происходит с нашим другом? — с милой улыбкой спрашивала Марта.— Самый нелюдимый аргентинец из всех, кого я знаю! Он даже скорее похож на чилийца...

Она положила в мою тарелку огромный кусок мяса с нарезанными помидорами и луком.

— Угощайтесь «салатом по-чилийски». Ешьте больше, и все неприятности как рукой снимет.

Еще выпив и немного закусив, я не сдержался и стал рассказывать о том, что видел. Мне показалось, что многое в моем повествовании присутствовавшие восприняли как выдумку.

— Это очень серьезно,— настаивал я,— с момента прихода Альенде к власти мы знали, что контрреволюция существует. Но сейчас правые фашизируются на глазах и, главное, отвоевывают у левых улицу...

Я положил свою ладонь на руку Марты у всех на виду, и она ее не убрала.

■

Марта разрешила проводить ее домой.

Я предложил проехать по авениде Провиденсия — там, где прошел «марш домохозяек». Она молча согласилась и, словно в знак признательности, придвинулась ко мне. Потом взяла сигареты, прикурила одну, от нее — другую и подала мне. Мы, по-прежнему не проронив ни слова, затянулись.

Стараясь быть предупредительным, я включил радиоприемник, но Марта тотчас же его выключила, едва заслышав торопливую трескотню последних известий: возбужденным, пронзительным голосом диктор расписывал во всех подробностях «марш пустых кастрюль». Несомненно, правые расценивали его как свою великую победу.

По мере приближения к авениде Провиденсия нам все чаще и чаще попадались шумные группы людей, горланивших песни, выкрикивавших лозунги,— это возвращались участники манифестации. Я заметил Марте, что мы можем оказаться жертвами провокаций, но ей не терпелось увидеть место событий: ее разжигал журналистский интерес.

Из беседы с моей новой знакомой я узнал, что раньше она работала на телевидении и еще во времена президентства Фрея [1] вела программу «Женщина интересуется...». Она брала интервью у политических и общественных деятелей всех направлений и со своими комментариями передавала в эфир. Я живо представил себе, как перед телекамерой она вырывала перья из демагогов христианско-демократической партии.

— И долго вы работали на телевидении?

---

[1] Эдуардо Фрей, один из лидеров христианско-демократической партии, был президентом Чили в 1964—1970 гг.

— Нет, не очень. Моя программа была как бельмо на глазу. Правые сделали все, чтобы сорвать ее. Даже пошли на провокационные сплетни, будто у меня с Альенде роман. Ни больше ни меньше! И до сих пор не могут успокоиться — сейчас веду редакционную колонку в «Комбате», а это ведь важный рупор левых сил... Да, признаться, я не думала, что дойдет до таких масштабов...— И она кивнула головой в сторону улицы.

На авениде Провиденсия царил хаос. Все еще дымились подожженные автомобильные покрышки, сваленные полицией у тротуаров. Асфальт покрывали осколки стекол, камни, какие-то обломки. Лавируя между кучами, двигались автомобили, разноголосо сигналя,— и концерт этот звучал ликованием правых, отмечавших свой реванш, взятый на улицах после года вынужденного затворничества. Кое-как мы сумели выбраться из потока автомобилей, стараясь не обращать внимания на восторженные приветствия людей, заглядывавших к нам в машину. Марта, притихнув, сидела рядом и даже не пыталась скрыть, насколько окружающее ее угнетало. Но я старался изобразить на лице подобие улыбки, которая могла означать все что угодно, однако давала нам возможность двигаться без помех.

За всю дорогу до дома Марты мы обменялись с ней лишь несколькими словами. Наконец, по ее указанию, я остановил машину и вышел, чтобы распрощаться. Марта, однако, пригласила зайти к ней. Я согласился, хотя, по правде говоря, мне в тот момент хотелось побыть одному.

Обстановка в ее квартире почти ничего не говорила о хозяйке. Обычное убранство, некоторый беспорядок, большая библиотека, две картины чилийских художников и всюду — газеты и журналы. На одном из столиков около стопки книг я заметил фотографию Сальвадора Альенде с его автографом — слова посвящения свидетельствовали о большой дружбе, связывавшей Марту с президентом.

От вина, предложенного хозяйкой, я отказался и попросил чашку кофе. Она отправилась на кухню и, заваривая кофе, рассказала о своем житье-бытье. Эту квартиру они снимают вдвоем с подругой, та скоро должна прийти. Кстати, от нее можно кое-что узнать — она работает ассистентом на университетском канале телевидения и сегодня делала передачу о «марше пустых кастрюль»...

Дальше я уже не прислушивался к ее словам, а размышлял о том, как повел бы себя в подобной ситуации еще несколько лет назад. Было время, когда приглашение домой воспринималось мною как вполне понятный намек со стороны женщины, и соответственно я строил свои планы. Сейчас, увы, все было не так, хотя Марта и вызывала во мне огромный интерес. Выходит, годы не те, да и прожитый день не навевал ничего, кроме уныния. Выглядел я, должно быть, чертовски плохо — вернувшись из кухни и увидев меня, Марта даже руками всплеснула.

— Ну что вы! — сказала она.— Стоит ли так отчаиваться!

Непринужденно она села рядом со мной на диван, сбросив туфли и поджав под себя ногу. Положение складывалось довольно двусмысленное, и я решил, что если не стану вести себя как подобает мужчине, то ударю лицом в грязь. Поэтому, залпом выпив кофе, я подвинулся к Марте и взял ее за руку — на это-то, по крайней мере, у меня уже имелось право.

— Конечно, сегодняшний день не из лучших,— сказала Марта и закурила.

— Это как к нему подойти,— заметил я,— ведь сегодня началась наша дружба.

Мы от души рассмеялись, почувствовав, что нас уже многое сближало.

Марта опять стала рассказывать о себе, о том, как она познакомилась с Альенде. Это было во время президентской кампании в 1964 году. Тогда победу одержал Фрей при финансовой поддержке ЦРУ. По заданию Школы журналистики, которую она уже кончала, Марта готовила материал о кандидате левых сил, и Сальвадор Альенде согласился дать ей интервью. С тех пор они поддерживают дружеские отношения.

Улыбаясь, она пояснила, что доктор Альенде, как истинный кабальеро, не смог не откликнуться на просьбу юной студентки, хотя и был крайне загружен. Я взглянул на фотографию и понял, что имеет в виду Марта. В облике Альенде сохранялось очень много черт галантных мужчин тридцатых годов — того поколения, к которому он принадлежал...

Как-то незаметно мы разоткровенничались. Марта поведала и о своем браке с одним видным деятелем нынешнего правительства. Меня поразило то, что они разошлись из-за политических перемен, хотя каждый страстно желал этих перемен в годы совместной борьбы. Однако ответственность, свалившаяся на плечи, отдалила их друг от друга. У каждого были свои срочные и нескончаемые обязанности на службе, а дома работа отнимала почти все свободное время.

Донельзя издерганные нервной обстановкой, оба посчитали за лучшее разойтись. Политические перемены вызвали резкую и, в общем, неизбежную ломку всего жизненного уклада. А к этому они не были готовы.

— Дело в том,— поясняла Марта,— что деятели нынешнего Народного единства многие годы — в течение жизни поколений находились в оппозиции. Ведь только в далеком 1938 году, а затем в 1942 году Народный фронт побеждал на выборах. В результате кое у кого проявился своего рода «комплекс оппозиционера», который сразу же вступил в противоречия с новыми требованиями, вытекающими из участия в правительстве. У отдельных политических руководителей старые привычки глубоко укоренились, и эти люди вели себя так, будто ничего общего не имеют с правительством.

Слушая Марту, я продолжал поглаживать ее руку, а затем обнял ее за плечи, привлек к себе. Наверно, мы были похожи на какую-то старомодную парочку, сидящую скрестив руки на диване и мило воркующую о любви. Как-то совсем неожиданно мы поцеловались. Еще. Еще и еще, горя желанием продлить краткий миг наслаждения...

Зазвонил телефон. Марте явно не хотелось вставать. Но звонок звучал настойчиво, и она подняла трубку. На всю комнату загудел требовательный голос. Марта от чего-то отказывалась, но голос настаивал, требовал, вынуждал, и она, наконец, сказала: «Приезжайте». Оказалось, что звонил главный редактор, который хотел обсудить ее статью в ближайший номер. И звонил уже с дороги, направляясь к ней.

Я хотел уйти, но Марта уговорила остаться.

— Ничего страшного, если ты побудешь здесь, пока мы поработаем. Это свой человек. В конце концов, можешь даже помочь нам.— Она снова села на диван и со вздохом добавила: — Борьба разрастается, и не только на улицах. Так что приходится забывать о себе! Вот даже забыла расспросить тебя о твоей жизни, о твоей работе, о твоей командировке в Чили...

— Ничего от тебя не утаю,— ответил я,— у нас еще будет много времени для бесед...

Оба замолчали. И в этом молчании уже ощущалось крепнущее взаимное доверие.

■

В Чили я прибыл по поручению Пеллегрини. Замысел этого аргентинского издателя отличался размахом: дать читателям широкую панораму жизни Латинской Америки в серии репортажей разных авторов.

Впервые я познакомился со своим нынешним шефом в каком-то кафе Буэнос-Айреса много лет назад, и с тех пор мы поддерживаем приятельские отношения. Пеллегрини — энергичный, общительный человек, постоянно обуреваемый новыми идеями. Самое любопытное заключалось в том, что его поведение и даже внешность менялись в зависимости от дела, которому он в данный момент себя посвящал. Помню, он увлекался производством фильмов, надеясь вернуть Аргентине кинорынки, на которых она господствовала в сороковых годах. Тогда он имел вид продюсера. Однако при следующей встрече я увидел дельца, занятого сельским хозяйством, голову его покрывало какое-то сомбреро, что, очевидно, должно было подчеркивать характер его деятельности. Он уверял меня, что вывозить аргентинскую пшеницу в Боливию и Чили на бездействующих транспортных самолетах гораздо выгоднее, чем по железной дороге или грузовиками.

Потом, когда мы случайно встретились еще раз, он с жаром стал объяснять, что считает делом своей предпринимательской чести поднять на прежнюю высоту натуральную шерсть, вытесняемую искусственными волокнами.

От Пеллегрини можно было ожидать чего угодно, поэтому, когда он как-то позвонил мне, я нисколько не удивился, узнав, что теперь он — издатель. Литературные произведения тоже входят в «валовой национальный продукт», и их производство можно индустриализировать, не без иронии говорил он. Сырье и рабочая сила в такой стране, как Аргентина, никогда не иссякнут: достаточно пошевелить пальцем, чтобы тут же выстроилась целая очередь литераторов, жаждущих заключить договор. Позднее, правда, я убедился, что издательский проект Пеллегрини преследовал не только коммерческие цели. Его всерьез захватила политика — он вознамерился создать большую и правдивую картину нашего латиноамериканского мира. Замысел этот был продиктован искренними чувствами. Оказывается, его возмутило одно из заявлений Генри Киссинджера, который сказал, что если Латинская Америка — это вулкан, то не надо забывать, что после извержения вулканы тухнут. Острота государственного секретаря США вывела Пеллегрини из себя; он расценил ее как выпад против народов Латинской Америки...

И вот Пеллегрини уже прощается с нами, авторами своей панорамы, словно отец, наставляющий сыновей перед тем, как отправить их по свету. Прощание происходило в дорогом загородном ресторане неподалеку от Буэнос-Айреса, и, видимо, сберегая свой голос, отец вручил нам брошюрку собственного сочинения, в которой излагал цели задуманного предприятия и указывал, чего ждет от каждого.

Для аргентинцев поездка в соседнее Чили — путешествие отнюдь не менее экзотичное, чем в Европу или в любое другое место мира.

Сюда надо ехать как бы вспять. Мы чувствовали присутствие Чили где-то сзади, за нашей спиной. Потому-то эта страна и находится вне наших повседневных интересов. А объясняется все высоченными Кордильерами, за которыми тихонько копошатся чилийцы. «Ладно, пускай там себе сидят,— говорят аргентинцы в Буэнос-Айресе,— не будем тревожить соседей».

О Чили у нас есть и более конкретное представление: взглянув на карту Южной Америки, мы обращаем внимание на узкую полоску территории, протянувшуюся с севера на юг между Андами и океаном, и шутим: «Да, там нельзя и в футбол играть, рискуешь мяч выбить в море»... И в то же время мы, аргентинцы, не можем скрыть удивления, встречая название этой страны на газетных страницах: «Чилийцу присуждена Нобелевская премия!»... «Землетрясение в Чили. Тысячи жертв!»... «В Чили создан грандиозный Народный фронт, костяк которого составляют коммунисты!» А вот теперь приход к власти Альенде, его решимость дать бой империализму произвели глубокое впечатление на аргентинца, пораженного отвагой далеких «братьев», как нас учили называть чилийцев еще в школе, хотя мы с ними почти не знакомы.

Вообще Латинская Америка, конечно, далека от своего расхожего образа. У нее нет единого лица. Каждая страна живет своей жизнью, ландшафты здесь разнообразны, климаты противоположны, многочисленные этнические группы совершенно не похожи друг на друга. Среди нас, жителей бассейна Ла Платы, индейцев почти не увидишь, а в Мексике или Перу их, наоборот, большинство. В тропической же зоне немало негров и мулатов. Нет у нас и общего языка — помимо испанского, португальского, французского в ходу еще не менее дюжины языков и диалектов. И вместе с тем наши исторические судьбы весьма схожи: открытие Америки, колониальный период, завоевание в прошлом веке независимости и вплоть до нынешних времен — до всеобщей формы подчинения Соединенным Штатам, будто всемогущий эксплуататор стандартизировал нас всех.

До приезда в Чили я не представлял, с чем мне здесь придется столкнуться: эта страна не укладывается в привычную схему, которую каждый из нас составляет о каком-нибудь крае. Лишь пожив рядом с чилийцами, понимаешь, как непросто узнать их. И если каждый чилиец как личность окружен ореолом некоей загадочности, скрытности, то этого нельзя сказать о чилийском народе вообще.

Массовые выступления как левых, так и правых сил носят совершенно определенный и недвусмысленный характер и преследуют ясные цели. Здесь, в Чили, проходит практическую проверку вопрос, приобретший ныне особую актуальность: возможно ли осуществление глубоких революционных преобразований без вооруженной борьбы или гражданской войны? Ответ на такой вопрос волнует левые силы многих стран, в том числе европейских. И Чили превратилось в своеобразную социально-политическую лабораторию, к экспериментам в которой обращены взоры всего мира.

Таким образом, поручение моего друга Пеллегрини, вначале расцененное мною как его очередное чудачество, приблизило меня к центру политического и социального круговорота событий, которые в Аргентине еще очень далеки от созревания, несмотря на ярко выраженную поляризацию ее политических сил...

Вот так я стал свидетелем трудных революционных «родов», происходящих, по капризу истории, в самом дальнем уголке земного шара.

Рамиро Агирре был в то время одним из самых популярных людей Чили, но не как главный редактор газеты «Комбате», а как близкий друг президента Альенде. Говорили, что когда Альенде хотел отвлечься от всех своих забот, он садился за руль машины и уезжал к Рамиро Агирре, в его загородный дом в Эль Аррайане, близ Сантьяго, у подножия Кордильер. И Рамиро обычно уже поджидал его там, тоже один. На этих свиданиях, если верить слухам, собеседники свято придерживались непременного правила: не касаться политических вопросов. Но знакомые с участниками игры утверждали, что допустить подобное просто невероятно.

Сейчас, как объяснила Марта, Рамиро ехал как раз из Эль Аррайана. Снова подсев ко мне, она с любопытством рассматривала меня, желая, по ее словам, окончательно убедиться в том, что «все уругвайцы и аргентинцы на одно лицо, как японцы». Это ее веселило.

А я между тем размышлял о странной связи, казалось бы, взаимоисключающих вещей. Помнится, где-то я читал, что при бомбежках Лондона во время второй мировой войны в переполненных бомбоубежищах между незнакомыми парами в момент наибольшей опасности происходили совершенно непредвиденные сцены... Может быть, и на нас возбуждающе действовали события этого дня? Марта нежно прижалась щекой к моему лицу. Нас сдерживало лишь ожидание этого Годо, этого Рамиро Агирре: в любую минуту мог раздаться стук в дверь, что заставило бы нас сорваться с дивана.

Раньше я встречался с Рамиро Агирре дважды: на пресс-конференции президента Альенде и на коктейле в посольстве одной из социалистических стран. Если есть журналисты «высшей категории», то он, конечно, был таким. Он производил впечатление человека, знающего многое, посвященного в закулисную сторону событий, совершенно недоступную простым смертным. В кулуарах конгрессов и конференций, на дипломатических приемах такие люди обычно со скучающим видом переходят с места на место, не задерживаясь подолгу ни с кем, уже самой позой давая понять, что все, о чем там говорится, не представляет для них интереса, а присутствовать тут им приходится в силу своих обязанностей. Подобное представление сложилось у меня и о Рамиро Агирре после первых встреч с ним. Но когда я увидел его входящим в квартиру Марты, впечатление это сразу стало рушиться. Передо мной был обаятельный и очень общительный человек, которому чуждо всякое позерство. С большим тактом (может, за это он и нравился Альенде!) он попросил Марту извинить его за столь неожиданное вторжение.

— Журналист, как пожарный,— он улыбнулся, показав крупные крепкие зубы,— должен быть готов всегда и ко всему.

Мое присутствие нисколько не смутило его, наоборот, он очень тепло и с подкупающим доверием поздоровался со мной. В этом смысле Агирре не укладывался и в составленную мной схему осторожного и замкнутого чилийца.

И тем не менее было видно, что главный редактор «Комбате» чем-то озабочен и торопился приступить к делу, ради которого прибыл сюда. Правда, он с удовольствием выпил стопку недорогого местного спиртного — «писко», предложенную Мартой, и задал мне два-три пустяковых вопроса о положении в Аргентине. Ответы на них слушал, однако, рассеянно. В то же время он уловил и мгновенно отреагировал на брошенную мной реплику о звоне пустых кастрюль в Сантьяго, который разнесся по всему миру.

— Хорошо, если бы это был еще и пустой звон,— сказал он,— но похоже, что это первый этап контрреволюционного заговора. Нынешнее массовое выступление оппозиционных сил весьма опасно... С этого момента ситуация начнет круто меняться. Левых уже нельзя рассматривать как единовластных хозяев улицы. Это очень серьезно,— добавил Рамиро Агирре,— поскольку начавшееся изменение в соотношении сил весьма опасно для нас. Особенно опасно тем, что нарушает равновесие нейтральных групп населения. Вы знаете, о чем я говорю.— Он акцентировал на словах «о чем», очевидно намекая на армейские круги.

Марта принесла из спальни пишущую машинку и, расположившись с ней напротив дивана, на котором мы сидели, приготовилась печатать под диктовку.

Но Рамиро Агирре вовсе не собирался диктовать. Он лишь хотел обсудить выступление газеты. Мне показалось, что у него на этот счет были срочные рекомендации с «самого верха».

— Ответ «Комбате» может задать тон всей левой печати в дискуссии о последней вылазке реакции — отсюда ее значение! — сказал он.

Мои предположения подтвердились, когда Марта спросила:

— Ты говорил с Сальвадором?

Рамиро Агирре не ответил, лишь добавил:

— На объявление войны со стороны правых мы должны дать достойный ответ.

Не желая мешать работе, я сказал Марте, что пойду домой. Но Рамиро Агирре попросил меня остаться. Он встал с дивана и неожиданно завел со мной разговор о том, что произошло с Пероном в 1955 году [1], о роли правых сил в этой истории и позиции военных, которые в конечном счете и сбросили президента...

Но едва лишь я заговорил, с улицы донесся необычный шум. Мы выглянули в окно и увидели толпу — сотня женщин маршировала по мостовой, как и накануне, они стучали в свои кастрюли и призывали присоединиться к ним. С балконов дома, где жила Марта, и из соседних домов в ответ им раздавались крики и грохот плошек и поварешек.

Я поинтересовался у Рамиро Агирре, как вырабатывается в Народном единстве согласованная линия в связи с такого рода вылазками, предполагает ли комиссия по пропаганде мобилизовать средства массовой информации.

Рамиро рассмеялся:

— В вопросах пропаганды каждый в Народном единстве считает себя знатоком. Предполагается, что достаточно добавить к фактам несколько общих фраз — и, пожалуйста, штамп готов.

Трудно сказать, сколько было в этих словах иронии и сколько раздражения. Между тем Рамиро снова сел и, допив стопку, продолжал:

— Нужно, дорогой, потратить целый день, чтобы собрать комиссию. А может, и больше. И все равно представителей всех партий никогда не соберешь, а потом начинаются жалобы: почему мнения отсутствующих не были приняты во внимание. Когда же, наконец, удается согласовать совместное коммюнике, оказывается, что оно состоит из одних лишь общих деклараций, которые я и один превосходно мог бы написать. Так для чего же заседать?

Звон кастрюль за окнами стал утихать, и можно было приступить к работе. Марта сразу переменилась. Она с головой ушла в

[1] В 1955 году в Аргентине произошел государственный переворот и президент Хуан Доминго Перон вынужден был покинуть страну.

дело: формулировала отдельные положения, зачитывала их Рамиро Агирре, и тот кивком головы выражал согласие или просил подумать еще. Я любовался своей новой подругой, ее уверенным, сжатым, боевым стилем. Только в одном месте Рамиро Агирре поправил: она с легкой иронией писала о вооруженных силах, выражая уверенность в том, что они больше никогда не займутся флиртом с реакцией.

— Лучше не торопиться с таким выводом. Подождем, что они сами скажут о событиях вчерашнего дня.

Закончив работу, Рамиро Агирре собрался уходить, и я решил пойти вместе с ним. Поблагодарив Марту, бросившую на меня многозначительный взгляд, мы спустились вниз и распрощались у подъезда. Но уже сев за руль, Рамиро Агирре окликнул меня и предложил позвонить ему, вернее, встретиться, «если это будет представлять интерес для ваших беллетристических репортажей о Народном единстве». Он любезно улыбнулся и добавил, что, быть может, посодействует мне получить интервью «у Сальвадора». Да, я не мог обижаться на невнимательность здешних хозяев к иностранному корреспонденту. И в этот момент откуда-то сверху на машину был брошен камень и донесся крик: «Заткнитесь, коммунисты! Еще не то увидите!»...

■

Около полудня я позвонил Марте в «Комбате». Она еще работала над передовой для текущего номера и попросила попозже заехать за ней в редакцию, чтобы пообедать вместе. Желая как-то скоротать время, я заглянул в кафе «Гаити». В тот час оно буквально гудело — люди обсуждали вчерашние события. Заведение это было как бы «нейтральной зоной». Здесь каждый говорил то, что ему нравится, то, что он в самом деле думал о текущих делах, не боясь, что его осудят или оскорбят люди, придерживающиеся противоположных мнений. Между входящими сюда как бы заключалось молчаливое соглашение «не давать воли рукам», и посетители внешне старались не проявлять себя, лишь злорадные улыбки на лицах некоторых выдавали радовавшихся вчерашнему «маршу».

В кафе я встретил Хуана Карлоса Ортегу, одного аргентинца, знакомого мне по Буэнос-Айресу. Развязный молодой человек явно старался своими левацкими заявлениями привлечь к себе всеобщее внимание. Он громогласно негодовал по поводу того, что рабочий класс Чили не выходит сейчас на улицы, что не спешит заткнуть глотку «реакционной буржуазии». Из его слов следовало, что лишь достаточно нажать на какую-то волшебную кнопку — и рабочие уже будут строиться в боевые колонны.

В час обеда я был в редакции «Комбате»; газета занимала огромный аляповатый особняк в старинном аристократическом районе Сантьяго, оставленный, как мне потом сообщили, много лет тому назад какой-то богатой семьей, переехавшей ближе к Кордильерам.

После долгого блуждания по многочисленным коридорам и залам я наконец нашел Марту, одиноко сидящую в комнате за пишущей машинкой.

Статья была уже готова, и Марта отшлифовывала отдельные места. Увидев меня, она позвонила по внутреннему телефону, сказала, чтобы забрали рукопись, взяла сумочку и поднялась.

— Вы долго плутали? За это приглашаю вас перекусить.

Марта предложила направиться в баскский ресторан «Пимпилимпауча» в центре города.

В ресторане свободных мест не оказалось, и нам пришлось подождать у входа в зал. Мне представилось, что отовсюду на нас поглядывают и все говорят о нас.

Вдруг совершенно отчетливо послышался голос. Реплика, несомненно, адресовалась Марте. Какая-то женщина спрашивала: «Ага, теперь ты интересуешься другим? Смотри, Альенде будет недоволен тобой». Это был явный намек на давнишнюю телевизионную программу Марты «Женщина интересуется...», и повторялась сплетня, что Марта якобы была любовницей Альенде. Последовал взрыв смеха. Моя подруга в смущении посмотрела на меня. Я сделал вид, что все это глупости и не стоит на них обращать внимания.

К счастью, к нам подошел приятель Марты, поздоровался и пригласил за свой столик. Он все слышал и теперь демонстративно предлагал свою помощь. Это был адвокат, работавший в одном из правительственных учреждений. По правде говоря, мы бы предпочли отдельный столик, но ожидать здесь значило подвергнуться новым нападкам. Уходить из ресторана тоже было нельзя — это выглядело бы как трусливое бегство. Мы приняли приглашение адвоката. Когда шли на место, другие посетители приветствовали Марту, подчеркнуто высказывая ей свое уважение. Похоже было, что в «Пимпилимпауча» публика разделилась на два лагеря, и открытое выражение солидарности с нами прозвучало как предупреждение о том, что если противники не будут соблюдать своего рода мирного сосуществования, обеда здесь спокойно никто не кончит. Адвокат, молодой человек с окладистой бородой, очень живо интересовался нашим мнением, вернее, мнением Марты и ее коллег по редакции о вчерашней демонстрации правых. Он, со своей стороны, считал, что эту вылазку надо рассматривать и как положительное явление, она явилась своевременным сигналом тревоги для всех левых. Его сослуживцы по министерству именно так восприняли вчерашние события.

Марта согласилась с адвокатом, но не поддержала его мнения о принятии немедленных ответных мер.

— Может, вчерашняя демонстрация,— сказала она,— просто ловушка со стороны правых, рассчитанная на то, чтобы спровоцировать правительство на преждевременную схватку с реакционными силами, заставить правительство отказаться от соблюдения норм конституционности, как оно обещало.

Все эти разговоры на политические темы возбуждали у меня какое-то тревожное чувство. «Политизация» общества становилась болезненной страстью, она проявлялась здесь всюду — всегда и при любых обстоятельствах. Достаточно слегка прислушаться к разговорам, чтобы убедиться: за всеми столиками люди так или иначе касались политических вопросов.

Адвокат продолжал:

— Я, знаете ли, возлагаю большие надежды на ближайшие планы правительства в связи с национализацией медной промышленности, только что вырванной из рук североамериканцев [1]. Этот шаг обеспечит Народному единству поддержку всех слоев общества.

— А приведет ли национализация к немедленному улучшению экономического положения? — спросил я.

Мнения обоих моих собеседников совпали: национализация может дать правительству надежную основу для повышения активности других секторов экономики.

---

[1] Медная промышленность — основное богатство Чили — была национализирована правительством Альенде в 1971 году.

— А как быть с нехваткой товаров, с отказом буржуазии инвестировать капитал? — спросил я.

Адвокат взглянул на меня с подозрением, видимо, решив, что встретился с одним из пораженцев. Я же доказывал, что рассматриваю национализацию природных богатств как коренную экономическую меру, которая даст несомненный эффект в будущем, но нельзя, ссылаясь на нее, задерживать или откладывать удовлетворение самых насущных нужд населения.

В этот момент в ресторане послышался странный шум. Кто-то начал ритмично стучать ложкой о тарелку. Хулигана поддержало несколько человек. Пусть в меньшей степени, но повторялся вчерашний «кастрюльный» концерт. Шум нарастал. В «оркестр» включалось все большее число исполнителей.

Мы с Мартой переглянулись, и я напомнил ей шутку, которой мы обменялись с Рамиро Агирре накануне вечером: манифестации такого рода полезны по крайней мере тем, что дают возможность пересчитать наших противников. Однако и не считая, мы поняли, что находимся здесь в явном меньшинстве...

Было очевидно, что лишь за немногими столиками люди сохраняли спокойствие. Агрессивность зала в любую минуту могла разрядиться против нас — против всех тех, кто молчал. По тому, с какой силой Марта сжимала мою руку, я понял, что она напряжена до предела. В конце концов у нее не выдержали нервы, и она выкрикнула:

— Шли бы лучше шуметь в свои кварталы! Только учтите, что народ и там найдет вас, когда придет время!..

В ответ шум и грохот разразились в зале с новой силой. Люди вскакивали с мест, ругань в адрес правительства смешивалась с оскорблениями в адрес Марты.

Мы поднялись из-за стола. А рычащая разъяренная толпа все туже стягивалась вокруг нас кольцом. Особенно бесновалась та женщина, которая пыталась оскорбить Марту: дама в летах и раздавшаяся до такой степени, что при малейшем движении рук плечи и груди ее начинали колыхаться. Ее подбадривали несколько горлопанов.

И тут адвокат, сидевший с нами, схватил недопитую бутылку и резким ударом о стол — приемом, никак не вязавшимся с его обликом,— отбил у нее донышко. От возмущения лицо его покраснело, тело напряглось, всем своим видом он показывал решимость дать отпор во что бы то ни стало. В другом углу зала, за столиками наших «союзников», люди тоже вскочили с мест, начали готовиться к обороне. Кто-то схватил стул, кто-то сбросил с себя пиджак.

Между тем хозяин «Пимпилимпауча», оценив положение, позвонил в полицию. И когда конфликт достиг апогея, в зал ворвалась группа карабинеров во главе с лейтенантом. Они сразу же направились туда, где ораторствовала толстячка. Увидев карабинеров, она подскочила к лейтенанту и, подхватив его под руку, показала на наш столик. Лейтенант и солдаты подошли к нам. Марта пыталась было объяснить, что тут в самом деле происходит, но лейтенант грубо отстранил ее и приказал карабинерам задержать адвоката. Карабинеры выбили у него бутылку. Наши протесты, как и негодующие выкрики из-за других столов, объяснения адвоката ни к чему не привели. Казалось, даже наоборот: узнав, с кем имеют дело, карабинеры стали еще суровее и непреклоннее. Тоном, не терпящим возражений, приказали адвокату следовать к выходу, а когда он начал упираться, толкнули его с такой силой, что он едва удержался на ногах. Подчеркнуто грубое обращение переполнило наше терпение. Марта и я потребовали у лейтенанта положить конец произволу, пытались

еще раз объяснить, что нападающей была как раз другая сторона, что мы всего лишь защищались. Офицер нас не слушал. Когда же Марта пригрозила, что немедленно пойдет в управление охраны общественного порядка, лейтенант громко расхохотался, вызвав аплодисменты наших противников.

Карабинеры выводили из ресторана нашего друга, а лейтенант придрался ко мне:

— А это еще что! Иностранец, тем более аргентинец, вмешивается в наши внутриполитические дела?

Истолковав по-своему мое молчание, он потребовал у меня документы. Это привело к новой вспышке восторженных восклицаний правых. Толстячка, возглавлявшая враждебный лагерь, заорала, что теперь вся страна переполнена марксистами, действующими в Чили исподтишка, как бандиты. Я, уже вне себя, ответил лейтенанту, что отказываюсь предъявлять документы, расценивая все происшедшее как провокацию.

— Ваше поведение вызывающе, оно дискредитирует государство. И пресса, не только чилийская, сообщит об этом факте,— сказал я.

Мы пристально взглянули друг на друга, и лейтенант несколько убавил спесь.

— Можешь убираться отсюда! Никто не собирается марать о тебя руки! — громко отрезал он и повернулся спиной.

Новая буря восторгов в зале. Лейтенант приказал всем сесть на свои места. Толстячку же любезно взял под руку и с офицерской галантностью довел до стула.

Преследуемые улюлюканием, насмешками, мы, стараясь придерживать шаг, вышли из ресторана. Но наш уход все же походил на бегство. Карабинеры расступились, пропуская нас, и на их лицах я заметил злорадство.

В управлении охраны общественного порядка мы никого не нашли. Был обеденный перерыв. Дежурный чиновник, с недовольной миной выслушав нашу жалобу, сказал, что помочь ничем не может.

Но мы, мучимые жарой и голодом — ведь нам так и не удалось пообедать,— все-таки попытались искать правду и отправились в министерство внутренних дел. Там нас тоже ждало разочарование.

Однако уже у выхода мы, наконец, встретили какого-то знакомого Марты.

— Разве вы не видите, что происходит? — взволнованно спросила она.— Как же так, служащего Народного единства арестовывают за то, что он защищает правительство?

Чиновник сочувственно кивал головой, но всем своим видом давал понять, что этот вопрос не относится к его компетенции. В конце концов он записал имя арестованного адвоката, просил позвонить попозже и совсем некстати заметил:

— Сейчас ничего невозможно сделать — все на обеде.

Марта готова была взорваться. Она схватила меня за руку и потащила на улицу.

— Правые в обеденный перерыв могут преспокойно совершить государственный переворот!

■

Моя работа шла своим чередом. Сегодня вечером меня должен принять писатель-коммунист Франсиско Лагос — активист Народного единства. Беседа с ним меня особо интересовала, поскольку о нем шла слава, что аксиомы марксизма он пропускал через свои гончайшие персональные фильтры, а это давало возможность по-

знать и с другой стороны «чилийский феномен». Насколько я знал, допускаемые писателем «вольности» снискали ему неприязнь и недоверие — по-моему, совершенно безосновательные — в кругах непримиримых левых.

Франсиско Лагос только что прибыл с какого-то собрания в министерстве просвещения, где обсуждались проблемы культурного строительства в стране.

Хозяин дома, извинившись, попросил подождать еще одного гостя, его товарища, который хотел поужинать вместе с нами. Чтобы скоротать время, он пригласил меня в другую комнату, которую называл своей мастерской. Она была забита книгами и папками, в беспорядке лежавшими на полках из некрашеного дерева, на стульях и на длиннющем столе, неизвестно как уместившемся в комнате. На одной из стен висел портрет Ленина, чуть ниже — какая-то небольшая семейная фотография с неясным изображением.

В мастерской было очень тепло. Мы устроились друг против друга за письменным столом после того, как очистили его от книг. Жена хозяина, очень симпатичная и жизнерадостная женщина, принесла нам два больших стакана, местное «бургундское» и фрукты.

Лагосу также была свойственна поразившая меня в чилийцах манера разговаривать. Он говорил отрывисто и, казалось, будто постоянно испытывал трудности в подборе выражений. Видимо, эта особенность присуща представителям всех кругов, не исключая и людей самых образованных.

Поначалу хозяин был явно не в настроении. По его словам, Народное единство подрывается изнутри ультралевыми элементами, и — если немедленно не принять нужных мер,— правительство падет.

— Не слишком ли пессимистично? — спросил я.

Он ответил, что в области культуры гошисты [1] предлагают самые фантастические и заумные проекты, абсолютно оторванные от действительности.

— Они требуют,— говорил Лагос,— проведения культурной революции с полным уничтожением всего духовного наследия, поскольку-де оно принадлежит буржуазной культуре. «Мы намерены создать совершенно новые формы культуры, начиная с корней, воспевая лишь труд, как таковой, в лоне рабочего класса».— Последние слова он продекламировал, пародируя, очевидно, своего оппонента на совещании.

Франсиско Лагосу особенно нравилось передразнивать «р-р-революционные» фразы ультралеваков, подчеркивая раскатистое «р»... Разделавшись так с оппонентами по комиссии, писатель вздохнул свободнее. Я еще не совсем разбирался в отношениях между левыми партиями и группировками в Чили, но о дискуссиях между ними был наслышан.

Заметив, что я не выпил вино, писатель шумно запротестовал и заставил залпом осушить стакан.

— Основная ошибка многих деятелей Народного единства сводится к тому,— уже спокойнее продолжал он,— что они путают нынешний процесс в Чили с социалистической революцией. А на самом деле это только начало, этап подготовки почвы для коренных революционных перемен. Таково самое серьезное из заблуждений. И оно опасно тем, что может вызвать преждевременную ответную реакцию правых.

Хозяйка вновь наполнила наши стаканы, предложила сигареты и сама села рядом. Она радовалась, что у мужа улучшилось настроение; я видел, с каким восхищением она смотрит на него.

---

[1] В Чили гошистами называли ультралевых (от французского слова «gauchiste» — левак).

Второй гость изрядно запаздывал, и Лагосы предложили послушать музыку. У них был самодельный проигрыватель с неприкрытыми проводами и лампами. Его сконструировал какой-то приятель, затратив на это, как заметил хозяин, два года и двести литров «бургундского». Жена Франсиско поправила: «Четыре года и четыреста литров «бургундского». Правда, в конце концов, по их мнению, получился «самый лучший» аппарат в мире, усовершенствовать который уже просто невозможно. Хозяева поставили пластинку, и комнату наполнила музыка чарующего концерта для виолончели Шумана, которого я не слыхал уже многие годы.

Франсиско Лагос подчеркнул, что чилийский опыт уже сейчас требует самого пристального, глубокого и самое главное — срочного осмысления.

— Одна из особенностей этого опыта в том, что завоевание власти левыми произошло мирным путем, в итоге всеобщих конституционных выборов. Но при этом реакция осталась нетронутой и по-прежнему сильной. Добившись избрания Альенде на пост президента республики, левые силы завладели лишь одним рычагом, но не всем аппаратом власти, необходимым для преобразования общества. Теперь успех дела зависит от того, как мы воспользуемся этим рычагом. Нам нельзя забывать, что на страже буржуазных порядков стоят военные. А найдется ли соломоново решение, которое выведет нас из тупика?

Лагос настолько близко к сердцу принимал свои слова, что даже хотел выключить проигрыватель, но я взмолился, и он оставил пластинку. Музыка, немного тревожная и грустная, не только не мешала слушать его, но и создавала удачный звуковой фон.

— Почему же вы не сдвинетесь с мертвой точки? — спросил я.

— Видимо, в конце концов мы вынуждены будем это сделать, но пока, увы, мы не совсем контролируем движение раскрученного маховика.

— А эта ограниченность Народного единства, о которой вы говорили, его подчиненность буржуазной законности,— настаивал я,— не лишают ли ваше правление революционного характера? На первый взгляд это какая-то сделка с правыми. И разве возможна революция, которая считала бы себя обязанной соблюдать правила игры, установленные противником.

Я тут же пояснил, что сказанное мною не отражает мою точку зрения, подобные мысли можно было услышать от разных представителей демократических сил.

— Нет, это не сделка,— неожиданно резко заявил он,— это диктуемая обстоятельствами форма продвижения по революционному пути. И сейчас у нас, в Чили, нет другого способа достичь реальной власти, кроме как с помощью постепенного, но непрерывного давления на буржуазию, которой придется вопреки своему желанию шаг за шагом уступать позиции. Ведь уступили же они пост президента республики! И фашистский путч накануне прихода Альенде к власти тоже провалился!..— воскликнул он.— Вообще наша буржуазия крайне бездарна. Десятилетиями она лишь залезала в долги и разбазаривала национальные богатства. Да что там говорить! Вы знаете, что долг Чили в момент победы Альенде достигал четырех миллиардов долларов — самая высокая внешняя задолженность в мире в расчете на душу населения!

Лагос поднялся с кресла, дотянулся до полки и снял какую-то книгу. Когда он обернулся, я увидел в руках у него том сочинений Ленина. Полистав книгу, Франсиско обратился к нам:

— Атаки ультралевых на Народное единство за то, что оно придерживается рамок конституции и не бросается, открыв забрало, на

обострение ситуации, ошибочны и безответственны. Такие атаки развязывают реакции руки, дают повод для контрудара. Поймите,— повторил он,— перевес сил в настоящее время определенно на их стороне. А открытое выступление правых немедля вызвало бы поляризацию классовых сил, и исход может быть непредвиденным. Сейчас трудно предсказать позицию средних классов и вооруженных сил.

Лагос зачитал выдержку из сочинений Ленина. Смысл ее сводился к тому, что диктатура пролетариата есть особая форма классового союза между пролетариатом—авангардом трудящихся—и многочисленными непролетарскими слоями трудящихся (мелкая буржуазия, мелкие хозяйчики, крестьянство, интеллигенция и т. д.) или большинством их, союза против капитала, союза в целях полного свержения капитала, полного подавления сопротивления буржуазии и попыток реставрации с ее стороны, союза в целях окончательного создания и упрочения социализма... Я восхищенно подумал, насколько прав был Владимир Ильич, насколько актуально звучат его слова даже теперь, спустя пятьдесят лет.

Я заметил, что это высказывание Ленина о союзе пролетариата с непролетарскими классами подчас толкуется весьма вольно как классовое соглашательство.

— Но разве можно смешивать союз с определенными классами и сотрудничество между враждующими классами? Классовый коллаборационизм действительно смертелен для революции. Серьезная путаница царит в тех секторах левых, которые не освоили этих положений. И как раз оттуда ведется наиболее ожесточенная критика Народного единства.

— Но ведь нельзя же,— заключил я,— все время ходить с книгой Ленина в руках и каждому растолковывать эту цитату!

— Конечно, нельзя,— согласился Лагос.— Но это ленинское положение исключительно важно помнить в нынешней чилийской ситуации. Если мы сейчас не сумеем расширить социальную базу правительства — переворот неизбежен!

Другой гость Лагосов, известный художник, прибыл поздно, тоже с какого-то заседания — уже третьего для него за этот день. Усталый, издерганный, он приветствовал меня, и видно было, что показать себя вежливым ему трудно — он все еще не освободился от воздействия жарких споров. Кстати, он тоже входил в одну из комиссий, созданную правительством для определения культурной политики Народного единства.

Как ни старалась хозяйка за ужином отвлечь мужчин от серьезных тем — все было напрасно. Разговор то и дело возвращался к этим темам. Ужин закончился, а члены двух культурных комиссий все еще обменивались между собой мнениями на каком-то понятном только им жаргоне. При этом достаточно было одному из них упомянуть имя какого-либо противника, как оба начинали издеваться над ним или над его аргументами.

Деятельность Народного единства тормозится из-за внутренних противоречий — эта мысль преследовала меня после нашей беседы.

■

Добираясь к Лагосу, я изрядно поплутал, поэтому, отправившись в обратный путь, тщательно присматривался к дороге. Как оказалось, в Сантьяго не заблудишься, если будешь порой посматривать на Анды — самый надежный и отовсюду видимый ориентир. Вот и теперь Кордильеры четко вырисовывались в небе, сверкая снежными верши-

нами. Чтобы попасть в центр, достаточно было ехать так, чтобы горы постоянно находились сзади.

Катиться тихо и под уклон в этот час было истинным наслаждением, хотя я все еще ощущал некое беспокойство. Из головы не выходили высказывания двух деятелей Народного единства. Я вспомнил их лица, блеск возбужденных глаз, отпечатки самоуверенности и пренебрежения к мнениям других коллег, которые, в свою очередь, наверняка так же относились к их мнению.

За границей все представлялось иначе. Во всем мире Чили рассматривали как испытательный полигон нового пути к социализму. Справедливо считалось, что революция прокладывает путь среди неимоверных трудностей, направляемая людьми незыблемых убеждений, полных решимости довести ее до конца. Это — правда, но не вся.

И как трудно оказалось разобраться в этой революции, понять ее, когда познакомишься с ней ближе. Часть ее лидеров запуталась в мелких дрязгах, мешавших сосредоточить внимание на опасностях, подстерегавших их детище на каждом шагу.

В эти последние месяцы 1971 года Сантьяго кишел журналистами, прибывшими со всех концов света, горевшими желанием на месте действия увидеть новую дерзкую попытку построения социализма, предпринятую здесь. Достаточно было объявить о пресс-конференции Альенде, как зал, где назначалась встреча, мгновенно набивался репортерами с кинокамерами, магнитофонами, фотоаппаратами. Я тоже ходил на эти «брифинги», выбирая место получше, чтобы не пропустить ни одного слова президента.

Сальвадор Альенде всегда выглядел непринужденно и элегантно. За его спиной блестела галунами шеренга застывших адъютантов — офицеров армии, флота и авиации. Они создавали впечатление незыблемой прочности и безопасности правительства. Этим военным, стоявшим неподвижно, тоже приходилось выслушивать теоретические марксистские выкладки президента со ссылками на труды Ленина и на опыт Октябрьской революции. Мы всегда удивлялись, как терпеливо выдерживали они подробнейшие (для нас-то привычные) рассуждения по вопросам чуждой им теории. Даже странно было видеть этих офицеров, замерших за спиной Альенде, словно неусыпные ангелы-хранители социалистического лидера...

Не доезжая до своего дома, я круто повернул и как-то подсознательно направился в ту сторону, где жила Марта. Увидев в ее окнах свет, решил заглянуть. Правда, меня она не приглашала. И было по меньшей мере бестактно заходить к ней запросто, без предупреждения. Но мне почему-то очень захотелось увидеть ее, побыть рядом с ней. В последнее время нам это никак не удавалось — политические события бесцеремонно вторгались в личную жизнь, навязывали свой распорядок дня.

Поднявшись на восьмой этаж, я услышал из квартиры Марты гул голосов. Может, там устроена вечеринка, на которую Марта не сочла нужным меня пригласить? А, собственно, на что я мог претендовать?

Но в доносившихся голосах не звучало ни веселья, ни радости. О чем-то взволнованно спорили. Я все никак не решался позвонить.

Неожиданно дверь распахнулась, и на лестничную площадку быстро вышел мужчина. Увидев меня, он остановился в замешательстве, вдруг схватил меня за лацканы пиджака и громко закричал: «Поймал каналью!» Очевидно, «канальей» он посчитал меня...

Из квартиры выбежали еще какие-то люди — среди них был и Рамиро Агирре,— и плохо бы мне пришлось, не появись сама хозяйка. Тут все прояснилось, и мы вошли в квартиру. Оказывается, против Марты только что была совершена провокация. Правда, толком мне

никто так и не объяснил, что тут случилось. Все обсуждали, какие меры следует немедленно принять. И спор разгорался с каждой минутой. Почувствовав себя лишним, я хотел было незаметно уйти, но Марта взяла меня под руку и отвела в свою комнату.

■

Что же произошло?.. Под вечер, услышав в прихожей звонок и ничего не подозревая, Марта открыла дверь. Оттолкнув ее, в квартиру ворвались двое — у одного был нож, второй вооружен пистолетом. Лица их скрывали нейлоновые повязки. Когда Марта попыталась позвать на помощь, ее так ударили, что она отлетела на диван.

Один из незнакомцев сразу же оборвал телефонный шнур, а другой, по-видимому главарь, уселся в кресло, положив ноги на диван. Он сыпал ругательствами, непристойностями, выкрикивал угрозы, понося ее за то, что она журналистка, что поддерживает левых, в общем — за все на свете.

Между тем второй «гость» начал шарить по квартире, перевернул все вверх дном. Он явно искал какие-то документы: выбрасывал на пол книги, бумаги, вытряхивал содержимое шкафов. Обнаружив фотографию Альенде, он показал ее главарю, и оба они, гогоча и пересыпая речь нецензурщиной, прочитали надпись президента. Налетчик, производивший обыск, хотел уже было бросить фотографию на пол, как другой неожиданно остановил его, взял и еще раз внимательно посмотрел на портрет. Снова вслух прочитав надпись, он, похоже, вспомнил сплетню о том, что Марта якобы была любовницей президента. С этого момента события приняли иной оборот. Человек, сидевший в кресле, с ухмылкой заметил, что такой портрет, да еще с подобным посвящением, дорого стоит и эту вещицу им придется прихватить с собой.

— Пригодится, пригодится,— сказал он, злорадно улыбаясь.

Его помощник принес бутылку «писко», которую заметил в буфете, когда обыскивал квартиру. Налил до краев три стаканчика и один подвинул Марте, насильно заставив ее выпить. Свет налетчики не зажигали, и комната едва освещалась отблесками уличных огней. В потемках они позволили приоткрыть лица, отогнув края повязок, чтобы можно было пить, и теперь их голоса звучали более отчетливо.

Когда незнакомцы осушили по второму стаканчику, они как-то сразу захмелели — возможно, пили еще до вторжения. Марта опасалась, что станет жертвой насилия с их стороны. В полутьме она видела лишь рты налетчиков из-под приподнятых повязок. У главаря были тонкие, хорошо очерченные губы, и вообще он производил впечатление человека из «высших» социальных кругов, несмотря на стремление скрыть свою принадлежность к ним площадной бранью. Другой, наоборот, был бесспорно деклассированным типом — из тех, кто праздно шатается по центру, готовый за деньги сделать все что угодно.

— Пойди принеси из машины фотоаппарат и вспышку, да кстати захвати еще бутылку — пригодится для разговора с этой дамочкой,— приказал главарь и, ухмыльнувшись, добавил: — Да не забудь при выходе снять намордник, а то с такой рожей кого угодно напугаешь.

Теперь главарь разговаривал с Мартой несколько вежливее, будто отсутствие сообщника освобождало его от необходимости быть демонстративно наглым и грубым. Он задал несколько «светских» вопросов и повел беседу, если можно так выразиться, в манере «человека из общества», правда продолжая называть Марту на «ты».

— Все твое Народное единство скоро разлетится к чертям,— заверил он Марту,— и тебе, красотка, не мешало бы заранее побеспокоиться о своей шкурке. Видела марш наших женщин? Ну и как? Много народа у нас, а? И учти: у нас есть не только «массы», как вы говорите, у нас есть деньги и силы, достаточные для того, чтобы поставить вас на место. Очень скоро мы это сделаем.

Он поднялся и осторожно выглянул на улицу.

— Вы думаете, черт возьми, мы отдадим вам Чили? Поднесем на тарелочке? И тем более страну, которую создали мы, наши деды и прадеды! Марксистская республика Чили? Вы что, рехнулись?! Прежде вам придется перебить нас всех!

Главарь снова сел напротив Марты, опять положил ноги на диван, прикоснувшись к ее телу. Она с отвращением отодвинулась, чем вызвала его усмешку.

— Неужели тебе так противны «мумии»[1]? — спросил он.— Но ведь мы, по крайней мере, чистые, не то что ваши вонючие «товарищи» из Народного единства. Все приличные посты, которые они захватили: правления банков, конторы заводов — так провоняют, что потом не скоро выветришь вонь...

Воспользовавшись наступившей паузой, Марта попробовала спросить, что означает эта глупая комедия, за которую, она уверена, им придется дорого заплатить.

— Брось болтать ерунду,— отмахнулся он,— ничего нам не придется. Некому будет платить! Мы не остановимся до тех пор, пока в Чили останется хоть один марксист!

— Уж не считаете ли вы боевой доблестью нападение на беззащитную женщину? Оно не делает вам чести,— попробовала Марта усовестить «человека из общества».

— Ты для нас не женщина, милейшая, ты — враг, и враг опасный, потому что работаешь в красной печати. Бог поймет и простит нас — мы искореняем коммунизм! Но мы прощать никого не будем!

Он встал, подошел к столу и взглянул, не осталось ли в бутылке спиртного. Убедившись, что бутылка пуста, выругался сквозь зубы.

— Прячешь. Наверняка припасен еще пузыречек.— Он присел на диван рядом с Мартой, наклонился к ее лицу и продолжал разглагольствовать, упиваясь вседозволенностью и безнаказанностью: — Еще вчера я был нормальным человеком: своя неплохая маклерская контора, дом, автомобиль, дети, жена, кстати очень милая женщина, намного лучше тебя — не такая толстая, понимаешь? Ха-ха. И вот с вашим появлением, с приходом Альенде все полетело кувырком.— Он снова взял в руки портрет президента и пренебрежительно ткнул в него пальцем: — Вот, кто виноват!

Марта с усмешкой взглянула на него, а он понял эту усмешку по-своему.

— Не думай, что сейчас у нас денег стало меньше, денег нам хватает. Но жизнь потеряла смысл, понимаешь? Ты — тетка образованная, должна понять, что происходит с человеком, когда у него отнимают смысл жизни, перечеркивают будущее. Зачем мне теперь деньги, зачем копить недвижимость? Чтобы у меня их забрали за здорово живешь? Чтобы Альенде и Корвалан проводили свои эксперименты на мне и моей стране? Такого удовольствия я им не позволю.

Прислушиваясь к словам бандита-«философа», Марта особенно четко представила, чем вызвана ненависть правых к Народному единству. «Мы набили мозоли на языке, стараясь втолковать мелкой буржуазии, «средним слоям» проект создаваемого нами общества,—

---

[1] Так чилийцы называют реакционеров.

с горечью подумала она.— Но разобрались ли мы сами в этих людях, знаем ли, о каком будущем они мечтают? Вот напротив сидит один из них. Этот стал фашистом. А остальные? Согласны ли они поменять то, что у них есть, и на что? Можем ли мы предложить им какой-то вариант, который привлек бы их, убедил? Народное единство располагало поддержкой широких слоев из «средних классов», разочаровавшихся в капиталистическом обществе, которое не смогло склонить их на свою сторону. Это потому, что годы и годы несбывшихся надежд лишили их иллюзий, заставили обратить свои взоры к нам. А теперь?.. Определение «средние классы» оказалось слишком расплывчатым и чреватым опасными ошибками. В числе этих «средних классов» огульно смешивались и истинные трудящиеся, пролетарии— они и сейчас с революцией — и тысячи тысяч других людей, таких, которые не зависят от «рынка труда», лиц так называемых свободных профессий... И они наверняка должны быть противниками любых перемен, которые могут нарушить уклад их жизни...»

Главарь продолжал ораторствовать:

— Вы еще не знаете, за что взялись. Если на Кубе это удалось, то здесь мы так вас разделаем, чтобы все раз и навсегда поняли: коммунизм больше не войдет к нам, в Америку!

— К вам, в Америку,— откликнулась Марта.— То-то и видно, что вы себя чувствуете не чилийцами, а американцами.

— Не играй словами! Впрочем, пусть будет так. Все Америки против вас: и Северная, и Южная, и Центральная.

— Это ты не играй словами,— не сдержалась Марта,— ты попросту продался американцам! Сколько тебе заплатили за эту вот провокацию против меня?

Он было остолбенел от столь неожиданной контратаки, но быстро пришел в себя.

— За эту? — спросил он и сильно ударил Марту пониже спины.— Или за эту? А может, за эту? — повторил он, продолжая наносить удары.

Монолог бандита был прерван звонком в дверь: возвращался его помощник.

— Входи! — крикнул главарь.— Эта сволочь вздумала тут оскорблять нас. Давай быстро кончать. Она еще не раз вспомнит нас!

Вошедший вынул из сумки бутылку виски и фотоаппарат. Повязки на лице у него не было, и Марте удалось его рассмотреть. Такое пренебрежение к конспирации разозлило главаря — на своем подчиненном он сорвал зло, которое не успел выместить на Марте:

— Вывеску прикрой! Не соображаешь, эта стерва сразу тебя узнает, если где-нибудь увидит!

Тот неохотно натянул повязку.

— Никого не встретил,— проворчал он,— ни в подъезде, ни на улице.

— Ладно, принеси большие стаканы, поищи в холодильнике лед.

Потом повернулся к Марте:

— Ну что, продолжим наши упражнения или хватит с тебя? Как тебе моя рука? Подходит для твоего зада или слишком тяжела? Ладно, когда захочешь еще, скажешь.— Он открыл бутылку.— Так вот, чтобы ты знала, красотка, у меня, как у других моих друзей, нет особой любви к янки. Вы ловко ошельмовываете нас, приклеивая ярлыки «продавшихся американцам». Правильно, мы боремся вместе с ними, и они помогают нам бороться против вас. Бороться вообще с коммунизмом, где бы он ни появлялся: тут у нас, во Вьетнаме, на

Ближнем и Среднем Востоке — в любом месте земного шара. Так что меня не оскорбишь, называя проамериканцем.

Второй принес стаканы и лед. Посмотрев на Марту и заметив ее вид, он спросил у своего шефа:

— Что ты тут с ней сделал?

— Ничего,— ответил первый.— Эта тварь хотела оскорбить нас, ну и я вынужден был несколько раз хлопнуть ее по мягкому месту.

Второй загоготал:

— Правильно, когда девочка закусывает удила, ее дурь именно так и надо выбивать.

Главарь налил в стаканы виски, бросил туда кусочки льда...

■

Из коридора донеслись громкие голоса — возвратился главный редактор «Комбате», выходивший на улицу, чтобы позвонить из автомата: телефон Марты не действовал. Он сообщил, что вызвал сотрудников министерства внутренних дел. Мы окружили его — я расслышал, что речь шла о необходимости немедленной организации Народным единством дружин по защите революции, учитывая возрастающую агрессивность правых и их хорошо оснащенных отрядов налетчиков.

— Нужно остановить фашизм уже сегодня! — услышал я голос Рамиро Агирре.

По его предложению было решено дать в печать небольшую информацию о налете. Редактор «Комбате» не без основания считал, что побывавшие у Марты «гости» способны придать всему происшедшему, в усладу читателям своего круга, настолько порнографический характер, что это могло бы серьезно отразиться на репутации Марты. «С теми фотографиями, которые здесь сделали,— сказал Рамиро Агирре,— они могут поступить как угодно...»

Наконец входная дверь захлопнулась — все ушли, а я, по просьбе Марты, остался с ней.

На столе передо мной стояла пустая бутылка и стаканы с остатками льда — молчаливые свидетели гнусной сцены, совсем недавно разыгравшейся здесь.

Едва мы остались одни, Марта бросилась ко мне. Она сдерживалась, пока в квартире были посторонние, а сейчас могла наконец дать волю слезам. Я сжал ее в объятиях с искренней нежностью — это был тот редкий момент любви и сострадания, который надолго определяет отношения людей.

Она пыталась что-то сказать, но не могла — слезы душили ее. Я слышал только всхлипывания и жалобные причитания. Прижав ее к груди, я покачивал ее в объятиях, словно маленькую девочку, осыпал поцелуями и ласками. Она сделала усилие, чтобы взять себя в руки, вытерла лицо, привела в порядок волосы и предложила мне кофе.

— Я думала закричать, позвать на помощь,— продолжала Марта,— но эти бандиты предупредили, что, если крикну, порежут мне лицо. Что я могла сделать!

■

Пьянея, главарь повторял и повторял все ту же сплетню насчет близости между Мартой и Альенде. Эта тема позволяла ему оснащать речь сальными подробностями, оба бандита покатывались от хохота. Марта молчала, надеясь лишь на то, что рано или поздно омерзительная сцена окончится, и все же она терялась в догадках об их истинных намерениях.

— Проверь как следует фотоаппарат. И вспышку. Чтобы все сработало как часы, понятно? — обратился главарь к своему помощнику.

Тот быстро расставил штатив.

— Для натурщицы толстовата?

— А ты откуда знаешь, может, президентам такие и нужны? Может, им нравятся толстые.

— Слушай, ты, фифочка, кончай-ка такой букой смотреть в аппарат,— с усмешкой сказал главарь,— а то еще напугаешь нас. Тем более мы не собираемся тебя насиловать.

— Не надейся,— сострил второй.

— Дома у нас есть кое-что поинтереснее,— продолжал главарь, поправляя фотоаппарат и заканчивая приготовления к съемке.— А теперь слушай меня внимательно, красотка,— и ледяным голосом добавил: — Это война, понимаешь? Будем называть вещи своими именами. Кстати, борьба классов, диктатура пролетариата и все такое — это ваши изобретения. Вы именно их хотели иметь в Чили? Хорошо, у вас будет и классовая борьба и диктатура! Только не пролетариата, конечно. А то, что мы сейчас делаем здесь у тебя, всего лишь маленький эпизод этой борьбы, если угодно — партизанская вылазка или называй ее, как тебе подскажет твой журналистский опыт. Фотоналет — если нравится.

— Фотоналет...— повторил второй,— это точно...— и опять рассмеялся.

В эту минуту кто-то позвонил в дверь квартиры. Мужчины, едва заслышав шаги на лестничной площадке, занервничали, а когда раздался звонок, встали по обе стороны от Марты. Помощник главаря поднес к ее лицу раскрытый нож.

— Не вздумай пикнуть,— шепотом, но совершенно отчетливо предупредил он,— порежу!

В подтверждение серьезности своих слов он слегка кольнул ее в щеку.

Позвонили еще раз. Потом шаги стали удаляться. Неожиданно человек опять вернулся — очевидно, хотел оставить в дверях записку. Эти несколько минут — пока он писал — были самыми страшными. Бандиты не понимали, в чем дело, и готовились к худшему. Главарь вынул из кармана пистолет, а второй так плотно зажал Марте рот, что она едва не задохнулась. Наконец все стихло. Марта так и не узнала, кто это был, так как записку забрали налетчики.

Звонок случайного посетителя словно подхлестнул бандитов. Они сразу протрезвели.

— Ну хватит кочевряжиться,— обратился он к Марте,— нам некогда с тобой возиться.

Он присел рядом с ней на край дивана и объяснил:

— Дело обыкновенное. Просто нам нужно сфотографировать тебя голой. Ну, стриптиз, что ли, или как это называется?

Затем он сказал:

— На некоторых активистов вашего Народного единства у нас ведется досье, подбираются документы определенного характера, не совсем приличные фотографии и тому подобное... Ну, с голыми женщинами, например,— добавил он,— и при разных щекотливых обстоятельствах. Портрет Альенде поможет нам создать весьма интересный вариант... А сейчас живо, крошка! Я сказал: мы торопимся.— Он повернулся к помощнику: — А ты пододвинь поближе к ней этот маленький столик, поставь бутылку, стаканы и портрет Альенде. Вот так. Тут мы ее и сфотографируем — полулежащую, совсем как одалиску.

Ошеломленная, Марта молчала. Главарь встал, приказал ей раздеться. Его помощник торопливо оформлял «сцену» в соответствии с полученными указаниями. Заметив, что Марта даже не шелохнулась, главарь попытался схватить ее за плечи и силой сорвать одежду.

И тут Марта с такой же отрешенностью, с какой потом рассказывала мне об этом, укусила его за руку. Рана оказалась настолько глубокой, что кровь хлынула струей. Главарь побежал в ванну, где несколько минут лил на руку холодную воду, стремясь остановить кровотечение. Возвратился, стягивая руку носовым платком,— этот платок он потом забыл на полочке, как бы преднамеренно оставил вещественное доказательство для полиции — взбешенный и готовый на все. Коротко и зло бросил подчиненному:

— Подержи ее, заверни руки за спину, прижми ноги, чтобы не дергалась.

Помощник мгновенно навалился на Марту так, что она едва могла дышать. Главарь здоровой рукой схватил ее за ворот платья и одним рывком разодрал его до подола.

В тот момент, когда главарь нажмет на кнопку затвора, его помощник должен отпустить Марту и исчезнуть из объектива.

Проделав этот трюк несколько раз, фотобандиты поспешно собрали свое хозяйство, прислушались, все ли тихо на лестнице, и скрылись...

■

Было уже за полночь, и я собрался уходить, понимая, что Марте надо принять снотворное, чтобы как-то оторваться от пережитого кошмара. Но она попросила не оставлять ее, сказав, что боится одиночества. Я вытянулся по стойке «смирно» и шутливо отрапортовал, что готов выполнять ее приказы. Она — также в шутку — похвалила меня за рвение...

Под утро я проснулся и обнаружил, что лежу рядом с Мартой. Она крепко спала. Через окно едва пробивался рассвет. Я пытался снова заснуть, но помешал громкий стук в дверь. Марта, открыв глаза, никак не могла сообразить, что происходит. Сначала ей показалось, что это вновь вернулись налетчики. Наконец она поняла, что пришла полиция,— торопливо накинув одежду, вышла в прихожую.

Я остался в спальне и, одеваясь, слушал ее разговор с представителями власти. Он показался мне более похожим на допрос преступника, чем на беседу с потерпевшей. Полицейских инспекторов было двое. Вопросы их касались в основном каких-то незначительных деталей. Очень долго, например, выясняли, как это налетчики с закрытыми повязкой лицами могли пить вино. Получив от Марты исчерпывающие объяснения, они стали интересоваться: какое впечатление на нее произвел человек с пистолетом, была ли у перочинного ножика, которым ей угрожали, ручка из металла или костяная, какой марки фотоаппаратом пользовались. Все это подробно и долго записывалось в протокол. Наконец полицейским показалось странным, что Марту фотографировали так, как она рассказывала: по их мнению, у бандитов не было для этого достаточно времени. Я просто удивлялся выдержке, с которой она отвечала на каждый вопрос, по нескольку раз повторяя одно и то же. Один из детективов, производя осмотр квартиры, открыл дверь спальни и увидел меня. Эта встреча развеселила полицейских.

— Ну вот, одного налетчика уже нашли. И где? У нее же в спальне!..— игриво пошутил один, а другой с удовольствием помогал ему разыгрывать комедию.

Наконец терпение Марты лопнуло, и она попросила полицейских оставить ее в покое. Но теперь они во что бы то ни стало хотели узнать, кто я такой и что делаю в ее доме. Я пытался урезонить их, но безуспешно. Открыто провоцируя, они потребовали объяснения, почему Марта называет налетчиков фашистами,— «ведь всем известно, что в Чили нет фашистской партии...».

■

Вечером я ждал Марту в кафе «Гаити», где мы договорились встретиться. Через Рамиро Агирре она была приглашена во дворец Ла Монеда на прием к Сальвадору Альенде. Президент лично хотел выразить ей свое сочувствие и поддержку в связи с хулиганской выходкой правых.

Время приближалось к девяти, а Марты все не было, и я начинал беспокоиться. К тому же настроение мне портил соотечественник Хуан Карлос Ортега, который, как видно, был здесь завсегдатаем.

Ортега, как я уже не раз имел возможность убедиться, не просто выражал свое несогласие с курсом Народного единства: он прямо называл главным виновником всего коммунистическую партию. Заявления его, как обычно, были настолько крикливыми и резкими, что привлекали всеобщее внимание. Он уверял, что не может простить коммунистам, называющим себя революционерами, признания программы Народного единства. По его мнению, Народное единство должно являться всего лишь своеобразным тактическим трамплином, который позволил бы рабочему классу завоевать власть без вооруженного восстания, после чего необходимо немедленно приступать к разрушению всего буржуазного государства...

Наконец появилась Марта. Я воспользовался ее приходом, чтобы избавиться от болтливого соотечественника. Марта сказала, что нас пригласил на ужин Рамиро Агирре.

Главный редактор «Комбате» ожидал нас в своем автомобиле у дверей кафе. Вместе с ним сидел молодой мужчина, которого мне представили как одного из политических советников Альенде. Ужинать решили на вилле Рамиро Агирре в Эль-Аррайане.

Марта рассказала о своем визите к Альенде. Приема ей пришлось ожидать долго. Альенде был занят на совещании с представителями департамента меднорудной промышленности: в этот вечер стало известно о маневрах американской монополии «Кеннекот Коппер», пытавшейся сорвать продажу чилийской меди в Европе. Это была месть за национализацию. Франция и Швеция уже наложили эмбарго на поставки меди из Чили.

Альенде проявил к Марте исключительное внимание. В Чили, пошутил он, уже стало опасно иметь фотографии президента, потому что даже портреты пробуждают зависть, доходящую иногда до ненависти... Потом уже совершенно серьезно добавил: «Враг коварен, а борьба трудна. Мы не сражаемся на улицах, потому что мы — правительство, но наш фронт повсюду. Вот вы столкнулись с врагом лицом к лицу, компаньера, и выстояли, несмотря на унижение! Ваше мужество делает честь нашему делу!»

Марта сообщила президенту о враждебном отношении детективов. Оказалось, что он уже знал все подробности. Альенде заверил ее, что прикажет передать расследование людям, к которым правительство питает доверие. Он посетовал на то, что государственный аппарат еще очень засорен саботажниками и их нельзя выгнать из учреждений, для этого у правительства не хватает законных и очевидных оснований...

Нашим попутчиком оказался испанский социолог Жоан Гарсес, получивший в Сорбонне степень доктора. Я знал, что он был приглашен лично Альенде для работы в группе его самых близких помощников. Между прочим, потом оппозиция использовала и этот факт, утверждая, что у Народного единства нет собственных национальных кадров.

Пока мы поднимались по горной дороге, разговор шел о только что введенном эмбарго на поставки чилийской меди. Этот ход иностранных компаний расценивался как открытое объявление экономической войны. Подобным образом в свое время пытались сломить и Кубу. Жоан Гарсес подчеркнул, что экономическая война ведется уже давно. Взять хотя бы то, что все традиционные североамериканские кредиты, позарез необходимые Чили, были заморожены. Теперь же Соединенные Штаты втягивали в эту войну и другие страны капиталистического мира...

Дом, к которому мы подъехали, казался игрушечным на фоне окружавших его высоченных гор. Какой-то мужчина открыл нам дверь, и мы очутились в большом зале, занимавшем почти весь этаж. Зал этот изобиловал всякого рода стенками и перегородками, повсюду виднелись скамейки, обтянутые на крестьянский лад коровьими шкурами. На стенах в беспорядке были развешаны лассо, рога, шпоры, конская упряжь. Не случайно Альенде как-то назвал этот зал загоном.

После ужина на деревенский манер владелец дома пригласил нас в один из бесчисленных закутков выпить кофе и отведать домашней настойки. Ее делали из сухой вишни, которую присылали родители Агирре, жившие на севере.

Душой вечера по праву оказался Жоан Гарсес. Несмотря на свои научные титулы и занимаемую должность, он был лишен тщеславия и не только с увлечением говорил, но и всегда внимательно слушал своего собеседника.

Рамиро Агирре затронул тему фашизма, и Жоан Гарсес заметил:

— Одна из наших ошибок состоит в том, что мы называем фашизмом всякую оппозицию со стороны правых. Однако тут следовало бы учитывать целый ряд нюансов.

Вступление было обещающим — мы не прерывали Гарсеса, который говорил размеренно и громко, словно выступая с университетской кафедры:

— Мы иногда забываем, что стремление правых к власти — а история показывает, что оно присуще не только им,— само по себе еще недостаточно, чтобы называть их фашистами. Фашизм, как вы знаете, это относительно новое изобретение нашего века, возник в период между двумя мировыми войнами как средство против революционного подъема пролетариата. Это отчаянная реакция зрелого капитализма, почувствовавшего угрозу своему политическому господству. Не будь этой угрозы, буржуазия не нуждалась бы и в фашизме.

Агирре согласился с мнением Гарсеса, напомнив, что фашистское движение возникло в Чили в тридцатых годах и имело целью сокрушить Народный фронт, который тогда, так же как во Франции и Испании, одержал победу и здесь. Фашисты — это пожарные буржуазии, пошутил он. Они прибывают, когда в буржуазном доме вспыхивает пожар.

— Ваше сравнение правильно,— согласился Гарсес улыбаясь,— но с одной поправкой: в данном случае пожарные прибывают немного раньше, чем начнется пожар. В Чили здание буржуазии еще не горит, но правые предчувствуют такую возможность и полны решимости собрать силы, дать бой.

Зазвонил телефон, и Агирре, чтобы не мешать нашему разговору, вышел с аппаратом в другую комнату. Возвратился он с загадочной улыбкой на лице. Наверняка нас ожидало какое-то приятное известие. Однако от объяснений Агирре уклонился и попросил Жоана Гарсеса продолжать.

— Но,— Гарсес поднял вверх палец,— правые идут против веяний времени, против течения. Недавно,— сказал он конфиденциальным тоном,— состоялось секретное собрание иезуитов, на котором присутствовал экс-президент Фрей. Оказывается, руководство христианских демократов очень встревожено темпами, с которыми укрепляются позиции Народного единства. И Фрей прямо заявил, что если не принять мер сейчас, то потом будет уже поздно. Вот почему правые и проводят генеральную мобилизацию своих сил — начинаются первые выступления откровенно фашистского толка.

Я посмотрел на Марту, она сидела потупившись.

— Но при этом нельзя забывать,— вмешался Рамиро Агирре,— что проявления фашизма соответствуют общему плану реакции, подготовленному при участии и под руководством Соединенных Штатов. Наступление должно проводиться одновременно на внутреннем и на внешнем фронте. Здесь фашистские группы начали уличные инциденты, а в это время североамериканцы стягивают кольцо блокады, лишая нас продуктов питания и кредитов, подрывая нашу торговлю медью. С одной стороны, молот, с другой — наковальня, а мы — посредине.

Жоан Гарсес заметил, что теперь главная задача состоит в том, чтобы не допустить сближения средних слоев с правыми силами.

— Я считаю, что основную ответственность за то, что средние слои начинают склоняться вправо, несут леваки. Они встречают в штыки любые попытки правительства сблизиться со средними прослойками населения,— сказал Рамиро Агирре.— И правительство буквально парализовано их ультрареволюционным лексиконом, лишающим нас возможности маневрировать.

Я тоже внес свою лепту в дискуссию и задал вопрос: является ли неизбежным открытое сражение с леваками, если да, то почему оно не начинается? Мне ответила Марта:

— Ведь ультралевые — это все-таки левые, и изгнать их из Народного единства — все равно что выгнать из дома пусть непутевого, но родного сына. Очень трудно и больно.

Гарсес добавил, что были совершены серьезные ошибки в отношении средних слоев населения, особенно это касается мелких промышленников, кустарей и зажиточных крестьян, которым по программе Народного единства были даны кое-какие обещания.

— А мы только в конце 1971 года, то есть через год после прихода к власти, наконец удосужились определить, сколько мелких предприятий передадим в государственный сектор, кстати, до сих пор еще не знаем, какие именно. В сельском хозяйстве происходит то же самое, и неудивительно, что там уже возникают отряды «белой гвардии», состоящие из мелких производителей. Чего же здесь удивляться, откуда берутся кадры у фашизма,— закончил он.

Я слушал его не без удивления: разве он сам не член правительства, один из самых близких людей к президенту Альенде?

Как будто угадав мои мысли, он сказал:

— Сейчас не время объяснять, как все это случилось. Главное— найти выход из создавшегося положения, особенно в деревне. Ведь сокращение сельскохозяйственного производства потребует вдвое увеличить закупку продуктов за границей. А чем платить?

Выводы я делал уже сам: нехватка товаров, «черный рынок», острая инфляция, фашизм... Да, эмбарго на продажу чилийской меди в этой ситуации казалось коронным ходом противника.

Снова зазвонил телефон, и Агирре бросился снимать трубку.

— Сюрприза не будет,— возвратившись, печально объявил он.— Сальвадор не может приехать, как обещал. А жаль, ему очень хотелось хоть немножко побыть здесь, с нами.

В полночь мы стали собираться домой. Хозяин изъявил желание отвезти нас в Сантьяго. Мы запротестовали.

— Не беспокойтесь,— заверил он,— поездки в Сантьяго и особенно возвращения сюда ночью для меня настоящий отдых. Поэтому я и переселился в горы.

В ночной тишине мы доехали до города. Рамиро Агирре высадил нас с Мартой возле ее дома. Я проводил ее наверх, на восьмой этаж, но в свою квартиру она меня не пригласила — ее подруга сегодня вечером возвратилась из Вальпараисо.

Несколько расстроенный, я вошел в лифт и стал спускаться. На четвертом этаже кабина остановилась, в нее вошел Хуан Карлос Ортега — «несгибаемый революционер». Мы оба очень удивились этой встрече. Он путано объяснил, что заходил к знакомым, а спустившись вниз, поспешил проститься и ушел.

Поведение Ортеги никак не вязалось с его обычной болтливостью. Ведь он был пьян, а в таком состоянии его просто несет.

■

По улице Мерсед я прошел к парку Форесталь. В этой части геометрические контуры города неожиданно нарушаются капризным переплетением бесчисленных переулков. Я снимал квартиру на улице Росаль, неподалеку от холма Санта Лусия. В лабиринте прилегающих к проспекту улочек мне все еще трудно было находить свой дом, и все же этот район меня восхищал...

В Буэнос-Айресе я мог без устали бродить ночи напролет, как говорится, с закрытыми глазами и всегда знал, где я нахожусь. Здесь же приходилось радоваться, если не заблудился в двух шагах от дома. Но я не жалел об этих трудностях — лишние прогулки продлевали уединение, давали возможность еще и еще раз подумать о жизни в Сантьяго, столь насыщенной событиями.

Меня очень беспокоило благодушие левых, порожденное слепой уверенностью в том, что, соблюдая законность, они оказываются за ее щитом.

— В Чили никогда не произойдет никакой крайности,— уверял меня один журналист, приятель Марты.— Так что не стоит волноваться. Вы слишком серьезно воспринимаете бахвальство правых. Поверьте, когда дело дойдет до открытого столкновения, наша буржуазия окажется неспособной к риску. Вам известен закон автомобильных аварий? — И он объяснил мне, почему в городской сутолоке автомобили не сталкиваются сотнями. Получалось, будто все дело именно в том, что каждый водитель, сберегая свою машину, всячески стремится не врезаться в чужую, независимо от того, кто едет по правилам, а кто нарушает их.

Однако факты опровергали эти идиллические расчеты, и насилие уже входило в повседневную жизнь столицы. Разве «марш пустых кастрюль» и сопровождавшие его беспорядки не являлись открытым вызовом? А то, что недавно рассказал Жоан Гарсес об отрядах «белой гвардии», уже формируемых в селах? Да и налет на Марту в этих условиях был далеко не случаен. А что же Народное единство?

Должно ли оно исключить насилие из своего арсенала и проводить в жизнь своего рода гандизм? Но ведь надо учитывать, что гандизм побеждал невиданной численностью: многие миллионы приверженцев Ганди выходили на индийские улицы, в прямом и переносном смысле, блокируя движение британского империализма. Это была физическая демонстрация могущества масс, спаянных единой целью. И не важно, что все движение было облечено в религиозно-этическую форму. В Чили же массы были неоднородны, различные прослойки испытывали друг к другу недоверие, прежде всего из-за политики христианско-демократической партии. Левые силы не имели подавляющего влияния, которое позволило бы им полностью овладеть положением. Народное единство находилось в меньшинстве...

Приближалась ночь, на улицах становилось все меньше народа, но мне еще не хотелось возвращаться домой. «Вишневка» Рамиро Агирре будоражила кровь не хуже «писко», и я знал: заснуть будет довольно трудно. Кроме того, дома меня ждала куча всяких дел, а браться за них не хотелось. Я решил пройтись еще — до площади Бакедано.

Ночь была настолько спокойной, что невеселые мысли, навеянные словами Гарсеса, постепенно уходили, страхи начинали казаться преувеличенными. Может быть, действительно картина, которую я себе рисовал, была слишком пессимистичной, напряженность, которая, по моим предчувствиям, должна привести к взрыву, всего лишь следствие моих внутренних переживаний? Вопросы обступали меня как частокол, ответа на них я не находил.

С площади я спустился к сплетению улочек, на одной из которых жил. У перекрестка шумела толпа, слышались отдельные голоса, смех. Я подошел поближе и увидел длинную пеструю очередь, выстроившуюся у государственного продуктового магазина. Старики, юноши, женщины с младенцами на руках. Некоторые выглядели очень бедными, другие, наоборот, были хорошо одеты. Поскольку продвижения очереди до утра не предвиделось, люди устраивались на ночь как могли: кто ложился и спал прямо на земле, подстелив под себя пальто, кто сидел на маленьких стульчиках или раздобытых где-то пустых ящиках.

Вот она, одна из многочисленных «профессиональных очередей», о которых я уже слышал. Большинство в них, как правило, составляли люди, оплачиваемые правыми, имели задачу скупать самые ходовые товары, нехватка которых начала ощущаться в стране. Эти наемные очередники организовывались в «бригады», «закрепленные» за каждым государственным магазином. Мне рассказывали, что они имели двойную выгоду: получали плату за свой труд, а кроме того, перепродавали вдвое, а то и втрое дороже купленные у государства товары. Так мне объясняли происхождение этих очередей, но я терялся в догадках, почему правительство не покончит с этими «профессиональными очередями». Может, из того же опасения, что применение крутых мер приведет к развалу государственного аппарата?

Я вернулся домой уставший и подавленный, так и не найдя покоя в ночной прогулке. Да, похоже, в Сантьяго не осталось нейтрального времени суток. Даже ночи не приносили покоя...

■

В одно из воскресений мы отправились на самую крупную экспроприированную текстильную фабрику в Сантьяго — «Ярур». Марта устроила так, что нас включили в агитбригаду, ехавшую туда с концертом. В ответ на экономический заговор реакции Народное единст-

во призвало трудящихся к «добровольному труду» по выходным дням. И многие откликнулись на призыв. Однако правая печать всячески замалчивала эти своеобразные воскресники.

Я заехал за Мартой рано утром, она еще спала и никак не хотела подниматься, ворча на то, что «даже в воскресенье не дают отдохнуть». Накануне мы разошлись поздно: сначала были на выступлении московского цирка — сенсации тех дней,— потом в кафе со своими приятелями.

На душе у меня скребли кошки. В ближайшие дни надо было возвращаться в Аргентину — это предписывала телеграмма Пеллегрини. Марте я еще ничего не сказал ни о телеграмме, ни о предстоящем отъезде. Ее это никак не обрадовало бы. Она все еще не могла прийти в себя после бандитского налета и с каким-то отчаянием держалась за меня, словно чувствовала во мне гарантию своего покоя и безопасности...

Потеряв терпение, я заглянул в комнату, но в потемках ничего не увидел. Но вот послышался ее голос — она просила отдернуть штору и приоткрыть окно. Оказывается, Марта уже проснулась и полусидела на кровати, прислонившись к стене. Рядом с нею на ночном столике лежал пистолет и коробочка со снотворным. Заметив мой удивленный взгляд, Марта сказала, что без снотворного не может спать так же, как и без пистолета: ей кажется, что опять могут ворваться налетчики...

Я обнял ее, до боли чувствуя сострадание и неодолимое влечение к ней. Она ответила всем своим гибким телом. Голова пошла кругом, и я робко предложил: «Может, поедем на фабрику в другой раз?» Она хитро на меня посмотрела и погрозила пальцем: «Ах ты, мелкобуржуазный оппортунист». Потом с сожалением развела руками, сказала: «Надо ехать» — и, взяв халат, решительно поднялась с кровати.

Всю дорогу меня не покидало ощущение, будто мы направляемся на загородную прогулку. На Марте была туго обтягивавшая ее кофточка, шея повязана газовой косынкой. Я облачился в свой легкий костюм, который на всякий случай бросил в чемодан в Буэнос-Айресе. Несмотря на недосыпание, чувствовали мы себя бодрыми и свежими, надеясь интересно и с пользой провести воскресенье.

Экспроприация больших текстильных предприятий была первым решительным мероприятием нового правительства. Это было вскоре после победы Альенде, когда реакция еще находилась в полной растерянности. Экспроприация рассматривалась как конкретный революционный шаг, поскольку ею узаконивалось то, что профсоюзы уже осуществили на практике. Трудящиеся сами взяли эти фабрики под свой контроль, потому что хозяева сокращали производство, а выпускавшуюся продукцию продавали по завышенным ценам на черном рынке. Закон об экспроприации обосновывался тем, что текстильная промышленность имеет жизненно важное значение для страны и свертывание ее недопустимо.

Название фабрики «Ярур» на огромном решетчатом щите было исправлено довольно своеобразно: впереди добавили слово «бывшая». Как все, оказывается, просто делается!

— Все равно как если бы социализм назвали бывшим капитализмом,— скаламбурил я.

Гостей и артистов принимали на просторном дворе. Профсоюз хорошо подготовился к этой встрече: прямо под открытым небом были расставлены столы с прохладительными напитками и бутербродами. Среди приехавших было много известных артистов, особенно

певцов. Виктора Хару сразу же окружила молодежь, с восторгом рассматривая своего кумира и засыпая его вопросами.

Марта здоровалась то с одним, то с другим знакомым, водя меня за руку, как ребенка, между столами. Атмосфера была здесь совершенно иной, чем в городских кафе. Вот он, подумал я, материальный переход к социализму. Отношения гостей и хозяев были преисполнены сердечности, будто мы присутствовали на торжественном открытии революции. И действительно, здесь почти осязаемо ощущалось то, что связывалось в моем сознании с социализмом: появление «нового человека», готового целиком отдать себя делу революции, ее продвижению вперед.

По фабрике нас взялся сопровождать один из руководителей профсоюза, знакомый Марты. Это был подвижный, как ртуть, человек, непринужденно державшийся и отлично знавший историю фабрики «Ярур». Пока мы ходили по цехам, он рассказал нам, что Яруры, бывшие хозяева фабрики, основали ее более тридцати лет назад на капиталы, ввезенные из Боливии. Во время боливийско-парагвайской войны они как-то ухитрились добиться заключения с боливийской армией контракта на поставку солдатского обмундирования и быстро разбогатели...

Большинство цехов фабрики работало на полную мощность. Добровольный гид рассказал нам, что сейчас они создали комитет бдительности, имеющий целью предупреждение вредительства — бывшие хозяева и христианские демократы стали вербовать саботажников. Он также объяснил, что фабрика сталкивается с большими трудностями: не хватает сырья и запасных частей, поставку которых прекратили Соединенные Штаты. Чтобы выйти из положения, рабочие создали цех, где местные умельцы изготавливали недостающие запчасти.

В одном из цехов разместилась выставка картин современных чилийских художников, в большинстве своем абстракционистов.

— Художники,— пояснил наш гид,— сами привезли сюда свои картины, желая подчеркнуть солидарность с рабочими, взявшими в свои руки управление фабрикой.

— А каково мнение рабочих о картинах? — поинтересовался я.

— Откровенно говоря, нам пока не очень понятна такая живопись,— ответил с улыбкой он,— но надеемся со временем переварить. Конечно, мы многого еще не знаем и не умеем.

Руководящий пост обязывал его быть немножко философом.

— Скажите,— спросил я еще,— вот правая печать утверждает, будто часть своей зарплаты ваши рабочие получают натурой, за счет произведенной продукции, а потом самостоятельно реализуют ее на «черном рынке». Это правда?

Услышав мой вопрос, Марта несколько смутилась. Но наш сопровождавший счел его вполне уместным.

— Проблема сводится к тому,— ответил он,— что нельзя в один день, не вызывая особых осложнений, ликвидировать такую форму оплаты, введенную еще бывшими хозяевами. Мы думаем, что она отомрет сама собой, когда возрастет производительность труда и изобилие товаров покончит с «черным рынком».

После осмотра был дан концерт. Рабочие стояли группой под открытым небом возле столов с прохладительными напитками. Перед выступлением гости произносили короткие приветственные речи.

— Вы вдохновляете нас,— говорил какой-то художник,— сейчас наше творчество имеет смысл, и мы можем утверждать, что вместе с трудящимися участвуем в строительстве нового общества...

Речи перемежались популярными песнями, восхваляющими чилийскую революцию и высмеивающими буржуазию.

Вдруг, когда мы вместе со всеми горячо аплодировали Анхелю и Исабеле Парре, я почувствовал, как Марта судорожно сжала мой локоть. Сначала мне показалось, что ей стало нехорошо — ведь она мало спала в эту ночь. Но, как оказалось, дело было в другом.

— Посмотри вон на того типа в куртке с позолоченными пуговицами. Это один из тех двоих.

— Ты уверена?

Она утвердительно кивнула. Когда его взгляд на мгновенье, как бы случайно, остановился на нас, я решил, что надо действовать. Я подскочил, крепко схватил его за лацканы и закричал: «Фашист! Ничтожество!» Откуда-то он выхватил нож и, не размахиваясь, ударил меня в грудь. Вырвавшись, он перемахнул через фабричный забор и был таков.

Началась паника. Толком никто ничего не понял. Музыка прекратилась. Марта что-то кричала, но ее никто не слушал.

Я лежал на асфальте, опрокинутый навзничь. Теплая липкая кровь затекала под спину. Потом в глазах потемнело, все завертелось, и я потерял сознание.

■

Я был уверен, что Пеллегрини не поверит в историю о нападении бандита с ножом, которую я ему изложил в письме, как только немного оправился. Слишком много было в нем крови и слишком мало желания вернуться в Буэнос-Айрес. Но для пущей важности я послал ему вырезки из левых газет. Но что такое публикация в прессе? К нему могли попасть и правые газеты! А в них речь шла об «аргентинском сутенере, попавшем в какую-то любовную историю с женщиной, известной своим сомнительным поведением и путающейся с политиками». История эта произошла в один из так называемых «дней добровольного труда», объявленных Народным единством, «а на самом деле — очередной воскресной оргии с участием левых журналистов и работниц текстильной фибрики». Не хватало только фотографии Марты, полученной во время налета на ее квартиру!

Моя рана оказалась не очень глубокой и не очень опасной, хотя и была в области сердца. Тем не менее на пункт скорой помощи я попал почти бездыханным, потеряв много крови. Теперь я нуждался в отдыхе и покое. Тем летом стояла ужасающая жара, и в Сантьяго днем было невыносимо душно. Марта решила увезти меня подальше от этого ада. В Исла Негра ей удалось снять домик.

Домик оказался довольно далеко от берега океана, но имел одно преимущество — был окружен огромными эвкалиптами. Чтобы стать на ноги и отдохнуть в одиночестве, лучшего места не придумаешь. Вялые, монотонные дни ничто не разнообразило, кроме игры ветра в кронах деревьев. И тишина, нарушаемая сказочным шелестом, окружала нас, как целебный барьер. Грозный ураган и рев волн, поднятых им, остались где-то там, по ту сторону барьера, а здесь ничто не напоминало о его разрушительной силе.

Утра были прохладные и умиротворяющие. Марта хлопотала по хозяйству, и видно было, что это ей нравится. То и дело она начинала напевать себе под нос, а иногда позволяла и немудреные па. Неужели она отводит душу после городского «равноправия женщины»?

К счастью, мы могли слушать передачи только местной радиостанции, а они тоже действовали успокаивающе. Станция еще не при-

соединилась к пропагандистскому хору оппозиции и заполняла свои программы информацией о местных событиях, музыкой.

Я чувствовал себя с каждым днем все лучше и наслаждался отдыхом, в котором, как считал раньше, вовсе не нуждаюсь, но который лишь теперь полностью оценил. Как-то утром, когда Марта ушла в поселок за покупками, я, чтобы убить время, подошел к стеллажам с книгами и стал разбирать их. Мне попадались невероятные творения, уже давно забытые. Иногда я осторожно перелистывал страницы, просматривал предисловия. О боже! От чего захлебывались их авторы, какую шелуху выдавали за откровение! А сами писатели, жрецы человеческого духа, марали бумагу, зарабатывая на хлеб насущный или теша гордыню, забывая о чести и достоинстве человека!

Мне попалась подшивка чилийского еженедельника «Зигзаг». Я читал тетрадку за тетрадкой и думал, как убоги были интересы большинства его читателей. Ну взять хотя бы такое событие 1904 года, как футбольный матч между «Вандererс» из Вальпараисо и чемпионом столицы. «Вандererс» победил со счетом 5:1. Репортаж на нескольких страницах сопровождался многочисленными иллюстрациями в коричневом цвете: приезд болельщиков, облепивших паровоз, зрители, расположившиеся с флажками в живописном беспорядке прямо на беговой дорожке, пикник, последовавший вслед за матчем, футболисты, стоящие в обнимку и старающиеся скрыть волнение неестественными улыбками. Неправдоподобно далекие идиллические времена...

С базара возвратилась Марта. На голове у нее был платок, в руках — корзинка с продуктами. Увидев книги, она сразу же принялась ворчать: «Опять устроил в доме разгром». Тогда я подхватил ее на руки и, несмотря на боль, поднял, расспрашивая, не слыхала ли она о замечательной победе «Вандererс». Ей, наверно, показалось, что я сошел с ума.

В корзинке с продуктами, оставленной Мартой у дверей, я заметил пачку газет, наверно, за целую неделю. Бросались в глаза огромные буквы тревожных заголовков. Марта сообщила: убит Перес Сухович. Я не понял, что она этим хотела сказать, имя Суховича было мне неизвестно.

Марта показала мне газеты с подробностями этого террористического акта. Члены так называемого НРА, «Народно-рабочего авангарда», изрешетили выстрелами автомобиль Суховича. Так же, как и о Суховиче, я впервые слышал о НРА. Марта объяснила, что Суховича был одним из руководителей правого крыла христианских демократов. Его обвиняли в том, что в бытность свою министром он являлся инициатором расстрела сельскохозяйственных рабочих. В последнее время он отошел от активной деятельности, и Марта очень удивилась выбору жертвы. НРА возник совсем недавно и, по словам Марты, подозрительно активно критиковался реакцией, как крайне левая группировка. Даже само название НРА она считала изобретением ЦРУ.

— Без американцев здесь не обошлось,— заявила она,— в этом нет никакого сомнения. От подобных «рабочих» организаций всегда отдает зловонием.

Судя по газетам, это убийство было для правых весьма выгодно. На похоронах плечом к плечу стояли христианские демократы и рота почетного караула от армии. Чего еще могла желать реакция?

Я принялся наводить порядок в комнате. Былое настроение исчезло. И завтрак, с таким старанием приготовленный Мартой, показался пресным. Мысли мои летели в Сантьяго.

— Неужели ЦРУ настолько проникло во все поры вашего общества? — спросил я Марту.

Мы оба смотрели на раскаленный солнцем дворик. Марта вдруг прекратила есть и резко ответила:

— А кто же, по-твоему, направляет правых, работу многих десятков радиостанций, издание всех их газет?

Мне почему-то казалось, что ЦРУ занимается крупными акциями. Вот эмбарго на продажу меди — дело его рук, а это...

■

Я уже совсем оправился от своего ранения, и Марта надумала показать мне Исла Негра. Когда мы вышли в поселок, я понял, почему Пабло Неруда выбрал его на побережье страны. Поэт «придумал» себе Исла Негра еще тридцать лет назад и здесь в затворничестве начал свою знаменитую поэму — «Всеобщую песнь».

Исла Негра[1], собственно, не является островом. Местечко удивительной красоты, но не очень почитаемое отдыхающими. Океан тут всегда волнуется, и любителям купаний делать в Исла Негра нечего. С берега, о который с бесконечной монотонностью бьются мощные волны, мы смотрели на дом Пабло Неруды. Насколько я мог понять, чья-то неоконченная постройка, расположенная на высоком берегу, послужила поэту отправным пунктом для создания его нынешней легендарной резиденции. Теперь ее едва можно было различить сквозь зеленое ожерелье сада. Через несколько лет, когда Пабло Неруда уже обжился, у него появились соседи, и уединенный дом превратился в живописный, как лубочная картинка, поселок — нынешний Исла Негра. Он морщился кривыми улочками с морскими названиями, а небольшие мосты и узенькие дорожки, сходящиеся к главной дороге, создавали впечатление игрушечности.

Марта была знакома с Нерудой и даже могла считать его своим другом. Во время избирательной кампании Альенде, в которой поэт принимал участие, она сопровождала его в агитпоездках в качестве корреспондента своей газеты.

Как-то в поселке Марта встретилась с Матильдой, женой поэта, и та пригласила нас в гости. Однако мы долго не решались воспользоваться приглашением — не хотелось отвлекать поэта, которого и так одолевали толпы журналистов, искренних ценителей и псевдопоклонников. В эти дни я часто вспоминал строки Пабло Неруды, очень точно выражавшие наше состояние:

Мы вместе в мрачных зарослях души
Тигрового неистового лета...

Более того, казалось, здесь в эти душные дни стихи Неруды приобретают для нас какой-то свой первоначальный смысл...

Вся окрыленность, все волнение молодости, которые, как я считал, уже давно похоронены в рутине дел, вдруг снова ожили во мне и наполнили жизнь давно забытым содержанием.

■

И все же, несмотря на очарование обретенного нами рая, мы были неисправимы. Нас постоянно влекла наша извечная страсть — политика. О чем бы Марта ни рассказывала: о своем родном городе, о школьных годах или просто вспоминала какой-нибудь смешной слу-

[1] Черный остров *(исп.)*.

чай — я живо интересовался политическими событиями того периода. Она была еще школьницей, когда другое подобие «Народного единства» победило, как и теперь, на президентских выборах. В сентябре 1946 года левые силы Чили также добились успеха — провели на пост президента Гонсалеса Виделу, кандидата коалиции, включавшей марксистские партии — коммунистическую и социалистическую. Гонсалес Видела родом был из Ла Серены, родного города Марты, потому она хорошо знала все детали его карьеры.

— Это было как раз тогда, когда я делала первые шаги в левом движении,— вспоминала Марта.— Мы, студенты, поддерживали Левый фронт и участвовали в избирательной кампании вплоть до победы «Предателя». Я была одним из самых активных руководителей этой кампании в нашей школе, и в тот вечер, когда объявили о победе, мы организовали настоящий праздник с карнавальным шествием, продолжавшимся до утра...

«Предателем» в Чили называли Гонсалеса Виделу. Своим избранием на пост президента он был обязан решительной поддержке коммунистов и социалистов, но уже через год он объявил компартию вне закона, создал концентрационные лагеря, в которые сослал тысячи активных членов партии.

Марта говорила страстно, и я подбросил хвороста в огонь, когда спросил, в чем разница между тем временем и этим. «Ну как же,— быстро заговорила она,— Альенде — несгибаемый марксист, а Гонсалес Видела — предатель, демагог из центристской партии радикалов. Кроме того, надо учитывать, что сейчас большинство в левом лагере составляют две мощные революционные партии — коммунистическая и социалистическая, чего тогда не было.

А потом Марта объяснила, каким образом в 1946 году был осуществлен раскол Левого фронта и как реагировал народ на репрессии в отношении коммунистической партии.

— Понимаешь, Гонсалес Видела воспользовался нейтрализацией масс, настояв на запрещении забастовок, ссылаясь на то, что это якобы могло затруднить работу правительства. Кроме того, как раз в эти годы началась «холодная война», и он, рассчитывая на признательность и поддержку американцев, поставил себя на службу их внешней политике. А для этого нужно было всего-навсего пожертвовать компартией, что он и сделал. Что же касается реакции народа, то она последовала незамедлительно. Была объявлена всеобщая забастовка: она парализовала работу школ, медных рудников и угольных шахт. Но выступление трудящихся было безжалостно подавлено армией. Я хорошо помню, как рабочих на поездах и пароходах увозили на север в концентрационные лагеря. Редакция газеты компартии «Эль сигло», той самой, что издается и сейчас, была разгромлена полицией. Пабло Неруда опубликовал тогда свой памфлет «Я обвиняю», адресованный «Предателю», который объявил розыск поэта по всей стране и вынудил его эмигрировать в Аргентину. Неруда пробрался туда через Кордильеры в костюме погонщика вьючных животных.

— Значит, двадцать пять лет назад движение Левого фронта и рабочие профсоюзы были подавлены с помощью армии,— заключил я.— А тебе не кажется, что это следовало бы учитывать и сегодня?

— Конечно, следовало бы,— но в ответе Марты не чувствовалось уверенности, и уже в следующий момент, словно убеждая себя, она повторила обычные заверения левых в том, что армия теперь не та, что нынешние военные проявляют почти фанатическую приверженность законности.

— Неужели чилийская революция рассчитывает на буржуазную законность! — удивился я.— Это все равно что опираться на бумажные стены в японских домах. Разве не правда?

— Правда или неправда,— отмахнулась Марта,— выбор сделан, и уже поздно что-либо менять!

Это был тупик. Поэтому я не упорствовал, не приводил зловещие факты из истории чилийской армии: избиение трех тысяч рабочих, их жен и детей в районе селитряных копей в начале этого века, расстрел трудящихся на севере страны в двадцатых годах, установление военной диктатуры, длившейся около четырех лет в тридцатых годах. И это не говоря уже о совсем недавних событиях — о расстреле рабочих меднорудной промышленности во время президентства Фрея и репрессиях в отношении населения южных районов.

Я не хотел огорчать Марту этими напоминаниями. Мне все еще слышался ее ответ: «Выбор сделан, и уже поздно что-либо менять!» Приходилось утешаться надеждой на то, что нынешняя чилийская армия действительно останется верной законности.

— Пойдем погуляем,— только и мог предложить я.

Как-то после обеда к нам в дом постучались. Марта пошла открывать и тут же вернулась, объявив, что принесли приглашение на ужин к Неруде. Она с трудом разобрала надпись на открытке. Зеленые буквы были расположены так, что, закручиваясь, создавали очертания цветка. Последняя буква слова «приходите» была связана с первой буквой следующего и так далее, а вся фраза изображала маргаритку.

Пабло Неруда принял нас в полуподвальчике своего дома, перестроенного под таверну. Там уже сидело несколько гостей, а хозяин, находившийся за стойкой, исполнял роль бармена. Он оказался гораздо крупнее, чем я предполагал: достаточно высокий и полный, внушительно широкоплечий. И в то же время в нем чувствовалось изящество или благородство, которому я сразу не мог найти точного определения. Позже, кажется, я понял, что своеобразие личности гениального чилийца заключалось в некоем «персональном ритме», выделявшем Неруду среди других людей. Его движения были замедленны, но экономны и точны, их дополняла размеренная речь, сопровождаемая выразительной, но без суетливости, жестикуляцией. При этом в нем не чувствовалось желания отделиться от людей, наоборот, он прямо-таки стремился к общению, что сначала буквально обескураживало и даже вызывало, я бы сказал, какое-то беспокойство. К этому следует непременно добавить своеобразное выражение всего его лица, особенно взгляда, в котором постоянно искрились смешинки. И с первого момента знакомства с Нерудой, да и после было как-то странно сознавать, что ты тоже являешься объектом его внимания, а не только он твоего, что было гораздо логичнее.

Помимо нас гостями были еще несколько человек, с которыми мы едва перебросились несколькими словами, потому что рядом с таким гигантом, как Неруда, забываешь обо всем, даже о себе. Ты как бы слепнешь от яркого света, излучаемого им. Причем со стороны поэта не было и тени рисовки или желания как-то «преподнести» себя. Его поведение было очень естественным, а все, что он говорил,— умно, но, как говорится, без «умничания».

Марта и я, по словам хозяина, были его «почетными гостями». Таким образом, мы вознаграждались за все, что пережили в Сантьяго. Неруда только для нас с помощью особого миксера приготовил некий фантастический напиток, вспыхнувший голубым пламенем, едва лишь к бокалу поднесли спичку.

— Этот священный огонь — символ братской солидарности,— заметил он.

Поэт потчевал нас как участников революционных событий и жертв фашизма, вздымавшегося волной по всей стране.

— Если фашисты стали совершать налеты на наших милых женщин,— сказал Неруда, подавая нам бокалы,— то это значит, что они готовы идти напролом. Поэтому, товарищи, будьте бдительны! Для нашего народа начинается самый трудный отрезок пути!

Гости поэта располагались за круглыми столиками на вращающихся креслах, что позволяло им не связывать себя рамками светского этикета, а свободно разговаривать с кем угодно, в том числе и с теми, кто занимал соседние столики.

На неотесанных балках потолка были написаны имена умерших друзей Пабло, прозаиков и главным образом поэтов: Альберто Рохаса Хименеса, Федерико Гарсиа Лорки, Сесара Вальехо, Ильи Эренбурга, Поля Элюара, Назыма Хикмета, Робера Десноса. Но почти половина балок в своеобразном перечне ушедших из жизни оставалась еще незаполненной. Это служило поводом для невеселых шуток: конечно, мол, весьма почетно находиться там, но...

На одной из стен «таверны» висел плакат с карикатурным изображением лица Неруды, а под ним — оскорбительная надпись. Заметив мое недоумение, хозяин объяснил, что это — «приветствие» венесуэльских экстремистов, которое он привез из поездки в Каракас несколько лет тому назад...

До ужина еще оставалось время, и Пабло пригласил нас с Мартой и друга своей юности поэта Омеро Арсе прогуляться по саду. Арсе почти постоянно находился с Нерудой, помогал ему в работе над письмами, в разборке бумаг и выполнял, как я понял, даже некоторые причуды друга, связанные главным образом с приобретением редких вещей, которыми был полон этот дом. Одним из последних приобретений Неруды был тяжеленный якорь от старинного корабля, для перевозки которого к обрывистому берегу потребовалась повозка, запряженная несколькими волами.

Пабло шел с Мартой впереди, держа ее под руку, и что-то говорил. Мы с Омеро следовали неподалеку от них. Мой спутник рассказывал обо всем, что попадалось любопытного на нашем пути, предвидя, очевидно, мои вопросы. В одном из уголков сада стоял огромный выкрашенный в черный и белый цвета деревянный башмак весьма вычурной формы, характерной для начала века. Омеро пояснил, что это была реклама сапожной лавки городка Темуко, в котором прошло детство Неруды. Будущего поэта приводил в восторг этот башмак и запомнился ему на всю жизнь.

— Я сам ездил в Темуко, чтобы любым путем заполучить его,— смеясь, рассказывал Омеро, вспоминая свои переговоры с недоверчивым владельцем сапожного магазина.— Башмак, уже давно вышедший из моды, валялся у него в чулане. А потом мне пришлось везти его сюда, а он никак не умещался в купе вагона... Кстати, было бы хорошо, если бы Паблито,— так он называл Неруду,— показал вам и коня...

Я не успел уточнить, о каком коне шла речь, как мы подошли к поджидавшим нас Марте и Неруде.

Они стояли в конце эспланады, откуда даже в этот поздний час хорошо просматривалось все побережье близ Исла Негра. Неруда убеждал Марту в том, что, продолжая решительную борьбу с фашистами, надо позаботиться и о своей безопасности. Можно даже попросить для себя личную охрану.

— У кого попросить? — возражала Марта.— Уж не у полиции ли?

— Зачем у полиции, обратись к партии,— советовал Неруда.

Никогда мне не приходилось видеть такого моря, как здесь в Исла Негра. Словно взбудораженное какой-то нестерпимой страстью, оно яростно билось о скалы. Волны набрасывались на прибрежные камни со страшным шумом, и брызги разлетались так далеко, что доставали даже до нас. Вода в пенных вихрях взмывала вверх, и, казалось, этот водоворот так и останется там, наверху, потому что налетала следующая волна, такая же огромная, как и предыдущая, и взрывалась под ней с той же неукротимой силой. Было такое впечатление, будто океан впал в безумство. От разбушевавшейся стихии невозможно было оторвать взора. Даже Неруда, для которого это зрелище было обычным, вместе с нами созерцал в молчании не знающую предела слепую мощь океана.

Что за страна — Чили! Во всю длину ее территории, как хребет чудовища, пролегла высоченная горная цепь, полная грозных сил, и подчас они вырываются наружу ослепляющими вулканическими извержениями. А почти у подножия гигантских гор бешено бьется океан! Сколько в этой стране неукротимой энергии и силы!..

■

Только что стало известно еще об одном коварном ударе, нанесенном правыми Народному единству: располагая большинством в парламенте, они добились смещения Хосе Тоа с поста министра внутренних дел. Христианские демократы обвинили его в «беззакониях», а остальная часть правых в парламенте с удовольствием поддержала резолюцию о недоверии ему. Резолюция обвиняла министра в том, что он не обеспечил необходимую полицейскую охрану «маршу сеньор», нашумевших на всю страну своими пустыми кастрюлями. Альенде немедленно сделал ловкий ответный ход в этой невероятной и ожесточенной схватке: он поставил Тоа во главе другого министерства — ни больше ни меньше как национальной обороны. В конституции ничего не говорилось о невозможности такого перемещения, поэтому оппозиция не нашла возражений и вынуждена была отступить.

Посмеявшись над очередным трюком реакции, Марта и Пабло замолчали. Мы подходили к дому.

Я поинтересовался, о каком это коне говорил Омеро Арсе и нельзя ли на коня посмотреть. В глазах Неруды промелькнула хитринка.

— Что ж, я из него секрета не делаю. Мой конь отнюдь не троянский, и даже не конь, а всего лишь невинный жеребенок, так же, как он,— Неруда указал на своего друга,— пока еще не Гомер, а только Омеро [1].

С этими словами он подвел нас к какой-то постройке, стоявшей в стороне от дома. Рабочий открыл дверь, и мы очутились в длинном коридоре, который был, как оказалось, подводным тоннелем. В конце его мы вошли в библиотеку. В дальнем углу стояла прекрасная черная лошадь, изготовленная из дерева в натуральную величину и украшенная сбруей. Это была вторая игрушка, которая восхищала Неруду-ребенка. Она так же, как и огромный башмак, служила рекламой какого-то магазина — вероятнее всего, магазина конской упряжи — в Темуко.

— Это все равно как схватить детство за хвост и держать его всегда перед собой,— сказала Марта, восхищенная этой удивительной игрушкой.

Осматривая хозяйство поэта, мы наконец подошли к его святая святых — к рабочему столу в виде капитанского столика, который

[1] По-испански оба имени пишутся одинаково.

стоял в середине помещения, рядом с иллюминатором. В этом святилище Неруда вырабатывал то, что он называл своей «Поэзией» — мед божественного вкуса. Я увидел лист, наполовину исписанный уже знакомыми мне зелеными чернилами. Не в силах сдержаться, я потрогал его рукой, будто это было что-то живое.

— Хочешь взять на память? — спросил поэт.— Можешь забрать.

Пока я, не веря своему счастью, прятал листок черновика, Марта «обнаружила» необыкновенную книгу. Омеро Арсе объяснил ей, что это был один из полусотни экземпляров поэмы «Высоты Макчу-Пикчу», изготовленных вручную австрийским художником Хундертвассером.

Куда ни бросишь взгляд в этой библиотеке, всюду можно увидеть необычные вещи: книги-малютки и великаны, первые издания Рембо, Маларме, Лотреамона. Но больше всего там было книг о путешествиях со старинными гравюрами. Мне вспомнились забытые богом и людьми книги из шкафа на нашей даче. От них, как обычно от всех книжных шкафов и полок, отдавало кладбищем, тленом. Здесь же под редкими обложками била жизнь.

Я знал, что Неруда — страстный коллекционер. Он, например, собрал коллекцию морских раковин, восхищавшую и специалистов.

— Да нет, никакой я не коллекционер. Просто обо мне так думают. Существуют вещи, разбросанные по морям или по жизни. Вот они в конце концов и сталкиваются со мной или с моим домом как «флотсэмы».

Увидев, что я не понял его, он пояснил:

— Так английские моряки называют вещи, плавающие по волнам.— И без тени улыбки добавил: — Я и сам флотсэм, и моя поэзия тоже. Я не изображаю стихов, просто пою, повинуясь зову своего сердца.

У главного здания нам сообщили, что к ужину прибыл Мариано Кортес. Омеро Арсе с улыбкой заметил: «А, человек ЦРУ».

Мариано Кортеса не трудно было узнать: он стоял в окружении гостей и что-то увлеченно рассказывал. Ломая все представления о молчаливости чилийцев, «человек ЦРУ» говорил без умолку, словно строчил из автомата.

Марта была, видимо, знакома с ним: здороваясь, он бесцеремонно поцеловал ее в щеку. Неруду, а затем и Омеро Арсе он запросто похлопал по спине. Все это он проделал, не теряя нити рассказа.

— Понимаешь, не выдержал и вот приехал в Исла Негра повидаться с тобой,— объяснил он Неруде.— Все идет точно так, как я предсказывал в прошлый раз. Например, обвинение в адрес министра Тоа совпадает до деталей. И насколько хитро все проделано!

Потом я понял, почему его называют «человеком ЦРУ». Просто изучение механизма ЦРУ было его хобби.

Сейчас он разоблачал новый заговор.

— Помнишь,— обратился он к Неруде,— я тебе говорил о «Сан-Франциско кроникл»? Так вот, она, ссылаясь на планы ЦРУ, прямо пишет о готовящихся свержениях латиноамериканских правительств... Для этого выделен фонд в четырнадцать миллионов долларов и создан «мозговой трест»...

— Конечно, помню,— с улыбкой отозвался Неруда,— я даже помню, что план этот назывался «Кентавр».

— Не смейся! — воскликнул Мариано Кортес и побежал за своим портфелем.

— Да нет, Мариано, я смеюсь не над тобой,— сказал Пабло, когда тот вернулся.— Меня рассмешило название этого плана — «Кентавр». Вообще названия, которые всему дают американцы, звучат для

меня нелепо. Циклонам, например, дают имена проституток... Совершенно отсутствует чувство юмора. Ну что ты там принес?

Мариано Кортес, не обращая больше внимания на шутки, копался в своем вместительном портфеле.

— Вот она,— сказал он, вытаскивая связку бумаг,— это тебе не юмор, а нечто большее.

Это были знаменитые «документы ИТТ»[1], опубликованные американским журналистом Джеком Андерсоном в газете «Вашингтон пост» и вызвавшие оживленные отклики во всем мире. Через несколько дней опубликовало их и чилийское правительство.

Могущественные силы ИТТ и ЦРУ начали борьбу с Альенде сразу же после его победы. Период в два месяца со дня выборов 4 сентября 1970 года по ноябрь того же года, когда он занял президентский пост, был как бы «ничейным временем». И уже 15 сентября посол Соединенных Штатов в Чили Эдвард Кэрри получил послание госдепартамента, открывшее ему от имени президента Никсона «зеленую улицу»: послу предоставлялись все права поступать так, как он найдет нужным, чтобы не допустить прихода Альенде к власти.

В те дни реакция впала в отчаяние, она буквально сходила с ума. По ночам всюду рвались бомбы, на бирже спровоцировали панику, чтобы испугать людей, заставить их брать из банков сбережения, бежать из страны. Не добившись таким путем хаоса, правые организовали убийство главнокомандующего армией[2], делая ставку на военный путч, который, однако, не удался. Народное единство вывело трудящихся на улицы, призвав их бороться до конца за свою победу, и таким образом остановило реакцию. Христианско-демократическая партия вынуждена была пойти на попятную — голосовать в парламенте за Альенде.

И как раз в те дни американцы перевели в Чили миллионы долларов. Деньги расходовались на средства массовой информации: на правые газеты, радио, телевидение, на подкуп журналистов и политиков, на выплату «гонораров» военным. На эти деньги была создана фашистская банда «Патриа и либертад».

Руководство ИТТ заявило Киссинджеру, что компания в состоянии оказать помощь суммами, исчисляющимися шестизначными цифрами. Среди мер, предлагавшихся этой компанией для удушения чилийской революции, были такие, как отказ американских банков от предоставления Чили кредитов, а промышленных компаний, имеющих там свои предприятия,— от перевода денег, посылки материалов и запасных частей.

Вместе с тем американцы понимали, что поражение Альенде в парламенте представлялось маловероятным. Поэтому они по-прежнему прилагали усилия к тому, чтобы Фрей или военные организовали переворот против Народного единства. В частности, принимались меры, чтобы спровоцировать крайне левых на насильственные действия, создать благоприятные условия для вмешательства военщины.

■

То, о чем говорилось в документах ИТТ, было в общем-то очевидно и так. Но документальное подтверждение вмешательства США в чилийские дела с указанием конкретных имен американских политиков и чилийских правых деятелей было скандально и ошеломило всех.

---

[1] «Интернэшнл телефон энд телеграф» — американская монополия, через которую ЦРУ субсидировало подрывную деятельность в Чили.

[2] Речь идет о генерале Рене Шнейдере, близком друге Альенде, убитом реакцией.

— Знаешь, что меня разволновало больше всего? — спросила Марта, когда мы возвращались домой.— То, что документы касаются «доисторического периода», то есть периода еще до прихода Альенде к власти. Но можно себе представить, что они вытворяют или замышляют теперь! Нам надо возвращаться в Сантьяго. Я не могу сидеть здесь сложа руки...

Решимость, написанная на лице Марты, пугала меня. Ее пошатнувшееся здоровье могло не выдержать напряженной политической борьбы. А как человек цельный, она всему отдается с головой, не думая о себе. А мне придется скоро уехать. Значит, она останется без защиты. Случайно я вынул из кармана подаренный мне Нерудой листок из его дневника. Там было написано:

> «**Коммунисты.** Прошло уже немало лет, как я вступил в партию... И я доволен... коммунисты составляют хорошую, дружную семью... У них прочная кожа, закаленные сердца... Отовсюду на них сыплются удары... Для них только палки... Да здравствуют спиритуалисты! Да здравствуют монархисты, преступники всякого толка!.. Да здравствует философия — дым без огня... Да здравствует собака, которая лает, но не кусает, да здравствуют астрологи, развратники, да здравствует порнография, цинизм, крабы, консерваторы, но только не коммунисты!.. Да здравствуют пояса целомудрия, да здравствуют консерваторы, не моющие своих идеологических ног в течение пятисот лет! Да здравствуют вши бедных поселений, бесплатная братская могила, анархо-капитализм, Андре Жид с его мужицкой благообразностью, да здравствует любой мистицизм! Все хорошо. Все — герои. Должны выходить все газеты. В них могут печататься все!.. Кроме коммунистов...»

■

В Сантьяго меня ожидала вторая телеграмма от моего шефа Пеллегрини. Основной ее смысл сводился к тому, что мне прекращались выплаты «по определенным и весьма веским причинам» и предлагалось срочно возвратиться в Буэнос-Айрес для «получения новых указаний». В то же время телеграмма заверяла, что мне не следует беспокоиться, так как «все будет соответствующим образом урегулировано» с учетом «опыта работы в Чили», приобретенного мной. Сообщалось также, что мне высылается билет на самолет.

Я был поставлен, как принято выражаться, «перед фактом». К сожалению, эти «факты» возникают, будто настоящие призраки, именно тогда, когда с головой уходишь в какое-нибудь дело, забыв о хрупкости человеческих замыслов.

Очень досадно! Ведь мы с Мартой собирались подготовить серию статей для ее газеты. Прежде всего мы хотели детально прокомментировать документы совещания исполкома Народного единства, состоявшегося в Эль Аррайане. В центре внимания этого совещания были политические трудности, возникшие внутри Народного единства. Они касались прежде всего выработки единой позиции коммунистической и социалистической партий. Без этого Народное единство могло потерять поддержку даже в тех кругах избирателей, которые раньше за него голосовали. Обстановка осложнялась и тем, что никак не удавалось прийти к соглашению с профсоюзом рабочих меднорудной промышленности, требовавшим непропорционального повы-

шения зарплаты на недавно национализированных рудниках. На такие требования профсоюз подбивала христианско-демократическая партия. Нехватка товаров и продуктов питания затрагивала страну в целом, и это тоже было на руку оппозиции, помогало ей в борьбе с левыми «за улицу».

«Аррайанское заявление», проанализировав положение, призывало покончить с разобщенностью сил, с сектантством в рядах Народного единства, вызванными тем, что каждая партия толкует программу Народного единства на свой лад, стремится навязать другим свою волю в области исполнительной власти, увеличить число своих членов в государственных органах.

Я чувствовал себя как в ловушке. Тех немногих денег, которые у меня оставались, могло хватить всего на несколько дней, к тому же я должен был внести арендную плату за свою квартиру. А полученное телеграфное предписание вообще оставляло меня безо всяких средств к существованию, и из «объективного обозревателя» я рисковал превратиться в нахлебника Марты.

К Марте я пришел совершенно убитый. Очевидно, на моем лице все было написано. Первое, что она спросила, открыв дверь, было: «Тебе плохо?» Я не ответил. Прошел в комнату, опустился на диван.

Марта присела рядом, взяла меня за руки:

— Ну говори же, что случилось?

В этот момент в дверь постучали.

Пришли два сотрудника национальной безопасности. Представившись, они объяснили, что им поручено вести расследование провокации, совершенной против Марты. На этот счет, по их словам, «было специальное указание товарища Альенде». Они рассказали, что в их следственном управлении еще полно «народа с той стороны», но «постепенно вырабатывается правильная линия».

Следователи, как выяснилось, знали и об инциденте на фабрике, который тоже был предметом их разбирательства.

— С недавних пор,— сказал один из них,— мы ведем учет всех враждебных действий.

Их управление было единственным вооруженным подразделением, находившимся непосредственно в распоряжении правительства. Оно не являлось, подобно вооруженным силам, замкнутой кастой, к секретам которой не допускался даже совет министров. Подчинялось это управление министерству внутренних дел, недавно в его составе была организована специальная бригада по расследованию подрывных действий правых. Пришедшие к нам следователи как раз и входили в эту бригаду.

— Случай с вами,— объяснил старший из них,— один из первых в своем роде, но, к сожалению, не единственный и не последний, число таких фактов растет. Реакция располагает огромными материальными средствами.

Во всем, что он говорил и как говорил, чувствовалось доверие к собеседникам. Сразу было видно, что перед нами — надежный товарищ по борьбе.

— Нам пока приходится работать ограниченными силами, но кое-что мы уже сделали. Правда, с большим трудом, но подбираемся и к подрывным антиправительственным центрам. Между прочим, нам удалось задержать и одного из участников налета на вашу квартиру,— сказал он, обращаясь к Марте,— того самого, что ударил вас,— теперь он повернулся ко мне,— ножом. Преступник признался, что имел задание распространять и комментировать в общественных местах сделанные им фотографии. Он подтвердил, что другим лицам поручено делать то же самое среди журналистов, военных...

Покраснев, Марта вскочила с кресла:

— Но чего они этим хотят добиться?

— Пускаясь на подобные трюки,— ответил следователь,— противник организует кампании, специально направленные на дискредитацию активистов, а следовательно, и всего Народного единства.

Марта сидела бледная и растерянная, опустив голову. Я взял ее за руку.

Следователь подробно расспросил меня о происшествии на фабрике «Ярур», очень деликатно поинтересовался отдельными деталями налета на квартиру Марты, а потом попросил нас опознать известных нам лиц по фотографиям. Его помощник разложил перед нами пронумерованные фотопортреты и несколько фотосюжетов. Налетчика мы опознали быстро, и потом я просматривал коллекцию из чистого любопытства. И вдруг, о боже! На одном из групповых снимков — рядом с вожаками «Патриа и либертад» — я увидел Хуана Карлоса Ортегу, аргентинца, постоянно бравирующего своими экстремистскими, разумеется «левыми», взглядами.

— А это кто такой? — спросил я.— Ведь я его знавал другим, левым.

Следователь улыбнулся:

— Очередной сюрприз. Он весьма подозрительный «ультрареволюционер». С ним еще надо разобраться.

Я вспомнил недавнюю встречу с Ортегой в лифте дома, где мы сейчас находились. Так вот почему он тогда мялся и поспешил побыстрее уйти.

■

Марта тяжело переживала сообщения о том, что ее фотоснимок, сделанный налетчиками, широко распространяется повсюду. А я чуть не доконал ее, сообщив о телеграмме и о предстоящем своем отъезде в Буэнос-Айрес. Да, это очень много для одного человека — тем более женщины и в течение одного дня. Признаться, я боялся какого-нибудь срыва с ее стороны и чуть ли не силой заставил ее выпить снотворное. Наступила ночь. Марта все-таки уснула. Ко мне же сон не шел.

Я решил встать, пройти в гостиную, покурить и чего-нибудь выпить. На столе были разбросаны вырезки из газет, наши заметки. Не знаю почему, но именно в этот час я со всей ясностью осознал, как много дала мне поездка в Чили, обогатив меня политическим опытом. За короткое время я узнал и открыл для себя гораздо больше, чем за всю свою жизнь. А ведь еще со студенческих лет я был связан с левым движением, сначала в Уругвае, в моем родном городе Монтевидео, а позже в Аргентине, куда окончательно переселился в конце сороковых годов. Но всегда я варился, если можно так выразиться, в котле «книжной революционности», весьма удобно уживавшейся с определенной интеллектуальной элегантностью, которой мы так гордились. Революция, особенно в Аргентине, представлялась нам столь далекой, что в своих маленьких кружках мы больше стремились лишь к сохранению собственных идеологических ценностей. Важнейшие политические события разворачивались далеко от нас и, я бы сказал, далеко от наших интересов. Хуан Доминго Перон заполнил весь этот долгий период своим «популизмом», своим движением «безрубашечников», увлекшим весь народ, оставив нас, марксистов, вне игры. Мы были лишь ревнивыми наблюдателями и желчными критиками того, что нам представлялось гигантской и шумной демагогической кампанией. Потом были годы военной диктатуры, которая свергла Перона, и до последнего времени диктаторские режимы очень затрудняли развитие левого

движения в стране. Наша роль стала еще более ограниченной, практически сводилась к тому, чтобы спасти самих себя от настойчивых преследований генералов.

Правда, профессия журналиста давала мне возможность выходить за узкие рамки окружавшей нас действительности. Я старался следить за тем, что происходило во всем мире, за развитием классовых боев в других странах: на Кубе, во Вьетнаме, в тех же Соединенных Штатах, а позже и в Чили...

Ложиться спать было уже бесполезно. Все равно не уснуть. Я просмотрел сделанные нами с Мартой наброски, выпил кофе и решил продолжить работу. В наших заметках мы развивали мысль, что Народное единство должно освободиться от заблуждения, будто поддержка масс является своего рода естественной привилегией левых. Массы далеко не однородны. Монополиями руководят небольшие группы лиц, но они могут контролировать значительные группы населения и даже — хотя и трудно в этом признаться — часть рабочего класса. И нынешняя угроза забастовок на недавно национализированных меднорудных предприятиях показала, что за рабочий класс левые должны бороться постоянно. Непомерные экономические требования и угроза забастовок ставили правительство в весьма щекотливое положение. А враги революции ликовали.

Я не спеша пил кофе и думал: всем нам, начиная с самодеятельных теоретиков вроде меня и кончая ответственными деятелями левого движения, нужно срочно разъяснять народу актуальные революционные задачи. Иначе может ли революция успешно развиваться далее?

Проснулась Марта и, войдя в гостиную, застала меня за работой в этот необычный час. Она поинтересовалась, не изобретаю ли я порох, и посоветовала идти спать — ведь утро вечера мудренее. Но утро уже наступало.

■

С годами люди меняются и в конце концов становятся теми, кем им предназначено быть. А Пеллегрини во всем был исключением. Время, казалось, не властно над ним и над его причудами. Совершенно неожиданно он мог завести разговор о животноводстве или, сделав таинственное лицо, начинал шептать о планах социальной перестройки общества. А то вдруг густым басом объявлял о своих новых увлечениях. Сейчас он был одержим идеей «мультибокса», которую изложил, едва лишь мы поздоровались.

Признаться, его идея на этот раз меня ничуть не позабавила, более того, где-то в подсознании возникло опасение, что со стариком не все в порядке. То, что он устал от своей затеи с издательством, естественно и привычно, но идея «мультибокса» гораздо абсурднее, чем все, что он затевал до сих пор.

Мы спустились вниз выпить кофе — «отравы», как его называл Пеллегрини. Потом он повез меня в своем автомобиле посмотреть «хозяйство», не объяснив толком, о чем, собственно, идет речь. Мы забрались куда-то на самую окраину города. И в течение всей поездки Пеллегрини почти не касался вопроса об издательстве — с его уст срывались лишь отдельные незначительные реплики. Однако на его лице я смог уловить и некие зловещие симптомы, не предвещавшие ничего доброго.

Остановились мы около ветхого дома, на котором виднелась вывеска «Издательство Юголатинос», выгравированная с учетом последних достижений в области каллиграфии. Мы попали в какую-то третьесортную типографию. К тому же она не работала. Не было видно да-

же сторожа. Повсюду валялись наши «Юголатинские тетради» в обложках разных цветов — цвет соответствовал месяцу издания. Пеллегрини, не проронив ни слова, повел меня внутрь. Мы пересекли пустынный двор, где еще, казалось, витало эхо кипучей многолюдной жизни. На другом краю «хозяйства» мы остановились у постройки еще более допотопной, чем первая.

Пеллегрини открыл дверь, висящую на одной петле, и пригласил войти. Помещение чуть ли не до потолка было завалено нашими изданиями. Они покоились в громадных тюках, которые были возвращены из разных агентств по распространению печати: то, над чем мы просиживали ночи,— увы! — не пользовалось спросом.

— Еще немного — и типография превратилась бы в свалку,— заметил Пеллегрини.

«Похоже»,— согласился я про себя.

Уже на обратном пути, в машине, он немного разоткровенничался:

— Не подумай, что я испугался чьих-то угроз, хотя угрозы и были. Дело не в том. Просто коммерция не удалась. Слишком много нереализованной продукции. Где-то мы допустили просчет.

Я терялся в догадках: подразумевалось ли, что показ издательства означал, что я уволен из «Юголатинос». По всей видимости, так и есть. Я ожидал, что хозяин вот-вот остановит машину и поблагодарит за участие в предприятии. А как же телеграмма, что «все будет соответствующим образом урегулировано» с учетом «опыта работы в Чили»?

Неожиданно, как ему и полагалось, Пеллегрини пригласил меня пообедать в ресторан, где подавалась одна говядина, но зато в огромном количестве. Возможно, он думал, что раз я прибыл из Чили, то мечтаю пожевать настоящего мяса. Значит, и он позволил одурачить себя пропаганде, враждебной Народному единству. Я сказал об этом прямо.

— Да, но все газеты Буэнос-Айреса публикуют только репортажи из Чили с фотографиями длинных очередей за продуктами.

Я ответил, что очереди действительно есть, но это — неизбежно: революция идет полным ходом — буржуазия сопротивляется. Я стал рассказывать, как правые скупают и прячут продукты питания, чтобы еще больше обострить положение. Кроме того, контрреволюционные группы за деньги нанимают различный сброд, чтобы «укрупнить» очереди и потом публиковать их фотографии в зарубежной прессе. Мой патрон молча слушал, быстро и ловко расправляясь с огромной порцией жаркого, и, казалось, был вполне удовлетворен моими словами. Но вдруг он перестал жевать и спросил:

— А как же левые позволяют подобный обман, почему не разгоняют очереди этого сброда?

— Это не так просто,— ответил я.— Ведь в очередях стоят и люди, нуждающиеся в продуктах питания.

Объяснить положение в Чили в двух словах просто невозможно. Я понимал, что всякий, кто не знает страны, найдет в этих объяснениях много странного и непонятного. Вопрос же Пеллегрини прояснил мне, в частности, что он не читал моих чилийских репортажей, где я весьма подробно описывал общую ситуацию в Чили, проблему снабжения. Но что сейчас говорить об этом!

Допив вино и закурив сигару, Пеллегрини переменил тему, заведя разговор о своем «мультибоксе». Он говорил возбужденно, глядя мне прямо в глаза, готовый рассеять любое сомнение, если заметит его на лице собеседника. И надо признаться, что не сразу удалось сообразить, о чем шла речь.

Пеллегрини ораторствовал:

— Борьба между двумя людьми, вытолкнутыми на ринг, стала уже недостаточной для пресыщенных вкусов современных зрителей. Бокс в таком виде, как он известен теперь, кажется слишком ординарным, развитие матча идет слишком, я бы сказал, академично. Каждый удар длительное время примеряется и наносится после долгой и нудной подготовки. И все это полностью исключается в «мультибоксе».

Почувствовав, что его идея еще недостаточно ясна, Пеллегрини продолжал с возрастающим энтузиазмом:

— На ринг выходит не одна пара боксеров, как обычно, а десять борцов одновременно, две команды. Начинается коллективный матч или, если хочешь, «борьба масс», где каждый из боксеров одной команды имеет право бить любого из членов противоположной команды. Публика волнуется, кричит, визжит, воет от удовольствия. Трибуны требуют новых ударов, быстроты, натиска, жестокости... Однако все традиционные правила будут соблюдаться, чтобы не превратить «мультибокс» в вульгарную драку... Это создаст впечатление настоящего боя, на мой взгляд, как раз того, что нужно современным массам. Ты можешь «соучаствовать» в борьбе, не вылезая из собственного кресла!

Наконец прояснилось и значение загадочных фраз в телеграмме. Пеллегрини предложил мне повезти «мультибокс» в Чили, где, несомненно, будет обеспечен необыкновенный успех, учитывая степень накала социальных страстей. И добавил:

— Этот спорт родился как раз именно для того, чтобы помочь снять напряжение в толпах слишком возбужденных и нервных людей.

Пеллегрини был уверен, что его «мультибокс» сможет дать Народному единству некоторую передышку, направив бурлящие страсти в другое русло.

Я слушал его, не прерывая, опустив глаза в чашку с кофе, с горечью убеждаясь в том, что моя встреча с Мартой, кажется, откладывается на неопределенный срок.

Мы вышли из ресторана. Мое затянувшееся молчание Пеллегрини принял, видимо, за одобрение. Ведь, по его мысли, это был шаг, направленный на поддержку правительства: все сборы, за исключением «производственных издержек», должны были идти Народному единству. В издержки входит, уточнил он, разумеется, и мое жалованье, размер которого я должен определить себе сам.

На углу мы остановились. Пеллегрини вдохновенно продолжал расписывать свой проект помощи Чили. Он планировал встречи «мультибокса» с участием «боксеров» от различных враждебных политических течений и групп.

— Как тебе кажется, к примеру, матч между коммунистами и фашистами? Представляешь — весь стадион ходил бы ходуном!

Я молчал, но поскольку он ждал ответа, то я сказал прямо и честно:

— Там и без «мультибокса» зрители бьются не на жизнь, а на смерть. И все партии уже давно вышли на ринг....

■

Дни проходили в полном одиночестве. Я старался избегать встреч даже со своими старыми друзьями, что, признаться, не всегда удавалось. Ко мне относились как к человеку, вернувшемуся чуть ли не с фронта. Информация местной печати о событиях в Чили была искаженной, слухи раздутыми. Люди считали, что там дело дошло уже до гражданской войны.

Я пытался наскрести денег на билет до Сантьяго, но всего моего имущества не хватило бы на оплату дороги. И вдруг ко мне домой нагрянул Пеллегрини. Это было тем более неожиданно, что он не знал моего адреса. Но старый выдумщик сумел еще раз продемонстрировать свой острый нюх.

Несколько минут он разглядывал мои книги и пожитки. Ему понравилась старая кофеварка со спиртовкой, и он спросил, нельзя ли эту посуду «раскочегарить». И, не дожидаясь ответа, засыпал в нее почти весь мой наличный запас кофе.

— В такое время не могу сидеть сложа руки,— сказал он, вынимая газету.— Не знаю, читали вы или нет вот это?

На первой странице газеты «Ла Пренса» помещалась подробная информация о массовой демонстрации правых против Альенде. Насколько можно было понять из заголовка и многочисленных фотографий, эта демонстрация объединила в единый фронт всю оппозицию. В ней участвовали консерваторы, крайне правые, христианские демократы, радикалы, социал-демократы, некоторые чисто рабочие и крестьянские организации и в то же время фашисты из «Патриа и либертад», которых нетрудно было узнать в роли охранников, одетых в собственную форму и вооруженных.

«Отраву» — кофе по-пеллегрински — нужно было жевать, так он был густ. А тем временем мой шеф каялся в своем политическом «отставании». Теперь он убедился, что никаким «мультибоксом» напряжение в Чили не ослабить.

— Это видно по лицам,— сказал он, бросив взгляд на газету.— Я полагаю, что вы должны находиться там, в Чили, чтобы помочь Альенде, так как пока мы все, к сожалению, не в состоянии туда поехать.

Я никак не мог догадаться, куда он клонит, но понимал, что явился Пеллегрини неспроста.

— А знаете, мне пришла в голову прекрасная идея! — торжественно объявил он.— Я передаю в ваше полное распоряжение типографию и все издательское оборудование «Юголатинос»! Вы продаете их и на вырученные деньги едете в Чили — оказывать помощь правительству Альенде в той форме, какую найдете приемлемой. Если сеньоры из ИТТ могут посылать туда любые суммы, почему мы должны от них отставать?

И в это время лицо его озарила улыбка, в которой отразилась вся хитрость и простота его предков — аргентинских крестьян.

Расставаясь, мы обнялись, и я бормотал насчет того, что всем расскажу об этом благородном поступке. Он запротестовал и шепнул таинственно, что ему, так же как ИТТ, хочется все сохранить в тайне.

— Да неужели мы хуже их?

Рядом с кофеваркой я нашел связку огромных старинных ключей, это были ключи от типографии, а для меня — ключи от Чили.

Дав объявление в газетах, я занялся коммерцией и сразу же почувствовал, что мои ключи поржавели и вряд ли ими удастся что-либо открыть. Каждое утро я вставал чуть свет. Садился в метро, ехал по какой-то длиннейшей линии до конца, потом втискивался в переполненный автобус, который еще полчаса тряс меня к пустырю, на котором приткнулось «мое издательство».

Каждых два или три часа в издательстве появлялся какой-нибудь угрюмый сеньор и, с испугом взглянув на это хозяйство, ретировался. Попадались, правда, и такие, которые, прежде чем исчезнуть, обкладывали меня крепким словцом. Прошел почти целый месяц, прежде чем я понял, что в объявлении вместо слова «издательство» надо было написать «издательская рухлядь».

Но перед тем, как я это сделал, прилетели ангелы. Они предстали предо мной в виде трех симпатичных юношей, которые хотели издавать журнал шахматного клуба. Наверно, когда всевышний посылал их, он сказал: «Проявите щедрость неземную». Осмотрев типографию, они повезли меня в город в своем грузовике, кузов которого был разрисован шахматными фигурами. Мы мчались с сумасшедшей скоростью, и эта поездка была, пожалуй, самой приятной из всех, которые мне приходят на память. Прохожие с удивлением останавливались, провожали взглядами наш необыкновенный автомобиль. Оформление сделки в шахматном клубе было простым и коротким: «ангелы» оказались директорами шахматного клуба и финансовые вопросы решали сами. Мы завершили сделку в считанные минуты. На следующий день в моем кармане лежал чек, теперь ничто не мешало мне немедленно отправиться в Чили. Дав Марте телеграмму, я вылетел в Сантьяго в тот самый день, когда Альенде объявил о национализации имущества ИТТ без всякой компенсации.

■

— Теперь уже недолго осталось этому Народному единству,— бормотал шофер, который вез нас в Сантьяго из аэропорта.

Мы ехали в новом такси, одном из тех, которые правительство недавно продало водителям по сниженным ценам. На стоянке в аэропорту была огромная очередь, и меня и еще двух пассажиров шофер согласился взять только тогда, когда мы пообещали заплатить больше. В зеркало заднего обзора я хорошо рассмотрел его лицо. Это был метис, упитанный, гладкий и, видимо, очень довольный тем, что подцепил сразу трех «дорогих» пассажиров.

— Сантьяго как вымер,— продолжал шофер.— Вся торговля остановилась. Всеобщая забастовка, сами увидите...

Я вспомнил, что многим таксистам платятся большие деньги за то, что они дискредитируют правительство среди своих пассажиров. Но этот, кажется, говорил искренне.

Город показался мне более запущенным и безлюдным, чем до моего отъезда. Магазины закрыты, кафе и рестораны — тоже. Серенький августовский день — полного разгара зимы — еще больше усиливал удручающее впечатление уныния и запустения.

Остановился я опять в отеле на улице Лиры, где меня знали еще по первому приезду. Несколько раз я звонил Марте домой, потом в редакцию, но телефон молчал. Это внушало тревогу. Из Буэнос-Айреса я писал ей редко, всегда впопыхах, надеясь на скорое возвращение, а оно затянулось на месяцы.

И она мне писала не часто, тоже, очевидно, рассчитывая на мой скорый приезд. Теперь она и вовсе как сквозь землю провалилась. А тут еще забастовка, которая все ставила с ног на голову. Газеты только о ней и писали. Правительство, оказывается, терпеливо принимало все петиции владельцев магазинов и старалось найти какое-то компромиссное решение, но торговцы все-таки пошли на забастовку. Что это могло означать? Левые писали о пресловутом «Плане Сентябрь», предупреждали о начале в стране мятежа, «который будет нарастать постепенно, чтобы закончиться государственным переворотом».

Сидеть в гостинице было бессмысленно. Я вышел на улицу. Рядом с отелем, перед католическим университетом, собралась большая толпа. Зеваки глазели, как фашисты из отрядов «Патриа и либертад» и «Роландо Матус» готовились к какой-то акции — получали последние наставления. Все они были одеты одинаково: черные свитера,

блестящие пояса и каски мотоциклистов. В руках у каждого — копье с металлическим наконечником. Бросалась в глаза разница между участниками этого построения: совсем еще юнцы — явно дети из «благородных семей» (каски им были велики и постоянно сползали на глаза), и другие — гораздо старше по возрасту, с тупыми, грубыми физиономиями. Последние, несомненно, работали за плату.

Приготовления проводились открыто. В толпе говорили, что, если забастовка не будет прекращена, правительство грозилось сегодня во второй половине дня открыть магазины силой. Правые, очевидно, готовились к отпору.

Я пошел в центр, надеясь встретить там знакомых, может быть, даже Марту. Хотелось также посмотреть, как Народное единство ответит на акцию правых.

Насколько я мог понять, операция по принудительному открытию магазинов еще не началась — более того, не было видно и никаких приготовлений к ней. На центральных улицах все было спокойно. В глаза бросалось лишь отсутствие транспорта и какой-то непривычный для дневного времени, угрюмый вид магазинов с опущенными металлическими шторами.

Некоторые торговцы, правда немногочисленные и в основном иностранцы, решились чуть-чуть приоткрыть двери своих заведений, видимо испугавшись санкций министерства торговли, угрожавшего им высылкой из страны. Но скоро у лавчонок «предателей» стали собираться какие-то люди и забрасывать витрины камнями, ломать и крушить все, что только можно. Разумеется, полиции рядом не оказалось, никто не пришел на помощь. Стражи порядка прибывали лишь тогда, когда все было закончено,— составить детальный акт о причиненном ущербе. Но полиция полицией, а вот где были в это время сторонники Народного единства и почему они не пытались преградить дорогу провокаторам, для меня так и осталось загадкой...

Я брел по городу мимо закрытых кафе и чувствовал себя униженным, не имеющим сил повлиять на то, что происходило вокруг.

Заметив на другой стороне улицы толпу, я подошел поближе. Два чиновника неумело пытались перекусить клещами ушки замка, висевшего на дверях магазина. По обе стороны от них стояли карабинеры. Толпа хихикала. Слышались оскорбления в адрес правительства.

Наконец ушко замка было перекушено и магазин открыт. Но не успел кто-то поздравить чиновников с успехом, как толпа стала забрасывать представителей власти камнями и всяким мусором. Им ничего не оставалось, как ретироваться. Магазин снова закрыли, а клещи выбросили на дорогу.

Нечто похожее происходило и на других улицах. Государственные чиновники позорно изгонялись воинствующими хулиганами. Полиция пыталась разогнать их бомбами со слезоточивым газом, но фашисты были к этому готовы. Они прикрывали лица заранее приготовленными марлевыми повязками, а некоторые даже умудрялись схватить бомбы прежде, чем они разорвутся, и бросить обратно в полицию. Карабинеры в происходившее почти не вмешивались, видимо, имели на то приказ. На улице хозяйничали фашисты.

В тот вечер мне со всей очевидностью стало ясно, что правительство Народного единства может рассчитывать только на поддержку революционного народа. Другие силы — официальные силы государства — оказались вне его контроля.

(Окончание следует)

ГАБОР ГАРАИ

Из книги «Отсвет» (1976)

■

Перевод с венгерского ВАЛЕНТИНА КОРЧАГИНА

Одинокий кедр

По картине Чонтвари

Ах, деревьям одиноким
жить в лесу бы надо...
Тяжко быть мишенью вечной
для грозы, для града.

И встречать шальные ветры
кроной негустою.
И корнями рыть могилу,
чтоб погибнуть стоя.

Что ни ветвь, то стон беззвучный
на стволе облезлом:
это памятник порывам,
давним, бесполезным.

Не совьет гнезда на кедре
никакая птица,
на его иссохших сучьях
только тьма гнездится.

Неприкаянное древо,
над землей чернея,
как ты с виселицей схоже
собственной своею!

Небосвод, тобой задетый,
брови хмуро сдвинул...
Нет, не кедр ушел от леса —
лес его покинул.

Как водолаз

Всплеск над лицом. Тягучий, длинный...
И — свет. Почти ожог для глаз...
На берег, в жизнь, из тьмы глубинной
я возвращен, как водолаз.

Еще страшусь речей, движений,
от них заходится душа.
Но боль, но головокруженье
одолеваю не спеша —

и вижу вновь перед собою
тот тесный круг родных людей,
что стал моей семьей, судьбою,
самой отчизною моей.

И новый день мой, день рабочий
я на руки принять готов,
и сыплются кошмары ночи
в затопленные шахты снов.

Да

Да, это значит для нас немало —
и завязь на айве перед нашим окном,
и ростки цветов, посеянных нами...
Да, это много значит, если из трудной схватки
ты вышел, не испытывая недовольства собой;
да — если зверек взял корм с твоей ладони;
да — если с тихой гордостью ты смотришь на сына,
который лучше тебя;
да, кого-то волнуют и такие вещи,
как золотая шелуха достатка,
агатовый отблеск успеха, сверканье славы
наподобие крыльев херувима;
да, положа руку на сердце,
мы все, наверно, признаться могли бы,
как много значат для каждого из нас
упругие груди, испепеляющие лона,
мраморные округлости, ослепляющие изгибы
под какими-нибудь джинсами
или под юбчонкой
в прозрачном тумане из розовых лепестков;
да, это и есть неутолимая жажда жизни,
стойкая, как тяга к воде в пустыне.
Но все понапрасну, все понапрасну —
айва и агат, корм с ладони и гордость,
лоно и объятье, жажда и оазис,
если нет в нас главного, самого главного:
ведь счастье,
словно море — от моря уровень,
лишь от человека берет человек.

И счастливы лишь отдающие всё другому,
и звезды их взоров образуют созвездия,
ибо каждый, кто к ним приблизится,
кто в глаза им взглянет, кто их речь услышит,
поднимается сам до уровня счастья.

Рассветная зарисовка

Из автобусов серых ватагой
хлынули лучи в прохладу неба.
Над лязгом засовов, над тающей влагой —
легкокрылый дух горячего хлеба.

Похрустывают в булочной рогалики,
пресуществляется молоко.
Где-то спросонок заплакал маленький —
и гудок откликнулся недалеко.

Многолюдная улица так уютна!
А от тех, кто спит еще, это утро
уйдет, своей свежестью отзвеня...

Парень в синем фартуке насвистывает,
гонит с ветром вдвоем по асфальту искристому
ленивый мусор вчерашнего дня.

Прощальный призыв

Перед твоим страданьем
пусть онемеют песни —
но ты останься в слове,
бесследно не исчезни!

Ты мучилась удушьем,
а я смотрел бессильно,
как смерть тебя вбирала —
холодная трясина.

И разве мог сказать я:
все тщетно, сдайся, мама!
Подбадривал глазами —
бессмысленно, упрямо...

Любовь твою и щедрость
я разбазарил, прожил.
Но... помоги, дай силы,—
я должен, мама, должен

сказать, поведать людям,
что мне, как ветке в бурю,
лишь ты — в любую бурю
и в засуху любую —

была опорой нежной,
прибежищем последним...
Не дай же онеметь мне,
не уходи бесследно!

Грязь под ногами...

Тучи над полем — завесою плотной.
Мокрые космы их тянутся вниз.
Сумрак осенний, сумрак болотный
на беззащитных деревьях повис.

Но ветерок от предгорья ударил —
и приоткрылся небес аметист;
тропку твою в полумраке нашарил
луч предзакатный, улыбчив и чист.

И возгорелись, и заблестели
в листьях пожухлых янтарь и рубин,
жемчуг зеленый рассыпали ели,
мгла молоком растеклась из низин.

Грязь под ногами... Унынье в походке...
Друг мой, стряхни эту пасмурность с плеч!
Свет разбивает тучи-колодки,
чтобы вечерние звезды зажечь.

Огненные тюльпаны

Пламенные тюльпаны,
вестники весен огнистые,
как вы в земле промерзлой
зиму тоскливую выстояли?

Сами ли угадали,
где той тоски граница,
где наперед уж незачем
вам застывать и таиться?

Или лучи молодые,
что так внезапно нагрянули,
подали знак призывный?
Как вам? Не страшно? Не рано ли?

Может быть, с золотом в чашах
ждать этих дней устали?..
Что вы там шепчете алыми
бархатными устами?

Солнцу вы молча кивнули —
приняли благословение,
огненные тюльпаны,
первое пламя весеннее!

■

ПАВЕЛ ВЕЖИНОВ

Барьер

ПОВЕСТЬ

Перевод с болгарского М. ТАРАСОВОЙ

...И все-таки как обозначить жанр этого нового произведения Павла Вежинова? Повесть? Роман? Рассказ? Мне, скажем, оно представляется большим лирическим стихотворением, лирической драмой в повествовательном обличии. Много думал я над теми проблемами, которые ставит «Барьер». Я-то думал, а Павел Вежинов взял да написал. И я благодарен ему за это.

«Барьер» написан на одном дыхании, как бы за один присест. Возможно ли такое? Он выплеснулся из сердца Павла Вежинова, как выплескивается лирическое признание, которого, честно говоря, я не ждал от автора при всем давнем интересе к его творчеству.

Прочерчивая путь писателя от старых рассказов, повестей и романов к нынешним его работам, я не мог бы предположить и угадать такой острой психологической драмы, дерзко и свободно совмещающей условность и реальность письма. Но талант — среди прочих его обозначений — это неожиданность. «Талант — единственная новость, которая всегда нова» — по слову Бориса Пастернака.

Лирическая драма Вежинова могла бы называться «Антоний и Доротея» — по имени двух главных действующих лиц. Композитор Антоний Манев создает свои музыкальные произведения, опираясь больше на знания и умение, чем на интуицию и талант. По проторенной (для Антония — разумной) колее шла его жизнь, если б не встреча с Доротеей, жизнь которой строится на началах интуиции, озарения, душевного полета. По существу драма Моцарта и Сальери перенесена с творческой площадки на площадку личных, вернее, интимных отношений мужчины и женщины.

Что мы знаем о душе человека? Очень много и очень мало. Каждый раз при разговоре на эту высокую и беспредельную тему возникает множество загадок. Какой парадокс: ненормальная Доротея человечней, тоньше, глубже, чем нормальный Антоний... Доротея видит дальше других и слышит острее других. Она непосредственна, непредвзята, внутренне свободна. Она, наконец, наделена редкими телепатическими качествами. «В наш век этот прекрасный цветок скрыт в душе каждого человека. И он когда-нибудь расцветет»,— говорит Антонию доктор Юрукова. Следовательно, Доротея олицетворяет некое будущее в нашей современности. Она от мира сего, но она забежала несколько вперед. Она умеет летать и увлечь в полет другого человека. У нее повышенное чувство ценности бытия, каждого мига, его неповторимости.

Доротея — метафора воспарения над бытом, а не над бытием. Доротея — образ, выхваченный из реальности, и вместе с тем он как бы ирреален. Это душа, богатая собой, феномен, как тот игравший на колоколах звонарь Сараджев, различавший сотни оттенков звука там, где мы слышим один-два тона, звонарь, о котором писала в своей повести-воспоминании Анастасия Цветаева.

Антоний — метафора нормального, вполне порядочного, что называется, интересного и даже хорошего человека. Он привязан к Доротее, искренне помогает ей. Но она для него человек ненормальный. Антоний воспринимает как ненормальное решительно все, на что сам не способен. Он согласился на полет, но убоялся его и покорно вернулся на круги своя, не выдержав высоты отношений, заданных необычной женщиной. И все же он не мог не понимать: в нем, человеке, бездна возможностей, которые остаются неиспользованными. Человек из страха обрекает себя на «нормальное» существование. Не хватает безумства храбрых. Поэтому легче невозможное на-

звать безумным, чем причаститься его головокружительной новизны.

Она привлекательна и необычна, Доротея. «И все же между ними лежала какая-то преграда», о существовании которой Антоний раньше не подозревал. Что же это за преграда, что за барьер? Между нормальным человеком и ненормальным? Здоровым и больным? Расчетливым и безоглядно-добрым? Разумно-осмотрительным и подчиняющимся пророчески-слепому инстинкту? Все перечисленное в той или иной степени имеет место в определении конфликта между героем и героиней произведения Павла Вежинова. И все-таки автор имеет в виду барьер не физиологический, как может сперва показаться, а социально-психологический. Хороший, повторяю, сердобольный, внимательный Антоний боится выглядеть наивным и не боится оказаться жестоким. И в конечном счете он оказывается жестоким. Мало было разумом постигнуть тяжелые обстоятельства жизни Доротеи, мало было знать ее болезнь и ее причины, надо было распахнуть для нее кладовые доброты сердца, то есть проявить истинную отвагу. Надо было попросту до конца быть человеком. Как часто именно этого нам не хватает.

Эгоизм — вот наибольший, страшнейший барьер на пути сближения двух героев, барьер на коммуникационных путях многих людей. Эгоизм как непонимание другого, как нежелание встать над своими узколичными интересами. Эгоизм, который разрушает жизнь не одного, а двоих. Предав Доротею, Антоний предает себя. И, конечно же, обрекает себя на одиночество. Писатель затрагивает самый нерв проблемы, и не почувствовать этого нельзя.

Читатель, привыкший видеть мою подпись под стихами, стихотворными переводами и статьями о стихах, может удивиться, увидав эту же подпись под заметкой, предваряющей прозу. Если понадобилось бы объяснение моего поступка, я бы сказал так: поэзия — это не всегда, далеко не всегда стихи. Поэтичной может быть — иногда бывает — проза. Именно это — поэтичность, духоподъемность — привлекло меня в «Барьере» Павла Вежинова. Попав в его магнитное поэтическое поле, я застрял в нем надолго.

Я говорил о «Барьере», стараясь не помешать читательскому восприятию этого многозначного произведения. Оно перед вами. Остается приступить к его чтению.

ЛЕВ ОЗЕРОВ

Нине

1

Все чаще подстерегает меня по ночам одиночество, прежде такое чуждое и непонятное мне чувство. Оно возникает обычно около полуночи, когда замирает все живое, утихают все шумы, кроме поскрипывания тротуаров, точно у коченеющего мертвеца потрескивают кости. В такие минуты меня охватывает нелепое ощущение, будто я в разинутой пасти хищного зверя, так явственно слышу я чье-то еле уловимое, но близкое дыхание. Встаю и начинаю нервно расхаживать по просторному холлу, служащему мне кабинетом. Спасения нет. Чувство одиночества не густое и липкое, а пронзительное и острое, как лезвие кинжала. Оно настигает меня внезапно, пытаясь прижать к стене подле дурацкой позеленевшей амфоры или фикуса, задвинутого в угол моей домработницей. Едва нахожу в себе силы вырваться из его тисков и выскакиваю за дверь, забыв погасить свет. Влетаю в лифт, спускаюсь затаив дыхание с пятнадцатого этажа на первый. Прекрасно знаю, что если застрянешь ночью в этом скрипучем катафалке, то скорее умрешь, чем кого-либо дозовешься. Сажусь в машину и тут же включаю мотор. Его тихий рокот несравненно приятнее журчания воспетых поэтами горных потоков и мгновенно успокаивает меня. Посмеиваясь над своей глупостью, медленно трогаюсь с места. И все-таки не могу унять озноба, словно меня вытащили из холодильника. Поеживаясь, открываю окно, чтобы выветрилось зловонное дыхание зверя, преследовавшее меня до самой

машины. Что со мной происходит, не пойму, наверно, после развода с женой сдали нервы.

Шины шуршат мягко и монотонно, как дождь. Резко, чтобы услышать укоряющий и вместе с тем ободрительный скрип тормозов, сворачиваю к аллее, которую мы называем улицей. Фары перечеркивают темные фасады домов, точно я провожу по ним пальцем. Далекая люстра, выхваченная их светом, сверкнет на миг перед моими глазами и погаснет. Мелькнет и исчезнет белая тюлевая занавеска. Но я уже не один, со мной мотор. Напрасно поносят это терпеливое и непритязательное существо за то, что оно извергает смрад. Ну, извергает, конечно, но, по крайней мере, делает это пристойно, а не рыгает, как люди после кислого вина и чеснока.

В это время открыт, пожалуй, только ночной ресторан гостиницы «София». Я оставил машину, как всегда, на площади и без особой решительности вошел в роскошный лифт. Я совсем было успокоился, и мне уже почти расхотелось идти в ресторан. Я не любитель выпить, не люблю шумных сборищ, пьяных болтунов и подхалимов. И все-таки это, можно сказать, моя постоянная среда, к ней влечет меня инерция повседневности. По натуре я человек замкнутый, даже хмурый, губы у меня всегда крепко сжаты. Знаю, что вызываю расположение, но не понимаю почему. Похоже, что люди молчаливые, лишь время от времени изрекающие едкий парадокс, вызывают больший интерес, чем записные остряки, вроде тех, что вьются вокруг моей жены. Я пересек зал, стараясь не смотреть по сторонам, и сел за столик в самой его глубине. Однако, вместо того чтобы окончательно успокоиться, почувствовал себя в каком-то странном вакууме.

Заказал белый итальянский вермут, сладковатую и противную бурду, которую и пить-то не стоит. Но чем прикажете надираться в такой поздний час? Только теперь огляделся по сторонам. В этот вечер в ресторане было довольно пусто и непривычно тихо. Тишина словно въелась в красные плюшевые занавески. В ее прозрачной паутине бесшумно, как пауки, скользят официанты, молчаливо и ловко обслуживая клиентов. Это, по-видимому, основное достоинство заведения, потому как холодная телятина, которую мне подали, оказалась жестковатой. Я выпил еще рюмку вермута, потом чистое, с одним только кусочком льда, виски. По телу разлилось приятное тепло.

В таких случаях обычно сразу оживает воображение и расправляет, готовясь взлететь, тонкие синие, как у стрекозы, крылышки. Но на сей раз оно только-только зашевелилось, как один из официантов подошел ко мне и вежливо сказал:

— Товарищ Манев, вас приглашают за длинный стол.

Никакого длинного стола я, проходя, не заметил.

— Кто приглашает?

— Большой Жан.

— Пьяный?

— Нет, нисколечки.

Я вздохнул с досадой. Большой Жан был мой портной. Обижать своего портного, особенно если хочешь быть хорошо одетым, нельзя. А Жан считается одним из лучших софийских портных. У него бывают хорошие ткани, которые он припрятывает и распределяет между симпатичными ему клиентами. Или между самыми именитыми — опять-таки с его точки зрения. Если я вхожу в их число, то он не простит мне отказа.

— Скажите, что сейчас приду,— ответил я.

Доел, не торопясь, холодную телятину и мрачно направился к столу, за который меня пригласили. Да, Жан действительно собрал с десяток своих почитателей и клиентов. Завидев меня, он встал в своем

безукоризненно выглаженном костюме немыслимого сиреневого цвета. Этот человек, с таким вкусом одевавший других, совершенно не умел одеваться сам.

— Представлять моего гостя, думаю, нет необходимости, вы все его знаете.

Вряд ли, подумал я, садясь на почетное место рядом с ним. Я не эстрадный композитор, чтобы на меня с восторгом глазели девушки из модерновых кафе. К счастью, я увидел за столом несколько более или менее знакомых физиономий, режиссера со студии мультфильмов, барменшу из дневного бара. Как часто бывает в последнее время, женщин было больше, чем мужчин, и они вовсю веселились, что-то кричали визгливыми от вина голосами. В конце концов я сам виноват, даже острый кинжал одиночества не так страшен, как подвыпившая, шумная и скучная компания.

Но могло быть и хуже, если б они, скажем, были бы совсем пьяные или спорили о машинах и футбольных матчах. Эти, по крайней мере, толковали о фильмах, хотя и болгарских. Жизнь моя полна таких бесцельно проведенных вечеров и ненужных знакомств, которые иногда обременяют меня годами. Я старался смотреть только в рюмку, не отвечать на вопросы, не улыбаться, не проявлять излишнего интереса ни к кому и ни к чему. В общем, смертельно скучал. И этот вечер, наверно, бесследно исчез бы из моей памяти, не случись нечто необыкновенное. Но это случилось немного позже, а сейчас я сидел, изнывая от скуки, не ведая, что меня ждет. Только иногда украдкой поглядывал на часы, которые тикали все так же равномерно, нимало не интересуясь тем, каково мне сидеть в этой компании. И когда они подтвердили, что я отсидел положенное воспитанному человеку время, я встал, извинился и ушел. Я чувствовал, что Жан не вполне доволен мной, но что поделаешь? Пошлю ему приглашение на премьеру в оперный театр, ведь он так любит премьеры.

На улице заметно похолодало, ветер гнал низко над городом желтые рваные тучи. Собор был словно залит густым абрикосовым соком, купола его смутно поблескивали на фоне неба. На площади не было ни души, если не считать тех, что на памятнике, устремленных к своей извечной судьбе. Я был в одном костюме и потому поспешил сесть в машину. Но едва проехав несколько метров, я почувствовал, что за спиной у меня кто-то шевелится. Я так испугался, что остановил машину. И резко обернулся назад, уверенный, что в ту же секунду на меня обрушится страшный удар — вероятнее всего, железной трубой, замотанной в тряпку. Ничего подобного, конечно, не произошло — с заднего сиденья расширенными зрачками на меня уставилось женское лицо, продолговатое, бледное, испуганное. Я не верил своим глазам.

— Что вы здесь делаете? — крикнул я со злостью.

Впрочем, я не столько разозлился на нее, сколько устыдился своего страха. Хотя было отчего разозлиться — с какой стати она забралась без спросу в мою машину?

— Ничего,— испуганно ответила она.— Но вы сразу поехали...

— Зачем вы сюда залезли?

— А вы меня не узнаете? — спросила она удивленно.

— Да откуда мне вас знать? — ответил я почти грубо.

Конечно, не в таком тоне следует разговаривать с молоденькими девушками. А она и впрямь была молоденькой, лет двадцати, не больше, и как мне показалось в тот момент, не очень опрятной и потасканной.

— Мы же с вами сидели за одним столом в ресторане... И вы на меня еще с интересом поглядели.

Что за ерунда — с интересом! Может, и посмотрел, но только уж наверняка думал о чем-то другом. Я вообще не люблю ошивающихся по ресторанам девиц, этих пиявок, которые хлещут водку почище грузчиков. Да и как их разглядишь за клубами табачного дыма, которыми они вечно окутаны.

— Ну, положим! Но это еще не причина, чтобы забираться в чужую машину.

Злость моя прошла, осталась легкая досада.

— Но я ждала вас,— пояснила она.— Вы же сказали, что уходите... А на улице очень холодно.

— А как вы догадались, какая из машин моя?

— Другого «пежо» не было... И дверца была не заперта.

— Ну, ладно. Зачем же вы меня ждали? Если мне позволено, конечно, будет спросить?

Такая ирония вряд ли понятна подобного рода девицам, этим пиявочкам, хочу я сказать. Она только моргнула и простовато ответила:

— Я хотела попросить вас отвезти меня домой... Уже поздно, и трамваи не ходят.

Ну и ну! Не такой уж глупый предлог... На такую удочку обычно клюют те, кто помоложе или постарше меня.

— А где вы живете?

— Возле Центральной тюрьмы,— ответила она серьезно.

Хорошенькое местечко! Пожалуй, это не предлог! Туда ночью пешком не потащишься. Конец порядочный.

— Вот что, девушка,— сказал я уже другим тоном.— Вы сами видели, что я выпил не одну рюмку... Как я поеду через весь город в таком состоянии. Представьте, что меня остановит ГАИ!

— Но ведь вы все равно собирались ехать на машине? — удивилась она.

— Да, конечно. Но я собирался ехать по боковым улицам, где темно.

— Раз так, делать нечего! — ответила она покорно и взялась за ручку дверцы.

Позднее, когда эта невзрачная и нескладная девчонка неведомо как сделается частью моей жизни, эта ее тихая покорность будет надрывать мне сердце.

— Подождите! — сказал я.— Куда это вы собрались?

— Но раз нельзя!

— Я вас подвезу хотя бы до стоянки такси.

— Спасибо, не нужно!

И вышла из машины. Увидев ее понурую, какую-то неловкую походку, я помимо своей воли выскочил из машины. Когда я нагнал ее, она плакала, правда, безмолвно, но слезы ручьем текли по ее лицу. Я совсем растерялся. Человек я довольно хладнокровный и не слишком мягкий, но женских слез не переношу, они всегда меня трогают. Похоже, что девушка была не из тех, за кого я ее принимал.

— Если у вас нет денег на такси,— сказал я,— я вам с удовольствием одолжу. Не пойдете же вы ночью пешком.

— Нет, нет! — воскликнула она.— Не нужно!

Гордая к тому же! Если б она не плакала, я бы ее опять отчитал. Гордая, а забирается в чужие машины!

— Хорошо, пойдемте, я вас отвезу! — сказал я.— Пока вы не утонули в слезах.

И сердито зашагал к машине. Но не услышал шагов позади себя. Я обернулся, она стояла ко мне спиной и смотрела на небо так, словно собиралась взлететь. Мне даже почудилось, что ее вот-вот унесет ветром — такой легкой и бесплотной показалась мне она.

— Ну что же вы? — спросил я нетерпеливо.

Она послушно двинулась ко мне, но вдруг остановилась в нерешительности.

— Не могу я вернуться домой,— сказала она.— Я боюсь...

— Кого?

— Матери... Она меня так поздно не пустит. Да если и пустит, я к ней не пойду. Вы не представляете, что она за человек! — В голосе ее прозвучало неподдельное отвращение.

— Тогда зачем вы передо мной комедию ломаете?

Она опять смущенно моргнула и сказала просто и ясно:

— А я... я думала, вы меня пригласите...

Сейчас мне трудно припомнить те чувства, которые я тогда испытывал. Я не был ни взволнован, ни возмущен, ни даже удивлен. Я не испытывал неприязни к ней. И уж, конечно, нельзя сказать, что она мне понравилась. Я смотрел, как она стоит, такая невесомая, легко одетая, как ветер закручивает юбку вокруг ее узких бедер. В ее словах не чувствовалось ни стыдливости, ни робости, но и в то же время никакой испорченности, словно она говорила не со мной, а со своей теткой. И тогда во мне всколыхнулись то ли жалость, то ли какое-то другое, не очень понятное, но все же естественное чувство. Я вздохнул, пожал плечами и пробормотал:

— Тогда поедем! Не оставлять же вас на улице.

Лицо ее сразу же просияло, ветер словно рукой стер с него слезы. Все это было довольно невинно и в то же время сложнее, чем я предполагал. В тот момент я не пытался вникать в эти сложности. Да и как понять современных девушек, когда они сами себя не понимают.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Доротея...

— Ну, хорошо, Доротея, похоже, вы кое-что уже знаете обо мне... Как меня зовут, марку моей машины. А как вы узнали, что моя жена не выгонит вас, если мы сейчас явимся ко мне домой?

— А вы разведенный,— ответила она.— И живете совсем один.

— А это откуда вам известно?

— За столом, пока вы не подошли, Жан рассказывал про вас... Хвалил, конечно. Сказал, между прочим, что вы вспыльчивый, но очень добрый человек.

Да, ясно. Как я сразу не догадался? Девушка была, пожалуй, не так проста, как представлялось на первый взгляд. Ведь сообразила же она, как ей надо было действовать. И не затеяла ли она какую-то весьма тонкую и далеко идущую игру? Не исключено. Только одно я четко сознавал в тот момент — несмотря ни на что в ней не было ни хитрости, ни расчетливости. Впрочем, это поколение настолько лишено щепетильности, что ему нет нужды тонко лгать и притворяться.

Мы сели в машину, я снова позволил ей устроиться на заднем сиденье, у меня не было никакого желания сокращать разделявшее нас расстояние. Даже если она в чем-то инстинктивно хитрила, ничего у нее из этого не выйдет. Она забилась в угол, и я даже в зеркальце не мог ее видеть. Молчала, может быть, дремала. Неудивительно, ведь было почти три часа ночи. А ей наверняка пришлось пережить немало неприятных минут, пока она не поймала такого дурака, как я. Но как бы то ни было, чувствовал я себя вполне прилично. Да и, кроме того, я люблю ездить ночью по пустынным улицам и бульварам, по которым ветер гонит пьяниц и бумажный сор. Люблю ощущать прикосновение нагретого мотором воздуха, вбирать его в себя глубокими вдохами, как воздух из кислородной подушки. Спать ее положу, конечно, в холле. В худшем случае украдет одну из голых эбеновых фигурок, которые мой брат привез из Африки. Сейчас главное было незаметно до-

Что за ерунда — с интересом! Может, и посмотрел, но только уж наверняка думал о чем-то другом. Я вообще не люблю ошивающихся по ресторанам девиц, этих пиявок, которые хлещут водку почище грузчиков. Да и как их разглядишь за клубами табачного дыма, которыми они вечно окутаны.

— Ну, положим! Но это еще не причина, чтобы забираться в чужую машину.

Злость моя прошла, осталась легкая досада.

— Но я ждала вас,— пояснила она.— Вы же сказали, что уходите... А на улице очень холодно.

— А как вы догадались, какая из машин моя?

— Другого «пежо» не было... И дверца была не заперта.

— Ну, ладно. Зачем же вы меня ждали? Если мне позволено, конечно, будет спросить?

Такая ирония вряд ли понятна подобного рода девицам, этим пиявочкам, хочу я сказать. Она только моргнула и простовато ответила:

— Я хотела попросить вас отвезти меня домой... Уже поздно, и трамваи не ходят.

Ну и ну! Не такой уж глупый предлог... На такую удочку обычно клюют те, кто помоложе или постарше меня.

— А где вы живете?

— Возле Центральной тюрьмы,— ответила она серьезно.

Хорошенькое местечко! Пожалуй, это не предлог! Туда ночью пешком не потащишься. Конец порядочный.

— Вот что, девушка,— сказал я уже другим тоном.— Вы сами видели, что я выпил не одну рюмку... Как я поеду через весь город в таком состоянии. Представьте, что меня остановит ГАИ!

— Но ведь вы все равно собирались ехать на машине? — удивилась она.

— Да, конечно. Но я собирался ехать по боковым улицам, где темно.

— Раз так, делать нечего! — ответила она покорно и взялась за ручку дверцы.

Позднее, когда эта невзрачная и нескладная девчонка неведомо как сделается частью моей жизни, эта ее тихая покорность будет надрывать мне сердце.

— Подождите! — сказал я.— Куда это вы собрались?

— Но раз нельзя!

— Я вас подвезу хотя бы до стоянки такси.

— Спасибо, не нужно!

И вышла из машины. Увидев ее понурую, какую-то неловкую походку, я помимо своей воли выскочил из машины. Когда я нагнал ее, она плакала, правда, безмолвно, но слезы ручьем текли по ее лицу. Я совсем растерялся. Человек я довольно хладнокровный и не слишком мягкий, но женских слез не переношу, они всегда меня трогают. Похоже, что девушка была не из тех, за кого я ее принимал.

— Если у вас нет денег на такси,— сказал я,— я вам с удовольствием одолжу. Не пойдете же вы ночью пешком.

— Нет, нет! — воскликнула она.— Не нужно!

Гордая к тому же! Если б она не плакала, я бы ее опять отчитал. Гордая, а забирается в чужие машины!

— Хорошо, пойдемте, я вас отвезу! — сказал я.— Пока вы не утонули в слезах.

И сердито зашагал к машине. Но не услышал шагов позади себя. Я обернулся, она стояла ко мне спиной и смотрела на небо так, словно собиралась взлететь. Мне даже почудилось, что ее вот-вот унесет ветром — такой легкой и бесплотной показалась мне она.

совершила бы чего-то безрассудного и непоправимого. Мы ломали голову над тем, как объяснять это суду. Возможно, теперь она и жалела о сделанном, но она была не из тех, кто останавливается на полпути. На суде она сидела зеленая, словно отравилась чем-то. Но только выйдя из зала, заплакала. Я притворился, что не заметил ее слез,— для собственного успокоения, конечно. Особого сожаления я не испытывал, хотя и любил ее. Она была слишком сильной и властной натурой и все время навязывала мне свой стиль жизни. Я с трудом переносил тот художественный беспорядок, который окружал нас. Оставшись один, я сначала работал с большим подъемом, чем раньше, и некоторые критики утверждали, что я в расцвете своего таланта. Доротея стояла предо мной и ждала.

— Поздно,— сказал я неуверенно.— Разбудим соседей.

— А вы тихонечко! — опять попросила она.— Никто не услышит.

Я задумался. Два дня тому назад я закончил одну вещицу, но еще не понял, звучит ли она. Нарочно отложил ее на некоторое время, чтобы потом взглянуть на нее свежим взглядом. Когда я работал над ней, какой-то внутренний голос ликовал во мне. А это уже немало. Я довольно трезво оцениваю свое творчество и полагаюсь больше на музыкальную культуру, чем на вдохновение. По-моему, рассчитывать на один талант — все равно что думать, будто ветер может сдвинуть с места грузовик.

— Тогда садитесь,— сказал я.

— А где мне сесть?

— Где хотите...

И тогда она села на табуретку, оказавшуюся поблизости. Скорее, не села, а опустилась на краешек, как озябший воробей. Впрочем, едва коснувшись клавиш, я тотчас забыл об ее присутствии. Я всегда проигрываю ночью то, что сочинил днем. Мне плохо работается при дневном свете и вообще я не люблю ясной солнечной погоды. По-настоящему я могу воспринимать свою музыку лишь ночью или пасмурным дождливым днем, когда яркий блеск солнца и природы не режет глаза.

И сейчас, играя, я снова ощутил в душе тихие всплески ликования. Увлекся и проиграл все до конца. Пожалуй, я окончательно стал походить на тех глупцов-поэтов, которые, упиваясь своими стихами, читают их без умолку. Только доиграв до конца, я спохватился, что не один. Поднял голову, взглянул на нее. Выражение ее лица могло мне только польстить.

— Понравилось? — спросил я шутя.

— Очень! — воскликнула она.

— А знаете, как это называется?

— Знаю! — просто ответила она.— «Кастильские ночи».

Если бы она меня укусила, я был бы меньше поражен. Дело в том, что пьеса действительно называлась «Кастильские ночи». Но кроме меня, об этом не знала ни одна живая душа. Заглавие не было написано. Я смотрел на нее так, словно передо мной был не человек, а привидение.

— А откуда вы это знаете? — наконец выговорил я.

— Знаю, и все...

И не обращая внимания на мой ошарашенный вид, она добавила:

— Я не такая, как все... Я сумасшедшая...

2

Я не очень молод. Но и не стар, прошлой осенью достиг роковых сорока лет, считающихся в наше время тем рубежом, за которым начинается зрелость. Выгляжу я, пожалуй, немного старше. Главным обра-

зом из-за обильной седины в моих густых волосах и двух глубоких морщин, перерезающих мои чуть впалые щеки. А в сущности я не такой уж нелюдим, разговариваю вежливо, держусь приветливо, даже не лишен чувства юмора, которое удачно контрастирует с моим серьезным лицом. Меня называют одним из лучших создателей музыки для кино. Не бог весть какая похвала, но зато никаких материальных затруднений. Написал я и несколько более серьезных вещей, две-три из них широко известны.

От природы я человек здравомыслящий, помимо музыки интересуюсь космогонией и астрофизикой, даже математикой, которую считаю основой всех серьезных наук. И полагаю, что сущность природы, и в том числе искусства, составляет гармония. В этом я уверился, изучая простейшие законы природы. И если в чем-то я не могу отыскать гармонии, значит, это нечто ненормальное, или несовершенное, или непостижимое для меня.

Говорю все это, чтобы стало понятно, в каком затруднительном положении я вдруг очутился. Но все же я не мальчик, я быстро овладел собой и спокойно прошелся по комнате.

— А кто вам сказал, что вы не как все?

Любезнее сформулировать вопрос я не смог.

— Установлено,— ответила она неохотно.

Установлено, оказывается. Может, я человек и грубоватый, но неделикатным меня не назовешь. Расспрашивать дальше я не решился. Она, похоже, это поняла, потому что добавила без особого желания:

— Мне даже жить негде, я живу в сумасшедшем доме... Поэтому мне и некуда было ехать.

— А не сбежали ли вы оттуда?

— Нет-нет! — возразила она почти обиженно.— Я только ночую там, а днем я хожу на работу. Я стационарная, как врачи говорят.

Вот уж не знал, что на свете бывают стационарные сумасшедшие. Наверно, она была слегка помешанная, а таких можно встретить где угодно, даже у нас в Союзе композиторов. Во всяком случае я пока не заметил в ней ничего несообразного. Даже наоборот. Странности, скорее, можно было заметить в моем поведении.

— А кто вас лечит?

— Мой врач Юрукова,— ответила она, и лицо ее вдруг оживилось.

— А это часто с вами случается? Ну... чтобы вы не возвращались?

— Не очень часто... И она на меня никогда не сердится. Но другие, конечно, ругаются, особенно один врач, Стрезов. Говорит: у нас больница, а не пансион.

Кажется, я улыбнулся, потому что она поспешила добавить:

— Я понимаю, что без дисциплины нельзя. Но не могу не убегать. Юрукова, наверно, считает, что это тоже идет на пользу. Кому не хочется быть таким, как все?

Я озадаченно посмотрел на нее. Она рассуждала абсолютно разумно, лицо ее в этот миг казалось спокойным и чистым. Уж не разыгрывает ли она меня?

— А вы разве не такая, как все?

— Не совсем, у меня ведь бывали приступы. Про раздвоение личности слышали, конечно? Но когда это со мной происходит, я все-таки понимаю, где настоящее, а где выдуманное.

Воспоминания, по-видимому, были мучительны для нее, потому что лицо ее вдруг потемнело. Я понял, что должен отвлечь ее от неприятной темы.

— А кто вас туда пригласил? В ресторан, я хочу сказать?

— Никто.

— Как никто?

— Так... никто! Мне иногда хочется побыть в красивом зале, среди нарядных людей. Тогда я начинаю думать, что и я красивая и нормальная. Знаю, конечно, что нормальные люди могут подавлять такие желания. Но я не могу и потому пока не считаюсь совсем нормальным человеком. Я пошла в ресторан и села за первый же столик. Это так легко. И каждый думал, что меня пригласил кто-то другой.

— Не так уж легко,— заметил я.

— Нелегко для таких культурных людей, как вы. А мы люди простые. Потому я и в машину к вам залезла. А что мне еще оставалось делать?

— Да, конечно,— ответил я на этот раз совсем уже мягко. И немного помолчав, спросил: — Скажите все-таки, как вы догадались про «Кастильские ночи»?

— Не знаю! — проговорила она нехотя.— Сама не всегда понимаю, как это у меня получается... Да и зачем понимать...

Да, большего от нее, пожалуй, не добьешься. И потому я прибавил не слишком вежливо:

— Будешь спать здесь — в холле. Белье вот тут — в шкафу. Я думаю, ты сама управишься...

— Конечно,— ответила она, смутившись.

Но по лицу ее я заметил, что она испытывала облегчение. У нее было очень выразительное лицо, по нему можно было читать, как по книге. Я прекрасно понимал, почему она испытывала облегчение. В этот вечер она не должна была платить за свой ночлег.

Я ушел в спальню, но долго не мог заснуть. Старался понять, чем объясняется ее невероятная интуиция. Безусловно, то, что я сыграл, напоминало что-то испанское. Но так отдаленно, почти неуловимо. Это мог определить по отдельным интонациям только очень хороший специалист. Никаких кастильских ночей, конечно, не было. Я и понятия не имел о кастильских ночах. Мадридские ночи я проводил, как и все туристы, по разным кабакам. И ни разу не взглянул на небо, чтобы увидеть звезды, да и какой смысл на них смотреть. Небо над Мадридом ничем не отличается от неба над Софией, или Парижем, или любым другим городом. Да и ночи более или менее одинаковы в этом стандартном мире стандартных кабаков и стандартных напитков. И какими бы различными по вкусу ни были они в разных странах, в конце концов из них получается один и тот же коктейль. Мне уже все равно, на виа Венето ли я или на Елисейских полях. Постепенно я потерял интерес к этим поездкам, в которые так рвался раньше.

Впрочем, вроде бы была одна настоящая кастильская ночь. Да, верно, а я совсем было про нее забыл. Может, именно тогда возник у меня в голове основной мотив. Или название. Этого я уже не помню, но сам вечер помню очень хорошо. Мы возвращались из Эскуриала на машине торгового представительства. Смеркалось, небо темнело, ранние огни в окнах делали едва различимыми фасады домов, мелькавших вдоль шоссе. Ресторанчик, в который мы зашли, был старым и грязным. Голые столы, пол, усеянный огрызками, рыбными головами, розовыми чешуйчатыми хвостиками креветок. Ни одного туриста, разумеется, не было, только несколько дорожных рабочих болталось у стойки бара. Это были парни в комбинезонах и желтых защитных касках, уже навеселе, но довольно тихие для испанского темперамента. Их явно сдерживало присутствие хозяйки, довольно пожилой женщины, похожей на немку рыжеватыми волосами и широким лицом. И в тот момент, когда мы засомневались, остаться или нет, послышался звонкий женский голос:

— Прошу вас, господа, что вам угодно?

Четыре иностранца сразу — этого нельзя упускать. Хозяйка вышла нам навстречу и тем положила конец нашим колебаниям. Она немножко косила. Это делало ее симпатичней.

— Можно нам сесть во дворе? — спросил наш сопровождающий

— Как вам будет угодно, господа,— ответила она, улыбаясь,— хотя здесь пахнет колбасой, а там бензином.

— Ничего, рискнем.

Мы уселись за широкий деревянный стол, усыпанный сухими листьями и птичьим пометом. Донья Пелайя смахнула все это не слишком чистой тряпкой, потом постелила нарядную бумажную скатерть Мы заказали херес, сильное ароматное вино, цветом напоминающее коньяк. Она принесла его с благоговением, осторожно поставила на стол красивую бутылку.

— Лучшее из того, что у меня есть! — гордо сказала она.— На здоровье, друзья!

Настоящий испанский херес — прекрасное вино. Мы выпили и вторую бутылку, даже попробовали кровяную колбасу, которая походила на кишку, набитую сажей и личинками майских жуков. Я едва притронулся к ней — из чистого любопытства. Она не шла ни в какое сравнение с кровяной колбасой, что делают у нас на рождество. Мы молчали. Совсем стемнело, но ночь была безлунная. И тогда впервые я увидел большие кастильские звезды, которые горели у нас над головами. Да, все это так и было. Но мотив, который пришел мне в голову позднее, подсказали не звезды, а золотистое кадисское вино.

Однако откуда у моей гостьи возникли ассоциации с чем-то испанским? Может, она и вправду сама не знала. Мало ли что взбредет в такую дырявую, как решето, голову? Наконец, я заснул, а когда утром проснулся, ее и след простыл. Можно было подумать, что мне все это приснилось, если бы она впопыхах не застелила диван одеялом наизнанку. Я посмотрел, не оставила ли она записки. Записки не было. Что с нее взять, но все же я ощутил в душе какую-то пустоту. Вот почему я не люблю относиться к людям по-человечески — чтобы не выглядеть потом наивным. В этой черте человеческого характера, как бы привлекательна она ни была, мне виделось что-то обидное.

3

Так прошли три дня или, точнее, три странных дня. Как ни гнал я от себя воспоминания о сумасшедшей девушке, что-то от нее передалось мне. Я все чаще ловил себя на том, что делаю всякие глупости. Несколько раз по ошибке включал не ту скорость. Явился на концерт, как последний вахлак, без галстука. А однажды, полагая, что возвращаюсь домой, забрел в дом, где жила моя бывшая жена. Говорят, что любая болезнь, даже ревматизм, заразная. Вполне вероятно. С головой, во всяком случае, у меня было явно не все в порядке.

В субботу вечером меня снова потянуло в ночной ресторан, хотя никакого чувства одиночества я не испытывал. Я сел за тот же столик. Но в ресторане было довольно много народу, и до меня все упорнее доносилось надоедливое жужжание разговоров. Я не хотел признаваться самому себе, зачем пришел сюда. И почему не позвал с собой кого-нибудь из друзей. Потому ли, что у меня и не было друзей? Или потому, что какая-то тайная надежда жила во мне? Я старался не думать об этом. Но все же в голове у меня мелькнула мысль: что бы я сделал, если б девушка вдруг появилась из-за стеклянной двери такая, как была — в туфлях на босу ногу, в мятой юбке. Наверно, сбежал бы тайком через чёрный ход. От такого стеснительного человека, как я, всего можно ожидать.

Домой я вернулся абсолютно трезвый. Снова тихонько проиграл «Кастильские ночи». Настроения у меня не было, и на этот раз они мне нисколько не понравились. Красивые, гладкие, но легковесные фразы. Вероятно, я был несправедлив к себе — истинная красота не может быть бессмысленной.

В понедельник я позвонил в институт доктору Юруковой. Я ничего о ней не знал, кроме имени, даже не был уверен, что она существует. В ответ послышался грудной женский голос, такой ровный и спокойный, что, устыдившись, я едва не бросил трубку. Любое мое объяснение казалось мне сейчас глупым и фальшивым. Одна надежда, что хотя бы мое имя внушит ей уважение.

— Да, я о вас знаю,— ответила она, нисколько не удивившись.— Доротея мне рассказывала... Отчего же, конечно, приходите. У меня к вам просьба.

Возможно, многие из вас видели это старое печальное здание с решетками на окнах. Мне запомнились прекрасные деревья, мягкие тени в аллеях, больные, разгуливавшие по ним, отрешенные и далекие как галактики. Настоящие безумцы, уверовавшие в значительность своего воображаемого мира, но добродушные, как дети. Они произвели на меня такое неизгладимое впечатление, когда я был здесь однажды, что я не пошел второй раз в клинику, хотя мне и назначили какие-то процедуры против аллергии. И сейчас, по дороге в больницу, я был преисполнен почтительности и даже какого-то волнения.

Но то, что я увидел, меня разочаровало. Я очутился на оживленной стоянке, машины непрерывно то подъезжали, то отъезжали, словно в городе было полно сумасшедших и нервнобольных. Слава богу, вахтера у входа не было. Но зато новое здание показалось мне ужасающе неуютным и безобразным, как и все современные здания, устаревающие прежде, чем их достроят. К тому же никто не знал, где кабинет Юруковой. Пока я бегал, растерянный, по этажам, перед глазами у меня кружилась, словно карусель, людская толпа, будничная и торопливая. Особенно меня поразили больные в полосатых бумазейных халатах с деловыми физиономиями, точно они были не люди, а овцы, которых привели только для того, чтобы состричь с них шерсть и отпустить по своим делам. Врачи с авторучками в руках озабоченно сновали среди них, никто ни на кого не обращал внимания, и никто ни с кем не здоровался.

Я ли стал чересчур чувствительным? Мир ли несказанно изменился, пока я увлеченно бренчал на рояле? Наконец, низенькая санитарка указала мне на одну из бесчисленных дверей без номера и без таблички. Постучавшись, я вошел. В сущности, войти было некуда. Маленькую, как чуланчик, комнатку заполняли от стены до стены кушетка, два стула и какое-то пузатое уродство, которое должно было служить письменным столом. Ко всему прочему оно было покрыто тонким слоем масляной краски, кое-где облупившейся, и это делало его похожим на грязный, захватанный кухонный стол.

За ним сидела уже немолодая женщина в больничном халате. Позади нее, как страж, торчал огромный баллон с жидким кислородом. От смущения и досады в первую минуту я ее толком не разглядел. Пробормотал свое имя, она кивком пригласила меня сесть. Сесть пришлось на кушетку — из-за тесноты оба стула были повернуты спинками к двери. Только теперь я смог ее рассмотреть. Ей было под пятьдесят, лицо у нее было цвета пчелиного воска, но без следов меда. Оно было такое гладкое, бескровное, без единой морщинки, словно лицо восковой фигуры из паноптикума. Это впечатление усиливалось высокой девической грудью, идеально округлой и неподвижной, словно вылепленной из стеарина.

Она откинулась на стуле и неожиданно засмеялась. Не знаю почему, но этот смех показался мне мрачным и зловещим, хотя сейчас понимаю, что он был веселым и добродушным. Нервы мои были напряжены, и у меня вдруг возникло опасение, уж не попал ли я в капкан, который они с Доротеей мне хитроумно расставили.

— Успокойтесь, товарищ Манев,— сказала она.— Ничего страшного вы не услышите...

— А с чего вы взяли, что я волнуюсь? — сдержанно спросил я.

— Установила по вашему виду. На мой взгляд, у вас явные признаки невроза.

— Извините, но я пришел сюда не лечиться! — сказал я недружелюбно.

— Знаю,— ответила она.— И все же зачем?

Ее вопрос поставил меня в тупик. Я представлял себе этот разговор более задушевным. И, пожалуй, не сознавал, что по моей вине он начался в таком резком тоне. К тому же за то время, пока мы обменивались этими фразами, несколько голов заглянули в дверь, какие-то личности в белых больничных халатах кого-то спрашивали, словно в этом огромном здании никто не сидел на своем месте.

— Я хотел бы поговорить о Доротее,— ответил я.— И о состоянии ее здоровья. Если это, конечно, не противоречит врачебной практике.

— У меня тайн нет,— сказала Юрукова.— Но похоже, что Доротея вас потрясла.

— Если вы полагаете, что она меня напугала...— начал было я.

— А в машине?

— Она вам все рассказала?

— Такой у нас уговор,— ответила она.— Вы поступили в тот вечер очень тактично. И очень человечно. Так что у меня нет причин что-то от вас скрывать. В данный момент она практически здорова... Я наблюдаю ее лет пять-шесть, у нее бывали легкие приступы шизофрении, периодически, конечно. Я бы назвала их навязчивыми идеями, чтоб вам было яснее. Она воображает себя одной из героинь тех книг, которые читает. Скажем, Ириной из «Табака»... или Козеттой из «Отверженных»... Последний раз она вошла в образ Таис, и это продолжалось, к сожалению, довольно долго. Но вот уже шесть месяцев, как у нее не было никаких рецидивов.

— Совсем никаких?

— Можно считать, никаких...

— В чем, по-вашему, причина ее болезни?

Она кольнула меня быстрым, еле уловимым взглядом. Он скорее походил на прикосновение алмазного резца к стеклу.

— Об этом я вам тоже скажу,— ответила она сдержанно.— Пожалуй, лучше, чтобы вы знали. В детстве она пережила два сильных душевных потрясения. Когда ей было одиннадцать лет, легковая машина задавила отца буквально у нее на глазах. Он тут же скончался. Мать ее вышла замуж, жизнь в новой семье скоро стала невыносимой... Она ушла к дяде. В тринадцать лет, когда она только вступала, как говорится, в пору девичества, он пытался лишить ее невинности.

Юрукова на мгновенье замолчала, лицо у нее было хмурое. «Да, действительно гнусно,— подумал я, ошеломленный.— Лучше бы я не спрашивал».

— Но, по-моему, не в этом причина ее болезни,— продолжала Юрукова.— Хотя все это взаимосвязано. Как вы догадываетесь, тут играют роль и некоторые наследственные факторы... Но сейчас она чувствует себя хорошо, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить! Если только что-то не вызовет новый стресс.

Она замолчала, не глядя на меня, но в голосе ее я отчетливо уловил предупредительные нотки.

— Почему же вы ее не выпишете? — спросил я.

— А где ей жить? У дяди? Или с такой матерью, которая хуже мачехи? Я изобретала всякие предлоги, чтобы удерживать ее здесь. Будто она мне нужна для научного эксперимента... Но так вечно не может продолжаться, эта обстановка становится для нее опасной. Страшно подумать, что ждет ее в будущем.

Я тоже слегка испугался. Не слишком ли легкомысленно вступил я на неизведанный путь? Зачем, в сущности, я сюда пришел — чтобы нажить неприятности? И только я подумал, как бы мне половчее ретироваться, как она неожиданно спросила:

— Вы вроде бы тоже хотели что-то сказать?

— Да, да...

И с преувеличенным оживлением описал ей, как Доротея угадала название моих «Кастильских ночей», скорее почувствовав, чем осознав, что мой рассказ не произвел на нее особого впечатления. Впрочем, как я теперь сам понимаю, говорил я довольно сбивчиво.

— Ничего странного,— спокойно сказала Юрукова.— Просто она прочитала ваши мысли. Сначала это и меня поражало, но потом я привыкла.

— И вы говорите, что здесь нет ничего странного? — удивленно посмотрел я на нее.

— Телепатия — не досужие выдумки... У Доротеи редко, но бывают поразительные догадки. Как знать, может, через несколько веков телепатия будет нормальной формой общения между людьми.

— Да, через несколько веков, возможно,— пробормотал я.— Но мы пока что живем в двадцатом веке... Да и вряд ли она знает, где эта Кастилия.

— Не относитесь к ней пренебрежительно, она много читает. Конечно, я еще не разрешаю ей читать романы, особенно хорошие. Но в остальном она хватается за все, что попадется, даже за мои медицинские книги. При своей удивительной памяти она знает некоторые вещи лучше многих моих коллег...

— Наверно, это не так уж трудно,— улыбнулся я.

Но моя собеседница словно не поняла моего намека.

— Притом память у нее не механическая,— продолжала она.— И интуиция отлично помогает ей там, где не хватает знаний или логики. Вообще Доротея очень интересная девушка. С характером...

Этого я уж никак не ожидал услышать.

— Мне она показалась очень робкой,— ответил я.

— Ну, нахальной ее не назовешь. Но если вы полагаете, что она слабая, то сильно ошибаетесь. Она даже физически весьма выносliва. Ее сослуживцы удивляются, как легко она управляется с прессом.

— А где она работает?

— В мастерской. Штампует детали. Или что-то в этом роде. Работа как работа, но мне думается, для нее не совсем подходящая. Слишком однообразная, не занимающая воображения. А оно у нее слишком живое, ему беспрерывно нужна пища. Его нужно чем-нибудь населить, но ни в коем случае не химерами. Вот поэтому я и хотела вас попросить... Вы человек со связями, не могли бы вы найти более подходящую для нее работу?

— Какую, например?

— Например, делать куклы. Или расписывать чашки, вазы, тарелки. У нее золотые руки.

— Постараюсь,— ответил я.— Только не говорите пока ей. Не хочется ее огорчать, если ничего не выйдет.

— Она не огорчится. Ей сейчас все равно, где работать. И сколько получать. Для нее деньги просто бумажки. В житейских делах она очень непрактична.

— Ну, не совсем! В ту ночь она прекрасно сориентировалась в обстановке.

— Это скорее инстинкт. Там, где разум бессилен, природа мобилизует подспудные и таинственные силы. Я часто наблюдала нечто подобное у моих пациентов. И как врач не могла найти этому объяснения.

Я ушел из клиники в полном смятении. Последние слова Юруковой тащились за мной по пятам, как надоедливые попрошайки. Думал, что отделаюсь от них в машине. Не удалось. Они устроились на заднем сиденье, продолжая изводить меня своими нелепыми вопросами и предположениями. Я включил радио на всю мощность. Успех тот же. Если природа в самом деле так изобретательна, как утверждала доктор Юрукова, то в данном случае она избрала совершенно неведомые мне пути.

4

Прошла еще неделя. Единственным моим достижением за это время было то, что раз и навсегда из моего дома было изгнано одиночество. Я уже был не один. Доротея словно незримо жила во мне и рядом со мной, хотя и не как человек, даже не как воспоминание. Воспоминание было не из приятных, и я старался отогнать его от себя. На его месте оставался какой-то осадок, смутное и тягостное, но все же живое чувство. Что это было за чувство? Трудно сказать. То ли горькой укоризны, то ли стыда за свою обычную невнимательность. Я ловил себя на том, что мысленно веду бесконечные разговоры, но не с нею, а с самим собой. Пытался понять, что же произошло. Ничего не изменилось, кроме того, что я был не одинок. Доротея прогнала одиночество. Все было бы в порядке, если бы она сама не заняла его места. И чувство одиночества не сменилось растерянностью.

Как-то ночью, ворочаясь без сна в постели, я силился припомнить ее лицо. И странное дело, я не мог себе представить четко и определенно ни одной его черты. Казалось, если б я встретил ее на улице в другой одежде, то просто бы не узнал.

Нет, она не была безликой, этого про нее никак нельзя было сказать. Вот припоминаю — нос у нее длинноват, губы узкие и бледные, волосы прямые, как у Моны Лизы. И все же это не были определенные черты — лицо ее непрерывно менялось, точно поверхность реки, по которой то переливаются солнечные блики, то пробегают тени облаков. Лицо ее словно отражало внешний мир, не выражая ничего своего,— наверно, в этой изменчивости и было заключено его непонятное очарование.

С того вечера, когда мы впервые встретились, прошло более года. Теперь она мертва, и я с ужасом и мучительной горечью чувствую, что так и не могу припомнить ее лица, хотя столько странного, необычайного случилось с нами. И не только ее лица не осталось в моей памяти, но и никакого следа, ни даже пятнышка крови — такой, какую я видел однажды, светлой и негустой, как черешневый сок. Словно ее и не существовало, хотя в этом мире подобной ей не было. Ровно она была сон, бред полубольного горячечного ума. Теперь можно сомневаться во всем. И ничему не верить. Ничему, кроме ее правды.

Итак, волей судьбы, как говорится в таких случаях, мне неожиданно быстро и легко удалось выполнить то, о чем меня просила Юрукова. Я тотчас же ей позвонил, и она искренне обрадовалась. И, конечно, обещала сейчас же прислать ко мне Доротею. Но Доротея не появля-

лась несколько дней. Не знаю точно, что я испытывал в эти дни — трепетное ожидание или невольный страх. Но никогда еще я не чувствовал себя таким растерянным. Однако мой здравый и трезвый ум советовал мне хотя бы не торопить события. В этом мире спешить некуда, все дороги человеку отмерены. И потому, несмотря на все свое нетерпение, я не стал звонить Юруковой второй раз. Пусть судьба сама решит, зачем ее принуждать.

Наконец, в один прекрасный день Доротея объявилась сама, позвонила, как и следовало ожидать, по телефону.

— Это вы, товарищ Манев?

Я сразу же узнал ее голос.

— Я. Что же ты так долго не объявлялась?

Похоже, что мой решительный тон ее смутил.

— Нет, что вы, я несколько раз звонила.

Тогда я подумал, что она меня обманывает. Позже я понял, что из всех человеческих пороков этот меньше всего был свойствен ей.

— Когда?

— В обеденный перерыв.

В это время я, естественно, тоже ходил обедать.

— Ну, хорошо,— сказал я.— Приходи ко мне сейчас же. У меня есть для тебя хорошая новость.

— Сейчас не могу,— ответила она робко.— Я на работе и звоню из автомата.

— Бросай все,— приказал я.— И приходи, я нашел тебе другую работу.

Немного поколебавшись, она согласилась. День, помнится, был очень холодный. Она пришла в том же наряде и слегка посиневшая, как мне показалось, от холода, словно провела ночь на садовой скамейке. Как знать, может, она и вправду ночевала где-нибудь в парке. Вероятно, поэтому нос ее показался мне еще длиннее. В сочетании с круглыми глазами он придавал ее лицу какое-то удивленное выражение. Красавицей ее нельзя было назвать, но внешность у нее ни в коем случае не была неприметной и заурядной. Потом, когда мы стали ходить с ней в рестораны, я часто замечал во взглядах моих друзей и знакомых, видевших ее впервые, любопытство, даже одобрение.

— Какую работу? — спросила она с порога.

— Переписывать ноты... Тебе никогда не приходилось этим заниматься?

— Никогда. А разве это работа? — удивленно протянула она.

— Работа как работа. Не бойся, выучишься... Ты же способная.

— Интересно,— ответила она задумчиво.— Ноты, это хорошо. А где?

У меня были друзья в музыкальном издательстве, устроить ее туда не составляло труда. Какой современной девушке захочется портить глаза из-за осьмушек и диезов? Переписывать ноты — дело кропотливое, требующее внимания, усидчивости. Не знаю уж почему, я внушил себе, что она с ним прекрасно справится.

— Я хоть сейчас! — сказала она. Вид у нее был очень воодушевленный.

— Хорошо, сегодня же отведу тебя туда. Хотя бы представлю директору.

Но поглядев на нее внимательней, я понял, что поторопился. В мятой юбчонке, с посиневшим лицом она походила на цветочницу — из тех, что до революции продавали цветы на улицах.

— Ты не могла бы во что-нибудь переодеться? — спросил я.

— Нет. Я все оставила у подружки.

— Пойди возьми у нее.

— Нет, не могу! — Лицо ее омрачилось.

— А деньги у тебя есть?

— Да, у нас через несколько дней зарплата.

— Нет, нужно все купить сегодня же. Я тебе дам взаймы, потом отдашь.

— Отдам, конечно,— с готовностью согласилась она.

Я хотел было послать ее одну, но передумал. Я лучше ее знал, как должна выглядеть приличная девушка, поступающая на работу в издательство. Но не только в этом было дело. Меня охватило какое-то возбуждение. желание сделать все самому. Но почему, ведь у меня никогда до сих пор не возникало такого желания? Я повел ее в магазин «Валентина». Платье, которое я ей купил, было теплое, почти зимнее, но сегодня мне непременно хотелось ее отогреть. Когда она вышла из примерочной, лицо у нее было несколько озадаченное.

— Красивое? — спросила она с некоторым сомнением.

Ничего особенного, обычное готовое платье, хотя и из хорошего материала. Но все-таки оно прекрасно сидело на ее стройной, как у манекенщицы, фигурке. Кроме того, мы купили туфли и кое-какие мелочи. Мы обошли несколько магазинов, она настолько принимала все как должное, что мне даже стало немножко обидно. В юности мне жилось трудновато, и я не люблю людей, которые считают само собой разумеющимся, что все блага им достаются даром, словно падают с неба. А может, она действительно не знала цены деньгам и вещам, как мне объясняла Юрукова. Она ни разу не спросила, что сколько стоит, не посмотрела на чеки, относясь ко всему как к чему-то естественному, словно голубь к рассыпанному вокруг пивного завода ячменю.

Я не успел утром позавтракать и очень скоро проголодался. Мы перекусили в пивном баре гостиницы «Болгария» и вернулись домой. Я терпеливо начал объяснять ей, как надо переписывать ноты, даже переписал для нее две-три строки из «Кастильских ночей». Она внимательно следила за мной, потом попыталась переписать сама. Меня поразило, насколько переписанные ею ноты походили на мои. Так мы прозанимались часа два, не заметив, как пролетело время. Когда я взглянул на часы, было около шести.

— Послушай, Доротея, мне пора на собрание. Вернусь часов в девять. Ты посиди поработай. И жди меня... Потом пойдем куда-нибудь поужинаем.

— Хорошо,— сказала она.

Но я вернулся в десять. Собрание было бурное, вопросы решались важные, правда, не настолько, чтобы из-за них кипели такие страсти Но она была вне себя от ужаса. Она не понимала, почему с собрания нельзя уйти.

— Я уже думала, что тебя убили! — сказала она все еще испуганно.— На улицах такая страшная темнота.

— Кто меня может убить?

— Как кто? Карбонарии! — ответила Доротея убежденно.

Практически здорова! С чем я и поздравляю доктора Юрукову! Уж не решила ли она переложить свои заботы на меня? Неплохая идея! Человек богатый, современный, что ему стоит позаботиться о несчастной больной девушке. Но Доротея сама, похоже, поняла свою ошибку, потому что смущенно добавила:

— Что за глупости я говорю... Это просто от страха.

— Кто-то тебе наболтал про карбонариев, — сказал я недовольно.— Совсем они были не такие.

— Конечно, я знаю! — согласилась она.— Это мне из какой-то дурацкой книги запомнилось.

Потом, внимательно посмотрев на меня, спросила:

— Тебе доктор Юрукова все рассказала?

— Откуда я знаю, все или не все,— ответил я.

— Ну, хотя бы главное.

— Полагаю, да.

— Ну, и ничего страшного! — сказала Доротея почти сердито.— Лучше воображать себя кем-то, чем быть никем.

— Забудь об этом. Лучше дай я посмотрю, что ты сделала.

Лицо ее тут же просветлело, она принесла мне целую стопку нотных листов. У меня опять было такое впечатление, что она не переписала ноты, а сфотографировала их, так они походили на написанные мной. Я, правда, сам умею красиво писать, но все же я поразился ее способностям. Человеку, сумевшему выполнить такую работу, вероятно, многое по плечу. Но тогда я еще не подозревал, насколько эта расхожая фраза соответствовала истине.

— Да, хорошо,— сказал я сдержанно.— Быстро ты это освоила.

Я смутно понимал, что ее не следует сильно хвалить.

— Ну, конечно, книгу лучше переписывать. Здесь ведь не понимаешь, что пишешь. Но все-таки я уже запоминаю сразу по целой строке. Без ошибки.

На этот раз я не сомневался, что она говорит чистую правду. Без этого такую стопку нотных листов не перепишешь.

— Научишь меня их читать? Очень тебя прошу!

— Это не так-то просто.

— Ничего. Мне прямо до смерти хочется узнать, что там написано. А вдруг что-то очень хорошее.

— У меня все хорошее! — засмеялся я. — Ты ела?

— Нет! — ответила она удивленно.

— Хочешь, пойдем куда-нибудь?

— Сейчас? Нет, не хочется. А у тебя ничего не найдется?

Общими усилиями мы кое-что наскребли — масло, джем, по два яйца всмятку. Только хлеб был ужасно черствый.

— Прямо зубы обломаешь,— заметил я.

— Зубы обломаешь? — спросила она огорченно.

— Да ведь я шучу.

— Не люблю я шуток, — ответила Доротея.— Не понимаю я, когда шутят, а когда говорят серьезно. Из-за этого и на смешные фильмы не хожу. Все смеются, а мне плакать хочется.

Мать мне рассказывала, что я тоже обливался слезами, когда мальчишкой смотрел «Новые времена». Решил, что Чарли Чаплина вправду затянуло в машину.

— Может, ты и права,— сказал я.

— Конечно, права! — воскликнула Доротея.— Что смешного в том, что человека толкают, бьют, сбрасывают с балкона...

Ну что ж, логично. Не слишком похвально так откровенно смеяться над чужими бедами и несчастьями. Но хотя Доротея не походила на всех прочих людей, наш скудный ужин она уплетала с отменным аппетитом. Когда я положил на стол яйца, она посмотрела на них почти с нежностью.

— Знаешь, как я давно не ела яйца всмятку!.. С тех пор, когда еще был жив мой отец. Он их очень любил.

Я почувствовал, как она вся сжалась, взгляд ее потух. После сегодняшнего славного и успешного дня этого нельзя было допускать. Я достал из холодильника уже начатую бутылку «Каберне»; поставил на стол бокалы.

— Мне не наливай! — сказала она.

— Почему? — удивился я.

— Доктор Юрукова не разрешает.

Ну раз так, делать нечего. Я налил одному себе. Но Доротея не сводила глаз с бутылки, она, видимо, сильно колебалась.

— Налей и мне полбокала! — сказала она.— Не каждый день поступаешь на новую работу, да и вино не отрава.

Я налил ей чуть больше половины, из вежливости, разумеется. У меня не было никакого желания ее спаивать. Но она опьянела — от нескольких глотков. Лицо ее разрумянилось, во взгляде появилась чуть заметная расслабленность, по которой моя жена безошибочно угадывала, выпил ли я одну рюмку или три. Доротея стала вроде бы еще тоньше и как-то вытянулась на стуле, точно превратившись в стебелек цветка.

— Как у меня голова закружилась,— сказала она.— Можно я пойду лягу?

— Да, конечно... нам ведь утром надо рано вставать.

На всякий случай я довел ее до холла. Ничего, походка у нее была ровная. Но глядя ей вслед, я отметил, что уши у нее покраснели, как вишни.

— Ничего, ничего, ляг поспи!.. Завтра ты чудесно будешь себя чувствовать.

Но она продолжала упорно смотреть на меня затуманенным взглядом. Вид у нее был довольно смешной.

— Если хочешь, можешь остаться со мной! — заявила она вдруг.

— Не волнуйся, здесь тебе это не угрожает!

— А я волнуюсь,— сказала она.— Я не люблю оставаться в долгу.

Тон у нее был почти дерзкий. Я никогда потом не слыхал, чтобы она говорила таким тоном. Но это был и последний глоток вина в ее жизни.

— А я не привык, чтобы мне так дешево платили,— довольно резко бросил я.— Спокойной ночи!

Она промолчала. Я ушел в спальню, расстроенный не столько ее, сколько своими словами. Безусловно, я мог бы найти более вежливый и подходящий ответ. Но главное было не в этом. Была ли в моих словах какая-то доля правды? Честно говоря, да. И дело не в том, что Доротея капельку выпила и вообще была не в своей тарелке. Разобраться в своих ощущениях мне было не так-то просто. В самом деле, она не была мне неприятна физически. И производила впечатление милого и безобидного существа. Но все же между нами лежала какая-то преграда, о существовании которой я раньше не подозревал. Может быть, инстинктивное отвращение к болезни, даже когда она не заразная. Может быть...

5

Она осталась жить у меня, хотя мы не сговаривались об этом, так просто как голубь, приютившийся на моей террасе. Вставала она рано; бесшумно, как тень, двигалась по огромному пустому холлу и уходила так тихо, что даже если я уже не спал, то все равно не слышал ни ее шагов, ни щелканья замка. Только гул водопроводных труб в ванной подсказывал мне, что она встала и моется. Потом я видел ее влажное полотенце, висящее на крючке. На полочке перед зеркалом появилась ее маленькая зубная щетка. Скоро я заметил, что она моется и утром и вечером с такой невероятной старательностью, словно хочет смыть с себя тяжелый больничный запах, воспоминания, все до последнего пятнышка своей прошлой жизни. Она отмывалась и становилась все чище, все прозрачнее, все воздушней. И в то же время все спокойнее. И вся она словно светилась чистотой — от воротничка до кончиков туфель. Даже походка у нее изменилась — она уже не переступала, как

чайка, шагающая по берегу моря. Все в ней сделалось умиротворенным, губы ее словно стали сочнее, даже ее унылый нос казался мне теперь вполне нормальным.

Доротея уходила на работу к семи и неизменно возвращалась в четыре. Я не знал, где она питается, мне было как-то неудобно спрашивать. Да поначалу и она сама была неразговорчивой — никогда не говорила ни о своем прошлом, ни о будущем, только о самых простых будничных вещах. Но и в этих случаях она изъяснялась отрывистыми, незаконченными, если не сказать непонятными, фразами. Сначала я полагал, что это от недостатка ума. Позже я понял, насколько был несправедлив. Просто она говорила с людьми, которых носила в себе, с которыми сжилась душой. Они должны были понимать ее так же, как она иногда угадывала даже их помыслы. Постепенно она становилась разговорчивой, даже словоохотливой — болтала о цветах, о деревьях, об уличных витринах, о бюро путешествий, о самолетах, с гулом проносившихся над городом. Только о людях не говорила, даже о своих безобидных сослуживицах.

Она никуда не выходила, не интересовалась, что происходит за стенами нашего дома. Не смотрела телевизор, просто, как кошка, не воспринимала его изображения. Когда я читал, она сидела неподвижная и задумчивая, но я чувствовал, что она не скучает. Она, как я полагал, носила в себе все, что ей необходимо,— до последнего цветка или травинки. Все, что было вне, она вбирала внутрь и могла созерцать часами, словно оно непрерывно рождалось и изменялось у нее на глазах. Редко-редко я замечал бледную улыбку на ее губах, словно в уме у нее всплывало воспоминание, одно-единственное, которое она оберегала, как величайшую драгоценность.

В свободное время я учил ее читать ноты. Иногда до позднего вечера наигрывал на рояле, объяснял, заставлял повторять. Я и не подозревал, что во мне живет страсть к преподаванию, да и вообще начисто забыл об учениках и преподавателях после окончания консерватории. Она постигала сложную материю не по дням, а по часам... Это наполняло меня тщеславной гордостью, словно ее успехи были моими. Я никогда ни с кем не занимался, даже со своим сыном, и не представлял, что такие занятия могут наполнять тебя радостью. Уж не пробудились ли во мне запоздалые родительские чувства? Чепуха! Она не была ни ребенком, ни девушкой. Она была женщиной такой же, как и все.

Помню день, когда оживленный женский голос сообщил по телефону, что у меня родился сын. На миг я почувствовал разочарование, потому что ждал девочку. Даже не ждал, я был уверен, что родится девочка. Много месяцев она жила в моем воображении. И я словно бы не мог никогда примириться с этой метаморфозой. Ребенок был живой и крикливый, темпераментом походил на мать. Я не люблю озорных детей. А может, вообще не люблю детей, особенно когда они галдят целой оравой. Стараюсь не ходить мимо школьных дворов, мне противно смотреть, когда дети лупят друг друга портфелями по стриженым головам. Их шумные игры, как бы они ни были невинны и естественны, вызывают у меня невольное раздражение. На мой взгляд, человеческие детеныши с первых дней жизни гораздо сильнее проявляют свои инстинкты, чем детеныши животных.

Как бы то ни было, но с тех пор, как Доротея поселилась у меня, я словно позабыл, что существуют на свете и другие люди, в том числе и мой сын, о котором я не слишком заботился. Заходил раза два в месяц на старую квартиру, небрежно гладил его по голове, совал размякший в кармане шоколад, который по нескольку дней таскал с собой. Он не обращал на меня особого внимания, только все прице-

ливался в меня из деревянного ружья. Наконец, в один прекрасный день позвонила моя жена, язвительная больше обычного. Назвала меня «господином». Не намерен ли господин посмотреть, как живет его отпрыск. Или если у него нет такого намерения, то почему он не поинтересуется об этом хотя бы по телефону? Да, такое намерение, отвечал я, у господина есть, но до сих пор он был слишком занят, заканчивал свое новое гениальное произведение.

— Знаю я твои новые произведения,— прорычала она.— Стыда у тебя нет!

— Что касается денег,— прервал я ее,— то я их завтра же тебе принесу.

На улице наконец потеплело, белый гребень Витоши становился все клочковатее и грязнее. По склонам горы проступила бледная зелень и, густея, стекала широкими потоками к ее подножию. Все чаще я поднимался на террасу — так мы называли плоскую крышу нашего небоскреба. Пожалуй, ею пользовались только я да кошки, гонявшие там голубей. От воздушной бездны она отделялась лишь невысокими перилами. Я не любил к ним подходить, а, вытянувшись на брезентовом шезлонге, с наслаждением дышал свежим воздухом. Между мной и горами было только поле, перечеркнутое дорогой, словно черной чертой. Или это была речка, потому что по обеим ее сторонам виднелись темные полоски ив. Кое-где можно было различить сельские дворы, заброшенные печи для обжига кирпича, некоторые из них еще дымились, словно земля испускала сквозь трещины ядовитые пары. Картине не хватало законченности, но мне она доставляла удовольствие. Все-таки приятнее, чем смотреть на простирающееся над крышами фантастическое кладбище антенн.

Теперь я не поднимаюсь на террасу, она мне внушает страх...

На следующий день я пошел к Наде. Позвонил. Она не торопилась открывать. Наконец, послышалось тихое шарканье тапочек. Дверь распахнулась, и, окинув меня враждебным взглядом, жена отодвинулась, пропуская меня. Мне был очень хорошо знаком этот взгляд, которым она столько раз встречала меня. Откуда-то выскочила кошка, моя любимица, ласково потерлась о мои брюки. Желтый ее хвост торчал как мачта, на которой невидимо развевался белый мирный флаг. Звали ее Коца.

— Как Коца? — спросил я.

— Ничего, запор у нее... Входи же, что ты торчишь в дверях.

По правде говоря, я медлил, потому что мне не хотелось входить. Переступая порог, я почему-то боялся, что она шлепнет меня ладонью между лопаток, как непослушного ребенка. В гостиной было не убрано, сын не объявлялся. Как я мог столько времени терпеть такой беспорядок, непонятно.

— Подожди секундочку, я накину что-нибудь на себя.

У моей жены была скверная привычка донашивать дома старые платья, пока новые ее туалеты пылились в гардеробе. И сейчас она была в дешевой поношенной водолазке, без лифчика, плоские ее груди с большими сосками болтались под тонкой материей. Но в общем она была красивая, хотя и сухопарая женщина, с ногами породистой арабской кобылы — длинными, стройными, нервными. Лицо ее было оливковое, губы — цвета перезрелой сливы, злые, крепко сжатые, энергичные. Немного найдется людей, способных выдержать ее испепеляющий, откровенно ненавидящий взгляд. Я лично не пытался, и это выводило ее из себя.

— Как жизнь? — спросила она, садясь на стул, как всегда чуть расставив ноги, чтобы этим тоже подчеркнуть свое полнейшее пренебрежение к миру и ко мне в том числе.

— Ничего!

— С какой-то девкой связался! — сказала она грубо.

— Она не девка! — почти крикнул я, чувствуя, как раздуваются мои ноздри.

— А кто же?

— Дальняя родственница... Студентка, ищет себе квартиру.

Надя презрительно посмотрела на меня.

— И врать научился!

— Всегда врал! — обозлился я.— Разве с тобой можно говорить откровенно? Разве только в броню заковаться.

— А правда, что она шизя?

— А тебе какое дело?

— Мне никакого, но у тебя все-таки есть сын.

— Его вряд ли волнуют подобные проблемы,— холодно произнес я.

— Да, но завтра ему будет не все равно, какой у него появится братик или сестричка.

— Ну вот что... Держи деньги... А сына зайду повидать в другой раз.

— Ты даже не спросил, где он, нахал этакий!

Так и не узнав, где он, я в ярости бросился к выходу. В сущности, я не был особенно зол, потому что давно привык к ядовитому языку жены. Но не затем же я с ней разводился, чтобы снова терпеть скандалы. Я едва не сшиб по дороге кошку, сидевшую у порога и с надеждой посматривавшую на замок. Ей, видно, тоже надоела эта кабала. Оставалось только схватить ее под мышку и хлопнуть дверью раз и навсегда.

Я пообедал в ресторане и вернулся домой. Сочинять музыку к кинофильму. Сроки, как водится, подпирали. Но работа не клеилась, какие-то гневные, обиженные нотки прорывались в музыке, а действие происходило на образцовой ферме. Доярки жили дружно, и только какой-то тип чуть не перессорил их всех. Но в конце концов коллектив, разумеется, одержал верх над несознательной личностью. Это нужно было как-то выразить в музыке, но как, я все еще себе не представлял.

Доротея вернулась, по обыкновению, в четыре. Настроение у нее было приподнятое, она казалась очень оживленной. Прошлась несколько раз по холлу своей характерной, чуть подпрыгивающей походкой, потом остановилась передо мной и сказала:

— А я уже слышу!

— Что?

— Твою музыку! — ответила она серьезно.

Тогда я обратил внимание не столько на смысл ее слов, сколько на их необычность в устах девушки не слишком интеллигентной. В это время она действительно переписывала что-то мое из того, что я передал издательству. Там ее уже считали едва ли не феноменом, чудом природы.

— И нравится тебе? — спросил я шутя.

— Да! Конечно! — ответила она порывисто.

В конце концов, что уж такого удивительного, ведь я часами учил ее читать ноты. От человека с такими необыкновенными и необъяснимыми способностями, как у нее, этого можно было ожидать. Впрочем, мне было не до музыки, у меня все еще не выходил из головы неприятный разговор с Надей. Больше всего меня беспокоила мысль — откуда она узнала про Доротею? Мы редко ходили куда-нибудь вместе, особенно туда, где бывают мои знакомые. Мои — да, но ее? А что, если Доротея пользуется большей, чем я предполагал, известностью в муж-

ских компаниях? Скорее всего. Эта мысль была мне настолько неприятна, что я невольно нахмурился. Как знать, может, я стал посмешищем в их глазах. Известный композитор, приятный человек с завидным положением, а связался с простой девчонкой из тех, что шляются по ресторанам. Да еще к тому же и шизей, как весьма учтиво выразилась моя жена.

Так я размышлял, лежа на диванчике в скверном настроении. Вдруг я почувствовал, что Доротея смотрит на меня, и поднял голову Она и вправду не сводила с меня пристального взгляда, словно вслушиваясь во что-то, чего никто другой не мог слышать.

— Ты ходил сегодня к жене? — неожиданно спросила она.

— Откуда ты знаешь?

— Просто спрашиваю.

— Ходил,— ответил я.

Она немного помолчала, потом резко добавила:

— То, что ты думаешь обо мне, неправда.

До сих пор она никогда не повышала голоса в разговоре со мной. Я полагал, что это ее главное достоинство.

— А откуда ты знаешь, что я думаю о тебе?

Я встал с диванчика и взволнованно прошелся по холлу. Теперь она молчала, не глядя на меня. Мне столько всего хотелось ей сказать, что я просто не знал, с чего начать.

— Ты что, читаешь мои мысли?

— Не знаю! Иногда,— ответила она смущенно.

— Что значит — иногда?

— Очень редко.

— И как это у тебя получается? — Я с трудом скрывал свое раздражение.

— Сама не знаю,— ответила она беспомощно.— Оно само появляется у меня в голове.

— Тебе доктор Юрукова говорила о телепатии?

— Да конечно. Мы и опыты проводили.

— Удачные?

— Не знаю. Похоже, не очень... Я не могу это делать по заказу. Оно получается само собой.

— Ладно, Доротея. Забудь этот глупый разговор.

Она посмотрела на меня и улыбнулась, все еще грустная.

Вскоре после этого разговора ко мне зашел домоуправ, потрепанный жизнью человек бывший полковник. От пиореи у него так расшатались зубы, что казалось, стоит ему чихнуть — и они разлетятся во все стороны. Вероятно, поэтому он говорил медленно и осторожно.

— Можно к вам на минутку?

Я ввел его в холл. Было довольно рано. Доротея еще не вернулась с работы. Он остановился и обвел комнату внимательным взглядом, точно осматривая поле боя.

— Присаживайтесь, полковник.

Низкие современные кресла были неудобны для его одеревенелого позвоночника. Костлявые колени вздернулись до ушей, коричневых и мясистых, как ласточкины гнезда. Я чувствовал, что он испытывает некоторую неловкость не только из-за неудобной позы.

— Прошу меня извинить товарищ Манев. Вы знаете, как мы вас уважаем, не только я, но и мои сыновья... Не знаю прямо, с чего начать.

— Смелее, полковник! — сказал я.— Как в атаку!

Он посмотрел на меня ободренный. Я уже догадывался, что он скажет.

— Видите ли, говорят... сам я не видел, но говорят, что у вас живет молоденькая особа.

— Молоденькая, говорите? — спросил я иронически.

— Да, молоденькая!.. Как-никак человек вы одинокий... Сами понимаете, что это неудобно!

— Видите ли, полковник, девушка — моя родственница... Не могу же я позволить, чтобы она ночевала на улице?

— Да, конечно, зачем же ей спать на улице.— Его шишковатый, нос разрастался у меня на глазах.— Но все-таки у нас с вами есть законы!

— Какой закон я, по-вашему, нарушил?

— Но ведь она живет здесь без прописки.

— Хорошо! — ответил я.— Я завтра же ее пропишу.

На этом наш деловой разговор фактически был закончен. Полковник, видимо, почувствовал бесконечное облегчение, развеселился, взгляд у него стал по-стариковски дружелюбным. Я налил ему рюмку хорошего коньяку, он внимательно посмотрел на нее, потом сказал:

— Ну что ж, рискну!.. Жена моя уехала на курорт...

Не докончив фразы, он не спеша и с видимым удовольствием выцедил рюмку. Уходя, он ступал уже менее твердым шагом. Много ли нужно старому человеку, чтоб у него закружилась голова? Оставшись один, я понял, что мне не так уж легко будет выполнить свое обещание. Доротея пришла ко мне без единой вещицы, даже без носового платка. Я слегка забеспокоился, а что, если у нее вообще нет документов? Не успела она вернуться с работы, как я принялся ее расспрашивать. Есть ли у нее паспорт? Где он?

— Понятия не имею,— сказала она растерянно.— Наверно, есть. Конечно же, есть. Но он остался у Юруковой.

— Тогда сегодня же пойди и возьми его.

— Нет-нет!— воскликнула она.— Мне стыдно!

Конечно, ей было стыдно. С тех пор как она поселилась у меня, мы совсем забыли о Юруковой. Даже ни разу не позвонили ей. И в какой роли я должен был предстать перед ней? Опекуна? Соблазнителя? Только я мог дать этому разумное объяснение.

Делать было нечего, на другой день я сел в машину и поехал в клинику. Громадное здание мрачно возвышалось в тени деревьев, суета вокруг него нисколько не уменьшилась. Я удачно пристроился в эту карусель, и человеческий поток скоро вынес меня к нужной двери. Слава богу, Юрукова была у себя, сидела за столом на этот раз в поблескивающих на солнце очках. Когда я вошел, она сняла их и, узнав меня чуть заметно улыбнулась. Я объяснил ей цель своего прихода. Не забыв, разумеется, извиниться. Она отнеслась ко всему так просто, словно моя квартира была филиалом ее клиники.

— А как она себя сейчас чувствует?— спросила Юрукова.

— Мне кажется — очень хорошо. Просила меня извиниться, что до сих пор не позвонила вам.

— Какое это имеет значение,— махнула рукой Юрукова.— Я ее прекрасно понимаю. Чтобы выздороветь окончательно, ей нужно не вспоминать о прошлом. Чем быстрей она о нас забудет, тем лучше.

Я рассказал о новой работе Доротеи. И о внезапном страстном увлечении музыкой. Она слушала меня не слишком внимательно, словно думала о чем-то другом. Но нет, она не думала о другом, она стремилась постичь скрытый смысл и значение моих слов.

— Это хорошо!—заметила она, когда я замолчал.— И опасно, как любое человеческое увлечение. Доротее нельзя чересчур волноваться. А музыка вызывает много эмоций.

— Гораздо меньше, чем вы думаете.

Она словно ушла куда-то далеко, потом вернулась.

— Я была на одном вашем концерте. И знаете, что произвело на меня самое сильное впечатление? Ваша безупречная, изящная логика.

Я удивленно посмотрел на нее. Как она до этого додумалась? Не всякий критик подметил бы это.

— А что вы называете логикой в музыке?

— Я не специалистка, и мне трудно объяснить. Такая музыка, как ваша, была бы ей полезна. Но не та, которую считают современной и модной.

Было ли в этом что-то обидное для меня, не знаю.

— Не беспокойтесь,— сказал я.— Музыка, которую она переписывает в издательстве, прежде всего скучна. Так что никакой опасности нет.

— Да, верно,— согласилась она.— Даже музыка может быть скучной. И в этом, вероятно, есть какой-то парадокс. В вашей музыке, например, все кажется очень точно рассчитанным. Человеку несведущему она может показаться монотонной...

— Пожалуй, вы правы,— подтвердил я.— В известном смысле музыка — это математика.

Это как будто удивило ее, и она взглянула на меня с интересом.

— Одно время я больше любила литературу. Она, безусловно, не может быть такой математически совершенной, как музыка. Хотя бы потому, что слова слишком грубы, затасканы, даже опошлены. С таким испорченным материалом нельзя создавать совершенные произведения искусства.

— А правда, что вы окончили филологический?

— Кто это вам сказал?

— Доротея.

— Правда. Сначала я кончила филологический, а потом медицинский.

— Извините, но не вижу, что общего между ними.

— И глубоко ошибаетесь!— ответила она рассерженно.— У обоих один объект — человек. И человеческая душа, конечно... К сожалению, литература не дала ответа на некоторые главные вопросы, занимавшие меня. И тогда я обратилась к медицине.

— И нашли ответы?

Любопытство мое было неподдельным. Юрукова неопределенно улыбнулась.

— На все вопросы сразу ответов не найдешь. Но на самый важный из них я словно бы нашла ответ у Доротеи.

— Серьезно? На какой же?

— Ну, это вы сами должны понять!— ответила она, рассмеявшись.— Она всегда несет его в себе. А вы человек интеллигентный.

— Спасибо,— сказал я.

— И долго еще Доротея собирается жить у вас?

Этот вопрос застал меня врасплох.

— Об этом я как-то не думал,— смутившись, признался я.

— Нужно подумать!— твердо сказала она.— Доротея не должна слишком сильно привязываться к вам. Для нее расставание всегда болезненно.

— Судя по расставанию с вами, вряд ли.

Я почувствовал, что задел ее. Она как-то зябко повела плечами, но ответила спокойно:

— Тем лучше... Значит, она входит в норму. Все-таки будьте к ней внимательны, если у вас возникнут сомнения, приходите посоветоваться.

— Что значит сомнения?— спросил я осторожно.— Она буквально каждый день чем-нибудь потрясает меня.

— Например?

— Пустяки, правда, я уже вам говорил об ее способности к телепатии.

— Ну, это не должно вас тревожить!— засмеялась она.— Этот прекрасный цветок скрыт в душе каждого человека. И он когда-нибудь расцветет.

— А вы считаете, что у нее в душе он уже расцвел?

— Не совсем. Но я видела, как цветет миндаль в январе. А она предлагала вам летать?

— Нет!— изумился я.— Как это — летать?

— Как птицы, например... Это одна из ее навязчивых идей... Или ее мечта, которая характеризует ее с самой хорошей стороны. Вам никогда не снилось, что вы летите?

— Нет,— ответил я.

— А вот мне снилось. Я летала спокойно и свободно, как птица. Над лесами и озерами. Вы думаете, это случайно?

Нет, я не думал, что это случайно. Я полагал, что пациенты оказали на нее свое влияние. Она, наверно, тоже поняла, что переборщила, откинулась на стуле, и под халатом четко обрисовалась ее девическая грудь.

— Не пугайтесь незначительных рецидивов,— продолжала она.— И ее тоже не пугайте. Я ее лечила сильными лекарствами. Она все еще как одурманенная.

— Да, пожалуй,— без энтузиазма согласился я.

— Это не так уж страшно. Ведь вы сможете соприкасаться с ее душой. И вы сами поймете, какая у нее, в сущности, светлая душа. А это большое счастье. Человеческая душа нечто более странное и невероятное, чем ее мог себе представить даже такой писатель, как Достоевский. Мы не ведаем ни ее настоящей силы, ни ее ужасающей слабости. Кроме, пожалуй, писателей и психиатров. У них хоть есть возможность время от времени заглянуть в щелочки...

Мы помолчали. Каждого из нас занимали свои мысли и опасения.

— Я надеялся, что вы меня подбодрите,— произнес я наконец.— А вы меня скорее напугали.

— А может, это я нарочно!— пошутила она.— Хотя я уверена, что вы никогда не перешагнете барьера.

— Какого барьера?— встревожился я.

Она поколебалась, потом как бы вскользь заметила:

— Это так, к слову... Хочу сказать, что ничто не должно резко нарушать ее внутреннего равновесия.

— Да, понимаю,— сказал я.

Позднее я убедился, что ничего не понял. А тогда я почувствовал, что нам и впрямь не следует продолжать разговор, если мы не хотим еще больше перепугать друг друга. Лучше всего было уйти из этого кабинета, в который медленно, как слизь, просачивался больной воздух клиники. Я стал прощаться.

— Спасибо, доктор Юрукова. Буду держать вас в курсе.

— Подождите, вы же забыли, зачем пришли.

Она вышла из кабинета и скоро вернулась с прозрачным нейлоновым мешочком в руках.

— Ее вещи...— сказала она.— Проверьте и распишитесь.

Деваться было некуда, я высыпал содержимое мешочка на стол. Кроме паспорта, там было золотое колечко, золотая монетка, зеленый

камешек, похожий на яшму. И русый локон, светлый, почти прозрачный, точно тоненький серп луны на светлом небе.

— Это все, что у нее есть... Но ей ничего не давайте. Особенно паспорт. Может, вам покажется смешным, но вы сейчас как бы ее опекун.

— Мне не смешно,— сказал я.

— Хотите, я вам покажу, где она жила?

— Не надо!— почти испуганно воскликнул я.

— Очень хорошая комната!— обиженно произнесла Юрукова.— Последние месяцы она жила там одна.

Что поделаешь, придется испить горькую чашу до дна, раз уж я вступил на этот путь. Я должен был знать, как она жила. Только потом я понял, какую грубую ошибку совершил, насколько был не подготовлен к этому. Но ошибку совершил не только я, Юрукова тоже сделала неправильный ход, словно некий бог или дьявол распоряжаясь людскими душами.

Сначала — ничего особенного. Длинный чистый коридор, ряд белых больничных дверей. Без ручек. Наконец, мы остановились перед одной из них, ничем не отличавшейся от всех прочих. Доктор Юрукова пошарила в кармане больничного халата, достала ключ, как мне показалось, сильно истертый. Привычным жестом сунув его в замочную скважину, открыла дверь.

— Входите!

Я вошел с тяжелым чувством. Сейчас ни за что на свете я не мог бы сказать, как выглядела эта комната. По всей видимости, обычная больничная палата с двумя аккуратно застеленными койками. С решетками на окнах. Но тогда я ничего не замечал. Стриженая девушка с оттопыренными ушами прошла мимо меня, держа что-то невидимое в ладонях, поднятых к самому подбородку.

— Что с тобой, Бетти?— ласково спросила доктор Юрукова.— Разве ты не видишь, что она грязная?

Девушка неохотно вылила невидимое из ладоней, ничего не выражающим взглядом посмотрела на Юрукову и бесшумно отошла. Глаза ее на какое-то мгновение показались мне совершенно прозрачными.

— Уйдемте!— закричал я.

Доктор Юрукова, по-видимому, поняла, что совершила оплошность. Она заперла за собой дверь, и мы молча двинулись по пустынному коридору. Садясь в машину, я почувствовал, как тошнота неудержимо подступает к моему горлу. Меня охватило страстное желание оказаться в толпе людей, что-нибудь выпить, развеяться. Почти машинально я остановил машину у клуба. Я понемногу приходил в себя, но меня все еще мутило.

Сделав над собой усилие, я немного поел. А вино вернуло меня в нормальное состояние. Нет, пожалуй, лучшего лекарства от душевных смут, чем бокал-другой хорошего вина. Потом я отправился к друзьям играть в карты. У меня было такое чувство, словно мне удалось избежать страшной беды, и непременно хотелось развлечься. Опомнился я часам к одиннадцати. Поспешно отдал деньги и ушел, несмотря на протесты партнеров. Войдя в квартиру, я застал Доротею в коридоре, она смотрела на меня так, точно перед ней появился призрак.

— Почему ты в коридоре?

— Я услышала лифт!— смутилась она.— Как он тронулся с первого этажа.

Этого только не хватало, чтобы она ждала меня в коридоре, блед-

дая, с выражением напряженного ожидания на лице, как когда-то моя жена, пока не поняла, что меня не переделаешь.

— Ты знаешь, который сейчас час?— спросил я сурово.

— Половина двенадцатого.

— Вот видишь! А тебе надо ложиться спать в одиннадцать.

— Я так боялась...

— Это меня не интересует. Ты что, хочешь, чтобы я ради тебя изменил своим привычкам? Я не сделал этого даже ради жены!

— Нет, что ты!— воскликнула она.— Вот увидишь, я привыкну!

— Хватит, иди спать! — приказал я.

Вообще я действовал в точном соответствии с наставлениями доктора Юруковой. И должно быть, не мог иначе, уж слишком я был расстроен посещением больницы и проигрышем в карты. Наскоро поужинал тем, что нашлось в холодильнике. Я уже привык питаться всухомятку, словно ворон падалью. Запив съеденное двумя бокалами белого вина, я окончательно успокоился. Проходя через холл, я посмотрел, легла ли Доротея. Она в самом деле уже лежала в постели, закрывшись одеялом до самого носа, а глаза ее лучились каким-то внутренним светом.

— Антоний,— окликнула она меня.

Я остановился.

— Антоний, я слышу музыку!

— Ты мне уже говорила!— сказал я с досадой.

— Нет, это совсем не то... Раньше я ее читала... А теперь я ее слышу про себя. Как она звучит по-настоящему... Словно оркестр играет.

— А может, ты слышишь что-нибудь другое?— сдержанно спросил я.

— Нет, именно то, что переписываю. Словно у меня в голове маленький транзистор.

Она глядела на меня своими прозрачными глазами, полными радостного возбуждения.

— А когда ты не смотришь на ноты, музыка смолкает?

— Да, конечно. Сразу же.

— Интересно!— процедил я.

А про себя подумал: «Черт возьми, неужели ты не можешь быть такой же, как все девушки?»

— Честное слово!— воскликнула она.— Ты не представляешь, как это интересно. Хоть бы и завтра было так же.

— Хоть бы не было,— рассердился я.— Лучше я куплю тебе два транзистора, лишь бы у тебя не звенело в голове.

И быстро вышел, чтобы не видеть, как мгновенно погаснет радостный блеск в ее глазах.

6

Дней десять она жила как во сне. Возвращалась, как всегда, с работы прямо домой и тотчас же хватала первые попавшиеся под руку ноты. У меня была большая библиотека — все великие композиторы, которых я люблю и ценю. Она устраивалась поудобней на диване, на котором спала, поджав под себя ноги, и ее девичьи колени сияли над зеленым одеялом, как две маленькие вечерние луны. Лицо ее непрерывно менялось, точно она дирижировала тем произведением, которое читала по нотам. Наблюдать за ней было забавно, но я не смеялся, зная, насколько это серьезно. По ее лицу я мог безошибочно угадать, какую из частей концерта, какой пассаж она слышит. Для меня уже не было сомнения, что она слышит все, что читает по нотам.

И так как я знал большинство этих произведений, а некоторыми когда-то дирижировал, то я иногда следил за ней по часам. Нет, ошибки быть не могло, каждое произведение звучало ровно столько, сколько ему было положено звучать.

Я не сказал бы, что этот странный дар Доротеи меня как-то особенно удивил или поразил. От нее можно было всего ожидать. Это скорее встревожило меня. Я помнил предупреждение доктора Юрковой. Любое увлечение, любое перевозбуждение грозили поколебать ее душевное равновесие. Но не это было главным. Было тут нечто более глубокое и сильное, по-видимому, заложенное в человеческой природе. И подобно многим нормальным людям, я инстинктивно воспринимал как ненормальное все, на что сам не был способен. Или то, что другие делали не так, как я. Теперь я прекрасно понимаю, что это не что иное, как проявление невежества и посредственности. Но что поделаешь, так уж устроен человек. Так устроена и курица, которая испуганно квохчет, предостерегая с берега высиженных ею желтых утят, уносимых счастливым течением реки.

И я не обеспокоился, а испугался. Я готов был вырвать у нее из рук эти проклятые ноты и швырнуть их в окно. Но все же я не делал этого — нельзя растоптать то, до чего не дотянешься, даже встав на цыпочки. Я или враждебно молчал, тайно терзаясь, или старался отвлечь ее разговорами на всякие другие темы, иногда довольно удачно. Но как только она оставалась одна — тут же снова утыкалась носом в ноты.

— Что тебе больше всего понравилось?— спросил я у нее однажды.— Из того, с чем ты до сих пор познакомилась?

— «Лебединое озеро»,— не задумываясь ответила она.

Я не удивился, даже обрадовался. Это был хороший повод.

— Чудесно!— сказал я.— Хочешь, пойдем с тобой в театр? По-моему, на этой неделе есть спектакль.

— Как спектакль?

— Очень просто, ведь «Лебединое озеро» — балет. Увидишь — поймешь.

— Хорошо,— согласилась она.

Но в ее голосе мне послышалась какая-то неуверенность, даже сожаление. Я прекрасно понимал, что, в сущности, ее пугало. На это я и рассчитывал. Купил два дорогих билета в ложу и потащил ее на представление, предвкушая свою победу. Она облокотилась на барьер, не глядя в зал. По правде говоря, и в зале никому до нее не было дела. Она была очень взволнована, я чувствовал, что она вся погружена в себя, словно старается что-то припомнить.

— На, почитай программу!— сказал я.

— Потом,— отмахнулась она.

Пожалуй, она впервые отказалась выполнить мою просьбу — до сих пор она безропотно повиновалась всем моим желаниям. Когда прозвучали первые звуки, я заметил, как напряглось ее лицо, как вся она притихла и вжалась в кресло. Но постепенно лицо ее смягчилось, чуть заметная улыбка заиграла на нем. Мой эксперимент явно не удался. В антракте, ведя ее в буфет, я спросил с притворной небрежностью:

— Ну что, есть разница?

— Нет,— ответила она.— Почти никакой...

— А что лучше?

— Конечно, в театре. Но все-таки это не одно и то же. То, что я одна слушаю, словно происходит во мне. Как будто я сама играю.

Как хорошо мне было знакомо это невыразимое чувство внутреннего ликования, хотя я испытывал его, увы, не слишком часто. А у нее

душа, наверно, была переполнена таким ликованием. Когда я вел ее в театр, я рассчитывал, что звучание оркестра откроет ей истинную красоту музыки и она разочаруется в той бледной копии, которая рождалась ее воображением. В антракте, когда я угощал ее скверным тепловатым лимонадом, один из моих приятелей, полный идиот, подскочил к нам.

— Ты еще не женился?— с ходу поинтересовался он.

— Представь себе, нет,— ответил я.

К моему удивлению, Доротея окинула его таким презрительным взглядом, что он устыдился своей наглости и поспешил ретироваться к своей жене, которая сгорала от любопытства, какую же она услышит новость. После спектакля мы пошли ужинать в ресторан. Только тут Доротея снисходительно заметила:

— Неплохая сказка. Немножко наивная.

Чего-чего, а таких заявлений я от нее не ожидал.

— Почему же наивная?

— Не знаю, хорошо ли это — из лебедя превратиться в человека. Да еще в принцессу. И сидеть в скучном дворце.

Она явно говорила серьезно, и в голосе ее звучала неподдельная искренность.

— А наряды? — пошутил я.— А принц?

— Да, но лебеди летают!— простодушно сказала она.

Я насторожился. На незначительные рецидивы, советовала доктор Юрукова, не следовало обращать внимания. Не надо было наводить ее на мысль. Учтем. Я притворился, что не расслышал. Мы с удовольствием поужинали, но вернулись домой молчаливые и отчужденные.

Лето наступило такое внезапное и жаркое, что таял асфальт на улице. Теперь на террасу можно было выходить только вечером, после захода солнца, когда из Владайского ущелья начинало тянуть прохладным ветерком. Я просто видел, как он мчится по окружной дороге, как где-то возле Бояны сворачивает вниз к городу. Он подлетал к нам, все еще молодой и самоуверенный, и, ударившись об острые углы зданий, спешил дальше. Но вскоре сникал, смешивался с бензиновыми парами города.

Несмотря на жаркое летнее солнце, Доротея оставалась такой же бледной. И я повез ее на Искырское водохранилище не столько для того, чтобы прогуляться, сколько — чтобы она немного побыла на солнце. Поехали мы вроде бы на рыбалку. Я, правда, не рыболов, и лицензии у меня нет. Но дача генерала Крыстева была расположена в заповедной зоне, инспекторы рыбнадзора туда не заглядывали. Генерала на месте не было, да он и не был нам нужен. Мы захватили с собой все необходимое. Я собрал длинное бамбуковое удилище, и мы отправились в бухту. Было прекрасное летнее утро, озеро перед нами отливало серебром. Солнце еще не успело разорвать тонкую пелену испарений, и мы ступали по колено в траве в каком-то туманном, сказочном мире. Скоро ноги у нас стали мокрыми от утренней росы, точно мы перешли вброд ручей. Но Доротея этого не замечала и смотрела вокруг как зачарованная.

— Как хорошо-то, боже мой!— произнесла она наконец.

В голосе ее слышалось несказанное удивление. Вполне возможно, что она впервые соприкасалась с природой. Может, впервые ступала по росе. Этого я никогда так и не узнал. Но местность и вправду была на редкость красивая. Рыбаки прозвали ее «Золотым рогом» не только за обилие рыбы. В этом месте озеро походило на фьорд, врезавшийся в молодой сосновый лес. Берега не было. Вода после буйных весенних ливней поднялась и залила луг и молодые посадки. Сейчас над гладкой ее поверхностью торчали остроконечные макушки сосе-

нок, зеленые шапки затопленных прибрежных ив. И все пестрела желтыми и синими цветами, такого множества цветов Доротее, вероятно, не приходилось видеть никогда в жизни. Я привязал к удилищу двухметровую леску, насадил крючок. В это время года почти на любую наживку хорошо клюет белая озерная рыбка с розоватыми плавниками.

— Что ты собираешься делать?— удивилась Доротея.

— Наловлю рыбы.

— Не надо. Я не ем рыбу, я никогда ее не ела.

— А я ем!.. Она очень вкусная...

— А мне что делать?

— Делай что хочешь. Возьми в машине одеяло, постели вон там на опушке. Отдыхай, читай, загорай.

Столько возможностей сразу. И все такие приятные. Она, успокоенная, повернулась ко мне спиной и ушла к машине. В тот день рыба клевала как остервенелая. Ее некому пугать на этих берегах, и она, по-видимому, не подозревала об опасности. У меня даже не было времени собирать рыбешек, я бросал их через плечо прямо на землю. Они стукались о берег, я слышал, как они судорожно бьются в траве. Некоторым из них удавалось добраться до воды, и я видел, как они, оживая, стремительно ныряли на дно. Пусть себе живут, ведь я им не враг, и забавляться мне это не мешает.

— Антоний,— послышался голос Доротеи.

А я как раз подумал: «Куда это она подевалась?» Голос ее звучал ясно, но словно бы издалека. Я обернулся — на берегу не было ни души.

— Антоний!— опять позвала она.

Я с тревогой взглянул на озеро. Туман рассеялся, синее и гладкое, оно сверкало передо мной. Только присмотревшись, я заметил ее русую голову где-то на том берегу.

— Ты что, с ума сошла?— крикнул я сердито.

Вряд ли я мог сказать что-нибудь более бестактное. Но она приняла это абсолютно спокойно, я видел, как она улыбалась, повернув ко мне белое пятно своего лица.

— Возвращайся назад,— добавил я уже не так сурово.

Я знал, что она услышит меня, даже если я прошепчу. Как всегда покорно, она повернула назад, все еще смеясь, вероятно, над моим испугом. Это опять рассердило меня. А если бы вдруг появился генерал? В заповедной зоне купаться строго запрещено. Но ей-то откуда это знать? Я сам, конечно, виноват, надо было ее предупредить. Доротея приближалась к берегу, уже не улыбаясь, видно, почувствовала, что я сержусь. Плыла она легко и свободно и в то же время неуклюже, как головастик, у которого только что отвалился хвост. Подплыв к берегу, ступила на дно и выпрямилась во весь рост. Она была совершенно голая, но словно не сознавала этого. Да и впрямь, наверно, не сознавала: взгляд ее был спокоен и чист, в нем не было ни тени смущения, ни капли женской игривости. Похоже, что она не испытывала чувства стыда, как дети или античные наяды. И пошла ко мне, стряхивая рукой светлые капли с плеч. Она была такой, какой я и ожидал ее увидеть,— прозрачно-белой, почти синеватой, с узкими бедрами и плоской грудью.

— Я не знала, что здесь нельзя купаться!— смущенно сказала она.— Откуда мне знать, я здесь первый раз.

— Ничего... А я и не думал, что ты умеешь плавать.

— Плавать?.. Я вошла в воду и поплыла. Первый раз в жизни, честное слово, Антоний.

Я недоверчиво посмотрел на нее, хотя знал, что она никогда не лжет. Но все-таки...

— И ты никогда не училась?

— Никогда!— ответила она, останавливаясь в нескольких шагах от меня.— А зачем учиться тому, что естественно?

— Может, ты и права,— ответил я.— Ты так свободно плыла... как головастик. Верно говорят, что человек произошел от земноводных... И в частности от лягушек.

— Человек произошел от птиц!— возразила она.

— А тогда почему же ты плыла, как головастик? Кто тебя научил? Это скрытый в нас инстинкт.

— Не знаю... Может, ты произошел от лягушки, Антоний. Я же произошла от птиц. Я в этом уверена.

— Хорошо,— сказал я.— Иди оденься. И вообще, неужели ты меня не стыдишься?

— Тебя нет!— ответила она, собирая в пучок мокрые волосы.

Не так уж лестно для мужчины, если его не стыдятся.

— Отчего же?

— Ты — Антоний!

— Антоний,— кисло улыбнулся я.— Дядя Антоний?

Еще один промах— я забыл об этой страничке ее прошлого.

Она опять не обратила внимания на мои слова, словно я ничего особенного не сказал.

— Ты Антоний Смешной,— сказала она.— Ты что, умеешь жарить рыбу?

— А ты что, не умеешь?

— Умею, но не хочу... Ни цыплят варить, ни ощипывать их...

— Надоела ты мне со своими птицами,— сказал я, раздосадованный.— Ладно. иди одевайся!

Она повернулась и пошла, осторожно и неловко ступая оттого, что трава колола ее нежные ступни. Я собрал всех рыбешек, которые еще подавали признаки жизни и бросил их в озеро. Одни тотчас же нырнули в глубину, другие плавали брюшком вверх на отмели. Я знал по опыту, что большинство из них оживет и еще долго будет плавать. Стоял и смотрел, как они уходят под воду. Одни все еще брюшком вверх, другие бочком, открыв рот. Меня охватило тягостное, мучительное чувство, что когда-нибудь я буду наказан за эту подлость. Только одна рыбка осталась на траве, неподвижная, безжизненная. Я ждал довольно долго. В какое-то мгновенье она шевельнула желтым хвостом, но тем все и кончилось.

Доротея постелила два одеяла в редкой тени деревьев и лежала на спине, следя за своими птицами, которые порхали в ясной синеве неба. Это были ласточки с острыми черными крылышками, с продолговатыми шейками, они, вероятно, не ловили насекомых, а упивались прозрачным воздухом. Лег и я на клетчатое одеяло, своей яркой, огненной расцветкой сейчас раздражавшее меня. Доротея жевала травинку, лицо ее становилось все задумчивее.

— Хочешь, я тебе кое-что расскажу?— спросила она, наконец.

— О чем, Доротея?

— Как умер мой отец!

— Не сейчас,— сказал я, сердце у меня сжалось.— Потом.

— Потом у меня не хватит духу,— сказала она.

Я понимал, что ей нельзя мешать. Она должна была освободиться от этого.

— Ладно, только не волнуйся!

— Я никому до сих пор не рассказывала,— продолжала Доротея.— Даже Юруковой. Но она знает об этом.

С того места, где мы лежали, мне было видно бледно-зеленое поле овса. И где-то вдали кусочек озера, синего и твердого, как стекло.

— Хорошо, я тебя слушаю,— сказал я.

. . . . . .

«Знаешь, Антоний, мой отец был чиновник. Он сам говорил, что он чиновник. Теперь никто не употребляет этого слова, сейчас все говорят «служащий». Почему — служащий? По-моему, глупо и обидно. Это слово не подходит человеку. У нас была собака Барон. Мы кричали ей: «Эй, Барон, служи!» И Барон вставал на задние лапы. Передние лапки он поджимал, живот у него был бледный, прямо прозрачный, с маленькими розовыми сосочками. Мне так смешно было смотреть на бедного Барона, а глаза у него были такие жалобные, как будто он вот-вот заплачет. Собаки ужасно не любят служить. И люди не любят, и собаки, а о птицах и говорить нечего. Ты был когда-нибудь в зоопарке? Видел орлов в клетке? Нет никого на свете мрачнее орла за решеткой. Разве орел может быть «служащим»? Конечно нет.

Мой отец был худой, как скелет. Сначала он не был такой тощий, но год за годом все худел и худел. Пока от него не остались только кожа да кости. Знаешь почему? Потому что мама по ночам, когда он спал, пила из него кровь. Вставляла ему сзади под самым затылком трубочку и высасывала ее. Не пугайся, Антоний, я это говорю не потому, что сумасшедшая, это я так думала, когда была маленькая. Доктор Юрукова говорит, что у меня слишком сильно развито воображение. И отсюда все мои несчастья, потому что я не могу, как она говорит, отличать видений от действительности. У меня вправду были видения, но с тех пор, как она стала мне давать лекарства, я просто отупела. И сейчас живу как во сне. Папа тоже жил как во сне. Он никогда не улыбался, говорил тихо, нос у него всегда был влажный, как у Барона. И как Барон, он служил, кто бы и что бы ему ни приказал. И до того он был жалкий, Антоний, до того покорные были у него глаза. Даже в самую сильную жару он хлюпал носом и сморкался в мятый-премятый платок. И хотя он был очень грустный и молчаливый, но нисколько не был похож на орла. Скорее на тощую унылую ворону, которая зимой сунет клюв под крыло и сидит. Я видела, как он плакал. Тогда я не знала, что мама завела себе любовника, какого-то пожарника. Когда папа умер, они поженились. Пожарник был такой здоровый, что когда он однажды зимой разделся и остался в одной майке, то от него повалил пар, как от лошади. Я никогда не слышала, чтобы папа с мамой ругались из-за него, хотя он приходил к нам в гости и то и дело брал под козырек, очень ему нравилось отдавать честь и тереть сапогом о сапог, пока не завоняет ваксой. Он был ужасный обжора. Один раз, когда мы с ним остались вдвоем на кухне, он стал поднимать крышки с кастрюль и есть изо всех подряд. Потом засмеялся и ущипнул меня там. Мне было так стыдно, что я целый день проплакала, но маме не посмела сказать. Незадолго до того, как папа умер, он стал приходить к нам чаще. Тогда папа уходил из дому и, наверно, бродил по пустынным улицам и плакал. Доктор Юрукова сказала, что у меня плохая наследственность, что я похожа на отца и потому такая тощая и чувствительная.

Когда мы в то утро пошли с ним покупать мне пальто, он был очень расстроенный. Я делала вид, что ничего не замечаю, но чувствовала, как он время от времени поднимает руку, чтобы смахнуть слезы. Пальто у него не было, зимой он ходил в плаще с подстежкой из козьего меха. Никогда в жизни, Антоний, не видела я такого истрепанного плаща, как у него, он стал такой белесый от солнца, как халат у продавца. Но в этот день было не очень холодно, только ужасно

скользко. Это ведь было в декабре, за два дня до Нового года. Накануне даже шел дождь, потом подул холодный ветер, и дождь прекратился. Капли так и застыли пузырями, и мы давили их подметками, и они лопались, как человеческие глаза. Было страшно ступать по человеческим глазам, но мы все шли и шли, а папа иногда так сильно сжимал мне руку, что я вскрикивала от боли. Так мы дошли до центра, там прохожие, слава богу, все уже растоптали, и мы могли идти совершенно спокойно.

Папа купил мне синее пальтишко с белым воротничком из искусственного меха. У меня никогда до этого не было такого красивого пальто. Продавщица хотела завернуть, но я его тут же надела, а завернули старое. Даже отец повеселел, когда увидел, как оно мне идет. Мы вышли из магазина и заторопились домой. Он опять подхватил меня под руку и прямо нос задрал от гордости, что идет по улице рядом с дочерью, нарядной, как кукла. Ты, наверное, догадываешься, Антоний, что нос у меня отцовский, из-за него в школе меня прозвали Диди, малайский медведь. Я не сердилась. Не знаю, видел ли ты на картинках малайского медвежонка, они такие милые, носишки у них похожи на хоботы, только черные-черные и блестящие.

Так вот, мы с папой шли по тротуару, и он крепко держал меня под руку. На улицах было полно народу, все что-то тащили: кто елку, кто детские игрушки. Но мы никогда не покупали елки, меня водили на елку в то учреждение, где работал отец. Но что это за елка, которой и полюбоваться не успеешь, как является пьяный дед-мороз с приклеенным носом и дарит тебе деревянного коня. А зачем мне деревянный конь? Я его сразу же меняла на книжку, кто не захочет поменять книжку на коня? Но тогда я не думала ни о какой елке, даже не попросила у папы купить какую-нибудь книгу, хотя мне так хотелось. Тогда я была рада и этому проклятому пальто, из-за которого приключились все беды моей жизни.

Плохо было то, что, пока мы шли, папа опять приуныл. Сначала я почувствовала, что рука его обмякла и стала влажной. Потом он совсем отпустил мою руку. Это его и погубило. Я не видела его глаз, но чувствовала, что он опять смотрит перед собой невидящим взглядом. Я и раньше замечала, как он ходит по улицам, ничего не видя, как слепой. Мы прошли через городской сад и зашагали по улице Ивана Вазова. На углу улицы Раковского мы собрались переходить, но папа остановился перед сугробом у тротуара. Поколебался немного, но все же перепрыгнул через него. Обо мне он совсем позабыл. И сделал-то всего один шаг на мостовой, нерешительно так, вспоминал, видно, не оставил ли он чего позади себя. А я стояла со свертком в руке.

И в этот самый миг на него вихрем налетела машина. Хоть сто жизней проживу, Антоний, а эта картина все будет стоять у меня перед глазами, будто это случилось вчера. Она мне врезалась в память, и ничем ее не сотрешь. Когда я была сильно больна, этот кошмар все время неотступно преследовал меня, даже если наступало просветление. Я все еще не могу отделаться от него, никак не могу, иначе не стала бы я об этом рассказывать и расстраивать тебя. Я и сейчас отчетливо вижу машину, зеленую, нарядную, со сверкающими фарами. Она мчалась как бешеная. И подбросила папу так, что он, раскинув руки, упал на капот. Она пронеслась еще несколько метров и остановилась как вкопанная. Папа по инерции полетел вперед. Мне показалось, что он летит целую вечность,— время словно остановилось. Руки и ноги у него были раскинуты, голова свешивалась вниз, ясно была видна белая плешь на темени. Потом он грохнулся о тротуар, голова его раскололась, как яйцо. Я не упала в обморок, не отвела взгляд, застыла, оцепенев от ужаса, и смотрела, смотрела.

Отовсюду набежали люди. Из машины вылез убийца. Это был совсем еще молодой парень, но лицо у него было все в морщинах, как у старухи. Кто-то пытался поднять отца, но большинство сгрудились вокруг парня. Один схватил его за ворот, другой кулаком ударил по шее. Они словно озверели. Парень дергался, как тряпичная кукла. Потом он бросился на асфальт, рвал на себе волосы и выл, но я чувствовала, что он притворяется. Люди с отвращением отпрянули, многие мрачно проходили мимо. За все это время я не шелохнулась.

Отца положили в одну из проезжавших машин. Я видела его разбитую голову, знала, что он мертв. Но никто не замечал меня, никто не догадывался что я была вместе с ним. Милиционер увел парня, толпа постепенно разошлась. Только там, где упал отец, краснело небольшое пятно. Наконец, и я сдвинулась с места. Перешла как во сне страшную улицу и поплелась домой. Но как ни была я потрясена и убита горем, я ни на миг не забывала, что на мне новое пальто. Брела как мертвец в новом пальто, шаг за шагом, еле передвигая ноги.

Не помню, как я вернулась домой, что сказала маме. Помню только, что лицо у нее стало белое, как мука, но глаза были совсем пустые. Не было в них ни горя, ни радости, ничего, кроме пустоты. Потом я кинулась на кухню, упала на пол, не успев добежать до умывальника, и меня начало рвать чем-то отвратительно зеленым. Желчью. Мне до смерти хотелось вспороть мягкий мамин живот, чтобы оттуда полилась вся гадость, что скопилась у нее внутри. Мне так страшно хотелось этого, что у меня даже губы потрескались. Вот что такое человек, Антоний, не думай о нем лучше, чем он есть».

. . . . . .

Доротея кончила свой рассказ, последние слова словно замерли у нее на губах. Вид у нее был измученный, взгляд потухший.

— Дай я немного посплю, Антоний,— сказала она.— Я ужасно устала.

Я отправился гулять по берегу один. Бродил долго, может, час, может, больше Мне чудилось, что я бреду по небу с застывшими облаками, так отчетливо было его отражение в неподвижной воде. Как человек замкнутый, я мало обращаю внимания на то, что творится вокруг. Окружающее не интересует меня, не находит отзвука в моей душе; даже то, чем восторгаются другие, не вызывает у меня восторга. Равнодушно стоял я и перед пирамидой Хеопса, и перед Ниагарским водопадом. Но в этот день меня все волновало и трогало. Возможно, это инстинкт самосохранения, но успокоился я гораздо быстрее, чем можно было предположить. «Доротея права, вот что такое человек,— думал я.— Человек, слепленный из грязи, озерной воды и облаков. Каковы бы ни были пропорции, составные элементы этой смеси, вероятно, останутся неизменными».

Так незаметно я дошел до опушки леса. Это был молодой, но уже дремучий лес. Ветви деревьев сплетались, как жилистые и сильные руки. Внизу под ними все было голо. Не росло ни травы, ни цветов, ни даже папоротника, ничего, кроме незнакомых мне грибов, белых и гладких, как куриные яйца. И все же что-то смутно влекло меня вглубь, должно быть, ощущение неизвестности и таинственности, такое же древнее, как мир. Походив немного по лесу, я медленно зашагал обратно.

Когда я вернулся, Доротея уже не спала и задумчиво смотрела вдаль. Она не слышала моих шагов, но увидев меня, улыбнулась все еще грустно.

— Долго я спала?

— Не очень,— ответил я.

Она никогда не носила часов, время ее не интересовало.

— Проголодалась?

— Немного.

— Хочешь, поедем куда-нибудь? Тут поблизости есть приятный ресторанчик.

— Давай,— как всегда, с готовностью согласилась она.

Еду мы, конечно, захватили с собой. Но после такого тягостного разговора я не мог себе представить, что мы сядем друг против друга и будем с аппетитом поедать колбасу и вареные яйца. Мы молча сложили вещи. Какая-то едва уловимая натянутость, вернее неловкость, еще оставалась между нами. Всякая исповедь рождает стеснение и неловкость — с обеих сторон. Сели в машину, я включил зажигание. И только когда мы тронулись с места, я с облегчением почувствовал, что все снова стало просто и естественно, как, в сущности, проста и естественна жизнь.

Вероятно, и Доротея чувствовала то же, потому что я заметил, что и она улыбнулась. Но мне некогда было раздумывать об этом, потому что мы въехали в лес. Дорога была узкая, и в густой тени деревьев все еще сильно размытая. Несколько раз машина начинала буксовать, и мне с огромным трудом удавалось вытаскивать ее туда, где посуше. Я весь взмок, пока вывел машину на шоссе.

— Я тебе помогла!— засмеялась Доротея, когда шины наконец зашуршали по асфальту.

— Ты? Каким образом?

— Мысленно.

— Внушала мне бодрость?

— Нет, толкала машину.

Я тоже засмеялся. Так обычно говорят дети. И не только говорят, но и верят в это. Я вспомнил, что однажды в детстве видел телегу, увязшую в глубокой грязи. Возница нещадно лупил палкой лошадей по их понурым головам. Но когда, наконец, телега стронулась с места, я свято верил, что это я сдвинул ее — мысленно.

— Это другое дело!— ответила Доротея.— А я и вправду могу мысленно кое-чем управлять.

Тогда я не придал значения этим словам. Или не захотел к ним прислушаться. В тот день я наслушался достаточно. Позднее эти слова, всплыв в моей памяти, неотвязно преследовали меня.

Вскоре мы добрались до ресторанчика на Пасарельском водохранилище. Это, разумеется, никакой не ресторан, а обыкновенная закусочная. Она славилась, правда, своими кебабчетами, но сейчас мне было все равно, что есть. Сбоку от нее росло во дворе несколько старых деревьев, под ними стояли столы, конечно, не покрытые скатертями. Однако наш стол официант застелил скатертью и вытянулся рядом с ним, как солдат. Я давно заметил, что простые люди относятся ко мне очень почтительно, наверно принимая меня за переодетого генерала. А может, моя шикарная машина внушает им особое уважение. Я заказал кебабчеты и ментовку себе. Официант мигом принес ментовку, кебабчеты были еще не готовы.

Крепость у ментовки небольшая, и шоферы ее пьют без опаски. И напрасно. Она иногда оказывает весьма коварное действие. Во всяком случае, я неожиданно для себя захмелел. То ли оттого, что был утомлен дорогой и измучен пережитым волнением. Или просто перегрелся на солнце. Под влиянием винных паров я вдруг проявил несвойственные мне легкомыслие и бесцеремонность.

— А что же случилось потом?— спросил я.

— А что могло случиться?— встрепенулась она.

— Тебе лучше знать.

Доротея молчала, словно не слышала меня.

— Ну же, Доротея!— ободрил я ее.— Тебе нелегко, я понимаю. Но больной зуб надо рвать разом. Лучше одним махом покончить...

В этот самый момент официант принес кебабчеты. Они так и остались нетронутыми.

«Вскоре после того, как папа умер, они поженились, тайком от меня, конечно. Но хорошо хоть, что не остались жить у нас, а переехали. Они это сделали не потому, что были такие уж совестливые, а потому, что были очень жадные. Мы снимали квартиру, правда, недорого, но все-таки приходилось платить. И они решили перебраться к Цтану. Он сам так себя называл, проглатывая слог из своего имени — Цветан. А мама звала его Цецо. Он был жутко скупой, дрожал не то что над левом, а над каждой стотинкой. С тех пор я возненавидела жадных людей, Антоний, не выношу ни их самих, ни их денег. Пока существуют в мире деньги, люди, как бы они ни маскировались, всегда останутся такими же ничтожными и мелочными. У денег нет своего лица, они таковы, каков человек, в чьи руки они попадут. Есть грязные деньги, Антоний, есть ничтожные деньги, есть жалкие деньги. А есть деньги, у которых нет никакой цены и на них ничего не купишь. Это деньги жадных людей.

Помню тот день, когда мы переезжали к Цецо. Приехал грузовик, без грузчиков, конечно. Мы сами все перетаскали. Мама могла бы лошадь поднять, такая она была здоровущая. А Цецо и подавно. Оба они набросились на мебель, как на добычу. У нас была очень красивая мебель, которая досталась нам от деда. Они хватали все подряд и тащили по лестнице. То, что не могли нести, волокли по ступенькам, сопели, пот лил с них градом, шеи у них покраснели от натуги. Только с буфетом они еле справились. Это был длинный, громоздкий буфет, из мореного дуба, как объяснял мне папа. Как сейчас вижу их: ноги раскорячены, глаза выпучены, чуть не выскакивают из орбит. А буфет — ни с места. Колени у них подгибаются, губы побелели, как у рыб. Наконец, они немножко его приподняли. И впервые поссорились — они брызгали слюной, выкрикивая бессвязные, обидные слова, изо рта у них словно запрыгали жабы, маленькие и зеленые, как пуговицы на кофте. Мне опять стало плохо, я заперлась в уборной и рыдала там, пока меня не затошнило. Когда меня выволокли оттуда, все вещи уже были погружены. Все, Антоний, даже буфет. Прямо не верится, но так это и было. Нужда ведь всему научит, и такие у тебя силы появляются, что потом диву даешься, откуда они взялись.

Дом Цецо был в Ючбунаре. Господи, никогда до того дня, Антоний, не видела я такой хибары — маленькая, покосившаяся, в два окошечка, кривобокая, точно на детском рисунке. Они и до сих пор там живут. Она и на дом-то не походила, а на репу, торчащую наполовину из земли. Цецо сажал такую во дворе, а осенью меня заставляли ее убирать, и я надрывалась, вытаскивая ее, словно это была не репа, а коренные зубы. Домишко был старенький, обмазанный глиной, а сверху выкрашенный синей, как синька, краской. Но краска уже здорово облупилась, и когда полили дожди, домишко стал похож на грязный мячик. Чтобы войти в него, надо было спуститься на две ступеньки вниз. Не знаю, как уж это так получилось — то ли во двор натащили земли, то ли сам домик врос в землю. Другого такого дома не было на всей улице. Мама и Цецо снова набросились на мебель. Но буфет, как и следовало ожидать, в дверь не пролез. Его оставили под навесом, он и сейчас там стоит. Семь лет он мок под дождями, зимой снегом его заносило, летом жгло солнце, а ему хоть бы что. Только немножко покривился, а так буфет как буфет. Я на него не смею и

взглянуть, и он на нас не глядит, так мы ему опротивели своим хамством и неблагодарностью. Они, конечно, могли его продать, но все надеялись выиграть квартиру по лотерейному билету, тогда и ему бы нашлось место. Так им и надо, что не выиграли, хотя буфет мне очень жалко.

Вот так, Антоний, я и прожила семь лет в этом доме. До сих пор не понимаю, как он не развалился. Была там только одна большая комната и кухонька. Мы с бабушкой жили в кухне. Она приходилась Цецо не матерью, а бабкой или прабабкой. Было ей лет сто, наверно, а она и сама не знала, сколько ей лет. У нее не было ни одного зуба. Ни одного волоска на маленькой птичьей головке. Была она толстая и потому во сне громко храпела. Храпела и днем и ночью, потому что только и делала, что спала или что-то жевала. Не могу тебе описать, что это был за храп. Иногда я по целым ночам не могла заснуть. Но терпела, даже не возненавидела ее. Да и что мне еще оставалось делать, как не терпеть, терпеть и терпеть? Другого выхода у меня не было. Хотя, в сущности, был. Потому что я научилась летать — с тоски, ведь с горя чего не сделаешь. Но летать можно только по ночам, да и то редко. Что скажут люди, если увидят, как среди бела дня над крышами летит какая-то сумасшедшая. Только время от времени меня забирали в больницу к доктору Юруковой, как в санаторий.

Но больше всего меня изводила ужасная скупость Цецо, да и мамина тоже, потому что она скоро стала во всем походить на него. Они говорили, что копят на квартиру. Но мне не верилось. Они так жались, что я уверена — они никогда не потратят из этих денег ни гроша, если только дом и вправду не рухнет. Всю еду в доме Цецо запирал ото всех, даже от мамы. А когда раз в неделю он покупал мясо, то очень точно, прямо до грамма, делил его на десять равных частей. Мясо обычно тушили с картошкой, в медной посудине, похожей на таз. Когда мы садились обедать, Цецо клал себе четыре куска, маме два, а бабушке, мне и близнецам по одному. Не знаю уж, к чему ему было так наедаться, когда он целыми днями сидел без дела. За всю свою жизнь он не погасил ни одного пожара, самое большее — растоптал несколько окурков в коридорах того учреждения, где он работал. Он был не толстый, но сил у него было хоть отбавляй. А мама очень похудела. Она теперь работала уборщицей в поликлинике и вся пропахла карболкой и еще какой-то гадостью, у нее начали расти усы, а руки покрылись бородавками. Я думала, что судьба или что-то в этом роде накажет и отомстит за папу. Но с ними и до сих пор ничего не случилось, мне даже кажется, что они с Цецо счастливы. Вот уж не понимаю, как это может быть такое жалкое счастье. Или даже подленькое счастье. Но, выходит, есть. А я-то думала, что единственное счастье для человека — летать!

Одежды они мне не покупали. Учебников и тетрадок тоже. Да мне, по правде сказать, они были ни к чему. Память у меня потрясающая. Я ничего никогда не забываю. Наверно, это и есть, Антоний, нормальная человеческая память, а все остальное — отклонение от нормы. По всем предметам у меня, кроме гимнастики, были шестерки. А мини-юбки, если хочешь знать, я изобрела. Я так вытянулась в один год, что платьице у меня задралось вот досюда. Так я и ходила с голыми ногами, такими тонкими, как у меня сейчас руки. Чулок и то у меня не было. Мне покупали одну пару в год, и они все у меня были штопаны-перештопаны. Штопать — это самое для меня ненавистное слово, Антоний. Мама все мне рассказывала, как один офицер женился на бедной девушке. Увидел, что она хорошо штопает, и сказал: лучшей жены мне не найти! И они поженились. Сначала мне было обидно, что я так плохо одета. Очень я стыдилась, что я такая оборванная.

Но сейчас я им благодарна, честное слово. Кем я только в жизни не была. И Таис, и Зоей Космодемьянской, и даже Сонечкой Мармеладовой. А они как были, так и остались никем.

В первый же год у них родились близнецы. Они были русые, кудрявые, толстенькие, как поросята. И как поросята, по целым дням визжали от голода. Я их очень любила, пока они были маленькие. Кормила их, купала, мыла им розовые заднюшки. Вообще, заботилась о них, пока была здорова. Но когда им исполнилось по шесть лет, я застала их, когда они кое-чем занимались. Наверняка ничего серьезного не было, так, баловались, как дети. Но никогда в жизни я так не злилась. Сейчас я даже не могу понять почему. Я избила их до синяков. Цецо меня выгнал, я переселилась к доктору Юруковой. А потом мы встретились с тобой, Антоний, вот и все».

Она кончила и принялась жадно пить лимонад. Она не выглядела такой измученной и подавленной, как в первый раз. Даже какие-то веселые огоньки поблескивали в ее ясных глазах. И тогда, все еще под действием ментовки, я снова допустил бестактность:

— Прекрасно знаешь, что не все!

— А что еще, Антоний?— взволновалась она.

— Расскажи про дядю.

— Нет! — привстав со стула, крикнула она.

Никогда не видел я ее такой — не испуганной, нет, а внутренне напряженной, мертвенно-бледной, с плотно сомкнутыми губами.

— Нет!— повторила она.— Прошу тебя, Антоний!..

— Конечно, конечно!— не меньше ее взволновался я.— Не хочешь, не надо!

Мы посидели еще немного и уехали, но настроение у нас снова испортилось.

С этого дня что-то изменилось в наших отношениях. Они стали проще и естественнее. И жизнь наша стала естественнее. Доротея возвращалась домой запыхавшаяся и разрумянившаяся, быстро прибирала квартиру. У меня было странное ощущение, что предметы, к которым прикасались ее руки, приобретали невесомость и сами становились на свои места. Иногда она читала что-нибудь, что попадалось ей под руку в моей библиотеке, но только не романы. Иногда бралась за ноты. Но я заметил, что уже без прежнего увлечения. Все чаще она включала магнитофон. Иногда часами расспрашивала меня о композиторах особенно о Чайковском. Я недоумевал, о чем ей рассказывать, а о чем промолчать, особенно когда речь шла о его женитьбе. Слушала она внимательно, сама, вероятно, догадываясь о недосказанном. Или, по крайней мере, так мне казалось.

Я очень к ней привык, скучал, когда ее не было дома. Не вздрагивал нервно, когда случайно касался ее руки. Не пугался, когда порой она часами молчала. Или часами наблюдала за полетом птиц. Каждый день мы выходили на террасу, сидели там, пока не заблестят звезды. Только теперь я стал замечать, как много на свете птиц. А ворон даже больше, чем нужно. Безошибочно я различал только ласточек, в основном по их стремительному полету. Но Доротея была замечательным орнитологом и о птицах знала едва ли не больше старшего научного сотрудника. Не столько об их строении, сколько об их характере и привычках. Она говорила о них, как о людях со своей жизнью, судьбой, даже мечтами. И это меня ничуть не поражало. Иногда по ночам без всякого страха я думал, что, возможно, и я уже не в своем уме. Но мне так приятно жилось, что ничего иного я и не желал.

Мы ходили куда-нибудь ужинать, обычно на террасу ночного ресторана. Она предпочитала этот ресторан, хотя и не возражала, если я предлагал пойти в другое место. Пожалуй, посидеть в приятной обстановке нарядного зала было единственным ее развлечением. Я прекрасно понимал ее, ведь я видел ее палату в больнице. Теперь она вела себя непринужденно, смеялась моим шуткам, ела с аппетитом. Только когда кто-нибудь из моих друзей или знакомых случайно подсаживался к нашему столику, она хмурилась, держалась с ними недружелюбно, почти грубо.

А в остальном она становилась все приветливей и спокойней. И главное — проще. Она немного поправилась, если судить по ее чуть округлившимся щекам. Я радовался переменам в ней, уверенный, что она постепенно обретает настоящее душевное здоровье. Наконец-то у нее был свой дом, и я считал, что пока этого вполне достаточно. Мне не хотелось думать, чем все это кончится, важно было, чтобы она выздоровела окончательно.

Снова наступил день, в который я обычно относил деньги жене. Но на сей раз я предварительно позвонил по телефону, чтобы подготовить почву. Мне не хотелось выслушивать ругань и оскорбления.

— Послушай, Надя,— сказал я миролюбиво,— прошу тебя, если можно, без дурацких намеков.

— Ну, знаешь,—ответила она сухо.—Хочешь, приходи, не хочешь, не надо. Только без ультиматумов.

Я долго раздумывал, не благоразумнее ли послать деньги по почте. И все-таки пошел. Я не из тех, кто увиливает от своих обязанностей, как бы ни были они неприятны. С трудом заставил себя нажать кнопку звонка. Кошка, как потом сказала мне Надя, заслышав звонок, стрелой метнулась в прихожую. Даже мне было слышно, как она хрипло мяукнула за дверью. В гостиной она уселась немного поодаль, глядя на меня укоризненным взором. Своим поведением я, видимо, окончательно уронил себя в ее глазах.

Надя тоже уселась напротив меня. Только теперь я заметил, что на ней чистая, свежевыглаженная блузка. И не в стоптанных тапочках, как обычно. И, против обыкновения, она молчала, задумчиво глядя перед собой. Похоже было, что она совсем забыла обо мне, погруженная в свои будничные, невеселые мысли. Но она явно не была сердита. Наконец, она повернулась ко мне и сказала:

— А я видела твою полоумную.

Вероятно, мне следовало встать и молча уйти. Не отдав деньги. Но, как это обычно бывает, любопытство пересилило обиду.

— Где?— спросил я неприязненно.

— Подкараулила ее у издательства.

Как это было на нее похоже!

— Там работает, по крайней мере, десять девушек,— сказал я.

— Но среди них только одна полоумная. И не так уж трудно угадать какая. Она, ничего не подозревая, села в трамвай, я — за ней. Мне хотелось ее хорошенько рассмотреть. Ничего девушка, не дурна, только ноги у нее, на твой вкус, слишком тонкие. Для тебя женщина состоит из одних ног, Антоний, больше ты ничего не замечаешь, даже, есть ли у нее голова.

— У тебя ее вообще не было!— мрачно заметил я.

— Неостроумно!— отозвалась неожиданно спокойно Надя.— Ну, положим, не такая, как твой котелок, но варит неплохо. Хотя эта твоя девушка очень чуткая, но на меня она не обратила никакого внимания, слишком торопилась домой. Даже пустилась бежать от вашей остановки. И я, конечно, изо всех сил за ней. Ну, ладно, она-то ненормальная, а я-то, спрашивается, с чего? Все мы, бабы, Антоний, немножко

полоумные, не то что вы, мужики. Но пока я, еле поспевая, бежала за ней, я ее немножко полюбила. Пустая, ветреная, самовлюбленная девчонка не будет так бежать.

Никогда до сих пор я не слыхал, чтобы Надя отозвалась одобрительно о другой женщине. Или она не считала Доротею полноценной женщиной, что было, в общем-то, справедливо.

— Да, жалко девушку!— сочувственно продолжала она.— Чего она дождется от тебя? В жизни не видала ~~человека осторожнее и~~ эгоистичнее тебя. Да и закон на твоей стороне.

Я удивленно посмотрел на нее, и это ее разозлило.

— Что ты уставился, как будто не понимаешь, что я хочу сказать! По закону ты не можешь жениться на сумасшедшей, и ты ничем не рискуешь, так, приятное щекотание нервов.

— Что за чушь!— разозлился я в свою очередь.— Мне это и в голову не приходило.

— Тогда зачем же ты с ней связался?

— Не будь вульгарной. Просто хочу ей помочь.

— Скажите, какой филантроп нашелся! — Она окинула меня уничтожающим взглядом.— А у самого тонкий расчет. Не злись, надо полагать, бессознательный. Хочешь, скажу мое мнение — немедленно порви с ней. Ты, видно, не представляешь себе, что она за человек. Ты же знаешь, где остановка, так вот, она бежала как угорелая почти полкилометра, я остановилась на полпути, выругалась и пошла обратно. Но мне стало стыдно за себя, конечно. Любому стало бы стыдно.

— Поэтому ты сегодня так вырядилась?— спросил я.

На мгновенье в ее глазах блеснула ненависть.

— Да!— сказала она твердо.— Человек должен уважать себя. Хотя бы за ту каплю человеческого, что в нем есть.

На этом наш разговор закончился. Что мы еще могли сказать друг другу? Что еще осталось между нами? Я вынул из кармана деньги, положил на стол и выпрямился в неловкой позе.

— Что же ты не спрашиваешь о сыне?— глянула она на меня.

— Да, как он?

— Как он, спрашиваешь? Не пожелал прийти. Раскричался—останусь у бабушки, хочу у бабушки, и все тут! У бабушки жить захотел! Я-то знаю, в кого он пошел! Все вы, мужики, или почти все боитесь настоящих женщин, Антоний. Они вам кажутся непонятными и неудобными. Другое дело — бабушки. Моя добрейшая маменька так ему будет угождать, что избалует его окончательно.

— Давай отдадим его моей матери!— предложил я.— В детстве она меня порядком драла!

— Ну, и битье не всегда помогает,— возразила Надя.— Ладно, иди, я не люблю, когда ты стоишь как истукан.

Я пошел к двери. Кошка провожала меня. Она, по-видимому, была возмущена мной и решительно не понимала, чего мне здесь недостает? Постель удобная, жена покупает свежую телятину. Конечно, она иногда кладет так много лука и черного перца в котлеты, что их и понюхать противно. Но все-таки это еще не причина для того, чтобы спать на крыше, как эти дураки — бездомные коты. Я наклонился, погладил ее и выскочил из неприбранной прихожей. Тогда я не подозревал, что пройдет много-много печальных месяцев, прежде чем я снова появлюсь в этом доме.

Лето становилось все жарче. Даже по утрам было очень душно. А с работы Доротея возвращалась мокрой курицей. Но это не очень удручало ее — она вообще не обращала внимания на мелкие неприятности. А я перестал работать, даже не прикасался к раскаленным клавишам рояля. Но несмотря на это я был спокоен, меня не грызло веч-

ное стремление заполнять нотные листы черточками и точками. Заполнятся, когда придет время, имеет же человек право принадлежать самому себе. В этот месяц мы часто отправлялись на водохранилище, обычно рано утром, еще затемно. Было так приятно мчаться на полной скорости, ощущать, как овевают тебя струи рассекаемого машиной воздуха. Одна за другой выплывали из сумрака далекие вершины, озаренные лучами утреннего солнца. Над озерами, встречавшимися по пути, курился бледный, прозрачный туман — каким бы теплым ни было утро, вода в них была еще теплее. В их глубине таилась рыба, но я ею больше не интересовался, даже не брал с собой удочки. Было кому ловить рыбу и без меня.

Генерал Крыстев взял отпуск и жил на даче вместе с тетей Зоркой. С вечера он насаживал на огромные крючки уклеек и другую мелкую рыбешку, забрасывал снасти у берега. А утром вытаскивал таких громадных рыб, что сам долго и с удовольствием разглядывал их, словно каких-то морских чудовищ. Тетя Зорка тушила их в масле, заливала вкуснейшим холодным майонезом собственного приготовления. Мы поедали все с аппетитом, Доротея приучилась есть рыбу, к которой раньше не притрагивалась. Иногда мы выпивали с генералом по стаканчику холодного белого вина. Мне казалось, что Доротея по-настоящему счастлива впервые с того дня, как мы познакомились. Генерал и его жена очень привязались к ней. Своих детей у них не было, но вряд ли только этим объяснялась их любовь к Доротее. Генерал Крыстев, по всей видимости, навел о ней справки. Такая была у него работа, обязывала знать все. Во всяком случае, он ни разу не спросил меня, кто она и кем мне приходится. Но тетя Зорка своим чутким сердцем наверняка угадывала, что она мне не любовница. Оба они ходили за ней, как собачонки, изо всех сил старались ей угодить. Самым странным было то, что Доротея не тяготилась этим необыкновенным вниманием, находила его вполне естественным. Вероятно считая, что сполна платит им той же монетой — ответной любовью.

В один из таких дней мы лежали в купальниках на берегу у озера. На душе у меня было так спокойно и ясно, как редко бывало в моей жизни. Вдруг позади себя я услыхал какой-то шорох. Это Доротея, стоя, равномерными движениями натиралась кремом для загара. Она очень загорела за последний месяц, и на смуглом ее лице глаза блестели, как бриллианты.

— Дай я тебя натру! — сказал я.

Это вырвалось у меня нечаянно. Доротея только улыбнулась и подала мне флакон. Я отлил чуть-чуть на ладонь и приложился к ее худенькой смуглой лопатке. Током, разумеется, меня не ударило. Я размазал по спине густую маслянистую жидкость спокойно, без стеснения и без внутреннего трепета.

— Какой ты милый, Антоний! — произнесла она.

— Ну, не такой, как твоя тетя Зорка! — пошутил я.

— Они оба такие добрые! — сказала Доротея серьезно.— Потому что они такие несчастные.

— Почему ты так думаешь?

— Ведь у них нет детей!

Мы оставались на даче до позднего вечера. Ужинали, выпивали одну-две бутылки холодного, прямо из холодильника, пива. И только после этого возвращались домой. Мы приезжали почти ночью, но несмотря на это в городе было нестерпимо душно, тяжко, пахло асфальтом и пылью. Чаще всего мы не торопились заходить в квартиру, а поднимались на террасу. Там босоногий ветерок уже расхаживал по крышам домов, легонько раскачивая антенны. Мы лежали, было приятно просто дышать свежим воздухом. Обычно молчали, погруженные в то

внутреннее ощущение покоя и умиротворения, которое в такие ночи свойственно, вероятно, только кротким жвачным животным. И потому меня так удивили внезапно произнесенные ею слова:

— Антоний, хочешь, я расскажу тебе про дядю?

— Да, конечно,— согласился я.

— Только я боюсь, Антоний.

— Чего?

— Чтобы оно не передалось тебе... Страшно носить такое в душе.

— Для мужчины, Доротея, это не имеет значения.

— Имеет,— ответила она с горечью.

И долго молчала, прежде чем начать свой рассказ.

«Я ведь тебе говорила, Антоний, про бабушку? Она была очень старая, еле передвигала ноги. Редко-редко, чаще всего весной она выходила из дому и часами сидела на пороге. Когда она пыталась мне что-то сказать, я не понимала ни словечка. У нее ведь не было ни единого зуба, и она говорила, словно у нее была каша во рту. Она никогда не ходила в баню. Да и как ей было туда добраться? Конечно, Цецо мог бы ее на руках отнести не то что в баню, а на край света, если б захотел. Но он, вероятно, считал это лишним. Сам он мылся раза два в год, хотя мама и прогоняла его в баню. «Да ведь я и так чистый! — оправдывался он.— И работа у меня чистая!»

Иногда мама мыла бабушке голову. Обычно летом, во дворе. Таз горячей воды, чайник, простое мыло. Она хорошенько намыливала ей голову, потом поливала из чайника водой. Голова у бабушки становилась маленькая-маленькая, по носу стекала вода. Бабушка терпела, только время от времени огфыркивалась, как буйвол. Вода брызгала во все стороны, мама страшно сердилась, ругала ее на чем свет стоит. Но один раз она увидела, как я хорошо купаю близнецов, и решила, что я должна мыть голову и бабушке. Сунула мне в руки кусок мыла и ушла.

Никогда я не думала, Антоний, что это так страшно. Я кое-как намылила ей голову, но когда начала тереть, меня вдруг охватило ужасное отвращение. Сейчас я даже не могу объяснить отчего. Я бросила мыло и опрометью кинулась со двора. Мне казалось, что она гонится за мной, мокрая, страшная, вот-вот схватит меня за косы. Не знаю, долго ли я бежала и куда. Наконец, я опомнилась. И подумала: что, если бабушка умерла, захлебнулась мыльной водой или бог весть что еще с ней случилось? И я снова понеслась во весь дух, теперь уже домой. С бабушкой ничего не случилось, она доплелась до кухни, сидела там с мокрой головой и плакала. Цецо, вернувшись, избил меня, а мама отправила к дяде.

Дядя встретил меня приветливо. Когда я рассказала ему, как я мыла бабушке голову, он очень сочувствовал мне. Самое страшное, Антоний, что был он как две капли воды похож на моего отца. Только он был намного старше, почти совсем лысый. Он, правда, был не такой худющий, как папа, но зато подбородок у него был до того острый, что его совсем будто бы и не было. Он мне напоминал морскую свинку, но такую старенькую, что ей и жить-то уже надоело. А еще, по-моему, он был похож на опоссума, хотя такого зверя я никогда живьем не видела. Но мне все время казалось, что если опоссум встанет на задние лапки, то брюшко у него повиснет, как мешочек, между ними. Точно такой вид был и у моего дяди. Два передних зуба нависали у него над нижней губой. Одно время я даже думала, что он питается человеческими головами, прогрызает им макушки, а потом выбрасывает в окно, как пустые кокосовые орехи. И другие жуткие картины представлялись мне. Чудилось мне, что у него нет ни костей, ни фигуры, и весь

он какой-то бесформенный. То мне виделось, что он удлиняется, как червяк, или разбухает, заполняет собой всю комнату, от стены до стены, как густая студенистая масса. Я прямо умирала со страха, как бы этого не случилось на самом деле, но бежать мне было некуда, домой я боялась вернуться из-за бабушки.

А вообще-то он был неплохой человек, Антоний, набожный и добрый. Зимой стряхивал со стола крошки и кормил воробьев и голубей. Очень он любил голубей, так нежно их гладил, только в глазах у него при этом появлялся какой-то странный блеск. Но, в общем, чем же он был плохой? Глаза у него постоянно слезились, как у папы, может, потому, что его тоже бросила жена. Мы жили совсем одни в пустом доме, нет, не в доме, а на этаже, но разве этого мало? Иногда мне было жутко. Чаще я его жалела, такой он был ничтожный и гадкий. Мне было его жалко даже, когда он кашлял или сморкался. Очень смешно он сморкался: весь синел, а глаза вылезали на лоб. Я все думала, что он не сегодня-завтра умрет, но он и сейчас жив и, может, даже не постарел нисколечки. Должна тебе сказать, что папа его не любил и никогда не водил меня к нему. Дядя был невозможно трусливый, боялся лошадей, собак, молнии, даже автобусов. И автобусы тоже от него шарахались. Не знаю уж почему, может, они брезговали им. Однажды автобус при виде его так круто свернул в сторону, что врезался в витрину. Говорили, что было скользко и у автобуса отказали тормоза, но это неправда, ему просто было противно столкнуться с дядей.

Я говорю тебе об этом, Антоний, потому что и я боялась его. Когда он гладил меня по волосам, я вся сжималась в комок, как зайчонок. Иногда он гладил меня и по коленкам, и глаза у него становились неподвижные и потные, словно они были стеклянные. Я поселилась в комнате, где раньше жила тетя. Сначала там ничего не было, кроме дырявого пружинного матраца, в котором жили мыши. Потом дядя принес мне одеяло, простыни, стол и кое-что из вещей. И стал ко мне еще добрее.

Но на душе у меня все же было тревожно. Хотя я сама не знала, отчего я его боюсь. Ничего плохого он мне не делал. Только по ночам я слышала за дверью его шаги. Ходил он тихонечко, на цыпочках и изредка чуть слышно поскуливал, как кутенок. Вряд ли мне это мерещилось, когда я лежала, затаив дыхание от страха, и напряженно прислушивалась. Мне тогда и в голову не приходила мысль об э т о м. Я все думала, что он и мне прогрызет голову и выбросит ее за окошко, как кокосовый орех.

В тот день небо было серое, почти осеннее, моросил мелкий дождик. И дядя попросил меня подняться с ним на чердак, чтобы, мол, поискать какой-то конверт с квитанциями, который он будто бы засунул в один из старых чемоданов. Я сразу догадалась, Антоний, что должно произойти. Только не понимала, зачем было лезть на чердак, когда поблизости и так не было ни души — кричи не кричи, никто не услышит. Наверное, он меня задушит, а потом повесит на балке, вроде как я сама повесилась, пронеслось у меня в голове. Если ты думаешь, Антоний, что я была как загипнотизированная от страха и не сознавала, что делаю, то ошибаешься. Мне уже не было так страшно. Я могла бы убежать по лестнице, позвать на помощь. Но я этого не сделала. Я чувствовала, Антоний, как он весь дрожит, и мне стало ужасно его жаль. Никогда до тех пор не испытывала я такой жалости и сострадания к другому человеку, я вся прямо разрывалась от боли и жалости, такой он был слабый, отвратительный и несчастный. Потом такую жалость я испытывала только к одной девушке, с которой мы жили в одной палате в больнице у доктора Юруковой. Она была такая

милая, добрая и совсем-совсем нормальная, только по ночам ей представлялось, что на нее нападают крысы. Она страшно кричала, отбивалась от них, и мне так было трудно разбудить ее, внушить ей, что никаких крыс нет. Я даже ужасно похудела от переживаний, Юрукова наконец, догадалась, в чем дело, и перевела меня в другую палату.

Вот теперь ты все понимаешь. Наверно, у нормальных людей бывает иначе, но со мной все случилось именно так. Я поднялась на чердак, словно шла на казнь. Было темно, противно пахло прелым тряпьем. И когда он наклонился ко мне, я вдруг пошатнулась и потеряла сознание. Думаю, что это меня и спасло. Он испугался больше моего, я представляю, как он затрясся, не в силах был пошевельнуть ни рукой, ни ногой. А может, все это я себе вообразила».

Небо было темное, почти черное, стояла неописуемая тишина. Не тишина, а невероятное безмолвие, поглотившее меня, точно яма.

Потрясенный, я судорожно перебирал бившиеся во мне слова, истинное значение которых я забыл. Я думал, что знаю о людях все или почти все — по собственному опыту или из книг. Но сейчас я понял, что книги, слова не выражают всей правды. Или не смеют ее выразить.

— Тебе тяжело, Антоний?

— Тяжело? Почему? — переспросил я.

— Ведь все передалось тебе!

— Не думай об этом! — сказал я.— Оно могло мучить только тебя... Над другими оно не властно.

— Какой ты добрый, Антоний!

— Нет, Доротея... Я не хочу быть добрым. Так, как ты это понимаешь.

— Хочешь, чтобы тебе стало легче?.. Легко-легко?

— Нет, не хочу! — твердо ответил я.

Я не хотел, чтобы мне было легко. Зачем мне облегчение? И от чего мне избавляться? Наоборот, я хотел нести то, что обрушилось на меня, я хотел раскалить это добела, чтобы оно засветилось и прорезало тьму. У меня не укладывалось в сознании, как я мог жить до сих пор таким беззаботным, ничем не отягощенным, словно тело, лишенное тяжести. Видимо не понимая, она повернулась ко мне и устремила на меня пристальный взгляд. И хотя я не видел ее во мраке и был весь поглощен своими мыслями, но ощутил на себе ее взгляд.

— Встань, Антоний! — тихо произнесла она.— И не бойся. Я не причиню тебе зла.

Я покорно встал.

— Дай мне руку!

Я протянул ей руку. Ее пальцы показались мне неожиданно теплыми и сильными.

— А теперь, Антоний, взгляни на небо. Ты должен привыкнуть к нему.

Привыкнуть к нему? Зачем человеку привыкать к небу? Я смотрел на него, и теперь оно мне казалось ниже, словно я стал исполином и мог дотянуться до его высот. Низкое, черное и непривычно холодное. Но звезды сияли таким ослепительным блеском, что я невольно зажмурил глаза.

— Скоро, Антоний, ты почувствуешь удивительную легкость. Словно ты стал вдруг воздушным... Молчи... Ответь мне только, чувствуешь ли это, да или нет?

— Да! — сказал я немного погодя.

— Вот мы и взлетели, Антоний!.. Расслабься... Не делай резких движений. И главное не думай ни о чем!.. Вот и все — будь счастлив!

Голос ее звучал необычайно звонко и мелодично. Я даже не почувствовал, как мы отделились от террасы. Мы летели в вышине, под нами дрожали огни города. Они были нам видны, как с самолета, идущего на посадку. Мы слозно плыли среди мириад огней. И все-таки это было не похоже на полет, мы не летели, мы парили, как птицы с надежными крепкими крыльями. Я ощущал и свое тело, и воздух, омывавший меня, словно вода.

— Тебе не страшно, Антоний? — спросила она.— Да или нет?

— Нет, нисколько!

— Хочешь, поднимемся выше?

— Да!.. Да!..

Мы летели к звездам, которые становились все крупнее и ярче. Ураганный ветер бил мне в лицо, лоб мой застыл, ноздри расширились. Я не был в этот миг ни бесчувственным, ни бесплотным, ее рука, ставшая, как мне показалось, еще сильнее, еще горячее, крепко сжимала мою. Потом ураган стих, хотя воздух сделался почти пронизывающе холодным. Мы снова парили в вышине, но теперь я видел одни звезды, резавшие мне глаза своими алмазными гранями.

— Доротея, где же земля?

— Под нами! — ответила она.— Не бойся, мы летим на спине.

Неужели она допускала, что я мог испугаться? То, что я испытывал в тот момент, представлялось мне естественнее и реальнее всей моей прежней жизни. Доротея была права, люди произошли от птиц.

— Ты счастлив, Антоний?

— Да, Доротея...

— Вот видишь... Но человек не может быть счастлив, если он этого не заслужил.

— А чем же я заслужил, Доротея?

— Тем, что поверил мне.

Мы снова ощутили теплое дыхание земли. Как далеко остались почти неразличимые огни города! Он казался мне маленькой земной галактикой, затерянной в пустыне вселенной.

— Где мы сейчас, Доротея?

— Над горами... Поэтому внизу так черно.

— Черно и мертво! Но все равно прекрасно!

Мы парили над горами выше спящих на вершинах орлов.

— Тебе не холодно, Антоний?

— Немножко.

— А мне никогда не бывает холодно,— сказала она.— Чувствуешь, какая я горячая? Я думала, что мое тепло перейдет к тебе, Антоний... Но ничего, мы уже спускаемся.

И действительно, мы спускались, приближаясь к городу, огни которого становились все отчетливей. Нас омывали струи воздуха, то теплые, то прохладные, словно мы плыли в море. Я чувствовал себя все более легким, почти звенящим от легкости.

— Ты летала когда-нибудь прежде, Доротея?

— Много раз, Антоний.

— Сколько?

— Не знаю. Но это не так просто... Мы не можем взлетать, как птицы, когда захотим.

Голос ее постепенно слабел. Видно, она была права — нам нельзя было разговаривать. Наверно, это отнимало у нее силы. Мы спускались все ниже и ниже, я уже ясно различал дороги со скользящими по ним огоньками машин. Потом начал различать улицы и площади, даже

отдельные здания с их неоновыми коронами. Я ощущал, как ее рука постепенно остывает в моей, как дрожат ее пальцы.

— Нужно спускаться,— произнесла она едва слышно.

— Хорошо,— согласился я.

Трудно было представить, что вновь будешь ступать по твердой земле. Что придется передвигать отяжелевшие ноги. Вдыхать раскаленный воздух. То, что мне казалось безграничной свободой, оборачивалось рабством, безутешным в своей неизбежности.

— Ты сможешь найти наш дом, Доротея? — спросил я.

— Не разговаривай, Антоний! — ответила она глухо.

Я почти не заметил, как мы коснулись теплого бетона террасы. Мы не приземлились, а опустились на нее, точно птицы. Я не мог разглядеть как следует ее лица, но мне казалось, что она сильно побледнела. Нащупав ее теперь холодную как лед руку, я повел ее за собой. Мы спустились по темной лестнице, я отпер дверь квартиры. Медленно подняв руку, повернул выключатель. Вспыхнул свет. Я не спал. Раз я не просыпался, значит, это мне не приснилось. Я почувствовал, как рука Доротеи, которую я сжимал в своей, снова задрожала.

— Потуши свет, Антоний! — сказала она умоляюще.

Я снова повернул выключатель, и мы потонули во тьме, теплой и влажной, точно мы были в берлоге. Я почувствовал, как Доротея отделилась от меня и исчезла, словно растворилась в воздухе. Все мое тело трепетало, я, видно, был сильно напуган тем, что случилось. Или не случилось? Этого я не знал. Но страх все сильнее охватывал меня; густой, липкий, он просачивался сквозь все поры, проникал в сердце, и я чувствовал, что цепенею.

— Антоний! — позвала она.— Антоний, что же ты не идешь?

Услышав ее голос, я испытал огромное облегчение. Я все еще бессмысленно стоял на пороге, даже не прикрыв дверей.

— Я не вижу тебя! — ответил я.

— А я вижу,— сказала она.— Иди прямо!

Голос ее не был так звонок и ясен, как там, вверху. И все-таки это был ее голос, слегка усталый, настоящий живой человеческий голос. Я осторожно пошел вперед, ударился обо что-то, верно, об угол дивана, но боли не ощутил.

— Тебе не холодно? — спросила она.

Я вздрогнул, так неожиданно близко раздался ее голос.

— Не очень.

— Но ты же дрожишь, Антоний!

— Знаешь... Вверху...

Я не посмел докончить свою мысль. А если никакого «вверху» не было? Да, конечно же, не было и не могло быть. Этот вечер как вечер, мы только что спустились с террасы, собираемся ложиться спать.

— Иди, я согрею тебя! — сказала она.

Я слышал, как она лихорадочно раздевается в темноте. Слышал ее учащенное дыхание. Призрачно мелькали во мраке ее тонкие голые руки. Я порывисто обнял ее и в тот же миг отпрянул. Жуткое ощущение, что я обнял мертвеца, пронзило меня.

— Что с тобой? — вскрикнула она.

— Но ты... ты просто как лед! — воскликнул я и испугался звука собственного голоса.

Помедлив секунду, она сказала:

— Антоний, эта сила исходит от меня одной! А сегодня нас было двое... Не бойся, Антоний, я не лебедь, я человек.

Да, значит, это случилось на самом деле, раз она так спокойно говорит об этом. Конечно, никто не может летать в вышине, не жертвуя ничем. Беспечно, без всякой разумной цели летают одни библей-

ские ангелы. Я снова стал спокоен так же, как там, наверху. Ласкал похолодевшими пальцами ее гладкие щеки, плечи и девичью шею. Ощущал, как к ней постепенно возвращается настоящее человеческое тепло, как оживает и становится упругой ее кожа. Сначала согрелись ее руки, потом стройные ноги. Все горячей становилось ее дыхание, все больше наливалось силой ее гибкое, тонкое тело. Даже легкие волосы обвивались вокруг моих пальцев, как живые. Я чувствовал, как у меня все сильнее и сильнее кружится голова, словно я с безумной скоростью падал с высоты. Но теперь мне было все равно, там внизу меня ждала такая привычная земля. И все равно, что мне она принесет — жизнь или смерть, все равно. В это мгновение я постиг, как звери или деревья, простую истину, что жизнь и смерть — лишь два иллюзорных, сменяющих друг друга лика вечного бытия.

Проснулся я поздно. Доротеи не было. Ее постель была пуста. Не было никаких, даже малейших, следов ее присутствия, точно ее никогда не было на свете. Странное ощущение охватило меня, будто я вернулся назад во времени, перенесясь в какое-то ушедшее лето. Или в один из прошлых веков, уже пустой и безжизненный, как воспоминание о мертвых. Я боязливо огляделся вокруг — никакого прошлого века. Оранжевый палас, два кресла с деревянными подлокотниками, крышка рояля, блестящая, как зеркало, в лучах летнего солнца. Несомненно, я был у себя дома... По комнате была разбросана моя одежда. Да, случалось и такое в моей безалаберной жизни — когда я не знал, где я, зачем и почему нахожусь именно тут. Но сейчас сомнений не было — я был у себя дома.

Одно за другим всплывали воспоминания — яркие и отчетливые. Но все же они были как бы вне меня. Казалось, они были отделены от меня тонкой преградой. То ли фанерной стенкой, то ли дверью, от которой нет ключа. Я уже видел это. Длинный тоскливый коридор, каменный пол, еще влажный после мытья. Окна с решетками. Я это уже видел. Девушка, бледная, с оттопыренными ушами, несущая воздух в ладонях. Когда и где? Я плотнее налег на дверь, я не хотел никого и ничего впускать. Но он упорно просачивался сквозь замочную скважину, сквозь все щели — мой страх.

Я машинально встал с постели, подобрал валявшуюся на полу одежду. Вошел в ванную. Там, на стеклянной полочке перед зеркалом, лежали ее вещи — маленькая зубная щетка, крем, шампунь. Господи, уж не сошел ли я и вправду с ума? Весь дрожа, я встал под холодный душ. Сколько мог стоял под ним, потом как ошпаренный выскочил из ванной, поспешно натянул на себя одежду, снова вернулся в холл. Теперь мне стало лучше, я даже посмотрел в окно. Обычный жаркий летний день, запах асфальта, ослепительный блеск никелированных поверхностей стоящих возле дома машин. Поодаль на газоне надоедливо жужжала косилка. Седой старик в поношенных штанах рассеянно и уныло толкал ее перед собой. Я взглянул на часы — двадцать две минуты десятого. На календаре — двадцать шестое. Конечно же, двадцать шестое июля, а вчера было двадцать пятое. Я понимал, что самое разумное выйти из дому, на улицу, очутиться среди людей. Достаточно всего лишь несколько минут послушать обычную человеческую речь, чтобы прийти в себя.

Я облегченно вздохнул, сев в машину, включил мотор. Мой единственный друг, неодушевленный, но верный, собранный из стальных частей, проводов, железок, приводимый в действие ядовитыми газами,— в который раз ты спасаешь меня? Я медленно свернул за угол и вскоре выехал на бульвар. По твердому булыжнику мостовой лениво полз гигантский экскаватор. Его уродливая голова, такая крохотная по сравнению с громадным туловищем, была грустно опущена, словно он

обнюхивал дорогу. Я осторожно обогнал его и покатил дальше. Я знал, куда ехать. Только там мне помогут — и больше нигде.

В это утро в клинике было не так людно. Тяжелый больничный запах, скорее воображаемый, чем реальный, снова ударил мне в нос. Я вошел в кабинет Юруковой. Она сидела за столом, внимательно вчитываясь в убористо напечатанный на машинке текст. Услышав стук, она подняла голову. Какой бы хладнокровной и привыкшей к неожиданностям она ни была, все-таки я уловил в ее взгляде беспокойство.

— Садитесь, товарищ Манев!

Я молча сел, стараясь отдышаться. Только сейчас осознав, что, поднимаясь, не просто быстро шел, а бежал по лестнице.

— Вы чем-то, кажется, расстроены? — первой заговорила она.

— А что, заметно?

— Да на вас прямо лица нет. А может, вы чем-то напуганы?

Она говорила как-то необычно мягко и ласково.

— Да, немного.

— И что же случилось?

— Мы летали! — выпалил я.— Доротея и я.

Сейчас я отдаю себе отчет в том, что в моем голосе, очевидно, прозвучала злость, даже ненависть. Но я никак не ожидал, что мои слова произведут на нее такое сильное впечатление. Ее мягкое восковое лицо с выражением безмятежного иконописного спокойствия мгновенно преобразилось, стало напряженным и озабоченным. Я догадывался, что она испугалась, но старается это скрыть.

— Расскажите подробнее! — сказала Юрукова невозмутимо.

Пожалуй, я достаточно толково рассказал о том, о чем вряд ли можно было связно рассказать. Я кончил, она молчала. Я догадывался, что она напряженно пытается сохранить самообладание. Нелепость того, о чем я повествовал, почти успокоила меня. Но от ее молчания мне стало жутко. Наконец Юрукова подняла на меня спокойный взгляд.

— Прежде всего не волнуйтесь! — сказала она ласково.— Вы абсолютно нормальны, никакой опасности вам не грозит.

— Нормальные люди не летают! — сказал я со злостью.

— Никаких доказательств, что вы летали, нет! — продолжала она.— Галлюцинации иногда могут казаться реальнее самой действительности.

— Да, но у меня никогда не было галлюцинаций. У здорового человека не бывает галлюцинаций. Почему у меня вдруг ни с того ни с сего начнутся галлюцинации?

— Вы ошибаетесь! — ответила она.— Вы же знаете, что Доротея девушка не совсем обыкновенная. Раз она способна читать мысли, то почему бы ей не обладать силой внушения?

Я был поражен, такая мысль не приходила мне в голову.

— Вы считаете, что она меня загипнотизировала?

— Ну, не совсем так. Но что-то в этом роде.

Да, конечно, разве может быть иначе? У меня точно камень с души свалился.

— Вы исключаете возможность полета?

— Не исключаю,— мягко ответила она.— Хотя он представляется мне маловероятным.

— Не исключаете? — почти закричал я.

Мне почудилось, что в ее глазах мелькнула досада. А может, едва уловимое презрение.

— Что вы от меня хотите? Я могу утверждать то, что мне известно и понятно. Вы вполне нормальный человек, и вам ничто не грозит. Разве вам этого недостаточно?

Да, мне этого было недостаточно. Я продолжал смотреть на нее с недоумением.

— Товарищ Юрукова, вы знаете, что такое гравитация?

— Нет, не знаю! — ответила она сердито.— Даже физики не знают.

— Дело не в определении... А в сути. Вы, вероятно, слышали, какая огромная энергия нужна для того, чтобы вывести ракету на орбиту?

— А вы считаете, что человечество знает все о так называемой энергии?

— Я вас не понимаю.

Юрукова нахмурилась.

— Товарищ Манев, научно доказано, что есть энергия, присущая только живой материи,— сказала она.— И ее нельзя объяснить никакими известными до сих пор законами физики.

Эта женщина была, по всей вероятности, не в своем уме. Или ничего не смыслила в своей профессии. Неужели так трудно было заглянуть мне в душу? И просто-напросто успокоить меня. Я не хотел допускать, что я летал — это представлялось мне абсурдным и страшным. Тысячу раз я предпочел бы быть загипнотизированным.

— Вы не должны пугаться этой мысли! — продолжала она.— Не ради установления истины. Но ради вашего душевного здоровья. Я не убеждаю вас в том, что вы летали... это действительно невероятно. Но это не так уж глупо или страшно, как вы полагаете. Мы все еще не знаем ни всех возможностей человеческого сознания, ни к чему может привести развитие мыслящей материи.

— Человек не может летать! — произнес я упавшим голосом.— Это не дано людям. Это безумие.

— Товарищ Манев! Зачем вы прикидываетесь дураком? — неожиданно рассердилась она.— Попытайтесь мыслить немного более современно. Это не мистика, не безумие! Это — наука!

На этот раз я промолчал, понимая, что чем дольше я буду говорить с ней, тем хуже для меня. Я вообще не собирался спорить с ней по поводу ее сомнительных научных теорий. Не такой уж я серый человек, чтобы не знать, что такое, к примеру, парапсихология. Но летать?

— Прекратим этот разговор! — пробормотал я.— Обо мне не беспокойтесь, я как-нибудь справлюсь с собой.

Юрукова деланно улыбнулась.

— Я вам дам таблетки,— сказала она.— Будете принимать их три дня по три раза. Потом опять придете ко мне.

— Спасибо.

— И ни в коем случае не тревожьте Доротею. Не расспрашивайте и не разубеждайте ее. Она, естественно, верит в то, что делает. Сейчас нам не следует ей противоречить. Но если она опять вам предложит летать, то откажитесь, как бы она ни обижалась.

— Будьте спокойны! — неприязненно сказал я.

— А я беспокоюсь! Разве вы не понимаете, почему она проделала именно с вами этот, если можно так его назвать, эксперимент?

— Это меня больше не интересует! — сухо ответил я и вышел.

Домой я вернулся часа в два. Теперь я уже страшился не того, что произошло, а того, что произойдет. Я боялся нашей встречи с Доротеей, самой Доротеи, слов, которые мы должны были произнести. Я испытывал к ней непонятное чувство враждебности. Разве не была она незваным гостем, совершившим грубое насилие над моей личностью и человеческой природой?

Я не стал ее дожидаться. Когда стрелка часов приблизилась к четырем — времени, в которое она обычно возвращалась с работы, я по-

спешно сел в машину и погнал ее куда глаза глядят. Заглянул в дневной бар гостиницы «София», выпил сто граммов водки и только тогда набрался храбрости позвонить по телефону.

— Это ты, Доротея?

— Я, Антоний, откуда ты звонишь?

В ее голосе слышалась тревога.

— Из Союза композиторов,— хладнокровно солгал я.— Сижу на заседании. Вернусь часам к десяти. Ты никуда не уйдешь?

— Конечно нет. Ты же знаешь, что я никуда не хожу.

Я вернулся раньше десяти, ободренный водкой, которую смешал с большим количеством лимонного сока, опасаясь, как бы Доротея не заметила, что я пил. Может, время сотрет что-то у меня из памяти. Но знаю, что до последнего часа мне будет помниться ее взгляд. Что он выражал? Ищу и не могу найти слов для объяснения. Найти слова — значит, понять все. Но, видимо, это мне не по силам. В нем читались и надежда, и недоумение, и молчаливый вопрос, граничащий с ужасом.

— Привет! — сказал я как можно развязнее.— Ну что, скучала без меня?

— Ты же знаешь, что я никогда не скучаю, Антоний,— тихо ответила она.

— Знаю, потому и спрашиваю.

Я продолжал играть эту жалкую комедию еще минут десять. Признался, что выпил одну-две рюмки в компании. Но в отличие от нее умирал от скуки. Она улыбнулась, на душе у нее, видно, стало легче. Мое неестественное поведение она, наверно, объясняла тем, что я пьян. Пока я неожиданно для самого себя не проронил:

— Вот что, Доротея, завтра я уезжаю в Пловдив... На два-три дня.

— Зачем? — встрепенулась она.

— Там дают концерт из моих произведений... Я должен присутствовать на двух последних репетициях.

— Хорошо, поезжай,— согласилась Доротея.

Ничего хорошего тут не было. Она опять помрачнела, лицо ее вытянулось. И я заметил, что со вчерашнего дня она как будто осунулась, похудела. Острая боль внезапно пронзила мне сердце.

— А на концерт мы поедем вместе! — прибавил я с наигранным оживлением.— Ты бывала в Пловдиве?

Но она словно не слыхала меня. Задумчиво подошла к открытому окну, долго стояла возле него. Когда она обернулась, лицо ее было очень бледным.

— Антоний, я совершила ошибку! — сказала она чуть слышно.— Я не хотела тебя испугать. Я думала... я думала, что ты поймешь меня!

О чем это она? Ведь столько всего произошло вчера вечером. Я едва нашел в себе силы произнести:

— Доротея, не будем говорить об этом сегодня...

— Хорошо,— сказала она.— Хочешь, я согрею тебе чаю?

— Нет, спасибо... Я безумно устал.

Во мне словно что-то надломилось. Я встал и медленно ушел в спальню.

На другой день я проснулся рано, почти на рассвете. Чтобы не разбудить Доротею, я прошел через холл на цыпочках, как вор. Она спала, повернувшись лицом к окну, за которым уже брезжило утро. Ее гладкая шея нежно белела в предрассветном сумраке. Сейчас я уже не поручусь, что она спала. Может, не хотела, чтобы я знал, что она не спит, что она не спала всю ночь. Или у нее не было сил попрощаться со мной. Но я был убежден, что вернусь. Я верил в это, как верят в судьбу. И не через три... Всего через два дня. Мне только надо успокоиться, собраться с духом и силами. Я не хотел, действительно не хо-

тел бежать от судьбы, какой бы она ни была. Это я твердо решил после долгой беспокойной ночи.

Садясь в машину, я еще не знал, куда поеду. Во всяком случае не в Пловдив... Пловдив, как любой другой город, полон шума и движения. А мне были нужны спокойствие и тишина. И чтобы ни один знакомый не мозолил мне глаза. Я поехал в Боровец. Там в это время года тоже было довольно много народу, гостиница была переполнена. Случайно все же нашелся свободный номер, куда я перенес свои вещи — если так можно назвать мой единственный чемодан. Здесь было тихо и пустынно, но эта прозрачная пустота и неподвижные деревья подавляли меня. В первое утро я погулял по лесу. В старом глухом лесу царила тишина, не слышно было даже пения птиц. Шагая наугад по тропинке, я наткнулся на муравейник, настоящий маленький Вавилон из земли, сухих листьев и сучьев, кишмя кишащий большими черными муравьями. Дошел до просторной солнечной поляны, желтой от цветущего молочая. Постоял с минуту и вернулся назад.

После обеда вышел на террасу, которая одновременно служила кафе. Пил дешевый, скверный коньяк, ничего другого не было. Пил не спеша, но много. Впервые в жизни пил один. Солнце давно спряталось за горные склоны; улицы и аллеи погрузились во мрак. Чем больше я пил, тем острее понимал свою глупость. И свою безмерную подлость. Я старался не думать о Доротее, но время от времени она возникала в моем воображении, и в глазах ее, исполненных ужаса, был все тот же немой вопрос.

В первый вечер я ушел к себе в номер сразу же после закрытия кафе, пьяный и трезвый одновременно, охваченный зловещим предчувствием. Во сне мне грезилось, что я снова лечу над городом, над горами, среди легких, как дым, облаков, стелющихся в вышине. Я чувствовал себя бесконечно счастливым. Но проснулся с тревожным чувством. За окном сияло ослепительное летнее солнце, сильно пахло смолой от сосен, подступавших к самому моему окну. Я вышел на узкий цементный балкон, в сущности, было еще очень рано — глубокие долины меж гор утопали в тени, где-то неподалеку журчала вода. Я спустился вниз, заказал яичницу с ветчиной и бутылку пива. Оно было такое холодное, что я неожиданно приободрился. В конце концов не так уж важно, в своем ли уме человек или нет? Важно, чтобы ему было хорошо. А я был счастлив во сне, чего же еще?

Вечер застал меня на террасе, я был пьян и угрюм. Я не вставал из-за стола целый день. В часы наибольшего оживления ко мне подсаживались немецкие туристы, большей частью в шортах, со смешными кожаными кепочками на голове. Некоторые, в основном женщины, посматривали на меня с интересом, даже с известным уважением — что это за мрачный тип сидит, один, как сыч, равнодушно взирая на окружающих. Ну, что ж, сегодня второй и последний день, завтра я уезжаю. Но почему завтра?.. Почему непременно завтра?.. Разве я обязан соблюдать какой-то срок? Или я нашел здесь то, что искал? Разумеется, нет. Зачем же тогда ждать завтрашнего нестерпимо знойного дня? Я встал из-за стола и, как слепой, побрел к машине — не расплатившись, не сказав никому ни слова, не взяв вещей. Включил мотор и выехал на шоссе. Руки у меня все еще тряслись, зубы отбивали дробь. К счастью, дорогу я знал как свои пять пальцев и мог проехать по ней в каком угодно состоянии! От напряжения я протрезвел, прежде чем въехал в город. Впрочем, я даже не заметил, как промчался по нему. Опомнился я, только когда остановил машину перед высокой темной башней нашего дома. Не заперев дверцы, я взбежал по ступенькам. Лифт работал. Поднялся на свой этаж, дрожащей рукой повернул ключ в замке, с размаху открыл дверь. О, слава богу, святые угодники —

в прихожей горел свет! Свет горел и в холле, с порога я увидел, что на столе лежит ее синяя сумочка.

— Доротея! — закричал я радостно.

Но Доротеи не было дома.

Да, ее не было, но все говорило о том, что она только что вышла. И вот-вот вернется, раз она даже не погасила свет. Внимательно пядь за пядью я обследовал всю квартиру. Она не ужинала. Не взяла с собой никакой одежды. Не взяла, вероятно, и денег, раз оставила свою сумочку на столе. Но особенно меня поразило и испугало то, что в прихожей стояла единственная пара ее туфель. Не могла же она уйти босиком? Нет, конечно, разве только на террасу. Как же я сразу не догадался, разумеется, она там. И я бросился вверх по лестнице.

Но на террасе никого не было. Расстроенный, я подошел к низким перилам. Невольно поднял глаза к небу, словно Доротея была не человеком, а птицей, которая в любой миг могла выпорхнуть из темноты. Ничего, кроме тусклых, грязноватых звезд и темных теней облаков. Я спустился вниз, посмотрел на часы. Было без десяти двенадцать. Я сел в кресло и стал ждать.

Сейчас я с трудом вспоминаю ту кошмарную ночь. Да и нечего вспоминать. Медленно, как огромная гусеница, в дом вполз липкий ужас. Словно привязанный к креслу невидимой веревкой, я не мог ни сбежать от него, ни остановить его, ни раздавить. Напрасно я старался успокоить себя разумными доводами. Чего не случается в жизни. Глупого, обыкновенного и все же неожиданного. Может, у нее кто-то умер, например, мать, и ее попросили срочно прийти. Может, она купила новые туфли. Может, сидит расстроенная за чьим-нибудь столиком в ночном ресторане, прислушиваясь к чужим разговорам. Может, случилось худшее — началась снова ее болезнь, и она, безумная, бродит по безлюдным улицам. Но даже это я предпочитал самому страшному. Я предпочитал видеть ее — пусть обезумевшей, чем не видеть вовсе. Пусть ее привяжут к кровати, пусть она кричит и стонет, но пусть будет здесь, рядом со мной! Я нашел бы в себе силы, непременно нашел бы силы и возможности вернуть ее к нормальной жизни.

Часам к трем я вспомнил про злополучные таблетки Юруковой. Выпил две, через полчаса еще одну. Так я просидел до утра, оцепенелый и бесчувственный, без единой мысли в голове. Часам к восьми я заставил себя сдвинуться с места. Принял холодный душ, переменил рубашку и белье, потом снова медленно поднялся на террасу. Отсюда все пространство вокруг дома было видно как на ладони. Никто не мог проникнуть в дом незаметно для меня.

Именно поэтому мое внимание привлекла кучка людей, стоявшая недалеко, метрах в ста от нашего дома, посреди большого пустыря, изрытого ямами и усеянного строительным мусором. Они сгрудились, наклонившись к земле, некоторые даже присели на корточки. Они были явно чем-то взволнованы. Что-то тревожное угадывалось в их суетливых движениях, до меня долетали их испуганные голоса. Большинство из них, судя по их защитным каскам, были рабочие с соседней стройки. Они подняли что-то с земли и, неловко мешая друг другу, понесли к дому. Я прекрасно видел, что это женщина, ее тонкие босые ноги свисали, словно у мертвой. Когда они подошли ближе, я разглядел знакомое платье. Я кинулся вниз по лестнице — у меня не было сил дожидаться лифта.

Они несли Доротею. Как я узнал потом, она пролежала всю ночь на голом изрытом грейдерами пустыре. Она лежала там, пока крановщик случайно не заметил ее с высоты своей кабины.

Лишь к обеду мне удалось дозвониться генералу Крыстеву. В не-

скольких словах я объяснил ему случившееся. Помолчав, он ответил мне своим обычным глуховатым голосом:

— Хорошо, приходи ко мне. Я закажу пропуск на твое имя.

Через полчаса я уже сидел в его кабинете. Передо мной словно был другой человек — сосредоточенный, спокойный, чужой. Но особенно поразили меня его глаза — никогда бы не подумал, что у него может быть такой холодный, острый и проницательный взгляд. Только когда он заговорил, в голосе его зазвучало что-то знакомое и дружественное.

— Во-первых, успокойся,— сказал генерал.— И расскажи мне все как можно подробнее. Все, что произошло между вами.

Все, что произошло? Разве можно было это выразить словами? Разве я сам понимал, что случилось? И мог ли я ему рассказать, как мы в полночь парили вдвоем в темной вышине неба? Я слишком хорошо знал неумолимую логику его трезвого медлительного ума. Рассказать все у меня просто не хватило духу. Но утаив главное, я почувствовал, что рассказ мой звучит неубедительно, даже неправдоподобно.

— Ты что-то скрыл от меня! — сказал генерал, когда я замолчал.

— Ничего! — твердо заявил я.

— Тогда не понимаю, почему ты вдруг укатил в Боровец?

— Я же тебе объяснял почему! В эту ночь мы впервые были близки. Ты вряд ли поймешь, как это потрясло меня. Все-таки она не была обыкновенной девушкой с обычной судьбой. Мне надо было собраться с мыслями, успокоиться.

— Да-а, ты поступил весьма неразумно! — сказал, нахмурившись, генерал.— А тебе не пришло в голову, что и ее надо было успокоить, сказать ей доброе слово? Особенно после такой ночи.

Я почувствовал себя припертым к стенке.

— Что поделать, так уж получилось,— сказал я беспомощно.— Теперь-то я понимаю, но что от этого толку?

— А почему ты хотя бы не позвонил ей из Боровца?.. Одно-два ласковых слова утешили бы ее.

— Да я хотел было. Но пришлось бы заказывать междугородный разговор, и она догадалась бы, что я не в Пловдиве.

Как видно, он ждал такого ответа, потому что лицо его немного прояснилось. Но он сидел по-прежнему неподвижно, занятый своими мыслями. Только теперь я понял, как он расстроен и подавлен, как ему трудно владеть собой.

— Насколько я понимаю, ты меня допрашиваешь,— сказал я.

— Да, допрашиваю! Правда, не так, как полагается в подобных случаях.

— В каких случаях?

— Совершено страшное преступление,— ответил он,— Доротею убили. Как, спросишь? Ее сбросили из окна верхнего этажа или с высокой террасы, как ваша, например. Тело ее изуродовано, кости перебиты, прости, что я об этом тебе говорю...

У меня потемнело в глазах, хотя и я ожидал, что он скажет нечто подобное. Но я быстро взял себя в руки и спросил:

— Почему ты считаешь, что ее сбросили, а не она выбросилась?

— Потому что там, где нашли труп, нет никакого строения. Очевидно, ее перенесли после... А кто мог это сделать, кроме убийцы?..

Он рассуждал, конечно, вполне логично.

— А в какое время это произошло?

— Медицинской экспертизой установлено достаточно точно — между одиннадцатью и двенадцатью ночи. Как раз в то самое время, когда ты вернулся домой.

— Да, я понимаю, что на меня падает весьма серьезное подозрение! — сказал я равнодушно.— И для этого есть основания.

Меня в самом деле охватило равнодушие. Какое значение имеет то, что меня подозревают? Она была мертва, и это было непоправимо. И никакое следствие не могло воскресить ее. Да и какое у меня право оправдываться, если я действительно был виновником ее смерти.

— Я этого не говорил,— сухо ответил генерал.— Есть некоторые факты, которые снимают с тебя подозрения.

— Какие? — спросил я без всякого интереса.

— Если бы она была сброшена с вашей террасы, то она бы упала на асфальтовую дорожку перед домом. Тогда на теле у нее остались бы следы многочисленных кровоизлияний. А таких следов нет! Глупо было бы думать, что, сбросив ее в другом месте, ты перетащил труп сюда. Зачем? Чтобы против тебя появились улики?

— И это все? — спросил я.

— Нет, конечно! Но это главное. И все же вопрос остается открытым — кто убийца? Зачем он перетащил труп? Чтобы отвести от себя подозрение? Отчего он не оставил труп где-то на тротуаре? Похоже, что убийца был сумасшедший, какой-нибудь психопат.

Естественно!.. Что еще можно подумать? Неужели нормальный человек мог допустить, что она просто упала с неба? Я молчал, генерал мрачно смотрел на меня.

— Вид у тебя убитый! — произнес он уже другим тоном.— Иди домой, попробуй заснуть, если сможешь... Дела против тебя возбуждать не будут.

— Какого дела? — сказал я с отвращением.— Плевать я хотел на ваше дело!

Я вернулся домой. Идти мне было некуда, весь мир был мне ненавистен. Пустые, душные комнаты, пылающие на солнце занавески, жесткий блеск металлических пепельниц. Даже горе и мука словно мгновенно испарялись в раскаленном воздухе. И это было самое страшное. Я чувствовал себя не столько несчастным, сколько безмерно опустошенным. Теперь мне не давала покоя моя жалкая ложь. Зачем я не сказал ему правды? Он, конечно, не поверил бы. Решил бы, что я сошел с ума! Ну и что из этого? Разве правда не превыше всего? Какая бы она ни была! Если я погубил ее своим ничтожеством или слабостью, то какое искупление мог придумать мой злосчастный рассудок?

Я долго стоял под сильной струей ледяного душа, но и это не принесло мне успокоения. Я старался утешить себя надеждой, что не виновен в ее смерти. Разве я думал, что случится несчастье? Я ведь даже не знаю, что же в самом деле произошло. И никто никогда не узнает. А что, если она нарочно сложила крылья? Или неожиданно для себя обессилела и упала в бездну. Но какой смысл обвинять себя или оправдываться? Все это касалось только меня. А Доротея? Нет силы в мире, способной вернуть к жизни единственное человеческое существо, которому было дано летать.

Поздно вечером я с тяжелым сердцем поднялся на террасу. Я не посмел взглянуть на небо, на невзрачные звезды, слабо мигавшие у меня над головой. Они никогда не будут моими. У меня нет крыльев взлететь к ним. И нет сил. Доктор Юрукова сразу же угадала, я никогда не перешагну барьера. И не поднимусь выше этой нагретой солнцем голой бетонной площадки, на которую время от времени садятся одинокие голуби.

Молодые греческие поэты

■

С греческого

Они рано осознали себя формирующимся литературным поколением, ощутили общность своих целей и поиска, заявили о себе коллективными сборниками и вечерами поэтических чтений. Об их интенсивном творческом взаимодействии свидетельствуют эпиграфы, посвящения, вкрапленные в ткань стихов строки поэтов-сверстников. Но, пожалуй, главным, что объединяло молодых поэтов и сразу же привлекло к ним внимание критики, был резкий, яростный антиконформизм. Дебют этого поколения протекал в трудные для Греции годы, в период военной диктатуры 1967—1974 гг., и молодые поэты с первых же шагов выразили свое органическое неприятие «отравленного» насилием общественного климата. Лефтерис Пулиос писал:

Стоят совсем плохие времена
совсем плохие времена электрогнета электроплеток
и электроказней...
Стоят совсем плохие времена
дни черные утраченной отваги
и времена поэзии
стоящей лицом к лицу с подавленным народом.

(«Совсем плохие времена». Перевод Юнны Мориц)

Беспощадный, язвительный критицизм предопределил сатирическую тональность многих стихотворений молодых поэтов, и это тоже отметила критика. В блестящей статье «Сатира и юмор у молодого поэтического поколения» критик Нора Анагностаки раскрывает богатый арсенал сатирического оружия молодых — от тонкой иронии до гротескного «черного» юмора. Одним из интересных примеров современного сатирического переосмысления привычных поэтических символов может служить стихотворение Дзени Масторакн «Троянский конь». Троянский конь, известный символ коварства и обмана, причина разрушения и гибели Трои, предстает перед нами в современном респектабельном облике с безупречной репутацией и твердым алиби:

...про убийство знать ничего не знает
и вообще он всегда
на ужин ест что-нибудь легкое
и в детстве
когда-то работал
в луна-парке лошадкой.

(Перевод С. Ильинской)

Между тем какого же масштаба, какой изощренности достигли коварство и обман в наши дни, если для современного троянского коня трагедия Трои — всего лишь начало, луна-парк детства?

Молодые поэты часто нарочито акцентируют субъективность поэтического восприятия. Тут сказывалась двойная реакция: и на обезличивающее давление общественной атмосферы, и на поэтическую традицию непосредственных предшественников, для которых — в соответствии с запросами их времени — первоочередным было требование максимальной достоверности и объективности. «Субъективизм» молодых поэтов не снижает достоверности их художественных свидетельств; напротив, он обогащает их лирическими показаниями от первого лица: свидетельства «о времени» и свидетельства «о себе» сливаются в пульсирующий эмоциями трепетный сплав.

Лирический герой молодых поэтов говорит «о себе» больше и откровеннее, чем это было до них. Откровенность нередко бывает вызывающей, эпатирующей. И вместе с тем стихи молодых поэтов пронизаны щемящей жаждой теплоты, жаждой человеческого общения, протестом «против любой изоляции», против надвигающейся эпидемии отчуждения. Лефтерис Пулиос пишет:

Я в дверь стучусь хочу поговорить.

(«Совсем плохие времена». Перевод Юнны Мориц)

За человеком гоняешься —
надо же перекинуться словом...

(«Суть вещей». Перевод С. Ильинской)

вторит ему Яннис Кондос. Главный «смысл» их поэзии, неизменно пробивающийся сквозь любую броню колючей язвительности или трезвого скепсиса, по сути своей высоко идеален:

...И насытить нас хлебом единым
невозможно никак.

(Лефтерис Пулиос. «В поисках смысла». Перевод Юнны Мориц)

Теперь и всегда
поэт на лесах
гвоздем и зубами
укрепляет
надежду.

(Д. Масторакн. «Мы тонем...» Перевод С. Ильинской)

Чрезвычайные условия диктатуры не способствовали естественному развитию прямой преемственности поколений. Очень многое постигалось молодыми людьми самостоятельно, в ходе формирования собственного жизненного опыта. И примечательно, что именно жизненный опыт подводил их ко все большему пониманию старшего поколения — тех, кого вторая мировая война застала «на пороге юности», кто отдал делу Сопротивления весь пыл своей молодости, кто пронес верность Сопротивлению через невзгоды последующих десятилетий. Для нового поколения все это — предыстория, но молодые поэты ощущают в ней нечто кровное, родное, свое. «Мы... несем в себе наших старших»,— говорит Д. Масторакн.

Как это обычно бывает, молодое поколение (воспользуемся словами Марины Цветаевой) проявляет большую «отзывчивость на новое звучание воздуха» и стремится добыть новое звучание слова. Выразительное стихотворение Я. Кондоса «Слова и столбняк» передает, как напряженно протекает этот поиск:

Так вот — слава богу — пока
столбняк меня еще не хватил,
хотя я столько вожусь со ржавыми словесами.
Вчера вечером психиатр мне сказал:
— Ты бы хоть иногда надевал перчатки.
Но разве делают такую работу
в перчатках?

(Перевод С. Ильинской)

Молодые поэты не боятся вводить в свой стих говор современной улицы, использовать слова отнюдь не высокого стиля, детали явно натуралистические. Иногда эффект, которого они добиваются, не выходит за пределы эксперимента. Но в целом их труд. праведный и серьезный, проникнут подлинной заботой о поэтическом языке, который должен стать не только обновленным, но также жизненно верным.

В стихотворении «Апология» Насос Вагенас говорит о своем сознательном выборе гражданственности, о том, что этот выбор оставляет «нестираемую отметину» на поэтическом почерке: идеи, «в мозг вонзенные словно колючки», неразлучны с поэтом.

Возможно отсюда начало берет прозаичность
моих стихов...

(Перевод Юнны Мориц)

Невольно вспоминаются строки Янниса Рицоса из стихотворения «Геракл и мы», его слова «о неуклюжих стихах», написанных «под конвоем».

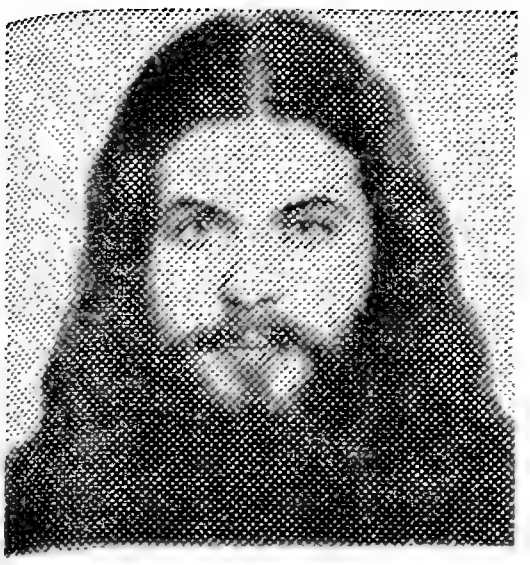
Суровый урок гражданственности, который извлекли для себя молодые греческие поэты в период диктатуры, был освоен ими прочно, как основа жизненной и творческой позиции. И после падения военной диктатуры в 1974 году заряд их гражданской активности не ослабевает. В «яростной песне» Лефтериса Пулиоса с новой силой звучит

Ненависть к паразитам
к чванным попам
к одуревшим буржуям
к вам супостаты свободного слова
наложившие лапу на все духовное
превратившие в свой капитал
все сокровища нашего духа.

(«Мастерская». Перевод Юнны Мориц)

Диктатура, почва, на которой она возникает, ее воздействие на умы и сердца людей и, наконец, позиция деятелей культуры, их долг, их возможности — круг этих вопросов не сходит с повестки дня греческой общественной жизни и по-прежнему волнует греческую поэзию. Эти вопросы остаются в центре внимания молодых поэтов, научившихся постигать «суть вещей».

С. ИЛЬИНСКАЯ



ЛЕФТЕРИС ПУЛИОС

Дороги

Дороги — мрачно лоснящиеся осьминоги моей отчизны,
по которым она, не имеющая никакого лица и веса,
шествует прямо в будущее. Автомобили, автобусы, автоцистерны,
чей-то велосипед и ничейный воробушек,
по асфальту скользящий на своих воробьиных незримых колесиках.
Под землей — подземные автодороги. Над землей —
воздушные аэротрассы, откуда несется ревущий джаз.
Дороги — мимо и вдоль искристых витрин, и мимо
и между статуй, и между универмагами,
и мимо, и между заводами. Дорога — мимо Университета.
Мимо здания греческого парламента. Национальная наша дорога.
Дороги жилых кварталов. Дороги, исхлестанные
мазутом и кровью. Мощенные гравием,
и ревом, и воплями. Под натиском
автодорожных прессов и тысяч уличных демонстраций.
Дороги — траурный саван Григориса, Сотириса, Тасоса[1].
Дороги — античные гимны. Дороги народного праздника.
Дороги — погоня — агония. Дороги — убийцы.
Что за проклятье свалилось на вас и так раздавило?!

Каждый ждет на своей остановке,
все мы вместе стоим и ждем под навесом-жестянкой.

В поисках смысла

Смысл без формы без цвета
проникающий капля по капле
в каждое слово в артерию в наши тарелки и ложки.
Он обнажает характер всякого существа
он проступает наружу из-под каждой кожи и кожицы
он оплодотворяет каждую пустоту и всякий раз протестует
против любой изоляции.
Это без формы без цвета
вечно текущая сперма
скользкая и упрямая.
Это я это ты — я и ты
пожирающие пространство
мы спешим к безымянной вселенной
и насытить нас хлебом единым
невозможно никак.

[1] Имена погибших борцов за демократию в Греции.

Ящик

Я совсем себя чувствую ящиком,
набитым проводкой и батареями.
Я действую, двигаюсь, я приодет
в плесень земного покрова,
а также в голубой картуз
покрытых ржавчиной небес.
Другие — те кричат
и поднимают вой и рев.
Насилие несыто ждет насилия.
Люди — не облака, люди — камни. Люди —
безмозглые, рвут упаковку и делят между собой
сексуальные допинги вечером каждой пасхальной субботы.
Их терзают все комплексы, все сексуальные мании.
Я с мозгами своими еще в ладу.
Я разлегся на толстозадом уличном гуле
и размышляю, потягивая сигарету,
прикуренную от общей луны.
Жуткий тупик, ловушка.
Опутана моя родина толстой гадючьей цепью,
эти живые гадюки кусаются беспрерывно,
свиваясь вокруг меня и вонзая
мое живое распятие в самом центре
земли.

Совсем плохие времена

Стоят совсем плохие времена
совсем плохие времена электрогнета электроплеток и электроказней
я в дверь стучусь хочу поговорить.

Не знает ровно ничего павлин
который даже не подозревает о чем-нибудь таком
вдыхая глубже наш горький воздух
наш отравленный надолго.

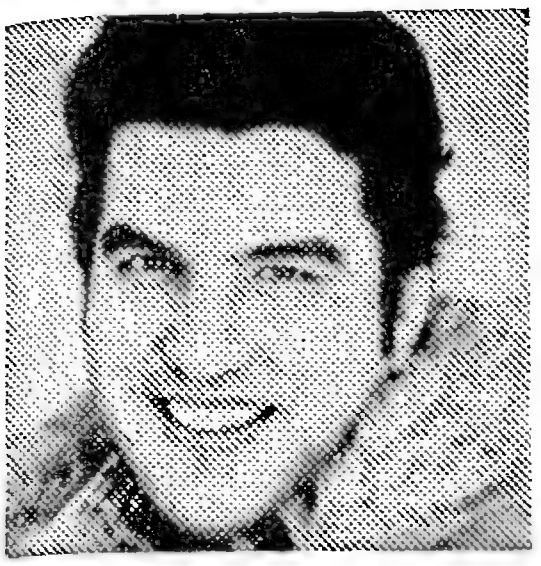
Стоят совсем плохие времена
дни черные утраченной отваги
и времена поэзии
стоящей лицом к лицу с подавленным народом.

Мастерская

Есть в моей яростной песне тайник
открываю его и оттуда взмывает вселенная.
Время сжато. Я делаю нечто сейчас для души
привожу в движение темное это мгновение.
В двух магнитных ладонях мой череп скорбит.
Во мне распускается ненависть.
Ненависть к паразитам
к чванным попам
к одуревшим буржуям
к вам супостаты свободного слова
наложившие лапу на все духовное
превратившие в свой капитал
все сокровища нашего духа.

Подозрения лихорадка бред в который стараюсь не впасть.
Живые мысли протаптывают мне дорогу во мраке
мечта моя — такая пушистая и такая неуловимая.

Перевод ЮННЫ МОРИЦ



ЯННИС КОНДОС

Лестница

Когда спускаешься вниз по скрипучей лестнице,
влажная темнота
тебя обступает и липнет к телу.

Ты делаешь шаг,
другой,
падаешь.
Грудой лежат апельсины,
часы и всякая домашняя утварь.

Огни, голоса
из разных воспоминаний.
Вдали завыла сирена.
Конечно же, никто не приходит.

Древние наши предки

Трещат по швам сновидения,
и сон раскалывается на сотни кусков,
становится чем-то иным.
Скажем — другим сновидением.

То же самое было и у Сократа,
но он выпил цикуту и разом избавился.
Правда, он не курил.

Большие зеленые листья твои слова,
глаза твои тень и прохлада.
Покой.
Настолько покойно, что малые звери
умирали в сытости и довольстве.
Ни охотников — ни оружия.
Мы даже вообразили,
что одноцветный покой продержится,
но тут вломились они и...

Так вот, Сократ, вероятно, пронюхал про это загодя
и выпил цикуту, чтоб разом избавиться.

Новый год

Здесь, где я нахожусь, ветер мерцает.

Стена ослепительно белая, длинная, словно бинт.
Мысли запутаны, и разлит хлороформ.

Иностранцы на память фотографируют.
Диафрагма замерзла на солнце.
На всех фотографиях черный квадрат,
и только.

Руки твои, стиснутые,
дышат с долгими паузами.

Здесь, где я нахожусь, ветер дрожит,
как вода.

Сдвиг

Ласковый месяц июнь, и лу́ны
падают в комнату, словно капли дождя.
Прохладная зеленая ночь утопает в листьях,
опирается на твое плечо, и ты меня любишь.

Собака, почуяв убийц,
зарычала.
Далекая песня срывает покровы ночи.

Все это так, но это еще не все.
Вчера ровно в полдень один человек
открыл балконную дверь и бросился на асфа́льт.

Суть вещей

Полутемные коридоры.
Забитые двери.
За человеком гоняешься —
надо же перекинуться словом.
Топчешься в луже.
Натыкаешься на чьи-то руки, связанные.
Вдруг над твоей головой
зажигаются миллионы огней.
И гаснут. Потом
целятся в твоего соседа
и кидаются, словно коршуны.
Кто-то третий начинает плакать.
. . . . . .
Конечно, философия — вещь неплохая,
парки, газоны, всякие древности,—
разве я против,— но здесь
жизнь дышит на ладан.
Так истощается озеро, когда осушают болота.
И нас покрывает немая
белизна, твердая, словно камень.

Перевод С. ИЛЬИНСКОЙ

НАСОС ВАГЕНАС

Апология

Невзирая на ход событий я не сменил убеждений
я остался самим собой и все те же идеи со мной
в мозг вонзенные словно колючки.
Меняются
обстановка и обстоятельства
высота новостроек автомобильные цены
идеалы и взгляды близких. Остаюсь я самим собой
со своими идеями прежними — нестираемая отметина
со своими идеями прежними — бродят в черепе как муравьи...
Возможно отсюда начало берет прозаичность
моих стихов очевидное
отсутствие лирических взлетов —
веский повод для круга друзей и близких
смотреть на меня с откровенной жалостью
как на нечто самоутраченное
как на полный провал надежд.

Мука

Снова путаница в метафорах
слова удирают падают валятся
словно тридцать предательских сребреников.
Стихи выставляют меня на посмешище
делают что хотят
извращают характер моих видений
смахивают бесстыже на поэзию декаданса.
А ведь несколько первых слов были что надо
а ведь первая строчка так замечательно
выражала все мои чувства.
Но как быстро
она сфальшивила под влиянием воспоминания
о каких-то жутко чужих
отвратительных стихотворениях.

Спектакль

Твой выход был — ты расхотел и не явился
и вообще остался дома глядя вяло
сквозь окна сумрачные сквозь деревья
или ворочался лениво с боку на бок
покуда в сон не впал.

А ведь они
смотрели молча — что же происходит?
и переглядывались — что же происходит?
делясь отчаяньем по поводу пустот
и диких пауз.

Слепой

Прекрати приходить ко мне каждое утро
мертвецы до рассвета уходят всегда
мертвецы появляются вечером только
прыгают в сад залезают на окна
прячутся в листьях ползут по деревьям
чтоб видеть оттуда что в доме творится.

То под видом жандарма приходишь ко мне
то под видом бродяги
а то как старьевщик стучишься с вопросом —
а нет ли чего у меня для тебя?

Но чаще всего ты приходишь как нищий
как слепой изменяешь свой голос — подайте слепому
но мне под лохмотьями рана видна
и нож кривоострый мне виден в груди
и два глаза под стеклами черных очков
упорно разглядывающие меня всей чернотою смерти
и в протянутой голой ладони твоей
открывается все мое будущее включая мое настоящее.

Кто-то другой

Я иду задыхаясь в тяжелом тумане иду
по улицам где ни души я иду спотыкаюсь и падаю
поднимаюсь и снова иду и опять спотыкаюсь и падаю
огни еле дышат иду
кто-то идет за мной я не знаю его совсем
кто-то идет за мной кто-то в моей тени я не знаю его совсем.

Останавливаюсь он тоже
Дальше иду он тоже
Тем не менее я задыхаясь в тяжелом тумане иду
по улицам где ни души
огни еле дышат иду
за кем-то кого я не знаю совсем
за кем-то кто спотыкается падает
поднимается снова идет спотыкается снова и падает.

■ ■ ■

Родина. Всеми преданная. Кто бы из них поверил,
что я сижу сейчас и пишу нечто патриотическое.
Слышны голоса живых сквозь глухо забитые окна.
Мертвые просыпаются. Обуваются. Открываются
широко текущими толпами, плачущими безмолвно.
Эти толпы в слезах влезают на столбы. Чтоб вывинтить лампочки.
Большие куски нашей славы парят и витают во мраке.

Перевод ЮННЫ МОРИЦ

ДЗЕНИ МАСТОРАКИ

ИЗ ЦИКЛА «ЛИЦА И КАНОНЫ»

■ ■ ■

Троянский конь тогда заявил
нет никаких журналистов принимать не намерен
почему же спросили его и он им ответил
что про убийство знать ничего не знает
и вообще он всегда
на ужин ест что-нибудь легкое
и в детстве
когда-то работал
в луна-парке лошадкой.

■ ■ ■

Эти воскресные дни
приходят тебя не спросившись.
Ни у кого не спросившись.
Так занимается день
в звоне колоколов
встает среди кипарисов
огромных как пальцы бога
простертые над землей.
Так день тебя покидает
застывшую у подоконника
между будничных мыслей
и воскресных поступков
перед выбором
с которым ты медлишь
безвыходным выбором камикадзе
земли которой принадлежишь.

■ ■ ■

Мы тонем все глубже
в себе.
Расшифровываем
звуки сплошного молчания
и крики красок
нас ранят.
Луна врывается в щели
разоряет жилища.

Теперь и всегда
поэт на лесах
гвоздем и зубами
укрепляет
надежду.

■ ■ ■

Это молчание я вскормила
взаперти в четырех стенах
давно ему предназначив
стать когда-нибудь песней.
Песней глубокой и темной
точно немые воды
точно карман в переднике
моей матери.
Пусть она каждому отдаст его долю.
Пусть журавлиным зовом
прольется на улицы площади
на городские уборные
в зал ожидания на вокзале.
Песня вербного воскресенья
песня воды и хлеба
песня людей
моя песня.

■ ■ ■

Наши старшие
вечно несут в себе
себя на пороге юности
в годы второй мировой войны.
Девушку которую не успели поцеловать
неизлечимую тягу к травам
спасавшим от голода.
Первый пушок над верхней губой
Варваров Константина Кавафиса[1]
и старый туберкулез.
Дни
расписанные по продовольственным карточкам.
Пустующий гвоздь
мог свидетельствовать о времени года
— летом когда они брились зеркало
обычно висело у них на оконной раме.
Мечты родного квартала
как мотоцикл с коляской
для многодетных семей.
Мы
просто-напросто
несем в себе
наших старших.

Перевод С. ИЛЬИНСКОЙ

---

[1] Имеется в виду стихотворение «Ожидая варваров» греческого поэта Кавафиса (1863—1933). Город, ожидающий прихода варваров, символизирует неизбежное крушение старого мира.

■

СЬЮЗЕН ХИЛЛ

Я в замке король

РОМАН

Перевод с английского Е. СУРИЦ

Глава первая

Три месяца назад умер дедушка, и тогда они переехали в этот дом.

— Я туда не вернусь, пока дом не будет мой,— говорил папа. Хотя старик лежал наверху после второго удара и никого не тревожил — умирал.

Мальчика повели на него посмотреть.

— Ты только не бойся,— сказал папа. Он нервничал.— Дедушка очень старый, очень больной.

— А я и не боюсь.— И он правду сказал, хотя папа, наверное, не поверил.

Выйдет весьма трогательно, решил тогда Джозеф Хупер, три поколения вместе, один — на смертном одре. Старший сын старшего сына старшего сына. К почтенному возрасту в нем пробудилась фамильная гордость.

Трогательно вышло не очень. Старик сопел, пускал слюни, не просыпался. В комнате стоял кислый запах.

— Ну ладно,— сказал мистер Хупер и кашлянул.— Он очень болен, понимаешь. Но я рад, что ты на него посмотрел.

— Почему?

— Ну, ты его единственный внук. Наследник. Вот почему.

Мальчик взглянул в сторону постели. «У него кожа мертвая уже,— он подумал,— старая и сухая». Но он видел, как просвечивают сквозь нее, как светятся кости глазниц, челюсти, носа. Все — от щетины волос до подогнутого края простыни — было выбеленное, белесое.

— Ой, я знаю, на что он похож,— сказал Эдмунд Хупер,— на старого дохлого мотылька из своей коллекции.

— Как ты смеешь так говорить? Без всякого уважения!

И Джозеф Хупер вывел сына из комнаты. А сам думал: «Я могу выказывать ему уважение, вести себя как следует только потому, что он умирает, его почти уже нет».

Эдмунд Хупер, спускаясь по широкой лестнице в обшитый деревом холл, не думал про дедушку. Но потом вспоминал мотыльковую бледность старой-старой кожи.

И вот они переехали, Джозеф Хупер стал хозяином в доме.

Он сказал:

— Я буду надолго уезжать в Лондон. Я не могу тут безотлучно сидеть, хоть у тебя и каникулы.

— Значит, все будет как раньше?

Он раздраженно отвел глаза от сыновнего взгляда. И подумал: «Я, кажется, стараюсь изо всех сил, не так-то это легко, когда под боком нет женщины».

— Ну, мы посмотрим,— сказал он.— Я попробую подыскать тебе друга и устрою, чтоб за нами присматривали. Скоро все уладится.

Гуляя под тисами в дальнем конце сада, Эдмунд Хупер думал: «Не хочу, не надо, чтоб уладилось, не надо мне здесь никого».

— Ты не ходи в Красную комнату без спроса. Я буду прятать ключ.

— Я же ничего не поломаю. Почему?

— Ну — там много ценных вещей. Только и всего.— Джозеф Хупер вздохнул. Он сидел за письменным столом в кабинете с видом на длинный газон.— К тому же не понимаю, что тебя там так прельщает.

Ему не хотелось, чтобы в доме что-то трогали, покуда он сам не решил, какую мебель выбросить, что из своих вещей сюда перевезти.

Бумаги на отцовском столе его раздражали. Он ворошил их, перебирал, не знал, с чего начать, как к ним подступиться. Копаться в бумагах он привык. Но отец оставил дела в таком беспорядке — смерть предстала в непристойном виде.

— Ну, а сейчас дай ключ, а?

— *Пожалуйста,* дай.

— Ладно, *пожалуйста.*

— Ключ от Красной комнаты?

— Да.

— Хорошо...

Мистер Джозеф Хупер потянулся к левому маленькому ящику стола под тем ящиком, где всегда держали сургуч. Но тут же одумался:

— Нет-нет. Лучше поиграй на солнышке в крикет, Эдмунд. Ты уже все видел в Красной комнате.

— Не с кем мне играть в крикет.

— Ах да, скоро я все улажу, у тебя будет друг.

— Вообще не люблю я этот крикет.

— Эдмунд, прошу тебя, не капризничай, у меня масса дел, мне некогда заниматься глупыми препирательствами.

Хупер вышел, он пожалел, что так сказал про крикет. И не надо, чтоб улаживалось, не надо, пусть сюда не приезжают, никто.

Зато он узнал, где лежит ключ.

Весь в мать, думал мистер Джозеф Хупер. Та же манера не снисходить до объяснений, вечные секреты, тот же холодный, жесткий взгляд. Элин Хупер умерла шесть лет назад. Брак был несчастливый. Когда сын, вылитая Элин, уезжал учиться, Джозеф Хупер подолгу не мог припомнить ее лица.

Джозеф Хупер вернулся к прерванному занятию: он отвечал на письмо — отклик на его объявление.

Дом, называемый «Уорингс», был построен прадедушкой мальчика, то есть не так уж давно. Тогда здесь был большой поселок, и первому Джозефу Хуперу принадлежал солидный кусок земли. Теперь посе-

лок уменьшился, жители разъехались по городам, а сюда приезжали мало, мало строились. Поселок стал похож на старый порт, от которого отступило море. Всю свою землю Хуперы понемногу распродали, остался только «Уорингс». Он стоял на склоне холма, на пути к деревне, на отшибе.

Первый Джозеф Хупер был банкир, процветал и в тридцать лет построил этот дом. На службе он говорил: «Такой дом иметь не стыдно». «Уорингс» действительно был ему совершенно не по средствам. Он надеялся до него дорасти, как детская нога до купленных на вырост ботинок. Он был человек настойчивый. Женившись на младшей дочери младшего баронета, он начал создавать семью, укреплять позиции, чтобы дом, который он построил, сделался ему по средствам. Тут, однако, он не слишком преуспел, и прилегающую землю, тоже его собственность, пришлось продать.

— Вот история «Уорингса»,— говорил сыну Эдмунду нынешний Джозеф Хупер, торжественно водя его по комнатам.— Гордись.

Чем тут гордиться, он не понял. Дом как дом, уродливый даже, хвалиться нечем. Но то, что дом свой и что у них, оказывается, есть история, очень ему понравилось.

Отец сказал:

— Погоди, вот вырастешь, тогда поймешь, что такое быть Хупером.

А сам подумал: «А что это такое, да ничего, в сущности». И он сжался от устремленного на него взгляда, от написанного в нем всезнанья. Вылитая мать.

«Уорингс» был уродливый. Он был неуклюжий — большой, угловатый, красно-кирпичный. Перед ним и по бокам тянулся газон, он спускался к посыпанному гравием въезду и дальше, к проселку, и ни деревца, ни клумбы не было на нем, чтоб оживить нудную зеленость. Вдоль въезда и возле тисов за домом густо кустились рододендроны.

Тисы стояли тут еще до всякого дома, «Уорингс» пристроили к ним, потому что первого Джозефа Хупера прельстили их толщина и пышность и то соображенье, что они растут так долго, дольше всех деревьев. Рододендроны же он избрал тоже совсем не за тот короткий спектакль, которым они ошеломляют в июне и в мае, а за темные зеленые кожистые листья и толщину ствола, за основательность. Ему нравилось, въезжая на гравий, видеть перед собой их толпу.

А в доме, конечно, были высокие потолки, тяжелые переплеты окон, обшитые дубом стены и дубовые двери, дубовая лестница, громоздкая мебель — все как полагается. С самого начала тут мало что изменилось.

Джозеф Хупер все детство до школы и все летние каникулы провел в этом доме и не любил его, сохранил об «Уорингсе» печальную память. Но сейчас, в пятьдесят один год, он решил, что раз он Хупер, сын своего отца, ему должны нравиться мрак и основательность. Он стал думать об «Уорингсе»: внушительный дом.

Он понимал, что сам он — неудачник и ничем не блещет, к нему благосклонно относятся, но его не слишком почитают, в общем, он провалился, но и провалился-то незаметно, а не сорвался драматически, впечатляюще, с большой высоты. Он был тусклый человек, обыкновенный. Он думал: «Я знаю себя, и это меня не тешит». Но после смерти отца дом придал ему вес и уверенность, уже можно было говорить: «У меня в именье, в «Уорингсе», а это кое-что да значит.

Узкая тропа вела между тисами к небольшой роще. Роща и поле за нею — вот все, что осталось от земли Хуперов.

Комната Эдмунда, высоко наверху в задней части дома, выходила на рощу. Он сам ее выбрал.

Папа говорил:

— Посмотрел бы другие, есть куда больше, светлей. Возьми лучше старую детскую.

Но он эту захотел, узкую, с высоким окном. Над ней были только чердаки.

Когда он проснулся, месяц светил вовсю, так что сперва он решил даже, что уже рассвело и, значит, он проспал. Он встал с постели. Ветер тоненько, упорно шелестел листвой тисов, и вязов, и дубов в роще и ерошил высокую траву на поле. Лунный свет сквозь щель между двумя деревьями затекал в разделявший их ручей, и вода сверкала, как только вздрагивали ветки. Эдмунд Хупер выглянул наружу. Ночь была очень теплая.

За дверью, на площадке, луна не светила, и он прошел ощупью в темноте — сначала по ковру первого марша, а потом два последних пролета по голому полированному дубу. Он ступал не спеша, спокойно, ему не было страшно. Из папиной спальни не доносилось ни звука. А миссис Боуленд на ночь всегда уходила. Миссис Боуленд не нравилась «Уорингс». Слишком темный, она говорила, и пахнет не живым, старым, как музей. Она все хотела напустить в дом побольше света и свежего воздуха. Только место здесь было низкое, да и воздух в это лето — густой, стоялый.

Хупер прошел через широкий холл в переднюю часть дома. Лунный свет туда тоже не доходил. За его спиной успокоились потревоженные деревянные ступени.

Он не сразу сообразил, какой взять ключ. В левом ящике их лежало целых три. Но один подлиннее и с пятном красной краски. Красная краска — значит, от Красной комнаты.

Она была в задней части дома, выходила на рощу, и когда он толкнул дверь, комната в лунном свете оказалась почти не темней, чем днем, при лампах — их никогда не тушили из-за того, что окна застили тисовые ветки.

Хупер переступил порог.

Первый Джозеф Хупер отвел ее под библиотеку, и тут так и стояли застекленные стеллажи по всем стенам, с полу до потолка уставленные книгами. Но никто никогда здесь не читал. И сам первый Джозеф Хупер тоже.

Эдмунд Хупер прочел названия на кое-каких корешках, когда его сюда привезли посмотреть на дедушку. Неинтересные книги. Переплетенные выпуски «Вестника банкира» и «Биржевых ведомостей» и новенькие, нечитаные тома классиков.

А вот дедушка, который недавно умер, приспособил Красную комнату. Он был специалист по бабочкам и мотылькам и поставил тут стеклянные ящики с мотыльками и бабочками. Комната стала как зал в музее, на голых дубовых полированных столах рядами во всю длину стояли ящики. И еще в стенах были ниши, и в них такие выдвижные лотки с насекомыми.

— Твой дед был одним из выдающихся коллекционеров своего времени,— сказал Джозеф Хупер, показывая сыну дом.— Его знали и уважали во всем мире. Эта коллекция стоит огромных денег.

Хотя что толку, что толку, почему бы мне ее не продать? Он от всей души ненавидел коллекцию. Его таскали сюда день за днем, водили от ящика к ящику, учили, наставляли, заставляли смотреть, как насекомых пинцетом достают из бутылок с ядом, расправляют и прикалывают ороговевшие тельца к карточкам. Отец говорил:

— Все это будет твое, ты должен представлять себе цену своего наследства.

Он не смел взбунтоваться, он каждые каникулы, а потом каждый отпуск возвращался в Красную комнату, изображал интерес, набирался знаний, таил страх. Пока, наконец, не повзрослел и не нашел предлога проводить отпуск от дома подальше.

Отец ворчал:

— Легко тебе презрительно пожимать плечами, тебе неважно, что человек кое-чего достиг, у меня мировое имя, а тебе хоть бы что. Ничего, посмотрим, какое имя ты себе составишь.

Джозеф Хупер знал, что не составит себе никакого имени. Теперь он старался успокоить совесть и наставлял сына:

— Перед дедушкиной славой надо преклоняться. Смолоду все свое свободное время — а это ведь у него не профессия была, только хобби, ему приходилось еще и служить — он посвящал коллекции всю свободную энергию, до последней капли.

Почему бы мальчику не гордиться семьей?

Эдмунд Хупер ходил по Красной комнате, присматривался, молчал.

— Я видел, ты ловил бабочек в банки от варенья,— сказал Джозеф Хупер,— значит, интересуешься этим, как я понимаю, значит, не мне чета и пойдешь по его стопам, а?

— В прошлом году все только и думали про этих бабочек. Личинок собирали, выводили. А теперь надоело.

Он отошел к окну и посмотрел на рощу, прочищенную первым летним ливнем. В общем, он не ответил, интересуют ли его окоченелые мотыльки под стеклами.

— А чего ты меня раньше сюда не возил?

— Нет, я... тебя возили сюда, когда ты был маленький.

— Ну, это когда было!

— Э... да.

— Наверное, вы плохо жили с дедушкой.

Джозеф Хупер вздохнул:

— Не надо так говорить, не стоит теперь этого касаться.

Но, глядя на сына, он понял отчасти, каково было когда-то отцу, и ему захотелось успокоить совесть. Он подумал: «Нет, не такой уж я тяжелый человек, и мне с сыном, в общем, куда меньше повезло, чем ему». Он понимал, что с самого начала не сумел себя поставить с Эдмундом.

Ключик, который подходил ко всем стеклянным ящикам, лежал в Библии, на нижней полке.

Хупер обошел комнату раз, другой, рассматривал мотыльков на белых карточках, надписи под ними. Ему нравились названья: Бражник, Сумеречник, Ночница. Он их бормотал про себя. Луна холодно светила на стекла. Над деревянными панелями в Красной комнате были животные — голова оленя ветвилась рогами над дверным проемом, и стояли ящики с серыми рыбами и рисованной водой и чучела лис, куниц и ласок со стеклянными глазами, в неживых позах. Старик умирал долго, экономка про них забыла, их не чистили давно. Мистер Джозеф Хупер сказал, что животных надо продать, к семейной гордости они отношения не имеют: их оптом закупил первый Джозеф Хупер, когда обставляли библиотеку в охотничьем духе.

Хупер остановился перед ящиком в дальнем углу комнаты у незашторенного окна. Он рассматривал плоские, хрупкие созданья. Они его заворожили. Он вставил ключик и поднял стеклянную крышку.

Она оказалась тяжелая, и ее заело. Его опахнуло старым, застоявшимся духом.

Самый большой мотылек был посередине — Acheroptia atropos, правда, он еле разобрал надпись, чернила выцвели до желтизны: «Бражник Адамова Голова».

Он протянул руку, поддел пальцем булавочную головку и вытянул булавку из плотного полосатого тельца. Сразу же весь мотылек, давным-давно мертвый, распался и стал нежной, бесформенной кучкой пыли.

Глава вторая

— Сегодня к нам кое-кто приедет,— сказал Джозеф Хупер.— У тебя будет друг.

На него произвели приятнейшее впечатление милые письма миссис Хелины Киншоу, их прямой, непринужденный тон, а потом и ее голос по телефону. Она была вдова, тридцати семи лет и соглашалась стать, как он это назвал, «неофициальной домоправительницей». Для стирки и черной стряпни остается миссис Боуленд.

«Может быть, вы для начала проведете у нас лето,— написал он ей,— и мы посмотрим, как вы с мальчиком здесь приживетесь и как сложатся наши отношения».

«Уорингс»,— ответила миссис Хелина Киншоу,— судя по всему, должен нам понравиться».

Джозеф Хупер разволновался. В тот вечер он тщательно рассматривал в стенном зеркале свое худое лицо.

— Я очень одинок,— сказал он вслух и нисколько не смутился потом от такого признания.

— Его зовут Чарльз Киншоу, он твой ровесник, ему скоро одиннадцать. Постарайся уж встретить его поласковей.

Эдмунд Хупер медленно одолевал четыре пролета до своей комнаты. Опять лило, и в небе над рощей как синяки выступили большие тучи. Он собирался сегодня сходить в рощу, а трава, наверное, вся промокла.

И еще незнакомый мальчишка приезжает, с матерью, будут вечно торчать в доме. Она начнет приставать, посылать на прогулки, заставит играть в разные игры, у всех ребят в классе матери такие. Он недавно как раз удивлялся, что не скучает по маме. Наверное, ему должно бы чего-то без нее не хватать. Но чего именно — он так и не придумал. Он ничего про нее не помнил.

Папа сказал:

— Я понимаю, тебе грустно, что поделать, надо крепиться. Но ты мне обо всем рассказывай, если что — не бойся, лучше сразу скажи.

— Все в порядке. А что? — Он терпеть не мог, когда папа такое говорил, хотелось прямо заткнуть уши.— Все отлично.

И он правду говорил. Но Джозеф Хупер копался в тонкостях интонаций, его предупреждали, что мальчик будет очень страдать.

Хупер разминал кусок пластилина для нового слоя к геологическому макету на полке у окна. Он думал про этого Киншоу, который приедет.

«Дом мой,— он думал,— наш собственный. И пусть сюда не суется никто».

Правда, он своего все равно не уступит. Мальчишку можно и не замечать, избегать или шугануть. Какой еще он окажется. Там видно будет.

Он положил плоскую полосу темно-красного пластилина так, как предписывала цветная схема. Макет был выгнут бугром и напоминал бугры на здешних холмах. Когда все будет готово, он его разрежет,

как торт, и все пласты обнажатся. И он опять займется картой «Битвы при Ватерлоо». Дел хватало, и он хотел все делать сам, без всякого Киншоу. Когда они приехали на машине, он заперся у себя. Но он так пристроил зеркало, что видел их, а они его не видели. Они топтались у входа. Киншоу был рыжий.

Папа кричал на весь дом:

— Эдмунд! Эдмунд! К тебе приехал друг, сейчас же перестань прятаться, ну что за невоспитанность. Ну, пожалуйста, Эдмунд!

Джозеф Хупер суетился, его вдруг испугал приезд этой дамы, испугало будущее. Они все станут жить под одной крышей, и что, если это окажется тяжело, несносно, придется расхлебывать следствия ужасной ошибки.

«Как он в себе неуверен»,— думала миссис Хелина Киншоу. Она тоже была очень одинока в последние годы.

— Эдмунд! Немедленно спускайся, слышишь!

Эдмунд Хупер взял со стола клочок бумаги, написал несколько слов и аккуратно прикрепил бумагу к катышу серого пластилина И опять выглянул в окно. Мальчишка, Чарльз Киншоу, глядел вверх— он увидел, как сверкнуло зеркало. Хупер кинул пластилин, он камнем упал на землю. Хупер отскочил от окна. Киншоу нагнулся.

— Пойдем, Чарльз, пойдем, миленький, ты мне с чемоданами поможешь, нельзя навьючивать мистера Хупера.— Миссис Хелина Киншоу была в ярко-зеленом костюме и беспокоилась, как бы ее не сочли чересчур нарядной.

— Ой, что это у тебя, а ну-ка покажи.— Ей было важно, чтобы ему тут понравилось, чтобы он освоился поскорей.

Киншоу думал: «Я не хотел, я не хотел сюда ехать, вот еще один чужой дом, где все не наше». Но он бросил кусок пластилина:

— Ничего, камушек просто.

Идя за мамой по темному холлу, он расправил бумажку. Там было написано:

«Я не хотел, чтобы ты приехал».

— Ну, позвольте проводить вас в ваши комнаты,— сказал мистер Джозеф Хупер.

Киншоу поскорей сунул записку в карман джинсов.

Глядя на него через всю комнату, Хупер спросил:

— Вы зачем сюда приехали?

Киншоу стал красный как свекла. Он держался, молчал. Их разделял круглый столик. Чемоданы стояли на полу.

— Вам почему переехать пришлось?

Киншоу не ответил. Хупер подумал: «Теперь ясно, что лучше, когда есть «Уорингс», теперь ясно, почему папа вечно бренчит ключами. Мы тут живем, тут все наше, свое, тут дом. А у Киншоу нигде дома нет».

Он обогнул столик. Киншоу попятился. Хупер прошел к окну.

— Ага, испугался!

— Нет.

— Когда папа умрет,— сказал Хупер,— этот дом будет мой, я буду хозяин. Все мое будет.

— Подумаешь, богатство. Несчастный старый дом.

Хупер с тоской вспомнил про землю, которую дедушке пришлось продать. Он сказал спокойно:

— Внизу есть кое-что очень ценное. Такого ты сроду не видел.

— А что?

Хупер улыбнулся, посмотрел в окно, решил не отвечать. Он не был уверен, что коллекция мотыльков на самом деле так уж внушительна.

— Дедушка умер в этой комнате. Недавно. Он умер вот в этой постели, а теперь ее тебе отдали.— Это была неправда.

Киншоу подошел к чемодану, присел на корточки.

— А где вы раньше жили?

— В квартире.

— Где?

— В Лондоне.

— Своя квартира?

— Да... нет. Ну, у кого-то в доме.

— Значит, снимали?

— Да.

— Тогда она не ваша была.

— Не наша.

— Почему же твой отец не купил вам нормальный дом?

Киншоу встал.

— Мой отец умер.

Он разозлился, не обиделся. Он хотел съездить Хупера по морде, но не посмел.

Хупер вздернул брови. Он этому научился в школе, у одного учителя. Так получался очень внушительный взгляд.

— Ну, а маме не по средствам покупать дом. Вот.

— Почему же отец вам денег не оставил? У него-то дом был?

— Был, но пришлось продать.

— Почему?

— Не знаю.

— Чтоб долги его уплатить.

— Нет, нет.

— А ты помнишь отца?

— Помню. Ну... немножко. Он раньше был летчиком. Он участвовал в битве за Англию. У меня...— Киншоу снова сел на корточки и стал перерывать клетчатый чемодан,— у меня его карточка есть.

— Он в битве за Англию снят?

— Нет. Но...

— А я тебе не верю, все ты врешь. Битва за Англию во время войны была.

— Знаю. Это каждый знает.

— Она была давно, много лет назад. В истории. Не мог он в ней участвовать.

— Нет, он участвовал.

— Так когда же он умер?

— Вот карточка. На, смотри, это папа.

— Когда же он умер, я спрашиваю? — Хупер грозно надвинулся на него.

— Несколько лет назад. Мне пять было. Или шесть.

— Значит, он был совсем старый. Сколько ему было?

— Не знаю. Много, наверное. На, смотри, вот карточка.— Киншоу протянул ему маленький темный конверт. У него душа рвалась от желанья, чтоб Хупер увидел карточку, поверил, ему надо было удивить, убедить. Хупер секунду помешкал, потом наклонился и взял карточку. Он ожидал увидеть совсем другое лицо — отважное, необычное. А на карточке был лысый, тощий, измученный человек с родинкой на подбородке.

— Старый,— сказал Хупер.

— А я и говорил. Когда он участвовал в битве за Англию, ему было двадцать лет. Это в войну.

Хупер промолчал. Он бросил фотографию в чемодан и отошел к окну. Киншоу понял, что победил, но торжества не испытывал. Хупер все равно не уступал позиций.

— Ты в какой школе учишься?

— В Уэльсе.

Хупер вздернул брови:

— А я-то думал, в Уэльсе школ сто. Больше ста.

— Моя святого Винсента называется.

— Частная?

Киншоу не ответил. Он все стоял возле своего чемодана. Он уже собирался его распаковывать, но теперь передумал, получилось бы, что он смирился и остается и речь уже идет о будущем. Хупер отбил у него охоту распаковывать чемодан.

Киншоу сказал:

— Не думай, я не хотел сюда ехать.

Это Хупер понял. Он помнил, как ему сообщили про смерть дедушки. Он тогда сказал:

— Не хочу я жить в этом доме.

Он распахнул окно. Дождь перестал. Небо цветом не отличалось от грязных шестипенсовиков. Рододендроны вдоль всего въезда еще блестели от капель.

— Закрой окно,— сказал Киншоу.— Это теперь мое окно.

Хупер повернулся, он заметил новые нотки у него в голосе, понял, что это значит. Но дрожь в голосе он тоже заметил. Он сжал кулаки и двинулся на Киншоу.

Схватка была короткая, безмолвная, отчаянная. Все произошло в одну секунду. Киншоу утер нос и увидел на платке кровь. Сердце у него прыгало. Он ни с кем еще так не дрался. Он не знал, что теперь будет.

Внизу, в коридоре, веселый мамин голос что-то отвечал мистеру Хуперу, и потом хлопнула дверь. Он подумал: «И зачем мы сюда приехали, это все она, все она».

Хупер уже снова стал у окна. Он его так и не закрыл. Сперва оба помолчали. Киншоу хотелось, чтоб он ушел.

Хупер сказал:

— Ты мне не больно нужен. У меня свои дела есть.

— Это твой отец сказал, чтоб мы дружили.

— Ты теперь должен меня слушаться.

— Дурак ты, что ли?

— Смотри, опять по морде схлопочешь.

Киншоу решил не связываться. Он сказал:

— Только ты не думай, я не хотел сюда ехать, я не очень-то рад.

Хотя вообще-то он сперва надеялся, что привыкнет. Он же не знал, какой Хупер. Он начал собирать вещи, которые вывалились из клетчатого чемодана.

— Твоя школа — частный интернат?

— Да.

— Так как же твоя мать за тебя платит, если вам даже дом пришлось продать?

— Наверно... Не знаю. Кажется, у нас школа бесплатная.

— Бесплатных не бывает.

— Нет, бывают.

— Бесплатные только школы для бедных. А частные интернаты все платные.

— А у нас... Не знаю. Кажется, папа заплатил за меня сразу много денег. Кажется, он сразу все заплатил, и теперь уже платить не надо. Ага, он заплатил, я вспомнил.

Хупер взглянул на него холодно, он победил, и Киншоу это понял. Так что Хупер мог спокойно отвернуться и оставить эту тему.

Киншоу надеялся, что теперь наступит перемирие, что он завоевал право тут остаться. Когда ехал сюда, он собирался ладить с Хупером, он ладил почти со всеми, потому что так проще. Ссориться себе дороже, он всегда ужасно все переживал.

Но Хупер, кажется, собирался опять что-то выкинуть. Киншоу в жизни не встречал такой злости, она сбивала его с толку, и еще самоуверенность Хупера — он просто не знал, как себя с ним вести, и ему от этого было ужасно стыдно. Как когда в первый раз пошел в школу. Он тогда тоже не знал, как себя вести, и подсматривал, что делают другие.

Ему хотелось сказать: «Мне плохо тут, не хочу тут, хочу один, в своем доме, не в чужом, вечно мы живем по чужим домам. Но от меня ничего не зависит и придется остаться, значит, надо взять себя в руки». Он готов был терпеть и чуть не сказал Хуперу, что согласен его слушаться, признает его право на территорию. Но слова не складывались, даже в уме, все это были только неясные чувства, они набегали волнами. Он запутался.

Хупер смотрел на него через стол. То место на левой щеке, куда пришелся кулак Киншоу, вспухло и посинело. Хупер, хоть и ниже Киншоу, казался старше. Что-то такое было в походке, в глазах.

Хупер минутку подождал, потом не спеша вышел из комнаты. Но в дверях обернулся:

— Только не думай, что тебя тут ждали. Дом не твой.

Киншоу долго стоял, не двигаясь. Он думал: «У меня никого нет». Впереди ждало длинное лето. Скоро он заплакал, беззвучно, давясь слезами, и никак не мог перестать. Хотя ему нечего было сказать, да и кому говорить?

Наконец он перестал плакать. Вещи-то все равно надо вынуть и разложить. Мама его сюда привезла, она так волновалась, сказала: «Услышаны мои молитвы». Ему неудобно было, что она так говорит.

Он не спеша подошел к окну.

— Это теперь мое окно,— сказал он и захлопнул раму.

Повернувшись лицом к комнате, он вспомнил, что говорил Хупер про своего дедушку — что он умер здесь, в этой самой кровати. Киншоу и в голову не пришло усомниться в правдивости этих слов. Он старался не думать о том, как его будут мучить страхи.

— Эдмунд! Почему ты заперся? Открой, пожалуйста, дверь.

Эдмунд затаился, вертел карандаш в точилке и следил, как раскручивается стружка, будто из личинки вылупляется мотылек.

— Я же знаю, ты тут, не притворяйся.

Молчание.

— Эдмунд!

В конце концов ему пришлось открыть.

— Что ты тут делаешь, почему заперся? На мой взгляд, весьма странное поведение. Почему ты не идешь на воздух? Почему не покажешь Чарльзу Киншоу поселок?

К стене был прикреплен кнопками большой лист белой бумаги, исчирканный странными линиями, утыканный цветными точками, сбегавшимися в кучки. В углу значилось:

Зеленые — пехота Наполеона.
Синие — конница Наполеона.
Красные —

Джозеф Хупер посмотрел на карту. Он пришел явно некстати. Сын стоял, перекладывал точилку из руки в руку, выжидал.

— Да разве поля сражений такие, это же...— Он взмахнул рукой. Надо было говорить, чтобы не чувствовать себя незваным гостем в комнате собственного сына. Он думал: «Необходимо добиться близости, надо побеседовать с ним по душам, нас двое на свете». Аккуратненькая карта немыслимо его раздражала, и тут следовало сказать: «Пустяки и чушь этот твой чистенький, четкий план», следовало раскрыть ему глаза на правду, живописать людей, коней и кровь, смрад, грохот орудий, стоны раненых. Но слова застревали у него в горле. Эдмунд Хупер стоял надувшись и ждал, когда он уйдет.

— Где Чарльз Киншоу?

— Не знаю, он мне не докладывался.

— Но ты должен знать, Эдмунд, ты должен быть с ним вместе. Я не совсем доволен твоим поведением. Почему ты не с ним?

— Потому что я не знаю, где он.

— Не груби, пожалуйста.

Хупер вздохнул.

Джозеф Хупер думал: «Будь он постарше, я бы нашел на него управу, будь он постарше и немного другой — все можно было бы свалить на переходный возраст. Так я читал, по крайней мере. Но он еще ребенок, ему нет одиннадцати».

— Лучше пошел бы поискать его. И покажи ему комнаты, поселок и прочее. Постарайся, чтоб он чувствовал себя как дома. Для меня это важно. Да, он тут *действительно* дома.

— Так они, значит, остаются?

— На лето, конечно, остаются. И я думаю...— Но тут голос ему изменил. Не мог же он, в самом деле, объяснить сыну, насколько ему важно, чтобы все здесь понравилось миссис Хелине Киншоу.

Эдмунд Хупер подумал: «Какой папа старый. Лицо совсем худое».

— Я хочу, чтоб ты подружился с Чарльзом и с миссис Киншоу, конечно. Мне придется иногда допоздна задерживаться в Лондоне, иногда даже ночевать. А ты...

— Что?

— Ну, теперь тут миссис Киншоу и Чарльз, и все в порядке. Ты будешь не один.

Хупер отвернулся.

— Эдмунд, ты очень невежливо ведешь себя с нашим гостем.

— Ты же сам сказал, он тут дома. Выходит, какой же он гость?

«Наверно, надо бы его ударить,— думал Джозеф Хупер,— чтоб не смел разговаривать со мной в таком тоне, наверное, не следует ему все позволять, спускать дерзости. Не нравится мне его высокомерная мина. Необходимо себя с ним поставить». Но он знал, что ничего не выйдет. Он упустил момент, теперь поздно. «Да,— он думал,— избегал ошибок отца, а нагородил собственных».

Жена — та знала к нему подход и вот умерла и не оставила указаний. Все она виновата.

Он вышел из комнаты.

Хупер дотошно пририсовал еще два кружочка к их треугольному скопищу в правом углу карты. Он их закрашивал медленно, медленно, высунув кончик языка и бурно дыша на бумагу. Так рисуют только совсем маленькие дети. Потом он встал и пошел вниз.

— Пошли со мной.
— Куда?
— Увидишь.

Он нашел Киншоу в теплице. Тот тыкал палочкой в горшки с геранью. Было ужасно жарко.

— Пошли.
— А если я не хочу?
— Все равно пошли, папа велел. И не дубась по гераням, накроют — влетит.
— А я и не дубасил.
— Ничего подобного, я видел, и смотри — вон лепестки на полу валяются.
— Это они опадают. Сами.

Солнце сквозь стекло било в лицо Киншоу. Шея у него уже загорела, стала красная. Но в теплице ему понравилось. Пахло старыми, сухими листьями и краской, пузырившейся на сломанной зеленой скамейке под ярким лучом. И везде полно паутины. Сюда, наверное, никто не ходил.

Хупер ждал у открытой двери. Он знал, что Киншоу вряд ли посмеет его не послушаться.

— А, вдвоем отправились поместье осматривать.— И миссис Хелина Киншоу появилась в дверях. На лице у нее были написаны все те же оживленье и надежда, что и при въезде в «Уорингс». Все чудно, только бы не упустить своего счастья. То есть нам всем, конечно, будет очень-очень хорошо.

И пришлось им идти, и они поплелись из теплицы по тропе молча, друг за дружкой, под взглядом миссис Киншоу.

— Не думай, мне не больно надо тебя куда-то водить. Ну, я побежал, а ты догоняй.
— Зачем же домой? Я там уже все видел.
— Папа мне велел тебе все показать, ну, а я всегда слушаюсь папу, ясно? — Хупер состроил рожу и побежал в парадную дверь, через холл, по дубовой лестнице и потом, хлопая дверьми, по всем комнатам. Он барабанил на бегу: — Папина комната, эта для гостей, эта для сундуков, гостиная твоей матери... пошли на черный ход... это ванная, чулан, опять ванная...— топ-топ-топ, хлоп-хлоп-хлоп.

Потом Киншоу от него отстал. И сел на нижнюю ступеньку черного хода. Тут было очень холодно и темно.

Он думал: «Хорошо бы удрать от Хупера, найти бы ручей или лес. Только б удрать». Но он боялся один выходить за ворота.

Наверху чем-то грохотал Хупер. Потом вдруг появился на каменной лестнице у Киншоу над головой.

— Тебе же сказано, догоняй.
— Ну и что? Я не обязан тебя слушаться.
— Я тебе дом показываю! — сказал Хупер важно.
— Дурак ты, больше ты никто.

Хупер стал медленно спускаться, осторожно переставлял ноги, на каждой ступеньке останавливался. Киншоу слышал, как он дышит. Он не оборачивался. Ноги Хупера, в синих джинсах, поравнялись с его шеей. Встали. Киншоу бы только руку протянуть, и он бы ему дал — вообще, схватил бы сзади за коленки, и полетел бы тот с лестницы вверх тормашками. Он сам пришел в ужас от своей мысли. И не щелохнулся.

Хупер спускался дальше, очень осторожно прошел мимо, чтоб

даже джинсами не задеть. Где-то прошмыгнула мышка, по полу, под дверь.

Хупер ушел, и спустился еще на марш, и прошел по коридору в парадную часть дома. Киншоу услышал, как открылась и хлопнула дверь. Еще где-то, на кухне наверное, включили по радио музыку.

Он потом еще долго так сидел.

Глава третья

Тропка вела по неровному полю за домом, а дальше были опять поля и поля, они выгибались так и сяк, и вдали взбивались бугры, будто много-много подушек. Милях в двух была Крутая чаща, она взбегала на гору. Из-под нее полоска кустарника сваливалась вниз, в настоящий лес.

Это на западе. На восток от «Уорингса» был только поселок Дерне, а потом ровная пашня до самого шоссе.

Киншоу все это уже выучил по карте, подробно, дюйм за дюймом, еще перед тем, как им сюда ехать. А видеть пока ничего не видел, ходил только чуть-чуть вдоль газона и стоял у ворот.

Сегодня он решил погулять. Они больше недели тут прожили, ему надоело торчать в доме под носом у Хупера. Он прошел мимо тисов и возле рощи помешкал. Большие черные тени загораживали вход, и через несколько ярдов начиналась тьма. Кервель и злая крапива, чуть не с него ростом, не давали пройти.

Он отступил, обогнул рощу, вышел к краю поля. И пошел.

Сперва поле поднималось в гору. Палила жара, трактор провел в земле огромные борозды, и борозды запеклись, протвердели на солнце, так что он то и дело спотыкался. Он норовил ступать между бороздами, но трава была вся в колтунах от щавеля и репья, и ему колола ноги через сандалии.

Киншоу не оглядывался. Он нагнул голову и шагал не спеша, отсчитывал — топ-топ, топ-топ. Ему было все равно, куда идти, только подальше от этого дома, от Хупера. Лишь бы убедиться, что здесь можно побыть одному. Он перелез через плетень. На третьем поле росла густая пшеница, почти спелая.

Он поискал тропинку. Но не увидел ни одной, даже по краю поля. Потом он заметил узкий проход наискосок. Он по нему пошел. Пшеница была по пояс. Но скоро стало ясно, что тут просто кто-то уже проходил или пробежал зверь. Пшеница примялась. Киншоу стал. Вдруг увидят — наверное, нельзя топтать хлеб. Лучше вернуться.

Это поле было на пригорке. Он стоял в самой середине, а солнце пекло. Он чувствовал, как пот течет по спине и затекает вниз, к ягодицам. Лицо у него горело. Он сел, хотя стерня кололась сквозь джинсы, и оглядел темный строй деревьев на краю Крутой чащи. Казалось, будто они рядом — каждая веточка видна. Поля вокруг затаились.

Сперва, когда увидел ворону, он на нее и внимания не обратил. Мало ли ворон. Эта припадала к колосьям на громадных, мохнатых черных крыльях. Но она вдруг взмыла, покружила в вышине, потом метнулась вниз и села совсем близко, и вот тогда он ее заметил. Он разглядел черные перья у нее на голове — они блестели между светлых, как масло, колосьев. Потом она поднялась и покружила и опять спустилась, но уже не села на землю, а стала стучать крыльями у него над головой, как будто кто-то бьет друг о друга два куска кожи. Он в жизни не видел таких больших ворон. Когда она спустилась в третий раз и каркнула, он и клюв разглядел. Внутри он был красный, а глазки у вороны сверкали.

Киншоу вскочил и замахал руками. Птица отпрянула и поднялась выше. Он быстро, не оглядываясь, зашагал по тем примятым колосьям, напролом. Чего бояться какой-то несчастной птицы, что она ему сделает. Но так далеко от всех, на высоком поле он как будто остался на свете один.

Сперва он слышал только, как шелково шуршат колосья и как их негромко рубят его собственные шаги. Потом птица шумно снизилась и закружила у него над головой, обдавая ветром. Клюв распахнулся, и из красного нутра покатилось хриплое «кар-р-р».

Киншоу пустился бегом — он уже не боялся топтать пшеницу, только бы поскорей добраться до соседнего поля. Наверное, пшеница у вороны вроде продуктового склада, и его приняли за грабителя. Может, тут целый полк этих ворон, и они, того гляди, на него налетят. Значит, надо скорей на траву, скорей на траву, и тогда все в порядке, он спасен. Неизвестно ведь, может, она подумала, что он зверь и ее выслеживает.

Бежать было трудно, мешали густые колосья, он разгребал их руками. Но вот он добрался до плетня и перелез через него и прыгнул на траву по другую сторону. Пот ручьями тек со лба и попадал в глаза. Он посмотрел вверх. Ворона его настигала. Он снова побежал.

Но и тут бежать было трудно из-за проложенных трактором борозд. Он прыгал раскорякой, изо всех сил расставлял ноги и сперва как будто передвигался быстрей. Ворона опять снизилась и, когда взмыла, ударила Киншоу черным крылом. У него вырвался сухой всхлип. Потом левая нога съехала в борозду, и он повалился ничком.

Он лежал лицом в шершавой траве, всхлипывал, затихал, и кровь громко стучала у него в ушах. Солнце пекло в затылок, и он подвернул ногу. Но встать он, наверное, мог. Он поднял голову и двумя пальцами вытер лицо. Там, где он поцарапался репьем, выступила кровь. Он встал, пошатнулся, глубоко, отчаянно глотнул жаркий воздух. Вороны нигде не было.

Но как только он двинулся с места, она выпорхнула из травы совсем рядом и стала над ним кружить. Киншоу бежал, плакал и размазывал рукой по лицу пот и слезы. На ноге вскочил волдырь, он натер ее ремешком от сандалии. Ворона легко парила в вышине и не отставала. Но он уже перебрался через третий плетень и попал на поле, соседнее с «Уорингсом». Вот показался дом. Киншоу побежал быстрей.

Тут он повалился плашмя, он лежал и никак не мог отдышаться. Сквозь ручьи пота и свои липкие вихры он увидел, что кто-то смотрит на него из верхнего окна.

А потом она хрипнула, страшно стукнула крыльями и метнулась вниз прямо ему на спину.

Наверное потом ее все-таки спугнул его крик, потому что шелохнуться он не смел. Он лежал зажмурясь, и птица когтила его сквозь рубашку, а потом он закричал — хрипло, задавленно. Прошла секунда-другая, и ворона взлетела. Он помнил жуткие рассказы про стервятников, которые живым людям выклевывают глаза, и ждал, что она вот-вот начнет его клевать. Избавиться от нее он уже не чаял.

Он насилу поднялся и сразу побежал, а птица только парила над ним правда невысоко и не отставая, но молча, и уже на него не нападала. Киншоу перелез через последний плетень и очутился там, откуда отправился гулять,— на краю рощи. У него подкашивались ноги. Он оглянулся, сам не свой от страха. Ворона еще покружила и нырнула в густую березовую листву.

Киншоу снова утер лицо рукой. Ему захотелось побежать к маме. Его трясло. Но он никогда к ней не ходил, всегда все сам, и нечего бы-

ло бежать к маме из-за дурацкой птицы. Потом что-то мелькнуло у него перед глазами. Он поднял голову. Хупер стоял у окна в комнате Киншоу. И смотрел на него, смотрел.

Киншоу отвел глаза, медленно повернулся, прошел между тисами и вошел с черного хода в дом.

— Ага, испугался! Побежал!

— Это моя комната, и нечего тебе сюда ходить, Хупер.

— Так запирай, чего же ты?

— Ключа нет.

— Птицы испугался!

— Нисколечко.

— Даже заревел. Я точно знаю!

— Хватит тебе, хватит!

— Ворона, несчастная ворона. Ты что — ворон не видал? Ну, что бы она тебе сделала?

— Она...

— Ну? Что она сделала? — Хупер сморщился.— Ах, какая бяка эта ворона, напугала мамину радость.

Киншоу повернулся. Хупер смолк. Та затрещина ему хорошо запомнилась. У него вытянулось лицо.

— И вообще, чего ты ушел? Куда смылся?

— Не твое дело. Куда захотел, туда пошел, тебя не спросил.

— Знаешь чего, Киншоу? — Хупер вдруг подошел к нему вплотную, прижал его к стене, задышал в лицо.— Ты стал очень непослушным мальчиком. Ты стал вдруг ужасно дерзить. Это что еще такое, а, Киншоу?

Киншоу больно стукнул его по руке. Хупер отпустил его, отступил шага на два, но взгляда не отвел.

— Сказать тебе кое-что, а, младенчик? Тебе слабо войти в рощу.

Киншоу не ответил.

— Ты пошел, посмотрел и повернул назад. Потому что испугался, в штаны наложил, там темно!

— Просто я раздумал, вот и все.

Хупер сел верхом на стул у постели.

— Отлично,— протянул он ласково, коварно.— Ладно. Я говорю: тебе слабо. Вот войди в рощу. А я погляжу. Или лучше в большой лес. Слабо тебе войти в большой лес. Вот войди — и все будет нормально.

— Что именно?

— Все.

— Не очень-то я тебя испугался, Хупер.

— Врешь.

— Когда захочу, тогда и пойду в лес.

— Ври больше.

— Ну и не верь, мне плевать.

— Именно, что не плевать. Врешь, врешь, врешь!

Пауза. Киншоу нагнулся и стал теребить ремешок сандалии. Никто еще к нему так нахально не лез.

— Слабо тебе войти в рощу.

— Отстань ты от меня!

Хупер приложил большие пальцы к вискам и подрыгал остальными. Киншоу выводил его из терпенья. Все атаки отражал унылый, упорный взгляд, как стена. Оставалось снова и снова подставлять подножки, примеряться, изобретать ходы. Он презирал Киншоу, но тот занимал его. Он заметил, как Киншоу за неделю переменился. Стал

осторожней, подозрительней. Хуперу хотелось докопаться, о чем он думает. Он опять сел на стул, не сводя глаз с Киншоу.

— Спорим, первый моргнешь,— сказал он сухо.

Киншоу хотелось, чтобы он ушел. Но что делать потом, он не знал. Он плохо умел придумывать. Можно строить модель. Или почитать. Если начать модель галеона, ее хватит надолго. Они трудные. А дальше он не загадывал.

Он беспокоился из-за рощи. Придется туда идти. На слабо́ ему всегда приходилось делать все. Чего только он не делал, страшно вспомнить.

Когда ему было пять лет, папа повел его в бассейн. Там был один мальчик, Тэрвилл. Этот Тэрвилл догадался, что он боится воды,— и даже не из-за того, что не умеет плавать, а не объяснить почему. Из-за того, что она стеклянная, слишком синяя, из-за того, что человеческие тела в ней становятся бледными, вздутыми, большими. И чем страшней ему делалось, тем вернее он знал, что прыгнуть в воду придется. В животе застрял твердый ком. Его тошнило. Когда он прыгал, когда уже прыгнул, оказалось, что это еще ужаснее, чем он думал.

Пока Тэрвиллу не надоело, он заставлял его прыгать еще, еще, а отец Тэрвилла и отец Киншоу смотрели, и смеялись, и отворачивались, и ничего не видели, не понимали, Киншоу все нырял и все боялся, он нырял потому, что ему было страшно и стыдно, что страшно.

И вот теперь придется идти в рощу или даже в лес. Он вздохнул и поглядел в окно, на скучный газон. Он думал: «Хоть бы он ушел, хоть бы ушел».

Хупер ушел вдруг, хлопнув дверью и не сказав больше ни слова. Киншоу долго смотрел в окно. Он думал: «Все мы ездим по новым местам, гадким местам, не нашим. Хочу обратно в школу».

Тут ничего нельзя было поделать.

Хупер пошел на чердак. Как только ему в голову пришла новая мысль, он ужасно обрадовался, хотя сам поразился, он никогда еще такого не делал. Вообще он даже не представлял себе, какая это красота, когда под боком Киншоу и надо все время придумывать, что бы для него подстроить.

Чердаки тянулись в ряд под узкими, низкими сводами, как катакомбы. Все было свалено в кучи и покрыто густой пылью. Один раз, еще до приезда Киншоу, он провел тут целый вечер и присмотрел сундук, набитый осколками камней всякого цвета и вида. Прекрасные камни. Лежало тут и дедушкино добро: фонарики, банки, сачки — все, с чем полагается ловить мотыльков. Сачки сгнили. Они пахли странно.

Вещь, за которой он пришел сейчас, была на последнем чердаке, на полу. Он видел ее вчера, когда искал альбом с марками. Солнце било в большие окна, пускало пыль в пляс и чертило на полу непонятные узоры. Все пахло старым, и сухим, и нагретым. Он столкнул с места картонку, и громадный паук, неуклюжий, серо-зеленый, прыснул и побежал по газетным стопкам. Хупер подумал было его поймать. Но их ловить — одна морока, и они вечно дохнут. Он бы взял паука попугать Киншоу, но сейчас он затеял кое-что получше. Он подальше отпихнул картонку, и пыль взвилась столбом, так что он расчихался. Потом он нагнулся и осторожно поднял вещь, за которой пришел. Он думал, она тоже развалится, как мотылек в Красной комнате. Но с нее только посыпалась пыль. Он ее обтер. Она была большая. И старая, наверно. Хупер чуть не отступился: вдруг ему самому стало страшно. Он держал ее подальше от себя. Потом он нашел ящик со старыми, рваными рубашками, вытащил одну и завернул в нее свою добычу. Материя пахла тоже как-то чудно́. Он ушел с чердака.

Киншоу проснулся. В комнате было совсем тихо. Выходит, ему все приснилось.

Он лежал на спине, крепко закрыв глаза, и гадал, куда на весь вечер подевался Хупер. Он ждал, когда тот явится и скажет: «Ну, иди в рощу, я погляжу из окна, а ты иди, а если не пойдешь...»

Но Хупер не явился.

Киншоу подумал, что вообще-то Хупер не такой уж гад. Он только старается, пыжится. В школе на что были гады, а он на них не похож. К тем Киншоу знал подход, с теми все было проще простого. Они к нему, в общем-то, уже не лезли. С ними он себя поставил. А Хупер был непонятный. Умный. Хитрый.

На лестнице послышался шорох, вроде шарканья. Но «Уорингс» вообще был такой дом, он вечно ходил ходуном и скрипел, он был старый, и двери и окна рассохлись.

Киншоу повернул голову и потом открыл глаза — посмотреть на часы. Вообще он не любил открывать глаза ночью в этой комнате, не мог заставить себя не думать про то, как дедушка Хупера лежал тут мертвый.

Он сразу увидел не часы, а другое. Тонкий луч месяца падал в комнату, и что-то было прямо на постели, ближе к ногам. Он никак не мог сообразить, что это. Он прислушался. Сюда входили, но сейчас из-за двери не доносилось ни звука.

Он подумал: «Надо зажечь свет, нечего бояться, просто надо зажечь свет и посмотреть». Но он боялся протянуть руку, он широко раскрыл глаза и замер. Все было тихо. Он лежал совсем тихо.

Но надо же посмотреть, узнать. Зажечь бы свет, зажечь бы свет...

Он вытянул левую руку, нашарил выключатель и поскорей, пока рука не отдернулась, нажал. И посмотрел.

Он сразу понял, что ворона не настоящая, что она чучело, мертвая. Но от этого она была только хуже. Когти вонзились в простыню. Она была громадная.

Киншоу лежал совсем тихо, он не закричал, даже не охнул. У него пересохло в горле от страха, но голова работала: он знал, кто принес чучело, он знал, что Хупер стоит под дверью и, наверное, заметил свет. Хупер захотел, чтоб он испугался, заорал, заплакал, звал бы маму. А он не станет. Зачем? Тут ничего, ничего нельзя поделать. Киншоу не решался дернуть ногой и столкнуть жуткую птицу на пол, с глаз долой, чтоб не сидела тут, не давила ему на бедро. Ведь если шелохнуться, она, чего доброго, повалится не так, вперед, еще ближе. Он ни за что не дотронется до нее рукой.

Хупер все ждал, подслушивал. Надо выключить свет. Наконец, он нажал на выключатель. Но отдернуть руку боялся. Он лежал, крепко зажмурясь, с невыносимой болью в мочевом пузыре. Он боялся, что нальет в постель. Лучше б умереть. Лучше б Хупер умер. Но ничего, ничего нельзя было поделать. Наконец, к утру он задремал.

Когда он проснулся, как раз только пробило шесть. Ворона оказалась еще менее настоящей и еще громадней. Он ждал, что вот раззявится клюв, и он увидит красную изнанку, и она взмоет и будет падать на него, метить в глаза. Он думал: «Глупости, глупости, просто глупая, несчастная птица». Он глубоко вздохнул, а потом зажмурился и выкатился из постели на пол. И побежал. Он долго сидел в уборной. Дом молчал.

Он не знал, что с ней делать, как от нее избавиться. Теперь, при дневном свете, он и вовсе не мог до нее дотронуться, а говорить про нее он тоже никому не хотел. Так она, значит, и останется на полу у кровати, и лежать ей из ночи в ночь, пока миссис Боуленд не придет убирать.

Но, когда он вернулся, ворона исчезла.

Хупер отнес птицу обратно на чердак. Он знал, что Киншоу ночью проснулся, зажег лампу — и все: из комнаты не донеслось ни звука. Потом свет снова погас. И ничего не было слышно. В конце концов Хупер тихонько пошел к себе в комнату. Он весь закоченел в коридоре.

За завтраком он уставился на Киншоу, ловил его взгляд. Киншоу на него не смотрел и молчал.

На дне пакета с кукурузными хлопьями была пластмассовая модель подводной лодки. Утопишь ее в ванне, и она потом постепенно всплывает в струе пузырьков. Киншоу первый добрался до дна пакета. Он вытащил целлофан, а потом запустил руку за лодкой. Хупер ждал.

Киншоу внимательно разглядел модель. Прочитал прикрепленную резинкой инструкцию. Потом положил лодку на стол, подальше, и стал снова есть, не отрывая глаз от тарелки.

— Ладно,— сказал Хупер.— Хочешь, бери ее себе.— Он мило улыбнулся.

Киншоу медленно поднял голову. Он смотрел на Хупера долго, с ненавистью. Потом снова принялся за еду. Лодка так и осталась на столе.

— Ну, они, кажется, уже почти притерлись, а? — сказал мистер Джозеф Хупер миссис Хелине Киншоу немного погодя, когда мальчики вышли из комнаты.— Надо думать, они подружатся.

Хупер увидел его, идя по гравию, тут же отступил на газон, осторожно прошел за угол и скоро очутился от него в нескольких ярдах.

Киншоу стоял на цыпочках, приложив обе ладони к вискам, и заглядывал в окно Красной комнаты. Хупер затаился, не подходил, чтобы не отразиться в стекле. Киншоу чуть передвинулся.

— Чего подсматриваешь?

Он повернулся, как ужаленный. Хупер подошел.

— Туда нельзя. Это Красная комната. Входить запрещается. Ключ у папы.

— Почему? Там же только старых книг полно и рыб дохлых.

— Это по-твоему.

— А что там?

— Ценные вещи. Я же говорил. Ты таких в жизни не видал.

Киншоу было, в общем, интересно, он гадал, что лежит в стеклянных ящиках. Но все равно Красная комната ему не понравилась, наверное, ему даже не хотелось туда входить. Он отодвинулся от окна.

— Хочешь, покажу?

Киншоу вздрогнул. Он подумал: «Нет, Хуперу не узнать моих мыслей, ни за что, ни за что». В комнату идти ему не хотелось.

— Ладно, после ужина сходим,— сказал Хупер.

Киншоу ждал внизу. Хупера не было. Ну и ладно, и хорошо, видно, забыл или передумал. Киншоу собрался уходить. Хупер сказал:

— Ключ у меня.— И вышел откуда-то сзади.

В Красной комнате было очень темно. На воле, как стальное, серело небо, сыпался дождь. Ветки тисов кланялись окнам.

Киншоу прошел в комнату и почти сразу остановился. Так он и знал: ему тут не понравилось. Пахло мертвечиной, и ботинки скрипели на полированном полу. Хупер стал у двери с ключом в руке.

— Чего же ты, иди,— тихо сказал он.— Смотри. Скажи спасибо, что тебя сюда привели.

Киншоу сжался и медленно двинулся к первому ящику. Он изо всех сил глотнул воздух.

— Мотыльки.

— Ага, какие только есть на свете.

— А кто... Откуда они?

— Это мой дедушка. Не слыхал про него? Ну и дурак. Мой дедушка самый-рассамый знаменитый коллекционер. Он писал всякие книги про мотыльков.

Киншоу даже не знал, что хуже: когда живые мотыльки хлопают крыльями и жужжат или когда они лежат вот так — плоские, пришпиленные, мертвые. Видно, как у них вылуплены глаза, видно жилки на крылышках. У него по спине побежали мурашки. Еще когда он был совсем маленький, еще когда у них был свой дом, его изводили мотыльки. Они налетали ночами к нему в комнату, папа не велел закрывать окно, и он лежал в постели, в темноте, слушал шорох крылышек по стенам, по шторе и снова тишину и дрожал, что вот они окажутся совсем близко и усядутся ему на лицо. Мотыльки.

Хупер подошел сзади.

— Давай открывай ящик, хочешь? — И он вытащил ключ.

— Нет.

— Чего это ты?

— Я... я же их и так вижу.

— Ну да, а дотронуться? Нет, ты дотронься!

— Нет.

— Чего это? Трус несчастный, мотылька испугался!

Киншоу смолчал. Хупер подошел к ящику, вставил ключ и поднял тяжелую крышку.

— Бери рукой.

Киншоу попятился. Он ни за что не хотел до них дотрагиваться, и он не хотел смотреть, как их трогает Хупер.

— Ну, чего же ты, а, младенчик грудной?

— Ничего. Не хочу трогать — и все.

— Они тебя не укусят.

— Ясно, нет.

— Они мертвые, понял? Сто лет мертвые лежат.

— Ясно, мертвые.

— Так чего же тут бояться? Боишься на мертвое смотреть?

— Нет.

Киншоу еще попятился. Он хотел одного: уйти отсюда. Пусть только Хупер попробует схватить его и силком потянуть его руку к мотыльку — он драться будет.

— Ну, иди-ка сюда, Киншоу.

— Не хочу.

— А я не боюсь. Сейчас возьму вот этого в руку. Мне это — раз плюнуть.

— Не надо.

— Почему? — Хупер с интересом заглянул ему в лицо.— Почему?

— Еще попортишь. Раз они дорого стоят, тебе ведь влетит? Верно?

Он представил себе пальцы Хупера на мохнатом тельце. Ему стыдно стало, что он так боится, но он ничего не мог поделать, он хотел одного — уйти и не видеть больше ужасных мотыльков. Хупер за ним следил.

С минуту оба стояли застыв, выжидая. Потом Хупер повернулся и, ни звука не сказав, шмыгнул мимо Киншоу, выскочил за дверь, мигом

повернул ключ в замке. И вот уже по холлу застучали его шаги. Где-то хлопнула дверь.

Киншоу сразу прошел к окну, стараясь не смотреть на мотыльков. Дождь прыгал теперь по газону, хлестал по тисам, барабанил в окно. Было девять и уже темно, из-за густых туч.

Окна были заперты. Он долго возился с тугим шпингалетом и ободрал на большом пальце ноготь. Подоконники оказались грязные. Он боялся оглянуться, посмотреть в комнату, на окоченелых зверей и мертвых рыб, на ряды мотыльков, расплющенных под стеклянными крышками. Он толкал и рвал оба больших окна, он чуть руки не вывихнул, и у него закололо в груди. Окна не поддавались, их не открывали годами. Но он бился над ними, уже когда давно понял, что это без толку. Потому что, пока воюешь с окнами, можно не оборачиваться и не глядеть в немую комнату. Но наконец он выбился из сил и горько заплакал с досады.

Потом он начал думать: сейчас всего часов восемь, никто еще не лег, если покричать, за мной придут. Но он знал, что кричать не станет, не станет он ни за что поджимать хвост перед Хупером. Вот мама пойдет спать, и тогда можно постучать в дверь, и кто-нибудь услышит. Надо просто подождать — и все.

Он сел на подоконник. Ох, если Хупер сейчас явится, он ему... но нет, дальше и думать не хотелось. Он с тоской вспоминал ту драку в первый день, хоть больно ему тогда не было нисколько.

Дождь, как душ, хлынул на стекла.

Он смотрел на газон и видел тени тисов, их трепал ветер. Ему вдруг стало чудиться, что там люди — прячутся, затаились, стерегут. Рододендроны подозрительно толпились по бокам длинной подъездной аллеи. Ему сделалось страшно, он повернулся к саду спиной и отступил от окна, в комнату.

Он подумал: «Надо зажечь свет и поискать в шкафах книжку, я же не маленький. Вот пойдут мимо, я крикну — и все». Про Хупера он никому рассказывать не собирался.

Он знал, что лампа бросит тени здесь, в углу, у полок, и вся комната сразу потонет в темноте. Чем плохо — посидеть возле книг, в светлом кружке...

Главное — ни за что не поддаться Хуперу, хотя бы только самому знать, что не поддался. Это главней всего на свете.

Киншоу протянул руку к лампе. Когда зажегся свет, от тени тут же отделился мотылек, мазнул его на лету крылом по руке и заколотился об огонь.

В конце концов они пришли, они шли по коридору и смеялись. Он их позвал. Дверь открыли.

Он сказал деревянно:

— Я не мог открыть.

Его мать нахмурилась и посмотрела на главного — на мистера Хупера. Мистер Хупер приблизился к Киншоу.

— Я ничего,— сказал Киншоу.— Просто я не мог открыть. Спокойной ночи.— И кинулся к лестнице, пока не начались расспросы. В уборной его вырвало — просто вывернуло наизнанку.

Наутро Хупер сказал:

— Вот дурак-то. Чего же он не кричал? Почем я знал, где он? Я никогда про него не знаю.

Киншоу одно думал — это ведь не навсегда. Потому что пройдет время, и не будет больше этого мерзкого дома, не будет Хупера. Надо

только подождать, чем-то заняться. Пока. А к тому лету мало ли что будет. Может, уже все переменится, они будут жить где-нибудь еще. С тех пор, как папа умер, все часто меняется. Один раз жили в гостинице. Вот был ужас.

Ночью он говорил: «Господи! Сделай так, чтоб мы не понравились мистеру Хуперу, пусть ему будет с нами плохо, пусть он нас прогонит. Хотя неизвестно, как будет на новом месте, может, даже хуже».

Он думал про школу. Там все было свое, там его знали — каким все хотели его видеть, таким он и стал. Там ему было спокойно. В первый день, когда приехали и машина остановилась у главного корпуса, он уже знал, что все будет отлично, лучше не надо. Другие плакали, бледные, от взрослых ни на шаг. Он не плакал. Ему хотелось бежать внутрь, все обсмотреть, поглядеть, какие лица у тех, кто уже здесь живет, потрогать стены, и двери, и покрывало на новой кровати, понюхать новые запахи. Он дрожал от волнения, слушая хруст гравия под ногами, ему хотелось сказать маме: уходи, ну, уходи, пусть все поскорей начинается.

— Какой храбрый! — сказала чужая мама.

— О, разве у них поймешь! Все в себе. Ему же только семь, совсем клоп.

Миссис Хелина Киншоу сказала:

— Чарльз — очень сознательный мальчик. Хотя — ох, конечно, я и сама иногда сомневаюсь, правильно ли мы поступили, может, он еще маловат...

«Правильно, правильно»,— думал Киншоу, теребя нашивку на новой курточке. Все было отлично, лучше не надо. Хотя и вовсе не так, как он воображал.

На третью неделю семестра он заболел. Его поместили в отдельную комнату, и всем разрешали к нему приходить когда угодно, и ему давали книги, печенье и соки, какие захочет. Солнце светило на кровать. Он думал: как здорово, вот где хорошо! Когда он встал, его повели в квартиру директора, он смотрел телевизор и ел фрукты.

Домой он написал:

«Мне тут очень, очень нравится, мировая школа!»

— Какой храбрый малыш,— сказала миссис Хелина Киншоу и всплакнула над письмом.

В школе святого Винсента Киншоу сказал:

— Оставьте меня тут навсегда, насовсем.

Глава четвертая

Через неделю Киншоу нашел ту комнату. Хупер тогда уехал с отцом на один день в Лондон.

Она была наверху, в восточном крыле. Никто в ней не ночевал. Больше всего ему понравилось то, что она такая маленькая и что она, наверное, ни подо что специально не выделена. В ней было одно окно — оно выходило на поля, в сторону поселка. Было низкое кресло, мягкое, но без ручек, обитое линялой материей в цветочек, а прямо у окна — квадратный стол. Стол с ящиком и рядом голубой плетеный стул. У стены напротив стояла застекленная горка, и в ней разные куклы, целая толпа очень маленьких куколок, все дамы и все из обтянутых сукном проволочек, вроде прочисток для трубок, а на них вышиты лица. Платья, и кринолины, и вуали на куклах все выцвели, стали серыми, кофейными и соломенными, а лица почти совсем стерлись.

Киншоу открыл шкаф, по очереди вынимал каждую куклу и разглядывал. Он поднимал подолы, и внизу оказывались нижние юбки

и панталончики, вышитые на черном сукне, в точности как лица. Куклы ему понравились, ему нравилось их трогать. Он выложил их на стол и на них смотрел.

Может, когда-то тут была детская, но вряд ли. Скорей сюда как попало составили со всего дома вещи, отслужившие свое. Он решил, что можно занять эту комнату, раз она с виду лишняя и ничья. Та, которую ему отвели, ему не нравилась, он ходил туда только спать. Он перенес на новое место конструктор, из которого можно собрать испанский галеон. В двери тут был замок, Хупер запирается, а чем он хуже? Так надежней.

Он любил быть один. Он привык. И так спокойней, от других не знаешь, чего ждать. Он никогда не тосковал по папе. Но тут оставалась уйма времени, и он не знал, что еще придумать, когда он кончит модель галеона. Утром пришла открытка от Деврё, из Норфолка:

«Мы каждый день на лодках. Погода хорошая. Здесь полно народу и мощные моторки. Скоро я все про них буду знать. Привет».

Вот бы поехать к Деврё. Его звали — миссис Деврё сама написала письмо; и еще звали, он чуть не поехал с Бротен-Смитом в Италию. Но они уже собирались в «Уорингс». И вообще мама сказала, что ей не по душе, чтоб он катался на лодке, ей не хочется, чтоб он ехал за границу, ей тяжело с ним разлучаться, потому что она по нему соскучилась. «Ты один у меня остался»,— она сказала. Ему стало неудобно, и он отвернулся: он ненавидел, когда она так говорила.

Он знал, что Хупер старается выведать, куда он ходит. Но он ловчил, отделывался от него. Выжидал, когда Хупер пойдет в уборную, или врал, что его отец зовет или миссис Боуленд. А то бежал в другую сторону, петлял по коридорам, прятался по разным комнатам, сбивал Хупера со следа. Удивительно, но пока это сходило. Долго так продолжаться не могло.

Он знал, что просто он ненавидит Хупера. Раньше не бывало, чтоб он кого-то ненавидел, и от ненависти было горько во рту, он и не думал, что она такая горькая. Им объясняли, как дурно ненавидеть, но он даже почти не слушал, считал, что его это не касается. Ему, в общем, все нравились. Хотя, правда, Крап не нравился, но когда кто-то не нравится, это другое, это не то, что ненавидеть, и с Крапом у них потом все наладилось. А тут уже в первые дни он понял, что к Хуперу у него — ненависть. Он сам испугался, хотел, чтоб это прошло, и знал, что не пройдет никогда, не пройдет, пока он тут, в этом доме, с Хупером.

Он тогда подумал: «Может, я с ним и не останусь». И задумчиво приладил пластмассовый треугольник.

В поезде, по дороге из Лондона, Джозеф Хупер сказал:

— Надеюсь, у тебя хорошие отношения с Чарльзом Киншоу? Я что-то мало вижу вас вместе.

Хупер оторвался от «Чудища болотных топей».

— Я же не виноват, если он запирается.

— У себя?

— Где-то. В какой-то комнате. Я откуда знаю?

— Довольно странное поведение. И с какой, собственно, стати, зачем?

Хупер пожал плечами.

«Медленно, неумолимо двигалась вперед на гигантских лапах огромная тварь. От нее разило смрадом болот, и грязь на чешуйчатой коже отложилась еще со времен глубокой древности... Страшилище жаждало крови, и смерть, которую...»

— Вероятно, надо переговорить с его матерью...

Поезд катил мимо каких-то названий.

— Но вообще, я полагаю, он несколько дичится. Ты должен понять, Эдмунд, в подобной дружбе необходимы взаимные уступки. Надеюсь, ты сам в этом скоро убедишься. В конце концов, у него нет отца.

Хупер вскинул на него взгляд, вздернул брови.

Мистер Хупер кашлянул, отвернулся и заерзал на сиденье. Этого не следовало говорить, возможно, он еще помнит мать. Детская душа — потемки. Собственная непроницательность его огорчала. Он попытался по лицу сына угадать его мысли, но лицо не выражало ровным счетом ничего. Себя самого в таком возрасте он не помнил совершенно — помнил только, что ненавидел отца.

«Но я это преодолел,— подумал он,— и я же вполне нормален, кажется, со мной все в порядке. У меня не должно быть чувства вины. Эдмунд растет обычным здоровым мальчиком. Мне не в чем себя упрекнуть».

Некоторое время он провожал взглядом темнеющие дали, затем снова уткнулся в газету, совершенно утешенный. Он испытывал глубокое облегчение.

Эдмунд Хупер разглядывал собственный палец, придерживавший страницу комикса: сборки кожи и сухой шероховатый обвод ногтя. Интересно, как бы это выглядело, если был бы один сплошной плоский кусок, без пальцев. Странная штука — пальцы. Но без них просто не обойдешься. Удивительно. Под рукой у него были жуткие изображения Чудища топей.

Он думал: «Завтра выведу Киншоу на чистую воду, выжду, обойду все комнаты, все до единой». Его злило, что тот не дается в руки, проявляет самостоятельность. А ведь уже три недели тут.

И кто бы мог подумать, Киншоу был вовсе не из таких. Хупер прекрасно видел, что он не привык, чтоб его дразнили, не любили, отталкивали. Сперва, в самом начале, он уступал Хуперу, удивлялся, не хотел ссориться. Но живо сообразил, как за себя постоять.

Из-за истории с вороньим чучелом Хупер даже стал его уважать, правда, это как рукой сняло уже наутро, когда Киншоу полез в бутылку. А сейчас еще он взял манеру прятаться где-то в доме, какая-то неизвестная Хуперу комната стала крепостью Киншоу.

Джозеф Хупер говорил:

— Почему бы вам, скажем, не отправиться вдвоем на прогулку, пока держится такая погода? Не припомню, чтоб я слонялся летом без толку в вашем возрасте.

А сам припоминал, что его редко когда выпускали за калитку. Говорили, девочки увяжутся и мало ли что случится. Но дело было не в том. Отец томил его в Красной комнате, и он смотрел на мотыльков в ядовитом растворе, нюхал запах старых книг и куньих чучел и смотрел, как за большими окнами стоит в саду солнечный свет.

Вдруг, подняв глаза, он понял, чем сын так разительно на него похож. Очень бледный. Деревенские мальчишки в Дерне все лето бегали полуголые, темные, как индейцы, а Джозеф Хупер редко выходил, и ему не разрешалось снимать рубашку, так что он был бледный. И теперь у него бледный сын.

— Надо побольше загорать и дышать воздухом, незачем торчать взаперти. Это очень нездоровый образ жизни. Утром, как только позавтракаете, я буду настаивать на том, чтоб вы шли в сад.

Хупер совсем закрылся комиксом. Он бы с удовольствием крикнул: «Не хочу никаких прогулок, ничего не хочу делать и никуда не ходить вместе с Киншоу». Но он ничего не сказал, он подумал, что, наверное, сам-то Киншоу теперь вряд ли откажется с ним гулять. Наверное, он все-таки припугнул Киншоу.

Поезд в туннеле набирал скорость. В «Уорингсе» Киншоу рано лег спать, он лежал в темноте, составлял план. Он думал: «Все будет хорошо, я знаю, что мне делать, это не насовсем».

Он составлял план долго, почти неделю. Решил все — только время не назначил. Надо выбрать подходящий день. Но оказалось довольно трудно собрать вещи — это раз. Он тщательно все взвешивал, но ничего не знал наверняка.

Он никогда еще такого не делал, от него такого не ждали, и потому он знал, что к нему отнесутся всерьез. Но он и затеял-то это исключительно для себя, и не все ли равно, как на это посмотрят другие? О неудаче он не думал, хотя неудачи его преследовали на каждом шагу. Ведь даже если план сорвется, они кое-что поймут, и то будет толк. Он не видел в своем плане ничего странного или смешного и забавного ничего не видел. Это было необходимо, вот и все. И не то чтобы он был легкомысленный или отважный.

Раздобытые вещи он нес в комнату с куклами и всегда запирал за собой дверь, а когда уходил — уносил ключ. Хотя ясно, Хупер его уже выследил. Сколько же можно скрываться.

Как-то днем лило не переставая, и мистер Хупер нагнал его на парадной лестнице.

— А я как раз тебя ищу!

Киншоу остановился. Мама говорила: «Ты уж повежливей с мистером Хупером, он такой внимательный. Он собирается принять в тебе участие, Чарльз, он уже говорил со мной о твоем ученье, о твоем будущем». Глаза у нее очень блестели, и браслет скользил вверх-вниз по руке. Смотри, не загуби мне все, хотелось ей сказать, не испорть все дело. Киншоу не нравились оживленье и надежда, которые появились у нее на лице с тех пор, как они приехали в «Уорингс».

Она сильно изменилась.

«Ты повежливей с мистером Хупером». Но ему в голову вообще ничего не приходило.

— Где Эдмунд?

— Он, наверно... Не знаю, я его не видел.

Мистер Хупер немного сутулился, ходил в темно-синем костюме и то и дело приглаживал уже редкие волосы. Рот у него был маленький, поджатый.

— Вот. Я сегодня для вас кое-что подыскал. Две вещи. Шашки и детский биллиард. Шашки очень необычные, очень дорогие, их... но боюсь, тебе не интересны подобные соображенья, лучше поищи Эдмунда, и я вам все принесу. В главной гостиной есть стол, туда и идите.

Киншоу побрел вверх по лестнице. Он думал: мистер Хупер может нам что угодно указывать, мама на него работает за деньги, и это не наш дом. Придется идти с Хупером в главную гостиную и играть в шашки.

— О, как чудесно! Какая прекрасная мысль! — И миссис Хелина Киншоу осветила оживленной улыбкой малую столовую.— Чем же еще заняться в такой дождь! Они в последние дни вообще закисли, прямо не знаю... а теперь игры их сблизят, и дружба окрепнет. Прекрасная мысль!

Джозеф Хупер пригладил уже редкие волосы. Сейчас он был особенно доволен миссис Хелиной Киншоу.

— Не думай, я не собираюсь тут с тобой торчать. Вот погоди, папа уедет и ничего не узнает.

— А мама будет тут. И узнает. И ты останешься.

Хупер только фыркнул.

— Ну, а если он никуда не денется, будет целый день тут и в Лондон не поедет?

Хупер промолчал.

Киншоу вдруг подумал: «Может, все еще будет нормально. Будем играть в шашки и всякое такое, он переменится, мы подружимся. А потом я вернусь в школу, и все будет нормально».

Но он взглянул на спину Хупера и сразу понял, что ничего этого не будет. Уже никогда не будет, как раньше, как сначала, когда он не хотел сюда ехать, но надеялся, что станет с Хупером дружить. Ничего не изменится, и он уже составил план.

Теперь у него как гора свалилась с плеч. Теперь он твердо решил, теперь — все. Хотя он каждую ночь просыпался и холодел при мысли о своем плане. Но он его исполнит. Что бы ни получилось дальше у них с Хупером.

— Видишь, биллиард,— заговорил Хупер,— старинный. Стоящая штука, я тебе скажу, ценная.

Киншоу взглянул на стол.

— Сыграем?

Хупер промолчал. Над воротом тенниски на тощей шее у него выпирали позвонки. Киншоу вспомнил воронье чучело в своей постели и застыл, он гадал, что еще выкинет Хупер.

— Ладно,— уронил наконец Хупер.— Давай.

Он подошел к столу и взялся за биллиардную доску.

— Шашки подвинь-ка.

Киншоу помешкал. Потом подчинился. Какая разница, чего связываться? Ведь уже все ясно, будущее решено, и можно позволить себе побыть с Хупером, играть в биллиард, передохнуть.

Они почти не переговаривались. Хупер вел счет, и они сменялись у стола, отчаянно сосредоточась. Серебряные шарики стукались о гвозди. Небо потемнело, дождь припустил сильней. Джозеф Хупер так и не выбрался в Лондон.

В одиннадцать миссис Хелина Киншоу принесла им молоко и сказала:

— Ой, ну какие лапочки, чем же еще заняться во время дождя! — Она говорила очень весело.

Они выпили молоко и сказали «спасибо», и больше ничего.

Ему надо было отнести в комнату с куклами еще две вещи. Он отложил это до после обеда. И еще осталось придумать, во что все сложить.

Он осторожно озирался на площадке и на первом марше. Никого. Но даже если Хупер и выведал насчет комнаты, теперь-то уж какая разница?

Наверху все двери были темные и после первой площадки кончался ковер. Киншоу думал: «Ненавижу этот дом, ненавижу, в таком мы еще не жили никогда». Он возненавидел его в первую же минуту, как выглянул тогда из окна машины. И чем только гордится Хупер!

Он прошел по темному проходу, свернул в коридор. И увидел Хупера. Тот сидел на полу, подперев спиной дверь в комнату с куклами, вытянув ноги. Киншоу стал как вкопанный.

— Ты куда это идешь?

— Я заблудился, Хупер.

— Где ключ? Дом не твой, ясно? Кто ты такой, чтоб двери запирать?

— Да ну тебя.

— Больше ты сюда не придешь, пока я не скажу.

Киншоу устало поставил на пол коробку, которую держал под мышкой. Хупер вел себя прямо как маленький.

— И не надейся, я не уйду. Весь день тут буду. А захочу, так и всю ночь. Захочу — вечно буду сидеть. Это мой дом.

— Грудной ты, что ли?

— Я хочу знать, что там.

— Ничего.

— Так не бывает. Лучше скажи.

— Отстань.

— Я хочу знать, чего ты сюда таскаешься. Думал, я не знаю, куда ты ходишь, я давно знаю, я все время знал.

Киншоу молчал. Он стоял чуть отступя от Хупера. Тот против света не видел его лица. Дождь стучал по крыше. Ладно, можно и впустить Хупера. Все равно войдет. Драться начнет или будет тут торчать до последнего. Он невысоко расценивал свои шансы в борьбе с Хупером. Да и с другими. Он был не трус. Просто смотрел на все трезво, без надежды. Он не сдавался, только всегда с самого начала знал, что его побьют. Зато не приходится удивляться и разочаровываться.

Значит, ну и пусть Хупер войдет в комнату. Раз все равно докопается до правды, пусть лучше докопается потому, что так хочет он, Киншоу. Пусть хоть что-то от него зависит.

Хупер вечно ставит на своем.

Не спеша Киншоу сунул руку в задний карман джинсов и достал ключ.

— Тут же нету ничего, фиговая комната. И на кой она тебе?

Молчание.

— А галеон? Был?

— Нет.

— Сам сделал?

— Сам.

Хупер подошел поближе, внимательно рассмотрел галеон.

— Клеил плохо, все швы наружу.

— А тебе-то что?

— Развалится сразу, вот и все.

— Не трогай, слышишь?

— А это еще что за вещи, Киншоу?

— Ну, вещи.

— Какой скрытный!

— Я тебе не обязан все рассказывать!

— Поглядим-ка, что там.

— Нет. Лучше отстань, Хупер.— Он хотел вырвать мешок, но Хупер высоко задрал руки.

— Сейчас открою, так... открываю... Ух ты!

— Отдай! Не твое дело! Это мои вещи.

— А спички зачем?

Киншоу отвернулся и, руки в карманах, стал смотреть в окно. Он подумал: «Ну и пусть, пусть подавится». У него за спиной Хупер разорвал бумажный мешок, рылся, выкладывал вещи на стол.

— Ты все украл. Вор, вор, вор!

— Ничего я не крал.

— Может, купил?

— Да, купил, купил.
— Врешь.
— Ну — спички я не покупал.
— А откуда взял?
— Просто они...
— Чего? — Хупер подошел и ткнулся лицом в самое лицо Киншоу.— Чего-о?
— Просто они валялись. Наверно, мама купила.
— Наверно, она их не покупала, вор несчастный. В этом доме вашего ничего нет, все наше, и если ты что-то берешь — ты крадешь. Ты вор.

Хупер увернулся, так что удар Киншоу пришелся по пустому месту. Хупер смотрел и смотрел на разложенные по столу вещи, он изо всех сил соображал. Вдруг глаза у него расширились, он весь просиял, его осенило.

— Ты собрался... — Он осекся и уставился на Киншоу.

Потом раздался долгий свист.

— Хитрый!
— Ты не знаешь. Ты ничего не знаешь. Так я тебе и сказал!

На лице у Хупера было странное ликованье.

— А, я понимаю, почему ты это затеял. Из-за меня! Ты меня боишься, Киншоу, мамочкин сыночек, трус несчастный. Ты даже не знаешь, что я могу тебе сделать. Я все могу. Вот.
— Дурак ты.

Но Хупер расхохотался, он знал, что угадал правду. Или часть ее, потому что тут было и кое-что, кроме страха перед Хупером, было много чего другого, еще похуже.

— Вот возьму и скажу им!
— Что? Я же тебе ничего не говорил, ты ничего не знаешь.

Хупер промолчал. Киншоу видел, что он соображает, как бы тут выгадать. Вообще-то со словами Киншоу приходилось считаться. Киншоу ему действительно ничего не говорил, и если он побежит к папе или миссис Киншоу, те над ним только посмеются.

Он разделил все вещи на два очень ровных ряда, как экспонаты в музее, и каждую брал в руки, разглядывал. Киншоу думал: «Да что он может сделать, знает он или нет — мне-то что? Все будет хорошо, я тут не останусь».

— И я с тобой,— Хупер сказал и поглядел на Киншоу сбоку, из-под ресниц.

Киншоу понял, что он это серьезно. Он потом всю неделю вспоминал голос Хупера, странную улыбку. Он собрался бежать, чтоб избавиться от Хупера,— единственный выход. Оставаться нельзя, Хупер на все способен, и ему пришлось бы тоже что-то придумывать, вывертываться, защищаться. И неизвестно, чем бы это кончилось. Не хочет Хупер, чтоб он тут был,— ну и ладно, он не останется.

Что мир заключить нельзя — он понял сразу. Они избегали друг друга, запирались. Но так бывает только вначале, так выжидают момент, так долго тянуться не может. В школе, наверное, обошлось бы, в толкучке легче. Здесь — дело другое.

Он знал, что он уже постоял за себя как мог, а на большее его не хватит. Не сладить ему с Хупером, куда ему против Хупера, он еще с ним наплачется. Хупер хитрый. Он ненавидел Хупера.

Но было и много чего другого. Мама — такая сияющая, веселая, совсем безо всякой гордости. Он старался на нее не смотреть. Сам он был гордый.

И еще этот дом, «Уорингс», темный, старый, и всюду странный запах, он тут все время дрожал от страха.

Больше так нельзя. И он решил бежать. Все очень просто. Он все обдумал. По карте. Разработал план. И вот Хупер пронюхал и сказал, что тоже пойдет. Он будет шпионить, следить, караулить, теперь от него никуда не денешься. А бежать вместе с Хупером, который станет дразниться, цепляться, вредить,— хуже нет, это хуже всего на свете. Хуже даже, чем бежать одному.

Джозеф Хупер будто заново родился. Он решил вызвать декораторов и переделать чердаки и даже устроить воскресный утренний прием в честь перехода «Уорингса» в его собственность. Следовало пригласить кое-кого из Лондона, наладить связи с соседями, укрепить свое положение в округе.

— Вы у меня гору сняли с плеч,— сказал он миссис Хелине Киншоу.— Вы придали мне силы. Я уже не чувствую себя таким одиноким.

Он сам подивился своим словам, потому что принадлежал к числу людей сдержанных и скорее строгих правил.

Они были довольны друг другом и тем, как устраивается жизнь, и оттого так просто выговаривались фразы:

— Как хорошо, что мальчики все время вместе! Как приятно, что они подружились! Как им обоим это полезно! — Они пространно рассуждали о своих детях, ничуть не подозревая об истине.

Миссис Хелина Киншоу с головой окунулась в устройство воскресного утреннего приема, на который пригласили так много видных людей. Она думала: «Жизнь меняется, все налаживается. Ох, какая я умница, что сюда приехала!»

Глава пятая

Мама сказала:

— Я еду на день в Лондон, с мистером Хупером.

У Киншоу екнуло сердце. Больше такого случая не представится.

— Уезжаем из дому ни свет ни заря, к первому поезду.— Миссис Киншоу волновалась, как девушка. Надо было кучу вещей купить для воскресного приема, и еще она собиралась подыскать элегантное новое платье. Она чудесно проветрится. Джозеф Хупер предложил ей эту поездку как-то скованно, мялся, но, кажется, его тронула ее готовность, он даже улыбнулся.

— Ох, только как же мальчики? Как же мы их на целый день бросим?

Потому что она теперь очень старалась заботиться о них одинаково, не выделять собственного сына.

— Ну, миссис Боуленд за ними приглядит, и они ведь разумные существа, не младенцы. К тому же им будет интересно, они насладятся свободой!

Миссис Киншоу смотрела в окно своей гостиной и думала: «Я ему нравлюсь, он берет меня с собой в Лондон». Правда, вообще-то речь шла только о дороге, туда — обратно, а весь день он собирался провести на службе.

Ей было чуточку совестно, что не хочется брать с собой Чарльза. Он сказал:

— А я бы все равно не поехал. Мне тут лучше.— Но она боялась поверить, она очень старалась быть хорошей матерью, вечно беспокоилась, так ли она взглянула, то ли сказала в его присутствии.

«Ну,— она подумала,— теперь пора и о себе вспомнить», и она открыла дверцу шкафа и стала выбирать, что бы надеть в дорогу.

Он выйдет рано-рано, еще раньше их, он выйдет на рассвете. Они и не подумают заходить к нему в комнату. И тогда целый день до позднего вечера никто ничего не узнает. Миссис Боуленд решит, что он гуляет где-то, она никогда ничего не замечает.

Правда, может, мама, когда вернется из Лондона, зайдет к нему в комнату. Что ж, придется рискнуть; вот и все. Или как-нибудь так положить одеяло и подушку? Нет, ничего не получится, она всегда наклоняется к нему, щека к щеке, если она зайдет в комнату, она сразу узнает. Зато если не зайдет — у него время до следующего утра. Больше суток.

Денег у него было полно. Мама думала, что он относит их в банк, а он держал их в темно-синем бумажном пакете, в коробке из-под кубиков. Ему дарили — кто фунт, кто десять шиллингов — на день рожденья или на рождество, ему много дарили, потому что папа умер; так что у него были свои деньги. Он мало тратил. У него накопилось чуть не семь фунтов.

Если идти к станции, Крелфорду, по дороге, его наверняка заметят. Значит, надо идти по прямой и начать с Крутой чащи. Вообще, хочешь не хочешь, а в Крутую чащу войти придется. Там, во-первых, лучше всего спрятаться, там никто и не подумает его искать.

— Я тебе подарок привезу,— сказала вечером миссис Хелина Киншоу.— Что-нибудь интересное. Не думай, я тебя не забуду.

Браслет скользил вверх-вниз по руке. Киншоу не мог смотреть на этот браслет и на то, как она выгибает руку, чтоб он был позаметней. И зачем они сюда приехали?

Он взял у нее из рук голубую чашку с овальтином.

— Спокойной ночи.

Когда поднимался по второму маршу лестницы, он увидел Хупера — тот стоял у своей двери и на него смотрел. На нем была пижама бутылочного цвета, он в ней был совсем зеленый. Киншоу сделал вид, что ничего не заметил, но он знал, что Хупер подкапывается под него или даже видит его насквозь и читает его мысли. Хупер все, все может.

Он подумал: «Завтра меня тут не будет, завтра мне будет все равно».

— Я развел огонь в гостиной,— сказал мистер Джозеф Хупер. Он приглаживал волосы и мешкал в дверях кухни.— Не хотите ли посидеть со мной, составить компанию, как говорится? Просто разнообразия ради.

Миссис Хелина Киншоу вспыхнула, подняла брови в знак радостного удивленья и с готовностью кивнула.

Он поставил будильник на полшестого, потом подумал и перевел на пять часов. Уже будет светло, а выйти надо как можно раньше. Все приготовленные вещи он перенес к себе поздно вечером накануне, пока Хупер смотрел «Закон силы» по телевизору. И положил под кровать.

Осматривая весь дом, он как-то наткнулся на старый ранец в комоде в пустой комнате. Ремней не было, но он ухитрился так перевязать его кусками бечевки, чтобы надевать на спину. Трудней всего получилось с едой. Он взял ее на кухне, когда не было мамы, и потом мучился: вдруг он украл. В школе учили, что красть — самое, самое плохое дело, он с первой же недели зарубил это себе на носу. Но в конце концов он решил, что ничего не украл, он взял только то,

что сам бы съел, если б остался, то, что причиталось маме за работу. Да и взял он совсем немножко. Печенья, две пачки желе в кубиках, хрустящей картошки и полкоробки плавленого сыра. В поселке он купил шоколаду и мятных конфет. Наверное, хватит. Раз деньги есть, можно купить что-нибудь еще, потом, подальше от Дерне.

Хуже было с водой. В чем ее нести? В бутылке — тяжело, и она может разбиться, да он и не нашел ни одной пустой бутылки. В конце концов он решил выпить побольше воды на дорогу, а потом найти ручей или магазин, где продают лимонад. Он еще никогда не бродил по лесам, но знал, что там бывают ручьи.

Кроме еды он упаковал фонарик и свой перочинный ножик, немного лейкопластыря, пару носков и моток веревки. Карты он так и не раздобыл, была только та, в кабинете у мистера Хупера, которую он смотреть — смотрел, а взять не решился. Больше он ничего не придумал. Да и ранец был набит до отказа, хотя совсем не тяжелый. Он стоял посреди комнаты, держал ранец в руке и думал: «Ухожу. Ухожу». И у него все обрывалось внутри.

Проснулся он сразу после четырех. Еще не рассвело, идти рано. Он лежал на спине, застыв, с открытыми глазами.

Было страшно. Он так и знал. Он не приключение затеял, какое там, и пускай мистер Хупер потом говорит, что хочет. Может, кто и отмочил бы такое для смеха, убежали же в прошлом году Певерелл и Блейки в горы просто так, чтоб их искали. Директор еще потом сказал: «Приключения, конечно, вещь недурная».

Кто-кто, а он на такое не способен. Все время, пока готовил побег, он немного удивлялся сам себе, не верил. Он думал: вдруг Хупер умрет, или у него тетя объявится за границей и позовет его к себе, или мистер Хупер с нами поссорится и выгонит из «Уорингса». Жили же они у кого-то в Лондоне четыре недели, а потом сразу съехали из-за какой-то неприятности, что-то там не понравилось маме. Как раз было рождество, они еще тогда переехали в гостиницу.

Но он знал, что на самом деле надежды нет и Хупер останется, а ему надо уйти. Вот и все. Бывают везучие люди, а он невезучий. Случалось только плохое, хорошее не случалось, что бы он ни думал, ни чувствовал, ни делал.

Ему было не просто страшно. Он весь оцепенел от того, что утро наступило и деваться некуда. В голову лезли разные ужасы, он заставил себя поскорей думать о другом.

Он знал, что надо бы пожалеть маму. Надо бы подумать, каково ей будет. Наверное, он плохой, раз ее не жалеет. Она привезла его сюда и вот уехала в Лондон с мистером Хупером, она на него смотрела и ничего не поняла. «Чарльз так чудно осваивается»,— она сказала, и Киншоу поразился, хотя, в общем, удивляться было нечего. Она никогда ничего про него не знала, он и не хотел, чтоб она знала. Он все держал про себя. От других было мало толку, он привык все расхлебывать сам.

Он лежал, пóка тьма в комнате не поредела до серого брезга. Было без двадцати пять. Он еще не хотел выходить, в темноте идти страшно. Но лежать он уже не мог. Он вылез из кровати, и оделся, и встал у окна, он заставил себя считать до десяти свои вдохи и выдохи, снова и снова, пока не зазвенит будильник.

Снаружи все было странно. Он никогда еще не вставал в такую рань. Он вышел с черного хода и пошел вдоль тропы под тисами. Когда дошел до ограды первого поля, за самой рощей, он оглянулся. Дом отсюда казался очень большим и спал, закрыв ставнями все окна. Киншоу подумал: «Ненавижу, ненавижу, ненавижу».

Он отвернулся.

Он не ждал, что будет так холодно. Он надел джинсы, свитер поверх тенниски и куртку. Мало, наверное. Вокруг висел серый туман, забирался под куртку.

Он перелез через плетень и сперва оторопел, потому что ничего не увидел из-за тумана. Но начало пути, на милю примерно, он помнил с прошлого раза, с того раза, когда за ним ворона гналась. Он поправил бечевку на плечах и пошел по спутанной траве. Она была вся мокрая. Щавель хлестал по ногам, от него мигом промокли джинсы. И было очень скользко. Внизу, в траве, как дублоны, сияли одуванчики.

Он подошел к борозде поглубже и сообразил, что здесь он тогда упал, здесь на него села ворона. Он ясно помнил ее твердые когти на своей спине, и тяжесть вороны, и как она каркала. Его передернуло. Потом он снова оглянулся. Дома он уже не увидел. Его совсем затянуло туманом.

Он и не знал, что бывает такая тишина. Она была плотная, наверное, из-за тумана и еще потому, что воздух замер, не двигался, только холодил щеки. Тут, посреди поля, он даже птиц не слышал. Слышал только слабый гул где-то глубоко в ушах. Да еще шуршали, скрипели в мокрой траве его шаги.

Он добрался до живой изгороди. Все впереди пока тонуло в тумане, но серость неба стала чуть-чуть бледней. Боярышник занавесила паутина в каплях росы. Киншоу ткнул паутину пальцем, и к нему пристали ниточки, холодные и липкие. Черный паучок выбежал ему на ноготь и тотчас плюхнулся вниз, в обрывки паутины.

Он пошел дальше. Он чувствовал, что он совсем один, что вообще на свете больше никого нет. Он брел сквозь туман, и мало ли куда можно так забрести, можно споткнуться, упасть в озеро, свалиться в колодец. Но сейчас ему не было страшно, он старательно пробирался вперед. И мокрые джинсы били его по ногам.

Когда он вышел к пшеничному полю, туман заметно поредел и уже на дальнем краю проступила чернота Крутой чащи. Пшеница на раннем свету сделалась странного, грязно-желтого цвета и стояла очень тихо. В конце поля оказался трактор. Он вдруг вынырнул из тумана. Корни он пустил, что ли, и вырос из земли — его будто и не привезли сюда, не поставили, он будто всегда тут стоял, как на луне, брошенный и забытый.

Киншоу подошел к трактору. Его тоже покрыла паутина, она свисала с руля, с металлических ступиц. Киншоу подумал минуту, потом влез на ступеньку и подтянулся. Сиденье было очень жесткое и холодное. Он взялся за руль, и руль влажно поддался пальцам. Передние шины были обляпаны грязью, навозом, давленой соломой. От трактора удивительно пахло — застывшей смазкой и ржавчиной. У Киншоу дух занялся от высоты, он будто оседлал огромного зверя и сделался могучим и сильным. Вот зверь дрожит, оседает, дыбится, сейчас он одолеет ухабы и помчится дальше, дальше в темные джунгли, сметая все на своем пути, и Киншоу станет завоевателем, властелином.

Легкий ветер пробежался по полю.

Киншоу начал слезать с трактора, но тут ранец у него на спине попал в привод, и Киншоу застрял. Он замер от страха, что заденет какой-нибудь рычаг, и сдвинет трактор, и трактор покатит задом по наклону, и сбросит его, и расплющит колесами. Он дергал руль, шарил сзади левой рукой, чтоб высвободить веревку. Он весь вспотел. Наконец его отпустило, и он свалился вперед, на мокрую землю. Он не ударился, только порвалась веревка. Она и так уже врезалась ему в

плечи, натирала, толку от нее мало было. Но ничего не поделаешь. Он связал обрывки и немного размял узел, потом закинул ранец за спину.

Он пролез под колючей проволокой и снова оглянулся через плечо, и теперь он видел гораздо дальше, туман постепенно редел. Трактор издали казался куда больше, но зато и обыкновенней. Просто металлический трактор.

Впереди он видел темный сизый ряд дубов и черные провалы между стволами. Он пошел по полю.

Крутая чаща, он думал, не такая уж большая. На дальнем краю она спускается под уклон. Он пройдет ее насквозь и выйдет к кустарнику в балке. За кустарником начинается Барнардов лес, он лег темной звериной шкурой, миль на семь, до другого округа. От него лучше держаться подальше. После Крутой чащи надо пройти кустарник насквозь и взять на запад, через поля и ближний холм. Миль через десять, наверное, он выйдет на дорогу. Он точно не представлял себе, сколько это — десять миль, но, наверное, это не страшно. После Крутой чащи уже все нипочем.

Он сразу знал, что тут никуда не денешься, он же с самого начала знал, он всегда знал, хоть и ломал голову, как бы отвертеться от того, что зудило его. Вот ведь он чего боялся — того, что сидело внутри и вечно толкало делать разные вещи. Крутая чаща. Про нее говорил Хупер. И он пошел и сам ее увидел в тот день, когда за ним ворона гналась. Он потом про нее только и думал. Крутая чаща.

Как Хупер стал подбивать его на слабо́ идти сюда или войти в рощу за домом, так все и началось.

Но зато где-где, а здесь его никто искать не станет. Если даже они не выбрались в Лондон, если миссис Боуленд и Хупер его хватятся, они сначала пойдут в поселок. Особенно Хупер — он ведь знает, как Киншоу боится леса. Хупер-то все сразу поймет, он сразу догадается, когда не увидит Киншоу за завтраком. Но взрослые к тому времени уже уедут на станцию. Киншоу заторопился по полю. Он вдруг почувствовал себя как на витрине. Здесь высоко, и раз туман рассеялся, его отовсюду видно. Поле видно из дому, а больше всего на свете он теперь боялся, что его найдет Хупер.

Когда он подошел к опушке, солнце встало и уже пробивалось сквозь туман. Было пока очень холодно. Киншоу заметил, что лосья ближе к деревьям объедены и примяты — полукругами. Он не мог понять почему. Он вспомнил ворон.

Легко сказать — войти в Крутую чащу. Это оказалось не так-то просто. Перед чащей был ров, заросший густой травой и сорняками. Над ним шла плотная живая изгородь, вся в шипах. И потом еще колючая проволока. Киншоу осторожно сунул ногу в ров. Нога по колено ушла в зелень. Зелень была очень мокрая. А сверху нависала изгородь, и неизвестно, как через нее пройти. Между первыми стволами он на несколько ярдов вглубь видел лес. Лес был темный, и на Киншоу пахнуло его запа́хом — земляным, холодным.

Он вылез из рва обратно и стал медленно огибать поле. Туман все редел и редел, трактор он теперь видел совсем ясно и колючую проволоку на другом конце поля. Солнце стало ярче. Он посмотрел на часы. Почти шесть. Ходьбу никогда заранее не рассчитаешь, всегда дольше выходит.

Они там, конечно, уже встали, уже одеваются. Если они его хватятся до отъезда, они вот-вот выйдут его искать, уж не позже чем

через полчаса. Он посмотрел в сторону дома, ожидая, что сейчас покажутся вышагивающие фигуры — мама в красивом зеленом костюме и мистер Хупер, длинный и тощий и черный, как ворона.

Ему стало чуть повеселей, потому что теперь раздавались разные звуки, пищали птицы. Несколько раз он заметил, как что-то порхнуло между стволами. Шелестели листья.

Кромка леса изгибалась, он пошел по ней, и скоро скрылись из виду трактор и ограда. Здесь пшеница росла гораздо гуще, она тянулась по склону — дальше, дальше и, насколько хватал глаз, вся была выедена по краям непонятными кругами. Что-то, что-то тут было. Мало ли что. Он не хотел ломать себе голову.

Небо стало светло-серое, как жемчуг, и туман большими клубьями висел над полем и загустевал к горизонту. Но солнце светило ярко. Он остановился, сбросил ранец и снял куртку. Она не лезла в ранец, пришлось вытащить моток веревки и ножик, отрезать кусок и привязать куртку. На это ушло время.

В общем он был доволен собой. Такой план составил и вот исполняет. Он приободрился, готов был идти и идти и одолевать всякие трудности, любые препятствия.

Он вообще-то ничем особенно не отличался, учился не очень хорошо. И не очень плохо, конечно. Он не был такой безусловно, ужасно плохой, чтоб его вечно поминали, как, например, Лика. Лику все сходило именно из-за дикой тупости. Лика дразнили, но им даже гордились — с Ликом не соскучишься, вот это да, обалдеть, как учится. Все о нем говорили с довольной ухмылкой. С ним носились. Киншоу — дело другое. У него все получалось ни плохо ни хорошо. Все вечно забывали, как его фамилия. В коридоре его подзывали пальцем, когда хотели за чем-нибудь послать. Его всегда за чем-нибудь посылали. В классе ему говорили: «Эй, ты...»

А теперь он был доволен собой, доволен, что как-никак дошел до Крутой чащи, доволен своим планом, и аккуратным ранцем, и своими припасами.

Ничего, все обойдется.

Но когда он снова завязывал ранец, он заметил бородавку у себя на среднем пальце. Раньше ее не было. У него все оборвалось внутри. Значит, так оно и вышло. Его ведь предупреждали.

У Бротон-Смита были бородавки, полно бородавок на коленках. Такие жуткие, что его послали к доктору.

Кейси сказал:

— Тебя колоть будут.

— В каждую горячую иглу всадят, это уж точно.

— Больно — жуть!

Бротон-Смит уставился, несчастный, на свои коленки. Это он всю ночь ревел, когда ему вырвали зуб. Фенвик стал над ним смеяться. В конце концов Гоф пошел за своим братом.

— Никакого доктора не надо,— он сказал.— Мой брат черную магию знает, он чего-то делает с бородавками, и они сходят.

Брат Гофа как-то перед ужином повел Бротон-Смита на второй этаж, в лабораторку пятого класса. Остальные стояли на лестнице, в темноте. Все молчали, и никто даже не решался подсматривать через стеклянную дверь. Они сбились в кучу, Киншоу запомнил, как они пахли все вместе. Было страшно. Мало ли что получится.

В конце концов с таинственной улыбкой вышел Бротон-Смит.

— Что он сделал?

— Ну как?

— Он колдовал?

— Черной магией нельзя заниматься, это страшный грех.

— Ты теперь умрешь.

— Да, теперь на тебе порча, честно, ты ночью умрешь.

— Давайте посмотрим.

Но Бротон-Смит вырвался от них в темноту и побежал вниз по каменным ступенькам. Прозвенел звонок.

Наутро бородавки сделались темно-бурыми. Бротон-Смит все вытаскивал коленку из-под парты — поглядеть. Вид у Бротон-Смита был перепуганный. Через два дня бородавки сошли. Он вытягивал ногу поверх одеяла, и все могли любоваться на сборчатую, без бородавок, коленку. Когда погасили свет, стали говорить о бородавках.

Кларки тогда сказал:

— Они на другого переходят. В том-то все и колдовство. Чтоб сошли, надо задумать кого-то, и они на него переходят.

— Кого?

— Все равно кого?

— Нет, кого не любишь.

Киншоу лежал и думал: на меня перейдут. Не миновать. Бротон-Смит его не любил. Он себя уговаривал, что это ерунда, но верь не верь, а у Бротон-Смита бородавки сошли, и наутро он все смотрел и смотрел на Киншоу.

Тут никуда не денешься.

Сейчас он долго разглядывал свою бородавку. Интересно, может, можно, чтоб она сделалась черная и на кого-то перешла? На Хупера? Может, попробовать? Но пока ему было страшно и противно.

Когда он нашел просвет впереди, в лесу, солнце светило вовсю, небо прояснело. Изгородь тут прерывалась, и деревья были другие, стояли во всем лесу своей группкой. Он решил, что это лиственницы. Солнце светило прямо на них, и он заглянул вглубь. Внизу рос папоротник, валялись кудрявые листики, а свет между веток цедился непонятно зеленый, как медная ярь или как дно морское. Хорошо, он подумал. Не страшно.

Он перенес одну ногу через ров и на мгновенье замер. Солнце грело ему спину, а впереди воздух холодил лицо. Росы было полно, джинсы у него совсем промокли.

Потом он прыгнул, зажмурился и быстро прошел вперед шагов десять. Когда он открыл глаза, он был в Крутой чаще.

Глава шестая

У Киншоу дух захватило. Лес весь шелестел, и листья шуршали как шелк у него над самой головой. Они были бледно-бледно-зеленые и на солнце почти прозрачные, он различал каждую жилку. Под ногами, среди ползучих стеблей, мелькали палые листья, ржавые и сухие сверху, а чуть поглубже сбитые в сырую прель.

Он наткнулся на поваленный ствол и сел на него. Кору покрывал сизый мох. На ощупь он был как бархат. Грибной нарост выбивался из-под наплывов и у начала ветки — ноздреватый, как заколдованный.

Тут было хорошо. Он никогда еще не попадал в такое место и даже не знал, что так бывает. Тут хорошо пахло, и хорошо, что никто-никто не мог увидеть его. Все вокруг мирно, все отлично. Когда светит солнце, даже на терновые заросли и кусты боярышника не страшно смотреть.

Распевали разные птицы, правда, не очень близко, он ни одной не видел, только что-то темное вдруг мелькало в ветвях. В чаще ворковали голуби. Он увидел кролика. Он выскочил из подлеска, неда-

леко от Киншоу, как-то странно мотнулся, а потом присел в солнечном луче и стал умываться, как кошка. У Киншоу дух захватило.

В школе у них держали кроликов в клетках — жирных, белых, с красными, пустыми глазами. А этот был совсем другой, до того живой, что весь дрожал и подергивался. Киншоу долго-долго на него смотрел. Но только он шелохнулся — развязать ранец и достать еду,— кролик бросился наутек.

Перед тем как выйти из дому, он сходил на кухню, отрезал толстый ломоть хлеба, намазал маслом и теперь уплел его вместе с треугольничком сыра. После еды ему сразу захотелось пить. Дурак он, конечно, что как следует не поискал бутылку. И вот теперь пить было нечего, но не стоило без толку убиваться. Он встал и пересек поляну. Он нашел тропку, но она вся заросла. Нижние ветки и кусты загораживали проход, и ему приходилось то гнуться, то через них перешагивать, отгребая шиповник и ежевику. Попадался терновник. Он наколол большой палец. Когда высосал бусину крови, она на вкус оказалась сладкая и металлическая. Потом он шиповником расцарапал лицо. Приходилось пригибаться все ниже и ниже. Наконец он одолел кустарник и разогнулся.

Здесь было темно, значит, он здорово забрался в лес. Листья в вышине смыкались плотней, солнце сквозь них не пробивалось. Впереди метнулись прочь вспугнутые птицы. Он вытер рукой нос.

И тогда он услышал тот звук. Он сразу понял, что уже слышал его раньше, несколько секунд назад, но не обратил на него внимания: думал, что это он задевает за сучья. И вот опять. Немного поодаль, на опушке. Он слышал, как сам он дышит. И все. Но птицы затаились. Он подождал. Ничего. Опять ничего. И потом — легкий, ползучий шорох в папоротниках.

У самой тропки стоял густой терновый куст. Киншоу согнулся и стал к нему пробираться. Он ступал на цыпочках, но листья все равно шуршали. Он даже не знал, от кого прячется. Наверное, это зверь. Неизвестно еще, кто тут водится, он только кролика видел. Но выел же кто-то те колосья. Непохоже, чтоб это за ним пришли. Они бы кричали с поля, громко ворвались бы в лес. А те звуки были робкие. Может, охотится кто-то или это лесник ходит. А вдруг он еще окажется браконьер.

Он съежился под кустом. Ржавая мошка бежала у него по ноге. Темный испод куста пахнул горечью. В чащобе взвизгнула птица, помолчала, потом опять. Как будто хохотал сумасшедший. И потом снова ничего — ни скрипа, ни шороха.

Он уже собрался встать и выйти из-за куста, и тут раздвинулись ветки, и он увидел Хупера.

Тот не охнул, ничего не сказал, не окликнул Киншоу. Как будто точно знал, куда идет, знал с самого начала.

Киншоу понял уныло, что пропал. Он не то чтобы испугался или разозлился. Просто кончилось везенье, а может, его и не было вовсе. Так легко он ушел и вон куда добрался. И все оказалась одна видимость. Откуда-то Хупер его выследил.

Он просто не знал, что теперь делать.

Хупер остановился. Его руки и ноги удивительно белелись в лесном подводном свете. Он прислушивался и осматривался, но не поворачивал головы. У Киншоу даже мелькнула надежда. Он подумал: «Может, он и не за мной, может, просто гуляет, может, не заметит и обратно пойдет?»

Хупер сказал преспокойно:

— Выходи, Киншоу.

Киншоу замер. Не ответил. Гортанные голубиные нежности опять понеслись из чащобы.

— Ты за теми колючками, я знаю, у тебя ноги торчат, так что хватит тебе.

Очень медленно Киншоу распрямился, еще подумал и вышел из-за куста. Они смотрели друг на друга.

— Я же сказал, что с тобой пойду. Предупреждал ведь, что никуда не денешься.

— Как ты меня высмотрел?

— Очень просто. Окна у меня, что ли, нет?

— Окно-то — да, но как же...

Хупер вздохнул:

— Дурак ты, больше ты никто. Ясно было, что ты сегодня уйдешь, когда же еще?

Киншоу промолчал. Он думал: «Дурак я, дурак я и есть». Ведь раз он выбрал этот день, то и Хупер, конечно, догадался; день был редкостный, другого такого не дождешься. И Хупер вечно обо всем догадывался, такие уж дела.

— Все равно нельзя тебе со мной.

— Тебя не спросил!

— Они искать будут.

— А тебя?

Тут Киншоу заметил рюкзачок у него за плечами. Значит, он всерьез, значит, правда он бежать собрался.

— Сам ничего придумать не можешь,— сказал он каким-то глупым голосом,— вот с меня и обезьянничаешь.

Хупер фыркнул.

— Мало ли куда я иду, Хупер? Кому ты там нужен?

— А куда ты идешь?

— Не скажу.

— А ты-то кому там нужен?

— Значит, нужен.

— Откуда ты знаешь?

— А тебе-то что?

— Ты потише давай, Киншоу. Подумаешь, какой выискался. Нечего тут командовать. Да кто ты такой? Ты должен делать все, что я скажу, потому что твоя мать у нас служит.

— Нет, неправда, заткнись, Хупер.

— Она прислуга, ясно? Ей платят, и она должна делать все, что ей папа велит, а ты должен делать все, что я велю.

— Кто сказал?

— Папа сказал.

Киншоу подумал: может, правда? Где бы они ни жили, вечно надо было ко всем подлаживаться, мама говорила: «Будь повежливей, веди себя хорошо, это их дом, не наш».

— Вот захотел с тобой пойти — и пойду.

Киншоу сказал, уже без всякой надежды:

— Да зачем тебе? Вот вопрос. Убегать тебе не надо, и не надо тебе никуда со мной. Ты же меня *не любишь*.

— Ну, не люблю.

— Тогда чего же ты?

Хупер молчал, улыбался и молчал. Киншоу захотелось ударить его, еще, еще, и он сам перепугался, что Хупер довел его до этого, совсем сбил с толку. В голове у него стучало, гудело, а Хупер стоял и молчал, и он уже не знал, что придумать, плел черт-те что и все невпопад, и не мог остановиться, и говорил каким-то глупым голосом. Тогда он стал хвалиться, он сказал:

— Ну что, съел? Ты говорил — мне в рощу и то слабó, а я аж сюда. Спорим, ты думал, мне сюда не войти, а?

Хупер пожал плечами:

— Подумаешь, дело большое.

Потом нагнулся, порылся в кустах и нашел там толстую, коротенькую палку. Он помахал ею наобум, и палка со свистом рассекла воздух.

— Зачем тебе?

— Мало ли. По лесу всегда с палкой ходят.

Он говорил рассудительно, спокойно. Они еще постояли. Потом, хоть знал, что не надо, Киншоу не удержался, спросил:

— Попить не принес?

— А ты?

— Нет.

— А хочется?

— Немножко.

— Ну и дурак.

— В общем-то обойдусь. Я спросил просто.

— Так я тебе и дал хоть что-нибудь. Сам обо всем думай, раз такой умный.

Киншоу повернулся и поскорей зашагал прочь по трáве к новому кустарнику. Он знал, что тут же услышит за собой шаги Хупера. Так оно и вышло. Только тот сперва молчал.

Куда девались покой и радость. Киншоу неинтересно стало смотреть и слушать. Он только и думал, что вот Хупер тут и неизвестно, что он еще выкинет. Хотя здесь с ним, наверное, не так страшно, как в «Уорингсе». Там его территория, там он хозяин. А здесь они вроде почти равны.

Скоро Киншоу заметил, что тропка совсем исчезла. Остался толстый буро-зеленый ковер листвы, а на нем прутики, палки, и корни вылезали из-под земли как веревки. Кругом, куда ни пойди, все одинаково. Он шел прямо, напролом, через чащу. Но далеко ли конец, он понятия не имел, он ждал, что вот-вот будет просвет, а его все не было.

Солнце там и сям пробивало плетево листьев и стекало по стволам как вода. Но в общем листва была плотная и почти не пропускала света. В глубине леса стало душно, трудно вбирать воздух, горячий и необыкновенно густой. Тенниска липла к спине у Киншоу. Надо было остановиться и снять свитер.

Он продвигался с трудом, продирался сквозь заросли, плотные кусты, видел только на ярд вперед и вдруг вышел на новую поляну. Она тянулась и тянулась. За ним по пятам, он слышал, шел Хупер. Но оба теперь уже двигались по законам леса, почти бесшумно.

Когда они вломились в непролазную гущу шиповника, сразу зацепились за него и встали, чтобы отцепиться, Киншоу услышал тот звук. Звук был странный — не то хрюканье, не то ржанье и все же кто-то другое. Киншоу замер. Хупер, сзади, сделал еще несколько шагов и тоже замер, совсем рядом. Он дышал прямо на Киншоу. Ржанье повторилось, и тотчас хрустнула ветка.

— Что это?

Киншоу повернул голову и увидел лицо Хупера. Зубы у него были крупные, в щербинках, и между двумя передними щель. Над верхней губой выступили капельки пота. Киншоу подумал: «Он настоящий, он сделан из того же, что и все». Он как-то успокоился от того, что Хупер рядом и от него пахнет обычным человеческим запахом. Господи, да что он ему сделает?

— Шум какой-то. Тут кто-то есть.

— Кто?
— А я откуда знаю?
— Не человек, люди так не шумят.
— Ага.
— А теперь тихо.
— Ушел, наверное.

Опять заскрипели сучья, и тут они услышали тихие, тяжелые шаги в прелой листве за кустами.

— Пойди посмотри.
— Может, это...
— Кто?
— Не знаю.
— Пойди посмотри.

Оба затаились.

— Испугался!
— А сам-то?
— Дурак.
— А чего же тогда посмотреть не можешь?
— Я первый сказал — пойди посмотри. Ну!

Они шептались. Минуту спустя Киншоу шагнул вперед; он осторожно раздвигал ветки, потому что не знал, что он сейчас увидит. Ему мерещились блестящие глаза, нацеленные копья. Лес весь замер, напрягся, что-то им готовил. Киншоу вспомнил диких кабанов, он про них читал, они рыщут в чащах, а охотники их подстерегают, и бросаются на них, и вонзают ножи им в горло, и в глаза, и в сердце. Бывают еще дикие боровы, грязные, вонючие. Снова раздалось ржание. Он опять осторожно шагнул.

Он увидел поляну и солнечный свет, а прямо напротив, между двумя стволами, стоял олень. Он был песочного цвета и весь дрожал, а глаза были громадные и блестели. Киншоу понял, что олень ужасно перепугался, больше даже, чем он сам. Он скользнул назад, в кусты.

— Это олень.
— Какой?
— Не знаю. Обыкновенный. Рога такие кудрявые.
— Ветвистые, балда.
— Ага.
— Я в жизни их не видел.
— Ну да? А в зоопарке?
— Я там в жизни не был.

Киншоу от удивленья даже присвистнул. Вот уж он не ожидал, что хоть в чем-то переплюнет Хупера.

— Что же делать?
— Да ничего. Не тронет он нас.
— Ладно, лучше пошли отсюда,— сказал Хупер.

Киншоу отступил в сторону. Он вспомнил, что Хупер ему вообще не нужен. Хупер отпихнул его и прошел вперед. Ветки тут же сомкнулись и почти скрыли его из виду. Киншоу на секунду показалось, что он опять один. Олень снова подал голос.

— Чего это он? — шепнул Хупер из-за кустов.
— Боится, наверное. Может, других предупреждает.
— Думаешь, их тут много?
— Не знаю. Я думал, это ты все про все знаешь.
— Заткнись.
— Они поодиночке не водятся, это каждый дурак знает.
— Ага. Пошли за ним, Киншоу, может, мы тыщи их увидим, а? Мало ли что мы еще увидим!

Киншоу услышал, как Хупер шумно шагнул и олень, убегая, захрустел кустами. Киншоу вышел на поляну. Тут же впереди, за деревьями, мелькнул лисий хвост.

— Пошли,— сказал Хупер.

Киншоу за ним пошел. Они прошли под дубами, где раньше стоял олень, и углубились в чащу.

Скоро Хупер сказал:

— Тише ты. Надо тихонько подкрадываться. Охотники всегда тихонько.

— Какие мы охотники.

— А почему? Ты же хочешь его выследить? А будешь так хрустеть, ничего не увидишь.

Киншоу промолчал. Он бесился, что опять Хупер командует, вышел вперед и рассказывает ему, что он должен делать. Распоряжается. Зато он, кажется, здорово увлекся оленем и не собирался гадить Киншоу. И то хорошо. Для него все было прогулка, приключенье, игрушки. Скоро, правда, Киншоу сам от него заразился. Хупер побежал по поляне, и он за ним, хотя шумели они так, что олень, конечно, умчался черт-те куда. Хупер как-то чудно скакал, прыгал, вдруг кидался вперед. Потом упал на четвереньки и пополз вокруг дерева.

— Мы охотники,— зашипел он.— Ни звука. Тут водятся дикие кабаны. И медведи.

— Они вместе не водятся, так не бывает.

— Ложись, ложись.

Киншоу пополз. Он обдирал коленки о сучья и можжевельник. Лес стал другой, листья отодвинулись вверх, а стволы наклонились. У Киншоу даже голова закружилась. Сладкий гнилой дух прели забирался между коленками и приставал к ладоням. Он видел несчетных букашек, пауков и блестящих жуков, они суетились среди прутьев. На прутьях был мох. На некоторых — розоватый и махристый, как водоросли. Он был скользкий и мокрый.

Вдруг Хупер растянулся на земле, ногами чуть не в лицо Киншоу. Он что-то высматривал в кустах.

— Тут!

Киншоу подполз к нему. Олень стоял чуть поодаль, изготовясь для прыжка. Шея у него напружилась, как будто вот-вот надломится.

— Тут небось еще есть,— сказал Хупер.— Наверно, на водопой идут.

— На водопой?

— Ну да. Есть же тут ручей — верно? А может, даже река.

— Не знаю.

— Как же. В лесу всегда бывает.

— А-а.

Хупер приподнялся и снова пополз к оленю. Земля теперь шла чуть под уклон, и хоть деревья тут росли реже, зато гуще стала трава, и крапива и плющ доходили до колена. Здесь было сыро. Каждый раз, как отрывал от земли ногу, Киншоу слышал глухое чавканье. Парило. Дышать почти нечем. Киншоу утер пот с лица.

— Погоди-ка, я встану. В этой штуке жутко жарко.

И сразу удивился, зачем надо было это говорить. Он сам по себе, и при чем тут Хупер? Хупер просто за ним увязался и затеялся с этой охотой, и незачем ему докладываться. Но он вдруг сообразил, что сейчас ему не мешает, что Хупер рядом, он даже, наверно, рад — уж очень далеко они забрались в лес. Зря он только позволил ему командовать. Он стал думать, как бы поставить Хупера на место.

Когда он стаскивал свитер, взгляд его упал на часы. Девятый час, они уже больше двух часов в лесу. Он испугался.

— Ну, Киншоу, давай пошли.

— Надоела мне эта игра.

Хупер весь перекосился от презренья.

— *Игра?* Мы же оленя гоним. Лично я, во всяком случае. А ты как хочешь.

— Мне надо идти. Мне пора.

— Куда это?

— Ну, отсюда. Я пройду полями за лесом, а потом...

— Ну, куда?

— Отстань. Никуда. А тебе обратно пора.

Хупер покачал головой.

— Я отчалил.

Киншоу засунул свитер в ранец. За спиной у него был кустарник, из которого они только что выбрались. Он зашагал вперед.

— Ты куда?

— Я сказал. Мне пора отсюда.

— Домой?

— Не твое дело. Нет.

— За лес?

— Да.

— Так это не сюда.

— Сюда.

— Нет. Мы там были. Мы круг сделали.

Киншоу помешкал. Заросли были со всех сторон. Он прикинул направление. Если взять к той поляне налево, там будет выход из Крутой чащи. Кажется, дотуда уже рукой подать. Он пошел налево. И почти сразу же услышал за собой шаги Хупера.

Поляна перешла в неширокий проход, зато тут совсем не было кустов, можно идти не сгибаясь. В вышине плотно смыкались ветки. Тут было темно. Киншоу остановился. Впереди, насколько хватал глаз, тянулась тьма. Если б лес кончался, уже бы светлело. Он не спеша повернул. Опять то же. Везде то же.

— Ну, чего там?

Наконец-то Киншоу услышал по голосу Хупера, что тот испугался, и понял, что теперь он снова главный.

— Чего встал?

Осторожно, медленно, двумя указательными пальцами Киншоу поддел бечевку и стянул со спины ранец. Вытащил куртку, расстелил на земле и сел. Хупер стоял рядом, глаза у него бегали, лицо было такое же белое, как руки и ноги на тусклом свету.

Киншоу сказал:

— Мы заблудились. Давай думать, что теперь делать.

Хупер совсем раскис. Он стал на коленки недалеко от куртки и, уставясь в землю, принялся шарить в листве.

— Все ты! — он сказал.— Дурак проклятый! Делал бы, что тебе сказано.

— Да ну тебя.

Вдруг раздался взвизг и громкое хлопанье — как деревянной трещоткой. Киншоу поднял голову. Две сойки летели через лес, взбивая крыльями воздух. Пронеслись — и снова стало тихо и как будто еще темней. Потом по лесу пробежал ветерок, всколыхнул жаркий воздух. И снова все замерло. И вот дрозд завел громкую, ясную песню тревоги. Хупер вздрогнул. Откуда-то издали донесся первый раскат грома.

Глава седьмая

Несколько минут они молчали, потом Хупер сказал:

— Это гром был.

— Да. Если гроза, надо прятаться куда-то. Дождь будет.

Киншоу заметил, что Хупер пристально на него смотрит и лицо у него странное, вытянутое. Когда он заговорил, рот скривился так, будто он сосет кислятину.

— Меня в грозу,— сказал он каким-то не своим голосом,— всегда тошнит. Ненавижу, когда гроза, никогда не выхожу из дому.

Его темные зрачки сузились. Киншоу подумал: боится, жутко боится. Я пока не замечал, чтоб он пугался, а теперь-то уж точно.

Если б он был мстительный, тут бы ему и отыграться. Но он был не мстительный. В общем-то, ну его, Хупера, лишь бы не приставал.

— Здесь, наверное, не опасно.

— Мы под деревьями. Под деревьями в грозу ни за что нельзя. Хуже всего.

— Это когда одно дерево, ну, там в поле или где. А здесь наоборот. Здесь не страшно.

— Почему?

— Не знаю. Может, потому, что деревья все рядом стоят. Только здесь не опасно, это точно.

Опять грохнул гром, уже близко.

— Ужас, меня сейчас стошнит.

— Ну и пожалуйста. Подумаешь, дело большое.

— Киншоу, может, побежали? Может, доберемся до дому, пока как следует не припустило?

— Да ты что? Разве успеть! Мы ведь сколько отгрохали! И мы не знаем, как отсюда выбраться,— это раз. Как же мы домой побежим, дурья башка?

— Ну, попробуем. Вернемся тем же путем.

— Да каким путем-то — соображаешь? И вообще я не собираюсь возвращаться. Ты как хочешь, сам гляди.

— Я прямо не могу, когда гроза.

Голос у Хупера зазвенел от страха.

Он всякое достоинство потерял, если оно у него еще оставалось, ему не важно было, увидит Киншоу или нет, как он перепугался, он даже захотел,чтоб Киншоу знал, он защиты от него захотел.

Киншоу не жалел его нисколько. Ему было все равно. Но бросить Хупера он, конечно, не мог, надо было его выручать.

Небо потемнело, и лес затаился, напрягся. Каждый легкий взмах крыльев ясно отдавался в воздухе, даже самый дальний. Киншоу стало душно. Скорей бы гроза, скорей бы дождь и холодок. Сил не было больше ждать, все вокруг будто еле крепилось, сдерживалось, вот-вот обрушится. Но он совсем не боялся. Просто он ничего не чувствовал. Голова работала, он все соображал, он знал, что делать дальше. Он вспомнил маму. Они теперь, наверно, в Лондоне. Она в своем красивом зеленом костюмчике выстукивает высокими каблуками под боком у мистера Хупера. Ну, теперь-то чего уж, теперь пусть как хотят, он убежал — и ладно.

Лес все отодвинул, все стало далеко и не только далеко, но как будто давным-давно кончилось. Лес отгородил его ото всех людей на свете, и от городов, и от дома, от школы. Лес уже его изменил, он вдруг стал такой умный, будто вот-вот откроет секрет, о котором никто в том, другом, мире даже понятия не имеет.

Прямо у них над головой бухнул гром и так затрещало, точно небо разодрали надвое. Хупер вскочил и стал в ужасе озираться.

— Пошли,— сказал Киншоу решительно.— Надо укрытие сделать.

Он расстегнул куртку и понес ее к кусту. Хупер стоял как вкопанный, смотрел на него и дрожал. Молния, расщепившись, мгновенно выбелила стволы.

Киншоу расправил куртку над кустами, он растягивал ее как только мог. Кусты были густые. Он под них заполз.

— Иди сюда,— позвал он.— Тут отлично, сухие останемся.

Хупер потолокся немного, потом встал на четвереньки и вполз под кусты. Он забился в дальний угол, во тьму, сжался в комок и заслонил лицо руками. По лесу опять пронесся гром, и Хупер заткнул уши и пригнулся.

— Да чего ты? — сказал Киншоу.— Это же грохот один.

Молния блеснула в глазах птички на ветке неподалеку, и на секунду они стали как желто-зеленые горелки. И тут же после молнии ухнул гром.

— Господи, господи!

Хупер совсем расклеился, обмирал от страха, все на свете забыл, кроме грозы и своего ужаса. Киншоу вспомнил, как ему было в тот день, когда за ним ворона гналась. Похоже, наверно. Он тогда прямо погибал, чуть не умер — до того перепугался.

На Киншоу накатила жалость. Он сам застеснялся и сказал:

— Слушай, это ведь скоро кончится, сейчас пройдет.

Но Хупер его не слышал, он весь скорчился, скрючился и уткнулся лицом в коленки.

Пошел дождь, сперва не сильный, он редкими, тяжелыми каплями падал на листья. А потом хлынул как из ведра. Куст промокал, куртка плохо укрывала. Киншоу выглянул из-под куста и увидел, что дождь колышется над лужайкой огромным серебристым парусом, а внизу плещется в большущих лужах.

Наконец, не скоро, он стал стихать, уже падал иглами, но вот гром опять грянул одновременно с молнией и так громко, что Киншоу дернулся от испуга. Как будто возле самого куста бросили бомбу, и весь лес на долгий, застывший миг озарился бело-зеленой вспышкой. Хупер раскачивался взад-вперед и стонал.

Киншоу стал гадать, что будет дальше и будет Хуперу стыдно или нет. Он думал: «Теперь уж ему меня не испугать, теперь уже все, хватит ему командовать».

Кажется, долго было темно, а потом в лес снова прокрался свет. Вдалеке еще медленно погромыхивал гром — снова и снова. Киншоу пощупал свои волосы, совсем мокрые. И свитер тоже намок.

Потом, ни с того ни с сего, солнце залило поляну, будто вздернули занавес над ярко освещенной сценой. Пар поднимался от взбухшей земли, от стволов и густым запахом забивался в ноздри. На кустах блестели капли.

Киншоу вылез из-под куста и проверил куртку. Она провисла в середине: там скопилась вода. Он перевернул куртку, и вода протекла сквозь куст, на Хупера.

— Ну, все,— сказал Киншоу.

Он отошел немного в сторону. Под ногами хлюпало, от мокрой травы опять намокли внизу брючины. Он постоял на солнышке. В вышине синими щелками проглядывало сквозь листву небо.

— Пошли, Хупер, все нормально.

Опять запели птицы. Шурша, ползли по стволам и плюхались вниз капли.

Киншоу растирал ноги. Их свело под кустом. Хупер не вылезал, не вылезал, хотя уже отнял пальцы от ушей и поднял голову. Он сидел и вслушивался, старался разобрать, где гроза.

И тогда Киншоу услышал шум воды. Не дождя, а текущей воды, где-то справа, за тем местом, где начинался уклон. Он повернул туда голову. Наверно, там ручей, и после дождя он побежал быстрее. Киншоу даже рот свело, так вдруг снова захотелось пить.

Он вернулся к кусту и выудил ранец. Кожа намокла, но внутри все оказалось сухое.

— Там ручей, что ли,— сказал он Хуперу.— Я слышу. Пойду поищу.

Хупер взглянул ему прямо в лицо, в первый раз с тех пор, как началась гроза.

— Зачем?

— Пить хочется.

— И мне.

— Ты же говорил, ты захватил попить.

— Ничего я не говорил.

— Нет, сказал. Еще говорил, что я дурак.

Хупер не ответил, только медленно поднялся. Он вылез из-под куста, отошел на ярд, повернулся к Киншоу спиной, расстегнул молнию на джинсах и стал писать в папоротники. Киншоу смотрел на него. Это было долго. Киншоу подумал: да, ничего себе страху набрался. Потом Хупер сказал:

— Я не взял с собой воду, потому что я знал, что тут ручей.

— Врешь, никогда ты тут не был, ничего ты тут не знаешь.

— Нет, был, был.

Киншоу пропустил это мимо ушей. Он думал: после грозы все будет по-другому, теперь ничего, он на Хупера управу найдет.

Но он забыл, что за человек этот Хупер. Вот он вышел на середину поляны и быстро огляделся. Потом сказал:

— Точно. Слышу. Где-то тут. Я первый пойду, потому что я главный.

И Киншоу за ним поплелся.

За кустами бежала узенькая стежка. Уклон был не крутой. После дождя как будто посвежело, но, когда они зашли подальше в густой лес, воздух стал снова жаркий, и душный, и сырой. Земля пока была вязкая, и идти было трудно еще потому, что к ногам липли мокрые листья. Но шум бегущей воды приближался.

Киншоу хотелось уже и пить и есть, он решил остановиться, раскрыть ранец и отщипнуть ломтик шоколада. Но тут он обо что-то споткнулся. Он нагнулся к траве. Хупер впереди встал, оглянулся:

— Ну чего ты там? Пошли.

— Ой, а я чего-то нашел!

— Что?

Киншоу не ответил. Он пошарил в траве, и рука наткнулась на мягкий влажный мех. Он раздвинул траву.

Кролик был мертвый. Хупер подошел, встал рядом и опустился на корточки.

— Что это?

— Кролик.— Киншоу легонько провел пальцем по холодному загривку.

— Убитый.

— А как? Крови нету.

— Нету.

Ушки торчали остро, тревожно, будто кролик умер, прислушиваясь, но глаза были застывшие, пустые и далекие, как у рыбы на прилавке.

— На кой он тебе сдался, а?
— Так просто.
— Ну, тогда пошли. Я думал, ты пить хочешь.
Киншоу не ответил. Он осторожно поднял кролика. Кролик оказался тяжелый и весь болтался, будто сейчас развалится.
— Ты когда-нибудь дотрагивался до мертвого?
— Нет. Ну, птиц трогал. А большого — никогда.
— Это же разве большой?
— Большой. В общем, я до мертвого животного не дотрагивался.
— А людей мертвых не видел?
Киншоу испуганно вскинул на него глаза.
— Нет.
— А отец как же? Тебе его в гробу не показали?
— Нет.
— А я дедушку мертвого видел. Недавно совсем.
— Ой.— Киншоу не знал, это правда или нет. Он провел пальцами по влажной кроличьей шерстке.
— Да брось ты его, Киншоу.
Но Киншоу не хотелось бросать кролика. Он был приятный на ощупь. Раньше Киншоу не знал, как это трогать мертвое. Теперь узнал. Он прижал кролика к себе. Хупер сказал:
— Он же мертвый. Что умерло — то пропало и не нужно никому.
— Неправда. А люди?
— То же самое. Какая разница?
— Нет, есть разница, есть.
— Ну в чем?
— Ну... человеческое же тело.
— Люди тоже животные.
— Да, только... только не животные они. Они другие.
Хупер вздохнул.
— Вот слушай. Пока ты дышишь — ты живой. Верно? И всё так. А когда не дышишь, сердце останавливается и ты умираешь.
Киншоу огорчился, растерялся, не знал, как дальше спорить. Хупер вдруг вылупил на него глаза:
— Может, еще ты веришь в разные враки насчет души, и призраков, и всякое такое, а?
— Ну, в призраков...
— Уж если кто умер, так умер, и точка.
— Нет.
— Слушай... сам же видишь.— Хупер ткнул пальцем в кролика. Голова тяжело мотнулась в сторону.— Мертвый,— сказал Хупер.
Киншоу в тоске смотрел на кролика. У него путались мысли. Может, Хупер и правду говорил, только ведь это неправда.
— Если ты веришь во всякую там бессмертную душу, так ты и в призраков и в привидения должен верить.
— Нет.
— Но ведь считается, что призраки — это люди, когда они уже умерли, верно?
— Не знаю.
— Да. Это люди после смерти.
— А сам сказал, что когда умираешь — всё.
— Я-то не верю во всяких там призраков. Это ты веришь. Так получается.
Киншоу промолчал. Но успокоиться не мог.
— Так что смотри в оба. Только все это враки.
Киншоу опять взглянул на кролика и вдруг заметил большую рыж

лую рану у него в ухе, и там было полно гноя, крови и червей. Он изо всех сил отшвырнул тушку. Она мягко, пусто шлепнулась в кусты.

Подняв глаза, он наткнулся на глаза Хупера, сощуренные, едкие. Теперь он отыгрался за то, что набрался страху в грозу. Больше Хупер ничего не сказал, отвернулся и зашагал по тропинке.

Киншоу думал и думал про червивую рану, и у него все обрывалось внутри. Мертвый кролик, который сперва казался таким чистеньким, сразу стал мерзким — поганый, заразный. Киншоу поскорей оглядел свою тенниску — не осталось ли пятна.

Вдруг Хупер стал быстро съезжать вниз, он ужасно размахивал руками, чтоб удержаться на ногах.

— Киншоу, Киншоу... Ой... Господи...

Там кончилась тропинка и начинался крутой спуск между двумя буграми, заросший папоротниками, высокими, по пояс. Земля была мокрая и скользкая после дождя. Хупер на ногах не удержался и покатился кувырком, вопя от страха.

— Киншоу...

Но Киншоу ничего не мог сделать, просто он очень осторожно шел следом, он прощупывал каждый шаг. Внизу раздался треск и вскрик. Птицы тут же вспорхнули с кустов и разлетелись по лесу.

— Ну, как ты там?

Молчание.

— Хупер? Ты чего?

Киншоу чуть наклонился вперед и съехал пониже.

— Хупер? Что там с тобой?

— Тут река. Я ее нашел. Я ее вижу.

Киншоу ужасно разозлился и бросился вниз, он продирался по взмокшей траве. Он поцарапал руку о торчащую ветку.

Хупер стоял на коленках и смотрел сквозь густые темные камыши.

— Ты не расшибся, оказывается!

— Нет.

— Я думал, ты чуть не умер, ты такой дикий вой поднял. Чего ж ты орал, если не расшибся?

Хупер только головой мотнул.

— Ну, боялся, что расшибусь. Гляди — вода, и куда-то она течет.

— Почему это?

— Она всегда куда-то течет. Все ручьи, все реки — всегда. Если мы пойдем за ней, мы отсюда выйдем. Так?

— Откуда ты знаешь?

— Это само собой ясно.

— Почему? Может, никуда она не выходит, а забирается все глубже в лес.

— Много ты понимаешь! Голова! Она именно выходит, и мы ее даже видели — под мостом, в деревне, соображаешь?

— Так, может, то другая.

— Нет, она самая.— Хупер поднялся.— Ну, пошли туда. Тут плохо пить, полно водорослей.

— Ты выпачкался. Все штаны заляпал.

— Ну и что? Пошли.

Киншоу не двинулся с места. Конечно, он хотел выйти из лесу не меньше, чем Хупер. Только не вместе с Хупером. И потом, он сомневался, что, если идти вдоль реки, точно выйдешь из лесу.

Но вообще-то не все ли ему равно, что делает, куда идет Хупер? Когда они выберутся отсюда, Хуперу дорога — домой. Киншоу возвращаться не собирался.

— Ну, пошли! Чего стоишь?

— Хочу и стою.

Хупер встал и оглянулся. Он сказал:

— Будешь стоять, один останешься. И чего хорошего? Умрешь тут, никогда не выйдешь.

— Почему это? Я не хуже тебя дорогу найду.

— Надо вместе держаться. А то опасно.

— Все из-за тебя. Это мы из-за твоей дурацкой игры заблудились.

— Заткнись ты. Лучше иди за мной.

Киншоу все стоял. Ему вдруг захотелось повернуть и пойти в другую сторону. Наудачу. Но он пока не понял, хорошо это или нет, что они воду нашли. Еще неизвестно, легче ли будет идти, может, даже наоборот, и ведь мало ли какие еще препятствия встретятся. В лесу они уже начали разбираться, пока шли поверху. А тут все другое.

Пахло паром, сыростью, как в джунглях, и был еще один запах гнилой, сладкий. Нечем было дышать. Киншоу захотелось снова взобраться наверх и потом еще взбираться — выше, выше, на высокий вяз, пока не станет видно небо. Они проторчали тут уже целую вечность. Река лениво текла между крутых заросших берегов.

— Ну, ты идешь или нет? А то ведь я сейчас пойду, Киншоу, и плевать я на тебя хотел.

Киншоу знал, что никуда Хупер не денется. Хупер перепугался грозы. И теперь ни за что не захочет оставаться в лесу один. Киншоу не ответил, но снова пошел за ним, очень медленно.

Они пробирались через заросли вдоль реки долго, может, две мили прошли, и все оставалось по-прежнему. Очень грязно и скользко. Тут не водилось ничего — ни птиц, ни бабочек. Как в темном сыром туннеле. Вокруг вылезших корней рос дикий чеснок и ужасно воняло.

Вдруг Хупер встал как вкопанный.

— Ну, чего там?

— Ничего.

— Чего́ же ты встал?

— Надоело.

— Что?

Киншоу поравнялся с ним. Впереди было все то же — туннель.

Хупер разворчался:

— Никуда мы не выйдем, никуда она не выводит, тут все темнее и темней. Дрянь какая-то.

— Сам же сказал: надо по берегу идти.

— Ну и что? Я передумал.

— Не идти же теперь обратно.

— Почему это?

— Да потому, что обратно вообще не ходят. И там мы ведь тоже не могли выйти из лесу.

— Откуда ты знаешь?

— Ну были же мы там.

— Мы не везде были. Можно опять наверх взобраться.

— Ну давай. Хоть сейчас.

— Нет, тут колючек полно. Хочу обратно.

— Это черт-те куда переть.

— Пусть. Хочу обратно.

— Ну, давай я первый пойду, раз ты боишься.

— Мне тут плохо, Киншоу. Противно. Жуть.

— Ты как маленький. Она же нас выведет, сам сказал.

— Хватит тебе, заладил: сказал, сказал.

— Но ты сказал. Учти.

Киншоу отпихнул его и прошел вперед. Подумаешь, дело большое — Хупер. Он теперь знал, как с ним обращаться.

Покуда хватал глаз, тянулся зеленый туннель. Киншоу это тоже не нравилось, но не обязательно обо всем рассказывать. Раньше он сам чуть не предложил вернуться или подняться наверх. А теперь он хотел только вперед. Решить что-нибудь, взяться и вдруг не кончить — он такого терпеть не мог. Он все любил доводить до конца. И потом — он опять вышел вперед, опять стал главным и уступать свое место не собирался. А Хупер пусть идет за ним, если хочет.

Они снова пошли. Но прошли немного. Река свернула и долго текла под низко нависавшим боярышником. Тут приходилось взбираться повыше, цепляться за корни, за стволы, чтоб не упасть, изгибаться, продираться боком. Но потом кусты кончились, и вдруг они очутились на открытом месте.

Река тут расширялась, растекалась между стволами и наливала заводь. Крутые берега постепенно делались все ниже, и здесь они вовсе сошли на нет, вода сравнялась с землей. Здесь стало гораздо светлей. Росли одни вязы — очень высокие, не частые, и листья только в вышине, у верхушек.

За заводью река опять текла и текла, исчезала, и там, вдали, был густой кустарник.

— Смотри, как бассейн,— сказал Киншоу.

— Вроде. Только маленький.

— Как думаешь, его специально вырыли?

— Не знаю. Нет, наверно. Ой, смотри-ка — следы от копыт. Полно. Наверно, сюда олень приходил.

— Я же говорил.

Они на минуту замерли, почувствовав, что добрались куда-то и теперь непонятно, как дальше быть. Кажется, до конца леса ближе не стало, кругом была чаща.

Потом вышло солнце и наполнило поляну бледным, желто-зеленым светом. Вода в реке и в заводи сделалась совершенно прозрачная.

— Я придумал! Я плавать буду!

Хупер стянул с плеч сумку и швырнул на землю. Он содрал с себя всю одежду и разбросал как попало по траве. Киншоу на него смотрел. Он не двигался. Ему было не до глупостей. А Хупер опять про все забыл и только наслаждался приключеньем. Он голый побежал к реке, мелькнув среди стволов, будто какая-то белая зверюшка, прыгнул в воду, пустив взрывы брызг, и начал плескаться, скакать, танцевать, колотить руками.

— Киншоу, иди сюда! Ой здорово!

Он взбивал руками фонтаны.

— Ну, чего ты? Плавать, что ли, не умеешь? Мировая вода.

Киншоу все не двигался. Он вспомнил яркую, ненастоящую синь бассейна, в котором его заставлял нырять тот мальчик — Тэрвилл.

— Ты что — боишься?

Он подумал: нет, нет, тут же другое дело, тут хорошо. Там было плохо потому, что полно людей и дикий шум, и, если б он утонул у них на глазах, они бы все равно купались, стояли, хохотали, разговаривали как ни в чем не бывало. Он вдруг будто сразу вырос, стал ужасно сильный, могучий, он теперь что угодно мог. Он начал раздеваться, хотя и не разбрасывал вещи, как Хупер. Он их положил аккуратной стопкой на ранец.

Странно было стоять нагишом под открытым небом. Он посмотрел вниз, на свое тело и поджал пальцы на ногах, потому что под них забивались холодные листья. Хупер смотрел, ждал и бил руками по воде. Он начал выть, как дикий индеец.

Минутку Киншоу постоял на берегу. А потом его захлестнула радость, до него опять вдруг дошло, что вот он, Киншоу, стоит здесь,

среди лесов, и опять он почувствовал, как это важно. Он вложил палец в рот, испустил ответный клич и с разгона бухнулся в воду.

Она оказалась просто удивительно теплая, плескалась у него между ног, лизала живот. Сперва он стоял в воде и дрожал от удовольствия. Потом поплыл, опустив лицо в воду. Он открывал глаза и смотрел вниз. Там было темно, зелено и сине. Проплывали рыбы. Он увидел ноги Хупера, они колыхались, как листья какого-то морского анемона. Он сделал бросок вперед.

Они долго-долго стояли в воде. Киншоу думал: не хочу вылезать никогда, лучше этого нет ничего на свете. Они отмыли грязь, в которой вымазались, когда упали тогда с берега, и стали носиться, высоко задирая коленки, орали, плескались. В заводи было глубоко. Киншоу плыл под водой, выныривал, как черепаха, и брызгался на Хупера.

В конце концов солнце спряталось. Хупер уже сидел на берегу и разглядывал ноготь на ноге. Деревья подальше стали темные, почти черные, а вода, бурлившая вокруг Киншоу, вдруг помутнела. Он поежился.

— Я его ободрал,— сказал Хупер.— Об камень ударился.

— Кровь идет?

— Нет, но все равно внизу, откуда ноготь растет, мокро вроде. И покраснело.

— Лейкопластырь хочешь?

— А ты луну с неба хочешь?

— Зачем? У меня правда есть.

— Пластырь?

— Целая коробка. Какие хочешь.

Хупер поднял глаза. И сказал небрежно:

— Ладно, давай.

Киншоу побрел к берегу и вылез.

Хупер сказал:

— Ну, вид у тебя — ой.

Киншоу все еще стоял на четвереньках, с него стекала вода.

— Руки и ноги болтаются.

— А у самого? У всех так.

— Ну да, не так. Ты прямо как марионетка, когда все веревки поотпускали.

У Киншоу кровь бросилась в лицо. Не взглянув на Хупера, он прошел к своей одежде. Зубы у него стучали, руки стали синие и в мурашках.

— Фу ты, вытереться нечем,— сказал он скучно.

Хупер теперь стоял на берегу, хотя и не отрывал глаз от своего пальца. Он сказал:

— Мне холодно.

— Можно костер разжечь,— сказал Киншоу.— У меня спички есть.

— Не надо, опасно, наверно.

— Почему? Натаскаем камней и сделаем вроде печки. В воде полно камней. И потом — тут сыро, деревья не загорятся, ничего не будет. И что-нибудь сварим.

— Что варить-то? У меня только печенье и помидоры. И мятные лепешки. Их не варят.

— Помидоры можно сварить. И что-нибудь поймаем. Поохотимся.

— Это же глупая игра.

— Почему игра? Мы замерзли — это раз, а когда костер — заодно и варят. Мне есть хочется.

— Ну да, что мы тут поймаем? Фига два.

— А что хочешь.

— Ну, например? Да ты костер-то хоть разводил? Умеешь?

— Нет. А чего там уметь? Зажег — и все дела. Ты одевайся давай, а то закоченеешь.

Киншоу свернул трусики и быстро ими растерся. На него напала жуткая дрожь, ему даже стало плохо. Джинсы противно липли к ногам, когда он их натягивал. Он застегнул молнию, нагнулся и до отказа подвернул штанины.

Хуперу он сказал:

— И ты закатай, сейчас за камнями в воду полезем.

В воде было хорошо. Но теперь он вдруг спохватился, что, наверно, баловаться не стоило. Хуперу-то что, ему все шутки, игра, он и грозу забыл, и как он перепугался, и что они заблудились забыл, и вообще как они сюда попали. Киншоу подумал: кому-то надо соображать. Ну, а ему гораздо важней поскорей отсюда выбраться.

Но как оказалось приятно командовать Хупером! Еще вчера, еще даже сегодня утром он себе и не представлял такого, да в общем-то и не хотел. «А теперь,— он думал,— теперь я все знаю про Хупера. Он как маленький. И глупый. И вредный». Киншоу себя считал гораздо взрослей и вообще другим. Ответственней.

Хупер держал в руках плоский камень. Киншоу сказал: «Ну скорей давай». Хупер не ответил. И сразу Киншоу понял, что все он сглазил. Он обернулся. Хупер смотрел на него, держал в руках большой камень, и с него стекала вода. В глазах появилась прежняя хитрость.

— Хватит тебе командовать, Киншоу.

— Ладно, кончай, нам еще костер разжигать.

— А я тебе не нанялся.

Киншоу бросил камень, который сам держал, сел на корточки и стал рыть ямку. Хупер медленно, размеренным шагом подошел с берега.

— Ты кое-что забыл, а? — он сказал.

— Нам много камней таскать. Больших. Еще штук двадцать. Чтобы все как надо.

— Я кой-чего могу сделать, что тебе не понравится. Сам знаешь.

Киншоу снизу взглянул на него с тоской и отвалился на пятки.

— Собираешься ты костер разводить или нет, а, Хупер?

— Не притворяйся, как будто не слышал.

— Хватит умничать. Ты только болтаешь.

— Это я-то?

Нет, Киншоу подумал, нет. Ох, господи, боюсь я его, боюсь.

— Ты меня боишься. Потому и убежал. Ты меня с самого начала стал бояться. И нечего из себя строить.

Киншоу встал и, ни слова не сказав, пошел к реке за новым камнем. И услышал за собой шаги Хупера.

— Сам небось знаешь, что будет, если мы тут ночевать останемся,— сказал Хупер.

— Что будет? Ничего.

— Придется всю ночь костер жечь.

— Ну.— Киншоу поднял камень и на Хупера опять не взглянул.

— Тут мотыльков полно,— тихо выговорил Хупер,— их в лесу всегда много. И здоровенные — учти.

У Киншоу свело живот. В ноздри полезла затхлость Красной комнаты. Хупер увидел, какое у него лицо. И спокойно отошел, пошел к месту для костра.

— Подумаешь, мотыльки несчастные,— заорал Киншоу ему вслед.— Не очень-то я испугался.

Хупер оглянулся и хмыкнул.

«Ничего он мне не сделает, нет, что он мне может сделать? — думал Киншоу.— Просто болтает, дурак».

Но он знал, и Хупер знал, что вопрос не в том, чтобы что-то сделать. Хватит и того, что Хупер сейчас увидел его лицо. А на лице застыл ужас от одной мысли о тогдашнем страхе.

Киншоу захотелось на все плюнуть, махнуть рукой. Ему вечно не везло. Уж как Хупер испугался тогда грозы, а ведь прошло и хоть бы что, и Киншоу знал, что на этом не сыграешь. Он мог, конечно, позлить Хупера, хотя и то кто его знает, да у него и не поймешь, он не покажет виду. Но того страха не вернуть, разве только опять гроза подоспеет или еще какая-нибудь напасть, которая от Киншоу не зависит. А Киншоу совсем по-другому устроен, и Хупер его раскусил, он в самый первый день его раскусил.

Киншоу знал, что ему с Хупером не сладить. Приступы радости, торжества над Хупером — не в счет, они сразу проходили. Да и какая в общем-то разница, кто пойдет по лесу первый. Киншоу на себя обычно не очень надеялся, понимал, что ничего особенно не умеет. И до сих пор ему это было даже все равно. А теперь — нет, теперь заговорила гордость, ему надоело унижаться. Все получалось ужасно обидно.

Они, прутик за прутиком, складывали костер.

— Сколько сейчас времени?

Киншоу вынул часы из ранца. Он совершенно не представлял себе, который час.

— О, поздно. Уже три.

Хупер плюхнулся на камни.

— Что ж теперь будет? Что делать?

— Костер разводить.

— А потом?

— Потом поедим. Я рыбу поймаю. Я же сказал. Наткнем ее на палку, и она зажарится.

— Нет, а после? Как мы отсюда выйдем?

— Пойдем — пойдем и дойдем до ограды. Да мы скоро выйдем, не вечно же нам идти.

— Не скажи. Он большой.

— Он?

— Ну да. Барнардов лес.

— Ладно болтать! Лес — это еще где! А мы в Крутой чаще.

— Ничего подобного. С чего ты взял? Крутая чаща маленькая. А мы вон сколько оттопали.

— Значит, кружим, наверно. Какой же это Барнардов лес?

— Ну а почему нет? Скажи.

Киншоу вздохнул.

— Да потому что сперва надо выйти из Крутой чащи. Я по карте смотрел. Выходишь, проходишь поле, и тогда уже лес.

— Но можно и по-другому пройти.

— Как еще по-другому?

— Где они соединяются. Наверху. И никакого поля, а сразу попадаешь в лес. Там мы и прошли.

Оба долго молчали. Киншоу сел на землю и стал думать. Потом спросил:

— Это точно?

— Точно.

— Ой.

— Я думал, ты знаешь. Это каждый знает.

— Нет.

— Если б Крутая чаща — тогда бы что! Ерунда. А мы сошли с тропинки, когда оленя гнали.

— Все ты!

— Тебя никто не заставлял.

— А теперь мы, может, все глубже и глубже забираемся.

Хупер ворошил палкой листья.

— И мы не знаем, как идти туда, а как обратно.

— Ну да.

— И никак не поймешь. Не узнаешь. Мы неизвестно где.

— Да.

Лицо у Хупера побелело.

— Нас не найдут,— и у него сорвался голос,— хоть даже догадаются, хоть сто человек пошлют, и то не найдут.

Киншоу не ответил. Вдруг Хупер бросился ничком и начал колотить кулаками по земле, рвать ногтями листья. И хрипло, как-то горлом, вопить. И сучить ногами.

Киншоу смотрел на него с испугом. Он сказал:

— Ладно тебе, Хупер. Кончай. Как не стыдно.

Но Хупер его не слышал, он орал во всю мочь и потом заплакал. Киншоу стало совсем тошно, на него уже опять накатывал ужас. Он не знал, что делать,— и вовсе не из-за Хупера даже. Хотелось вскочить и бежать куда глаза глядят, за деревья, но он одумался. Так можно совсем заблудиться, и потом — нехорошо бросать Хупера. Поэтому он встал, нагнулся и схватил его за ноги.

— Хватит! Молчи, молчи, молчи! — Он поддал эти ноги вперед и тряхнул, стукнул об землю — раз, раз и еще. Но без толку: Хупер все вопил и колотился. Его голос отдавался эхом по всей поляне, высоко и гулко.

Киншоу совсем отчаялся, он потянул его, перевернул на спину и ударил по лицу — еще и еще.

— Молчи, Хупер. Молчи! О господи, да перестанешь ты или нет!

Хупер перестал. Он лежал на спине, высоко задрав коленки. Лес притих. Киншоу медленно отошел прочь. Сердце у него бухало. Раньше он Хупера не трогал. Ух, как нехорошо.

Тут же он подумал, что Хупер снова начнет орать или, чего доброго, вскочит и будет драться. Но тот не двигался, долго не двигался. Лес стоял тихо-тихо, и опять вылезло солнце. Потом на дереве, прямо над головой у них, как-то странно, надрывно закатилась птица.

Хупер опять перевалился на живот, уткнулся лицом в землю и заплакал. Он плакал, и плакал, и всхлипывал, и сопел. Киншоу бил ногой по корявому корню, смотрел и не знал, что сказать. Но Хупер, кажется, про него забыл, так что он, наконец, от него отошел и занялся костром.

Он вырыл круглую неглубокую яму, а рядом полукружьем уложил камни, как стенку. В яму он набросал листьев, а потом уложил прутья — колодцем. Киншоу отыскал длинную прямую палку и стал ее обстругивать: делать вертел. Он сидел на земле по-турецки и орудовал ножом. Тишина опять была мертвая, только хлюпал Хупер и шуршала вода.

Киншоу старался не вспоминать про то, что сказал Хупер. Может, это и неправда и ни в каком они не в лесу. И все обойдется. Они тут еще дня не провели, и еды у них полно. И скорей всего они сейчас где-то совсем недалеко от опушки. Но если уж ночевать, так самое лучшее — тут. Вода есть, огонь будет. Если дождь, можно спрятаться в кустах. Вообще место тут хорошее. И еще он радовался, что держится, все обдумывает и не распускает нюни, как Хупер.

И вдруг он вспомнил про веревку. И ему даже странно стало, как это он про нее сразу не подумал. Он положил на камни обструганную палку и пошел к ранцу. Сзади раздался шум — это насилу поднялся с земли Хупер. Сперва Киншоу на него и не оглянулся. Он разглядывал веревку. Моток был большой, крепкий. Наверное, длиннющая веревка.

Когда он повернулся, он увидел, что Хупер скорчился над водой и его рвет. Киншоу заволновался. Хупера перестало рвать. Он вытер рот рукавом.

— Ну как, все? — спросил Киншоу.

Хупер распрямился. Его передернуло. Он все смотрел вниз, на воду. Киншоу подошел ближе.

— Хупер, знаешь чего. Я, наверно, пойду погляжу, может, опушку найду.

Хупер тут же уставился на него в испуге. Лицо сделалось серое, как прокисшее молоко.

— Нет, ты заблудишься.

— Не заблужусь. Я привяжу к дереву веревку и буду все время разматывать. Кто-то в истории так делал, они тогда от быка спаслись. Или от кого-то там еще. В общем, это сила. Может, мы даже у опушки, а сами не знаем. Я пройду во все стороны и погляжу, может, где есть просвет. В общем, мы лучше разберемся, где чего. Так будет правильно.

— По-моему, глупости все это. А сам говорил, костер разведем, варить будем.

— Вот вернусь — и будем. Хочешь — пока разжигай.

Хупер посмотрел на воду.

— Может, я рыбу поймаю.

— Ну и порядок.

— Киншоу, только ты все равно не уходи.

Киншоу засомневался. Он подумал: боится один оставаться. И сказал:

— Я недолго.

— Мало ли что будет. Вдруг веревка оборвется.

— Я все равно вернусь.

— А вдруг...

— Ну что, что вдруг-то?

— Не знаю. Мало ли.

— Нет, ты скажи!

— Лес ведь. Мало ли чего.

— Ничего с тобой не случится. Вот посмотришь.

Хупер сел на корточки и стал водить по воде рукой, нашаривать рыбу.

— Ладно. Иди, раз ты такой дурак. Заблудишься и пускай, мне-то что.

Киншоу сказал:

— Я тут спички для костра оставил.

Хупер даже не взглянул в его сторону.

Он зашагал прочь от реки под прямым углом, к деревьям. На краю поляны он привязал веревку к ветке, на шесть узлов. И пошел, а веревка разматывалась.

Впереди были сплошные деревья. Они росли плотно, а чуть подальше опять мешались с ежевикой и пышным подлеском. Здесь пока было еще светло, а потом куда темнее. Значит, какая уж там опушка. Стояла тишина. Меньше пахло сыростью, чаще пролетали птицы и больше пели. Он свернул влево, и поляна скрылась из виду, но ниче-

го — веревка сзади шуршала по стволам. Впереди начиналась непролазная заросль, и он решил туда не соваться: вдруг порвется веревка. Куда ни посмотришь — лесу не было конца. Ему стало тесно и душно, небо застила густая зеленая темень.

Кролик сидел на голом корне чуть не под ногами у Киншоу. Киншоу остановился. Он подумал: можно его убить. И мы его зажарим. Он и перочинный ножик захватил. А то — чего бы он зря болтал насчет охоты. Если кончатся запасы в ранце, а они все не найдут дорогу, им *придется* охотиться.

Кролик его не замечал. Киншоу не дыша подошел еще на шаг. Зверек повернул голову и пугливо на него посмотрел. Он увидел, как у кролика дрожат ноздри. Глазки были очень блестящие и почти прозрачные. Киншоу бросился вперед, упал на кролика и прижал его к земле. Мягкое тельце задрыгалось, затрепыхалось и вдруг стихло. Оно было теплое. Киншоу вспомнил, как он трогал того, другого кролика. Он осторожно отвел руки, потом крепко обхватил кролика с обоих боков и приподнял. Лапки отчаянно задергались, и глазки, он увидел, налились кровью и выкатились от ужаса. Он понял, что не может его убить. Легче уж убить Хупера.

Он нагнулся и отпустил кролика. На мгновенье тот так и замер, застыл, и на шерстке были примятины от его ладоней. А потом прыгнул в кусты, взбаламутив сухую листву.

Тогда Киншоу свернул вправо и шел, пока хватило веревки. Его встречали дубы с огромными стволами, морщинистыми и серыми, как слоновьи ноги. А среди них, несчастные, корежились деревца, загубленные теснотой и тьмою, все в лишаях и, как в светлую замшу, одетые мхом.

Киншоу думал: можно уйти. Бросить веревку и уйти куда глаза глядят.

Он разволновался от этой мысли. Он будет один-одинешенек, вольный как ветер, без всякого Хупера и даже без всякого ранца. Он ни капли не боялся. За день он убедился, что в самой природе для него нет ничего страшного, с этим он сладит, он находчивый. Он уже хотел остаться один в лесу, ему открылся совсем новый мир.

Но вот Хупер... Киншоу присел на траву и вспомнил, как того тошнило в воду. Хупер совсем не может один, тем более если что случится. Он от страха в штаны наложит, совсем ошалеет. И начнет носиться по лесу как полоумный. Киншоу понимал, что его нельзя бросить. Зачем-то Хупер за ним увязался. Хорошего мало, ведь он хотел от него избавиться. И потом, он еще боялся Хупера, он никак не мог его раскусить. Хупер хитрый, такой подведет, такому нельзя верить.

И все равно Киншоу чувствовал, что он за него отвечает, и беспокоился за него. Он понял, что кое в чем важном он лучше разбирается, и если уж кто может найти дорогу из лесу, так только он. А сбежит он — и с Хупером может ужас что случиться, и он будет виноват.

Он встал и пошел обратно, сматывая веревку в моток. Так он шел долго. Он думал: Хупер уже поймал рыбу и она, наверно, жарится на костре. Он проголодался. Ему вдруг ужасно захотелось поесть этой рыбы. Хупер, конечно, из всего сделает игру, а в общем-то — и правда, чем плохо?

Он дошел до поляны, но Хупера сперва не заметил. Костер так и стоял незажженный. Он подумал: «Ох, черт, уперся один, еще заблудится, а потом ищи его. Ох, черт».

Он сложил ладони рупором:

— Хупер!

Потом он заметил, что над краем берега торчит нога. Рыбу, значит, еще ловит.

— Хупер, толку от тебя чуть, я бы уже десять штук наловил, больше даже, а ты...

Он осекся.

— Ох, господи!

Хупер лежал ничком, и ноги торчали над берегом. На воде размывалось кровавое пятнышко, кровь, кажется, текла у него из головы.

— Ох, господи, господи!..

Киншоу встал на коленки и изо всех сил потянул Хупера за ноги. Он оказался здорово тяжелый, и его заклинило, не сдвинуть. Тогда Киншоу скользнул вниз, зашел в воду и поддел руками голову Хупера. На лбу оказалась большая шишка — он расшибся об камень. Из шишки и шла кровь. Но этот-то камень и держал лицо Хупера над водой. Киншоу, пыхтя, перевернул Хупера и потащил наверх. Он тянул его за ноги, а другой рукой придерживал, чтоб не скатывался. Он совсем замучился и, когда вылез из воды, даже заплакал.

Хупер лежал на земле совсем тихо. Его лицо странно светилось. Но кровь уже не текла. Киншоу не знал, что делать. Хупер вряд ли особенно наглотался, но на всякий случай полагалось выкачать из него воду. И вообще непонятно было, дышит он или нет.

Киншоу кое-как перевернул его на бок, стал стучать по спине и растирать ее широкими кругами — еще и еще. Все без толку. Потом наконец-то Хупер дернулся, перекатился на живот и стал дико давиться, хрипеть. Киншоу снова его перевернул и тут из носа и изо рта у него хлынули вода и рвота. Глаза у Хупера открылись и тут же закрылись.

Киншоу что-то слыхал насчет того, как надо дуть в рот, качать вверх-вниз руки, но подумал, что раз Хупера вырвало, значит, он дышит. Глаза у него опять выкатились.

В конце концов Киншоу, чуть не волоком, донес его до костра. Рубашка на Хупере и джинсы сверху промокли, хоть выжимай, и Киншоу сперва никак не мог их стянуть — Хупер был весь такой тяжелый. И они к нему прилипли. Потом Киншоу сообразил, как быть. Сам он тоже промок, но свитер и куртку он снял, когда ходил искать дорогу. Он натянул на Хупера свитер и укрыл его курткой. Больше он ничего не придумал. Хоть бы кто-нибудь еще тут оказался. Он испугался, что Хупер умирает.

«Если б зажечь огонь,— он думал,— можно обсохнуть». Но он весь дрожал, и с него капало на коробок, и он никак не мог зажечь спичку. Когда одна наконец-то зажглась, он лег и стал дуть на прутья, чтоб загорелись.

Он не сомневался, что Хупер умрет. Может, он только что упал, а может, сразу, когда Киншоу ушел с поляны. Он изо всех сил дул на огонь. Больше ему ничего не оставалось. Смотреть на Хупера он боялся, и сам он ужасно продрог.

Если Хупер умрет, он виноват будет. Не надо было уходить. Ведь говорил ему Хупер, что надо держаться вместе. «Одному опасно».

— Господи, господи!— У Киншоу вырвался задушенный всхлип.

Но огонь уже занялся, вверх от прутиков побежали зеленые и рыжие струйки. Пришлось отодвинуться от дыма.

Если Хупер умрет, если Хупер умрет, если... Он прямо не знал, что тогда будет. Он один останется — это уж точно. И зачем его сюда понесло, топал бы себе по дороге и уже бы добрался, куда надо, и ничего бы с ним не случилось. Хупер бы его не догнал, и все было бы хорошо. Пошел шестой час. Он смотрел, как пляшет огонь, и старался унять слезы.

Когда он услышал, как Хупер давится рвотой, он весь дернулся, будто у него за спиной зашевелился мертвец.

Хупер сидел, нагнувшись вперед. Киншоу подошел и сел на корточки рядом.

— Ну вот, ну вот и ничего!

Глаза у Хупера были открыты, но бегали-бегали, не могли остановиться.

Киншоу сказал:

— Видишь, костер горит. Двигайся поближе. Все нормально. Ты поправишься. Господи, я уж думал, ты умер, ты прямо как мертвый лежал.

Хупер поджал коленки, съежился. Он сказал:

— Я чуть не поймал рыбу. Правда. Я почти поймал, Киншоу, ты не думай, я ее чуть не поймал, только не так ухватил, она и вырвалась, а я...

— Да ладно тебе. Подумаешь. Ну ее, эту рыбу. Ты лучше ложись, уснешь, может.

— У меня голова болит.

— Ну да, ты же об камень расшибся. Но я посмотрел, у тебя в общем-то ничего страшного.

— И горло болит. Я пить хочу. Я хочу пить.

Хупера опять затрясло.

— Я тебе руками зачерпну...

— У меня кружка есть. Я принес. Она в рюкзаке.

Киншоу не сразу поднял рюкзачок, который так и валялся, где бросил его Хупер, когда полез купаться.

Кружечка оказалась крошечная. Киншоу вытряхнул рюкзак на траву. Оттуда вывалилась еда, про которую уже говорил Хупер: печенье, помидоры, и конфеты, и соль в бумажном пакетике. А еще карта всей Англии, фонарик, карандаш и клейкая лента. Видно, Хупер второпях пошвырял в рюкзак что попало. На самом дне Киншоу нашел три маленьких белых таблетки. Они немного запачкались. Он их понюхал, потом лизнул. И решил, что это аспирин.

— Знаешь чего, я дам тебе горячего попить. Поставлю кружку на огонь, и вода закипит. И я аспирин нашел.

— Меня от него рвет.

— Ну, сильней-то уж все равно не вырвет. Тебе полезно. У тебя голова пройдет. Я знаю, я положу туда желе, у меня кубиками, оно растает и получится как сахар.

Киншоу сам пришел в восторг от своей затеи, и у него отлегло от сердца, потому что Хупер, оказывается, и не думал умирать. Он побежал к реке и зачерпнул кружкой воду. Потом он вытащил из своего ранца пару носков и один намотал на ручку кружки. И осторожно поставил ее на огонь.

Хупер сказал:

— Ты сто лет пропадал. Нашел дорогу?

— Не знаю.— Он решил лучше соврать. Боялся, что Хупер снова начнет вопить и кидаться.

— Нашел. Я знаю, ты нашел. Киншоу, скажи, мы где?

Киншоу сидел на корточках у костра и молчал.

— Только попробуй удрать. Только попробуй еще уйти искать дорогу. Я тебя убью.

Киншоу поглядел вокруг. Он сказал мирно:

— Успокойся. Если хочешь знать, никакой я не нашел дороги. Я понятия не имею, где мы.

И снова стал следить за водой в кружке.

Глава восьмая

— Киншоу, уже темнеет.

— Вижу.

— А сколько времени?

— Свои часы иметь надо. Я не нанялся тебе время говорить.

— Папа мне на рождество часы подарит. Золотые. С римскими цифрами. И число будут показывать. И в темноте можно смотреть. Дико дорого стоят. Пятьдесят фунтов, что ли. Даже дороже.

— Ври больше. Таких и часов-то не бывает.

— Нет, бывают, бывают! И за сто фунтов бывают, и еще дороже. Много ты понимаешь!

— Никому отец не станет часы за пятьдесят фунтов покупать.

— А мой купит, потому что он говорит, я для него важней всего на свете. Он мне что угодно купит.

Киншоу умолк, сраженный самонадеянностью Хупера.

День выцветал и выцветал, он высасывал краску из кустов и деревьев, пока все кругом не стало как старая фотография — блекло-бурым. Было очень тихо. И еще совсем тепло.

— Ну ладно, сколько времени?

— Девятый час. Почти двадцать минут.

Киншоу почесал голову.

— У тебя гниды.

— Это комары кусаются.

— А надо сделать костер побольше, и они отстанут. Комары огня не любят.

— Нет, это они от дыма дохнут.

— Ничего они не дохнут, просто они не любят огня и улетают.

— Нет, дохнут, даже видно, как падают. Они задыхаются.

— Еще мотыльки налетят.

— Ну, хватит. Дались тебе эти мотыльки.

— Если хоть один мотылечек по тебе поползет, ты сразу упи-саешься со страху.

— Я говорю — хватит.

— Ага, испугался!

— Отстань.

— А по правде?

— Что?

— Боишься?

— Чего мне бояться?

— Ну вообще. Вот темно будет.

— Не боюсь.

Хупер всматривался ему в лицо и соображал, врет Киншоу или нет. Он сидел у самого костра.

— У тебя шишка вскочила. Темная.

— Все из-за тебя.

— Что глупости болтаешь. А болит?

Хупер поднял руку и внимательно ощупал шишку.

— Когда надавишь — больно.

— Ой.

Киншоу все расчесывал комариные укусы.

Он сам поймал рыбу. Сперва он собирался проткнуть ее ножиком, но когда вытащил из воды — не смог. Еще не сразу умрет, и вдобавок он в крови выпачкается. Если, конечно, у рыб есть кровь. Тут он сомневался. Непохоже вроде.

Рыба попалась большущая, в темных полосах поперек живота.

Киншоу пришлось просто оставить ее колотиться на траве, а самому отойти.

— Где она?

— Сейчас умрет.

— Надо было разрезать.

— Сам попробуй.

— Мне плохо. У меня голова болит.

— Ах, утрись слюнявчиком!

— Я чуть не умер, потому что ты ушел и меня бросил, вот умер бы я, и ты был бы убийца, нечего одному в лес уходить.— Хупер все больше себя жалел и под конец даже всхлипнул.

— Отсохни, ты же не умер, подумаешь, ударился.

— Сволочь ты.

Киншоу вытаращился на него, в бешенстве от такой несправедливости. Но он не знал, как обрезать Хупера, и смолчал.

— Рыбу не оставляют задыхаться. Это все равно что убийство. Это ужас.

— Почему? Не все равно — так или ножом?

— Нет, не все равно, каждый тебе скажет. Так ей хуже. Ты сволочь.

Киншоу отошел за валежником для костра. Когда он подошел к рыбе, она была уже дохлая. Он старался не думать о том, как она билась и извивалась без воды. Он ее подобрал. Она была тяжелая и скользкая.

— Теперь голову надо отрезать.

— Нет, не буду я, я ее палкой проткну. Получится вертел. Так делают.

— А кишки! Их же не едят.

Киншоу засомневался. Потом сказал:

— Мы с нее будем куски срезать. А кишки — пусть. Мы до них не доберемся.

— А вдруг она ядовитая?

— Ядовитых рыб не бывает.

Но рыба получилась невкусная. Кожа на ней вся сгорела, а сразу под кожей она осталась холодная и сырая. Хупер откусил кусок, чуть-чуть пожевал и выплюнул обратно в траву. Киншоу больше съел. Но в конце концов загорелась палка.

— Дикая гадость. Ты, Киншоу, ничего не умеешь.

— Жарил бы сам.

— Ты должен за мной ухаживать. Я больной.

— Ах, какая малышка, тю-лю-лю!

— Вот погоди, погоди...

Киншоу открыл свой ранец и рюкзак Хупера, и они съели немного печенья и почти все помидоры.

— Завтра буду паек выдавать,— сказал Киншоу.— Всю еду буду делить. Ее ненадолго хватит.

— А потом что?

— Потом мы уже выйдем.

— А если нет?

— Выйдем!

— И зачем мы только сюда пришли!

— Тебя никто не просил, сам увязался.

— Это мы из-за тебя заблудились.

— Ничего подобного. Это ты начал носиться как идиот.

Вдруг, сразу, погас день. Только что Киншоу смотрел наверх и видел в дальней высоте светлые щелки неба, а через минуту они исчезли. Трещал и прыгал огонь.

— Они уже домой едут,— Хупер сказал.— В поезде сидят.

— Наверно.

— Скоро нас искать начнут.

— Нет, не будут они. Сегодня не будут.

— Почему это? Еще как будут.

— А с чего они догадаются, что нас в постелях нет? Вернутся поздно и не посмотрят даже.

— Миссис Боуленд скажет.

— Нет, она в четыре уходит. Она подумает, мы гулять пошли или еще куда. Ей-то что? Никто и не узнает.

— Твоя мать всегда приходит к тебе прощаться. Знаю. Сам слышал. Целует на ночь, как маленького.

— Заткни фонтан. Вовсе она не всегда приходит.

— Нет, всегда. Мм. Чмок, чмок. Тю-лю-лю. Ах ты моя пуся, ах ты моя киса, мой паинька. Мамочка любит свое солнышко. Баю-баюшки-баю, спи-усни. И так каждый вечер.

— Ну да, у самого-то матери нет!

Но Хупер и бровью не повел.

— А на кой она мне?

— Ну ты скажешь!

— Когда отец есть — лучше. У кого нет отца, тот дерьма не стоит.

Киншоу встал и подошел к костру поближе. Хупер на него посмотрел. В правой руке Киншоу держал длинную толстую палку. На секунду оба замерли. Он увидел, как у Хупера вылупились глаза.

— Попробуй только стукни!

Киншоу поглядел на него с презреньем и швырнул палку в огонь. Пламя взвилось и бросило тень Киншоу в траву.

— Ты отодвинься-ка, а то еще загоришься.

Но Хупер все сидел, уставясь на пламя. Потом, будто между прочим, спросил:

— Твоя мать много за мужиками бегала?

— Да ты что-о?

— Ну, она же бегает за моим отцом.

У Киншоу кровь бросилась в лицо. Его так и обожгло, все внутри горело. Он подумал: «Дурак я, надо было его треснуть, раз, раз, всю башку бы ему расшибить».

А Хупер оперся на локоть и смотрел на него в пляшущих бликах костра — нахально, со злорадной ухмылкой.

— А думаешь, зачем вы сюда приехали? Она на моем отце жениться хочет. Он богатый.

— Врешь, врешь, врешь! Подумаешь, твой отец, да он ей нисколько не нравится. Она его ненавидит просто.

Хупер улыбнулся.

— Ты кой-чего не понимаешь, а я...

— Чего ты понимаешь-то?

— Какая разница? Уж не сомневайся.

— Больно ей нужен твой отец.

— Слушай, Киншоу. Женщины все такие. Если она без мужа, она ищет, кого бы подцепить.

— Зачем?

— Ну, чтоб деньги ей давал и чтобы дом был и всякое такое. Вот зачем.

Киншоу медленно побрел от костра прочь. Ему надоело спорить,

слушать разные глупости. Это Хуперу лишь бы спорить. И все — правда, он знал, что все правда.

Ох, как он ненавидел теперь маму, больше даже, чем Хупера. у него все как-то жутко сжалось внутри. Ну вот, и Хупер знает. «Ты кой-чего не понимаешь, а я...»

И что тут остается? Только сбежать. Все папа виноват, не умер бы — и не началось бы, что вечно у них нет денег и надо жить по чужим домам. В школе и то не было покоя. Там пронюхали, что он — Н. П. Г.— на попечении государства, то есть уже не платит за ученье. Мама сама тоже много ему напортила. Являлась в школу на актовые дни, на соревнования, вся в серьгах и в жутких этих своих блестящих платьях и мазалась помадой на глазах у изумленной публики. Брейс прямо в глаза ему сказал: «Ну, твоя мать — вообще».

Лучше б она умерла вместо папы.

Тьма стала плотная, как войлок, все кругом окутала, он боялся взглянуть туда, где деревья. Теперь он дождется — что-то случится, раз он так подумал про маму. Когда кому-нибудь пожелаешь смерти, тебя как-то услышат, и тогда ты дождешься. Что-то случится. Неизвестно что. Но вот он опустил глаза и увидел при свете костра бородавку на левой руке. Так что уж точно.

Хупер уснул. Он свернулся калачиком и сосал большой палец. Киншоу, из-за ссадины, отдал ему свою куртку вместо подушки.

После того как вытащил Хупера из воды, он почти перестал на него злиться. Хупер сделался как-то важнее: ведь он чуть не умер. Он еще как мог умереть, если б только вода дошла до лица или если б он посильней ударился. Может, он даже еще и не выживет. Когда вымокнешь, ничего не стоит схватить воспаление легких. Или с головой от удара что-нибудь будет. Ничего неизвестно.

Киншоу уже стал думать: мало ли что Хупер болтает про маму, не все ли равно. Хупер вредный, он вечно спорит, как дурак, как маленький, или норовит сказать или сделать такое, чтоб его напугать. Ладно, чего уж, раз вместе заблудились. Связаны одной веревочкой. И больше никого нет.

Хупер ворочался во сне, сучил ногами. И все сосал большой палец. Киншоу на него смотрел. «Уорингс», Красная комната, мама и мистер Хупер, ненависть как будто были сто лет назад, он почти ничего и не помнил. Все там, за лесом, было как будто ненастоящее.

Костер догорал. Он стал красный как кровь и совсем низкий. Потом начались звуки. Далеко-далеко взвыла лисица. Киншоу подумал: как волк. Ну да, лисы похожи на волков, но они не такие опасные. На новое завыванье ответили тявканьем, уже близко.

Он подумал: «Глаза, глаза, сейчас засверкают глаза». Он озирался. Сплошная темень. Ничего. Но потом по лесу пошло странное кочевье, шорохи, шелесты, всплески. Скрипели ветки. А Хупер спал, только время от времени ворочался и постанывал.

Киншоу подумал: вот бы сунуть голову под одеяло. А так — хоть жмурь глаза до боли, все равно не спрячешься, и чуть их приоткроешь — смотришь в темноту. Одеялом бы можно укрыться, заслониться от всего. И будь что будет.

По лесу кто-то колобродил. Киншоу обмирал. Он без конца оглядывался. Костер бросал тени и редкие вспышки во тьму. А то совсем убывал, и прутья осыпались нежными кучками пепла.

Киншоу опять лег, стащил с себя свитер и натянул его на лицо. Но оказалось — ничего хорошего, трудно дышать. Он немного полежал так, нюхал собственный душный, горячий запах и ничего не слы-

шал. Но скоро пришлось высунуть голову и глотнуть теплого ночного воздуха. Потом он уткнулся лицом в ладонь, ухом в плечо, а другой рукой прикрыл другое ухо. Снова тявкнула лисица. Он все слышал. Вот сова зловеще прошумела крыльями и припала к траве, высмотрела там что-то. Они раньше видели, как ястреб догнал в воздухе птичку, поймал, схватил когтями и удушил прямо на лету.

Потом в лесу стало очень тихо.

И тогда у Киншоу все захолонуло внутри. Захотелось плакать. И не к кому пойти, некому сказать. За Хупером ухаживать надо. Самим отсюда им ни за что не выбраться, и, наверно, их никогда не найдут. Так они и умрут здесь. Он вскинулся — испугался, как бы не погас костер. Спичек мало осталось.

И еще он думал про маму и мистера Хупера. На кой мы им сдались. Бросят нас, и дело с концом. Правда, Хуперу отец говорил, что он для него важней всего на свете. Да кто его знает. Все ведь меняется. Наверно, нет никакой надежды.

Он опять услышал, как кричит сова. И еще долго не мог уснуть.

Он проснулся, когда тьма и не начинала редеть. Он тут же сел и открыл глаза. Сердце у него прыгало. Он сразу вспомнил, где он. И с чего это он проснулся? На поляне было очень тепло и очень тихо. Костер совсем догорел, только красно светились головешки. Киншоу кое-как поднялся и стал размахивать руками — они у него затекли. И тут он услышал Хупера.

Тот лежал на боку, а теперь бросился навзничь и понес, понес что-то жалобное и несуразное. Голова моталась по земле из стороны в сторону.

— ...Не надо, не надо. Нет, нет! Это нечестно, нечестно, ох, не надо... Мамочка! Мамочка! Мамочка!.. — Вдруг причитанье пошло на крик, и он сел, не просыпаясь, и начал колотить ногами.— Мамочка! Мамочка! Мамочка!

Киншоу подошел и встал рядом на коленки.

— Проснись,— сказал он, сперва неуверенно, потом гораздо громче.— Все нормально, Хупер, да ты проснись! Все нормально. Ну! Просто мы с тобой в лесу. Это же я, посмотри. Хупер! Проснись.

Хупер все кричал. Лицо у него горело — и даже шея. Голос эхом отдавался от деревьев и далеко раскатывался по лесу. Киншоу стало страшно.

— Не надо, не надо, нет, нет!

Киншоу не знал, что делать. Он нагнулся и шлепнул Хупера по лицу — раз и другой.

— Молчи!

Пощечины вышли звонкие. Он подумал: «Вечно я его луплю». Он даже сам испугался, вскочил и отбежал.

Хупер умолк. Он открыл глаза и сперва дико озирался, а потом заплакал. Киншоу снова подошел.

— Слушай, все хорошо, я тоже не сплю.

Хупер взглянул на него не соображая, в каком-то недоуменье. Потом снова лег и закрыл рукой глаза.

— Мне жарко. Голова болит. Мне жутко жарко.— Слезы потекли между пальцами. Он стал сбрасывать джемпер.

— Ты не надо лучше.

— Жарко, не могу, я весь мокрый.

— Но ведь же ночь, ты простудишься.

Хупер постанывал.

— Тут одна штучка аспирина осталась,— сказал Киншоу,— я воды принесу. Может, тебе лучше станет. Может, уснешь.

Хупер не ответил. Киншоу взял жестяную кружку и сквозь тьму пошел к реке. Он встал на коленки. С реки поднимался чудесный дух прохлады, и сладко и мокро пахла трава. Вода журчала преспокойно, мирно. Он растянулся на земле, лицом в траву, и закрыл глаза. Его пробрал холод. На дереве ухнула сова, но теперь он нисколько не испугался. И опять все стихло.

— Киншоу! — Хупер чуть не плакал со страху.

— Иду!

Он зачерпнул кружкой воду и немножко отпил, а остальное выплеснул на лицо и на голову. Лечь бы в реку и лежать и лежать, а вода пусть течет и течет.

Он зачерпнул еще кружку, нашел в рюкзаке последнюю таблетку и дал Хуперу. Потом поправил костер. Валежник, который он натаскал с вечера, почти весь кончился.

— Мне жарко,— сказал Хупер снова.

— Наверно, у тебя температура. Поэтому.

— У меня зимой воспаление миндалин было. В школе. Дико высокая температура была.— Он макал в кружку пальцы и мочил лицо.

— Ничего, обойдется,— сказал Киншоу. Но сам он в этом сомневался.

Костер почернел, потому что новые сучья снизу еще не занялись. Киншоу сидел у костра, он слышал голос Хупера, но его не видел. Он сказал:

— Если к завтраму не выздоровеешь, придется тут остаться.

— Ну вот еще.

— А чего без толку во все стороны тыкаться?

Хупер шмыгнул носом.

— В общем-то, за нами все равно придут. Даже лучше сидеть на месте, так нас найти легче.

— Не найдут они нас. Он на сколько миль тянется, лес этот. Он же громадный. Где уж тут найдешь.

— Собак пригонят.

— Каких еще собак?

— Ищеек. Из полиции.

— Думаешь, они в полицию заявят?

— Могут и заявить.

Сам-то помнил, что он вчера решил. Что мама и мистер Хупер искать их не станут. Он и сейчас так думал.

— Ох и влетит тебе, когда нас найдут,— сказал Хупер.— Все ведь из-за тебя.

Киншоу вздохнул. Ветер шептал в листве и не приносил прохлады. Вот он стих, и не осталось ни шороха, вообще ни звука.

Хупер спросил:

— Что делать будешь?

— Когда?

— Когда за нами придут. Снова удерешь?

— Не знаю. Не думал пока.

— Погоди, тебя еще в колонию упрячут.

— За что? Что я сделал?

— За то, что сбежал.

— Ну и подумаешь, кому какое дело, если человек сбегает?

— Нет уж, извини. Возвращают, как миленького. И мы из-за тебя заблудились.

— Я же не нарочно.

— И меня в лес затащил.

Киншоу так и подскочил от ярости.

— Врешь ты все, врун проклятый! Неужели ты такое будешь говорить!

— И скажу.

— Да кто тебе поверит? Ты сам за мной увязался, больно ты мне нужен, я от тебя отделаться хотел.— Он чуть не расплакался с досады. Мало ли что Хупер наплетет, и ему могут поверить. Просто смех, если они поверят, будто он подбил Хупера бежать. Просто смех, а все равно могут поверить.

— Я убежал сам по себе,— сказал Киншоу,— а ты просто обезьяна несчастная, и тебе больше всех все надо.

— А вот и нет. И мне тут не нравится. Хочу домой. Не хочу потеряться.

— Да утрись ты, плакса! Думаешь, ты умный больно, привык тут командовать. А сам прямо как маленький.

— Хочу домой!

Киншоу к нему подошел. Ему уже стало невмоготу, но он сказал, даже мирно:

— Брось ты, ну чего ты такая зануда? Хватит нюни распускать. Какая разница — как мы сюда попали? Главное — мы тут и заблудились, значит, надо ждать, пока кто-то придет. Просто ты больной, вот тебе и страшно. Это от температуры.

— А вдруг я умру?

— Не умрешь.

— Ну, а вдруг? А, Киншоу? Что тогда?

Киншоу уже и сам про это думал. Что они оба умрут. Но вот если выговорить такое вслух — получается дико.

— Глупости. Ну, голову расшиб, ну, вымок. От этого не умирают.

— Мне плохо. Меня знобит. Я замерз.

— На вот, надень мой свитер.— Он быстро стянул с себя свитер и бросил на землю.

— Он пахнет,— сказал Хупер,— тобой пропах.

— Надевай. А потом еще куртку наденешь. Мне не холодно. Я у костра погреюсь.

Он увидел, что Хупер весь дрожит. Он стал бледный, как смерть, а глаза так и горели в темных глазницах.

— Киншоу...

— Чего?

— Не уходи.

— Я сказал, мы тут останемся.

— А вдруг ты передумаешь. Ты не передумаешь, нет? Не уйдешь опять искать эту дорогу?

— Нет, сейчас точно не уйду.

— Нет. Совсем. Я не хочу один.

— Может, утром. Погляжу с другой стороны. С веревкой.

— Нет, не надо. Не бросай меня тут.

— Ничего с тобой не будет.

— Нет, нет, нет! Останься. Ты обязан! А то я все скажу. Что ты ушел и меня бросил.

— Ну ладно.

— Что?

— Не пойду.

— Честное слово?

— Да.

— И зачем я только за тобой пошел?

— Ну, теперь-то чего уж.

— Ты не можешь уйти и меня бросить.

— Я же сказал.

— Тогда почему я не слышал?

— Не уйду. Ты прямо как маленький.

— Я спать не буду, буду за тобой следить, глаза не закрою, и ты никуда не уйдешь — я все увижу.

— Я же сказал: не уйду, не уйду, не уйду. И хватит сопли распускать.

— Нет, ты скажи: «Даю честное слово». Ну!

У Киншоу лопнуло терпенье. Он ведь уже дал честное слово.

— Нет, ты скажи, а то не считается. Ну, скажи!

Киншоу посмотрел на него даже с интересом. Он понял, что Хуперу плохо. Что он перепугался. С ним ужас что творилось. Он его таким еще никогда не видел. Но все равно.

— Слушай, ты всегда такой трус? И в школе?

— Нет, не трус, никакой я не трус. Просто я тебе говорю, что́ ты должен сказать, и все.

— Ты струсил.

— А сам-то?

— Но я не стану реветь, как ты. Трясучка несчастная.

— Ничего не трясучка. Я тебя ненавижу.

Киншоу подальше запихал в костер большой сук. Он уже сам удивлялся, что это на него нашло, зачем надо было подначивать Хупера, свою власть проверять, что ли. Сейчас Хупер и так поджал хвост. Просто захотелось лишний раз в этом убедиться. И тошно стало, что Хупер так хнычет и клянчит.

Но тут Хупер сказал тихо:

— Если ты смоешься, а они придут и меня найдут, а потом тебя найдут, я тебя убью, я...

— Ну — что?

— Ничего. Вот погоди.

— Ах, напугал!

— Еще как напугаю. Уже напугал. И убежал-то ты со страху.

— Ври больше!

— Да, со страху. Плакал, когда ворону увидел, несчастную птицу какую-то! Плакса-вакса!

— Отцепись.

— Если только удерешь...

— Ох ты, господи, да сказал же я тебе, что убегать не собираюсь.

— А тогда дай честное слово.

Киншоу вскочил. Его уже мутило от одного голоса Хупера. Он заорал:

— Заткнись, слышишь ты? Заткнись! Я тебе башку расшибу, всю морду разукрашу, если ты сейчас же не заткнешься!

Хупер от изумленья сразу смолк. Он приподнялся на коленки и хотел отползти. Киншоу сел на него верхом.

— Ну, теперь заткнешься?

— Да. Я...

— Только пикни еще — изобью. Ты больной, так что я тебя одной левой сделаю. Заткнись лучше.

— Нет, ты не станешь, ты не будешь... — И Хупер опять заревел от страха.

Киншоу секунду смотрел на него. Ему хотелось его стукнуть. Потом он повернулся и зашагал прочь. Он испугался того, что натворил, испугался, что у него вырвалось такое. Он ведь чуть не излупил Хупера, чтоб только не вредничал, не ныл, не приставал. Он сам ужаснулся, что дошел до такого бешенства.

Он побрел по поляне, поддавая ногами корни, вороша листву. Где-то рядом какая-то зверюшка хрюкнула, а потом взвизгнула, предупреждая своих.

Немного погодя он медленно побрел обратно, растянулся возле костра и глядел в его красное нутро, пока глаза не разболелись. Он теперь был как будто весь пустой, но зато успокоился. Не тронет он Хупера. Потрескивал, полыхал костер. Хорошо возле костра. И возле реки хорошо. Правда, он отдал Хуперу все свои вещи, так что сучья и сухие листья кололись через рубашку и джинсы.

Он окликнул:

— Хупер?

Тот не ответил.

— Как ты там?

— Заткнись.

Киншоу дрогнул. Ему стало стыдно. Он вспомнил, как Хупер кричал: «Мамочка, мамочка». Его это особенно поразило.

— Да не стал бы я тебя бить.

И сразу он понял, что теперь — все, опять он отдал мяч Хуперу. Но все равно он сильней, он тверже, он не такая сопля, как Хупер. И ничего, как-нибудь обойдется. Больше не надо будет убегать, во всяком случае, из-за Хупера. Не то чтобы они поменялись ролями, но что-то все же переменилось. Киншоу теперь поверил в себя.

Вслух он сказал:

— Слушай, Хупер, ты не волнуйся. Будем тут вместе, пока за нами придут.

Хупер не шелохнулся. Он тихо лежал в темноте. Но Киншоу его слышал. Он старался не думать про то, что будет, если за ними никто не придет.

Глава девятая

Они пришли. Уже совсем утром.

Оба не спали давно, с самого рассвета. Как только стало светать, вокруг защебетали птицы, их было полно на каждой ветке. Значит, они и ночью тут сидели, только помалкивали.

Киншоу подумал: ну вот, уже сутки. Но как будто год прошел, даже пять. Все, что было до леса, отступило в такую даль, что и не упомнить.

Он посмотрел на Хупера. Тот не спал и лежал на спине с открытыми глазами.

— Пойду сучьев соберу. А то погаснет.

— Ну и пускай.

— Нет, спичек полкоробка осталось. А неизвестно, сколько нам еще тут быть. Чего же разбазаривать.

Хупер сел, а потом, немного пошатываясь, встал на ноги. Он сказал:

— Ну, все прошло. Теперь нормально.

— А там у тебя позеленело — где ушибся.

Хупер ощупал ушибленное место.

— Шишки нет.

— Нет. Пойду за сучьями.

Тумана не было. Рассвет проник лес насквозь и как муаром одел стволы. Сперва бледный, серый, он понемногу желтел, потом набрался золота и пошел рыжими пятнами понизу, там, где лежали сухие листья.

Киншоу бродил, собирал сучья и слушал, как чирикают птички. Всю ночь тут таились, стерегли его, что-то затевали, следили за ним во все глаза, держали в страхе.

А солнышко все открыло, суетились птички и букашки, кипела жизнь. Он вздохнул, наконец-то легко, всей грудью.

— Пойду искупаюсь,— он сказал попозже. Они поели на завтрак помидоров и печенья. Хупер растянулся на траве в солнечном ромбе. Одежда на нем была как жеваная. Прямо рядом с ним, под кустом, дрозд колотил улитку о ровный камень — норовил разбить раковину. Хупер следил за ним не отрываясь.

— А ты лучше не лезь в воду. В тебе небось еще простуда сидит.

— Я выздоровел.

— Смотри.

— А в общем-то мне и неохота купаться. Сейчас вот возьму печенье и погляжу, подлетит эта птица за крошками или нет.

— Не подлетит она.

— Почему это?

— Потому что дикая. Не в саду ведь.

— Дурак, птицы все дикие, всегда.

— Не подлетит она, раз ты тут.

— А вот посмотрим.

— Только еду зря переводить. Нам ее беречь надо.

— Я же ей одни крошки дам. И чего ты везде суешься, Киншоу.

Но говорил Хупер беззлобно и не отрывал глаз от птицы.

Киншоу разделся, пошел и лег в реку, на самое мелкое место. Камни холодили ему плечи и зад, но были гладкие, не кололись. Его обмывала вода, текла и текла, расходилась, сходилась. Он подвигал ногами, как ножницами. Свет делался лимонным, цедясь сквозь листья в вышине. Они все время тихонько подрагивали. Две птицы — одна белая, одна черная — раздвинули их и взвились в высокое небо.

Киншоу закрыл глаза. Плавать ему не хотелось, вообще не хотелось шевелиться. Он думал: до чего здорово, до чего здорово. Хупер все следил за дроздом. Тот наконец добыл улитку из разбитой раковины.

Везде, везде ворковали голуби.

И тут он услышал первый крик. Залаяла собака. Сперва далеко, но они очень быстро приближались. Раз-два — и очутились совсем близко. Хруст-хруст-хруст — хрустели кусты. Они уже подходили к самой поляне, но слов пока было не разобрать. Собака снова залаяла.

Он открыл глаза и увидел, что Хупер сидит и на него смотрит.

— Идут.

Киншоу не ответил, не шелохнулся, только снова глаза закрыл.

Он лежал, его обмывала вода, и он думал: «Ну их, не надо, пусть бы нас не нашли. Хоть пока бы. До чего тут здорово. Никуда не хочу отсюда».

Ему даже Хупер уже не мешал. В лесу он ему не мешал. Тут совсем другая жизнь. Ну, не нашли бы они дорогу — так умерли бы или бы выжили. Но ему именно так хотелось. Уйти, все переменить. И вот за ними идут, их заберут — обратно.

На мгновенье он просто ужаснулся. Потом вспомнил, что было со вчерашнего утра с Хупером. Все и так переменилось. Может, наладится еще.

Опять раздался крик. Когда он снова открыл глаза, он не увидел деревьев и солнца: их заслоняла чья-то голова.

(Окончание следует)

Крупица

Т. МОТЫЛЕВА

ТОЛСТОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИСКАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА

В ранних иностранных откликах на книги Толстого нередко встречается слово «modern». Словом, звучащим почти одинаково на разных языках, писатели и критики обозначали прежде всего новизну, современность содержания этих книг. Но вместе с тем и новизну формы.

Толстой при жизни часто воспринимался за рубежом как художник, который идет вразрез с общепринятым, нарушает каноны. Иной раз именно пренебрежение Толстого к литературным условностям вызывало протест и давало критикам повод говорить о нем как о гениальном варваре, не знающем законов ремесла. Но гораздо чаще Толстой покорял читателей именно этой новаторской, неканонической природой своего творчества. В сознании многих своих младших литературных современников и ближайших литературных потомков он был и остался не только великим писателем-мыслителем, моралистом, но и смелым мастером, открывшим перед искусством новые пути.

Не так давно эта оценка была взята под сомнение. Пятидесятилетие со дня смерти Толстого вызвало к жизни спор о его художественном наследии. Некоторые видные литературные деятели модернистского толка выдвинули тезис: Толстой безнадежно старомоден, он принадлежит минувшему веку, у него теперь нечему учиться. И сегодня встречаем мы в зарубежной печати сделанные мимоходом иронические замечания по адресу «толстовской модели» романа, представляющей будто бы своего рода литературный анахронизм.

Само собой разумеется, что искусство — и в частности искусство прозы — не стоит на месте, а непрерывно развивается, видоизменяется. Иначе и не бывает. Поиски нового — закон художественного творчества. Даже такой гениальный мастер, как Толстой, не может представлять собой незыблемый образец для потомков. Те писатели нашего времени, которые искренне преданы памяти Толстого и многому научились у него, пишут не «как Толстой»: это было бы невозможно и при очень большом таланте. Они пишут по-иному — в свете собственного личного опыта, личных склонностей. И конечно, пишут, учитывая исторический и художественный опыт человечества, накопленный в нашем столетии. Прав был Томас Манн, когда утверждал, что под влиянием Толстого можно создавать произведения, непохожие одно на другое и непохожие прежде всего на то, что создано им самим.

Следовательно, речь идет сегодня отнюдь не о том, должны или не должны, могут или не могут современные писатели подражать Толстому — на путях подражания настоящее искусство никогда не вырастало. Но стоит задуматься над тем, в какой мере художественные открытия Толстого оказались продуктивными для литературы XX столетия, включая и творчество писателей наших дней.

Уместно при этом расширить круг тех произведений Толстого, о которых мы обычно говорим, демонстрируя его мировое значение.

...Известны, и не раз цитировались, слова Генриха Манна из его книги «Обзор века»: «Октябрьская революция, как и всякая под-

линная, глубокая революция,— осуществление того, что в течение столетия накоплялось в литературе». На следующей странице той же книги сказано:

«В русских избах, зимними вечерами, при свете сальной свечи крестьянин читал вслух другим крестьянам — тысячами вечеров, в тысячах изб; по большей части это был тот единственный, кто самоучкой овладел искусством чтения, ведь в ту пору не каждого обучали. Он читал вслух, например, народные рассказы графа Толстого, который был знатным барином и писал, однако, именно то, что крестьянам необходимо было прочесть.

Крестьянин читал «Много ли человеку земли нужно». Там некто широким кругом обегает землю, которой он хочет завладеть. Правительство обещало людям столько земли, сколько можно обежать за один день. Человек охвачен безмерной жадностью, он бежит, его лицо вспыхивает и становится огненно-красным, оно бледнеет и становится белым, как снег, он бежит. Он задыхается, его сердце бешено бьется и вот-вот готово остановиться, он бежит, пока не падает. Он мертв, его тут же хоронят. Он был шести футов ростом. Шесть футов земли нужно человеку».

Генрих Манн замечает: «Вот здесь — истоки» (подразумевая, очевидно, истоки революции) — и продолжает:

«Это притча такой ударной силы, такой беспощадности, что ее мог бы придумать сам Иисус Христос, чтобы показать всю тщету собственности и то, что ради нее не должна быть загублена человеческая жизнь. Еще и еще подобные сочинения — если есть народ, восприимчивый и способный прислушаться,— приводят в конечном счете к революции. Она и на самом деле была готова разразиться» [1].

Книгу «Обзор века» Генрих Манн писал в эмиграции. Рассказ «Много ли человеку земли нужно» изложен здесь явно по памяти, с неточностями. Этот рассказ, прочитанный, быть может, очень давно, запал в душу немецкому писателю и вспомнился, когда он, уже на исходе второй мировой войны, хотел заново осмыслить историю и культуру страны, нанесшей смертельный удар фашизму. Генриха Манна, давнего яростного врага буржуазии, мещанства, рассказ Толстого поразил не только «ударной силой» осуждения собственности, но и неожиданной формой. Поразил сам факт, что граф Толстой нашел здесь художественный язык, убедительный и доступный для миллионов людей, самых необразованных.

Отметим тут же любопытное совпадение. Рассказ «Много ли человеку земли нужно» произвел сильное впечатление на другого крупного писателя XX века — Джеймса Джойса.

Джойс высоко ценил Толстого, называл его «великолепным писателем», знал, конечно, и его романы, и публицистические статьи, которые появлялись в английской печати. Примечателен его единственный (насколько нам известно) конкретный отзыв о произведениях Толстого — в письме к дочери от 27 апреля 1935 г.: «Надеюсь, ты получила тома Толстого. На мой взгляд, «Много ли человеку земли нужно» величайший рассказ (the greatest story) во всей мировой литературе. Мне очень понравился также «Хозяин и работник», хотя там и есть доля пропаганды» [1]. Эта последняя оговорка характерна. Если Генрих Манн увидел в народных рассказах Толстого высокий образец социальной действенности искусства, даже некую взрывчатую силу — Джойса в них привлекала, видимо, сама их художественная оригинальность. Причем привлекли, возможно по контрасту, именно те стилевые принципы (простота, общедоступность, лаконизм), от которых был крайне далек он сам.

Мы тщетно стали бы искать в новейшей зарубежной литературе следы прямой преемственной связи с «Народными рассказами». В громадном художественном «хозяйстве» Толстого эти поучительные истории в народно-сказочной манере — далеко не главное. И совершенно понятно, что в них сказались (местами даже сильно сказались) противоречия в мировоззрении автора. Однако здесь как бы кристаллизовались, проявились в наиболее чистом виде некоторые важные черты творчества Толстого, совпавшие с последующим направлением поисков ряда зарубежных писателей нашего столетия.

Толстой задолго до перелома обращался к фольклорным мотивам, к глубинным резервам народной речи, пословицам, поговоркам, песням. Но в ранних переводах произведений Толстого, в особенности «Войны и мира» (переводах, как правило, малоудачных, художественно неадекватных), эти особенности его повествовательного стиля неизбежно стирались и не могли быть замечены иностранными читателями. В «Народных рассказах», со всем, что в них есть сильного и слабого, фольклорная стихия — уже не просто сопутствующий стилевой признак, она входит в самую суть сюжетов и языка.

На Западе в XIX веке темы и формы народного творчества издавна считались прерогативой романтиков — реалисты, как правило, ими пренебрегали. «Народные рассказы» заставили задуматься над тем, насколько плодотворной может быть народно-сказочная сюжетика и образность, сочетающаяся с реалиями будничной жизни, для постановки важных, коренных вопросов бытия. Над этим задумался, в частности, Ромен Роллан. В его книге «Жизнь Толсто-

---

[1] Heinrich Mann. Ein Zeitalter wird besichtigt. Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1973, s. 50—52.

[1] Leo Tolstoy. A critical anthology. Ed. by Henry Gifford. Penguin Books, 1971, pp. 200—201.

го» о «Народных рассказах» говорится подробно и с восхищением; пространно цитируется, в частности, «Много ли человеку земли нужно». Ромен Роллан сумел увидеть, что смысл этих произведений шире тех религиозных мотивов, которые в них заключены. «Рассказы эти,— писал он,— единственны в своем роде, их не с чем сравнить в современном искусстве. Они выше искусства. Читая эти рассказы, кто думает о литературе? В них не только дух евангелия, целомудренная любовь людей-братьев,— они наполнены добродушным народным юмором и мудростью народной». Это было написано незадолго до того, как Ромен Роллан начал работать над «Кола Брюньоном» — книгой, где он на свой лад воплотил национально-народные мудрость и юмор.

В XX веке достояние устного народного творчества вошло в книжную литературу так широко, как никогда. И пример этому — далеко не один «Кола Брюньон». Молодые литературы Латинской Америки, поднимающиеся к жизни письменные литературы Африки насыщены до краев национально-легендарной образностью — об этом не раз говорилось в трудах специалистов. Но даже если оставаться в пределах литератур Европы, мы и в них находим оригинальнейшие сплавы реалистической достоверности с мифом, легендой, сказкой. Тетралогия Томаса Манна «Иосиф и его братья» выросла на основе той стародавней легенды, которую особенно любил Толстой. Юмором народных сказок овеян бессмертный гашековский Швейк. Фольклорная поэтика входит в самую сердцевину романов современных польских писателей — Ю. Кавалеца, Т. Новака. В романе Армана Лану «Пастырь пчел» крестьянский мудрец и умелец, старый пчеловод, вырастает в символ национального Сопротивления фашистским оккупантам. Мы, казалось бы, далеко ушли тут от Толстого. Но кто, как не Толстой, дал писателям XX века пример современного художественного осмысления фольклорных богатств?

Генрих Манн вполне справедливо назвал рассказ «Много ли человеку земли нужно» притчей. О том, как широко привилось в литературе XX века искусство притчи — обобщенного дидактико-аллегорического повествования,— свидетельствуют многие и очень разнообразные примеры, творчество прозаиков (и драматургов) разной идейной направленности, от Камю до Брехта. Над проблемой притчи интенсивно размышляют в последние годы писатели и критики стран социализма: речь идет не о формальных изысках, а о способах наиболее действенной, острой постановки больших нравственных вопросов, волнующих современного человека. Нет оснований считать писателей нашего времени, которые обращаются к философски-аллегорическим способам обобщения, подражателями Толстого. Но все же едва ли не первым, кто внес в высокую литературу нашего века поэтику притчи, был именно Толстой: его, казалось бы, незатейливые, обращенные к самой «простой» публике рассказы-легенды заключали в себе эмбрионы художественных открытий, оказавшихся очень плодотворными для писателей XX столетия.

В «Народных рассказах» — как и в детских рассказах, написанных для «Азбуки»,— Толстой испробовал на практике, довел до абсолюта принцип художественной общедоступности,— принцип, который он страстно, запальчиво отстаивал в трактате «Что такое искусство?» и примыкающих к нему статьях и письмах.

Как известно, трактат «Что такое искусство?» вызвал бурю споров — начавшись на рубеже столетий, они продолжались и в последующие годы, и при жизни писателя, и после его смерти.

Не стоит пространно доказывать здесь, что толстовская критика «господского искусства» преломилась в образах знаменитых романов XX века, остро и тревожно ставящих проблемы культуры в свете более широких, общих проблем человечества,— «Жан-Кристоф», «Доктор Фаустус». Эта критика отозвалась, быть может, и в романе Германа Гессе «Игра в бисер». Названные книги давно и прочно вошли в историю мировой культуры. Но споры об эстетике Толстого далеко еще не улеглись.

Стоит вдуматься в один из новейших зарубежных откликов на книгу Толстого об искусстве — он принадлежит хорошо известному у нас западногерманскому прозаику Зигфриду Ленцу.

Ленц знает и любит Толстого-художника. Близость к толстовскому духовному наследию — не ученическая, конечно, а творческая — сказалась у него по-своему в той нравственной тревоге и непримиримости, которыми проникнут роман «Урок немецкого», а по-своему, быть может, и в фольклорной поэтике цикла деревенских рассказов «Запах мирабели». Но со взглядами Толстого на искусство З. Ленц еще несколько лет назад выразил решительное несогласие. Ему показалось, будто русский классик хотел поставить художника в зависимость от «тирании большого числа», от «количества потребителей» [1]. Видимо, Ленца отпугивает всякая ориентация на широкую публику — в условиях, когда книжный рынок буржуазного мира завален пошлой «массовой продукцией». Но ведь для Толстого простота подлинного искусства не имела и не могла иметь ничего общего с простоватостью, а тем более с банальностью. Он призывал художников не к тому, чтобы угождать вульгарным вкусам, а к тому, чтобы силою искусства служить людям, объединять людей, внушать уважение к достоинству человека.

В критико-эстетических работах Толстого, в конкретных формулировках и оценках немало наивного и устаревшего. Но не устарело главное. Резкое осуждение элитарности, снобизма как явления антигуманного,

---

[1] Siegfried Lenz. Tolstoj und die Krise der Kunst. In: Beziehungen, Ansichten und Bekenntnisse zur Literatur. Hofmann und Campe, 1970, s. 262.

взгляд на художественную деятельность как на выполнение высокого долга перед человечеством. Утверждение, что быт, труд, психология рабочего и крестьянского люда — важный и достойный предмет искусства. Требование, чтобы благами культуры мог наслаждаться каждый. В наше время, в эпоху движения народов к социализму, эти демократические принципы толстовской эстетики все более очевидно обнаруживают свою жизненность.

Еще в начале 60-х годов Толстой писал: «Я полагаю, что потребность наслаждения искусством и служение искусству лежит в каждой человеческой личности, к какой бы породе и среде она ни принадлежала, и что эта потребность имеет права и должна быть удовлетворена». Сто с лишним лет назад подобное утверждение могло показаться парадоксом и дерзостью. Сегодня его вряд ли кто-либо решится оспаривать. Толстой, быть может, раньше, чем кто-либо другой из великих деятелей культуры, понял, что приобщение миллионов людей к ценностям искусства становится велением времени. И был прав.

Было бы ошибочно думать, что XX век принес с собой только необычайное усложнение языка искусства на одном полюсе, и тривиальность «массовой культуры» — на другом. Налицо и третья, необычайно важная тенденция: стремление сказать о самом существенном, о том, что волнует множество людей, на языке прозрачно ясном, доступном для масс и в то же время художественно отточенном и своеобразном.

Райнер Мария Рильке, не принявший эстетического кредо Толстого, сам в художественной практике, хотя бы временами, близко подходил к толстовскому идеалу искусства, глубоко человечного и понятного многим. Стоит напомнить известное стихотворение «Слова простые, сестры-самарянки...», написанное еще на исходе прошлого века,— это своего рода творческая декларация.

Тяготение к «словам простым», к «изначальным вещам», к общезначимости и в то же время общедоступности присуще, в разной степени и разной форме, крупнейшим поэтам-новаторам XX века. Достаточно назвать Поля Элюара, Бертольта Брехта, Пабло Неруду. Оно присуще и некоторым крупным мастерам прозы.

У Юрия Олеши в книге «Ни дня без строчки» есть любопытные суждения о мастерстве Хемингуэя и, попутно, о его преемственных связях с русской литературой, с Тургеневым, Чеховым, особенно с Толстым. Эти суждения не раз цитировались, но нам здесь нельзя без них обойтись. На дне творчества Хемингуэя, говорит Олеша, виден свет Толстого,— свет «Казаков», «Севастопольских рассказов», «Войны и мира», «Фальшивого купона».

«Нелюбовь к литературщине, возможно, возникла у Хемингуэя сама по себе, как и у других писателей той эпохи, когда он начинал. Но, найдя эту нелюбовь уже у Толстого, он не мог не преклониться перед ним».

Думается, что формула, удачно найденная Олешей, «нелюбовь к литературщине», очень точно передает ту своеобразную черту прозы Толстого, которая (даже в малоудачных переводах) производила впечатление на зарубежных писателей. И не зря упомянуты здесь литераторы той эпохи, когда Хемингуэй начинал. После первой мировой войны, после торжества Октябрьской революции лучшие западные мастера слова задумывались заново над коренными проблемами социальной жизни, над судьбами человечества. Они хотели прорваться к правде сквозь все частоколы буржуазных штампов, не только литературных, но и идеологических. И иной раз им помогал в этом именно Толстой.

У Хемингуэя немало страниц, где «нелюбовь к литературщине», к штампу принимает ярко выраженный критический, бунтарский смысл. Вспомним строки из романа «Прощай, оружие!»: «Меня всегда приводят в смущение слова «священный», «славный», «жертва» и выражение «свершилось». Мы слышали их иногда... но ничего священного я не видел, и то, что считалось славным, не заслуживало славы, и жертвы очень напоминали чикагские бойни, только мясо здесь просто зарывали в землю... Абстрактные слова, такие, как «слава», «подвиг», «доблесть» или «святыня», были непристойны рядом с конкретными названиями деревень, номерами дорог, названиями рек, номерами полков и датами».

Подобное заострение контраста между словами-масками, словами-ширмами и тем, что они обозначают в действительности,— у Толстого прием очень обычный. Суровая прямота языка Толстого стала для Хемингуэя опорой не только в выработке собственного, совершенно оригинального стиля, но и, что важнее, в отбрасывании шаблонов официального буржуазного мышления.

Толстовская прямота как противоположность литературщине, ложной красивости вставала в предсмертных размышлениях ученого и поэта Бориса Вильде (русского по происхождению, жившего во Франции, казненного гитлеровцами за антифашистскую деятельность). Вильде писал в тюремном дневнике: «Французская литература, за некоторыми исключениями, слишком литературна. Искусство блистательное, утонченное (например, Жироду, которым я всегда восхищаюсь), но простота утеряна. Для элиты.

А ведь я видел, как бывший колбасник плакал над смертью Манон Леско, я знаю, что «Война и мир» доступна простому мужику. Но ни Клодель, ни Мальро, ни Монтерлан, ни даже Жионо...»

Здесь стоит задуматься — а может быть, и усомниться. В самом общем и глубоком смысле «Война и мир», конечно, антипод всех и всяких писаний «для элиты». Но она в то же время — антипод всех и всяких

Т. МОТЫЛЕВА
ТОЛСТОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИСКАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА

продуктов удешевленного, упрощенного «массового искусства». Вряд ли можно предположить, что «Война и мир» доступна сразу, с ходу, любому читателю, в том числе и самому неподготовленному. Ведь легким чтением ее никак не назовешь. Читатель неискушенный или недостаточно внимательный может затеряться, как в лесу, в этом обилии лиц, исторических событий, человеческих судеб, на необъятном пространстве повествования, в котором действие длится (с эпилогом) не менее полутора десятилетий и то и дело перебрасывается из одного места в другое, от одних людей к другим. Притом каждый из основных персонажей, в разные моменты действия, не равен сам себе, а раскрывается все с новых сторон, встает в необычайном богатстве отношений с окружающим миром—отношений социальных, сословных, идеологических, личных, семейных, бытовых.

Сказанное относится и к «Анне Карениной», и к «Воскресению». В них нет общенационального размаха эпопеи, в их структуре, по сравнению с «Войной и миром», больше стройности и единства. Но и в этих романах действуют, взаимодействуют, сопоставляются, сталкиваются люди из разных классов общества, в романический сюжет непосредственно входят напряженные социально-нравственные искания героев, сложно соотносимые с «мыслью народной». В западных литературах XIX в. нелегко найти романы, которые сравнились бы с большими повествованиями Толстого и силою словесной живописи, и богатством интеллектуального содержания.

Если романы Толстого и общедоступны, то в ином смысле, в иной степени, чем «Народные рассказы». Они обязательно требуют от читателя встречной работы мысли. Практика показывает, что это никак не препятствует их широчайшей международной популярности. Можно сказать, не рискуя ошибиться, что каждое из трех крупнейших произведений Толстого прочитано в нашем столетии миллионами людей.

Общедоступность романов Толстого не в том, что они так уж легки для восприятия, а в том, что они властно побуждают преодолевать трудности, возникающие при чтении. Они привлекают не тем, что написаны «просто», не внешней занимательностью. И не тем, что изображают действительность «как она есть». Наглядность, осязаемость образа мира у Толстого — одно из коренных его свойств как художника. И все-таки главная его суть — в ином. Обаяние книг Толстого заключено прежде всего именно в том, что выводит их за пределы элементарного жизнеподобия: в их психологической, философской глубине, в том, что они несут, как сказал Роже Мартен дю Гар, «тревожное вопрошение о смысле жизни».

Большие проблемы, социальные и нравственные, которые ставятся в произведениях Толстого,— это, в сущности, проблемы, которые касаются каждого. Противостояние «войны» и «мира», долг и ответственность человека, взаимоотношения «верхов» и «низов», личности и общества, просвещенной личности и трудового народа — все это вопросы, над которыми размышляют люди разных стран и разных возрастов. Произведения Толстого вместе с тем обращены и к вечным аспектам бытия, таким, как рождение, смерть, юность, старость, любовь, дружба, семья, взаимодействие и смена поколений, выбор пути,— какой читатель, способный думать, не задумывался над всем этим? Основные книги Толстого, в сущности, концентрируют в себе проблематику большого реалистического искусства, сохраняющую свою жизненность и для прозы XX века, приобретающую особую жизненность в периоды больших общественных потрясений. И уже поэтому мимо книг Толстого, мимо заключенного в них творческого опыта не может пройти ни один писатель, у которого есть что сказать своим современникам.

Влияние Толстого на прозу двадцатого столетия основано, разумеется, не на том, что он создал стабильный образец романа, некую инвариантную структуру, которая может путем незначительных пристроек приспособляться к разным нуждам. Нет, каждый из романов Толстого по своей структуре уникален, как уникальны и те романы (или романы-эпопеи) XX века, которые возникли под его влиянием — будь то «Жан-Кристоф», «Семья Тибо», трилогия У. Фолкнера или трилогия М. Пуймановой. Искусство Толстого заключает в себе не приглашение к подражанию, а приглашение к новаторству, поискам — ведь и он сам создавал свои книги путем нелегких поисков.

«...Все люди неразрывно связаны и равны между собой» — так сказано у Толстого в одной из рукописей «Войны и мира». Такой принцип художественного познания человека оказался в высшей степени продуктивным для искусства XX столетия — для эпохи, когда человек сильнее чем когда-либо ощутил, в условиях больших исторических потрясений, то, что соединяет его с обществом, страной, другими людьми, другими народами. Не только как мыслитель, моралист, но и прежде всего как художник Толстой противостоит буржуазному индивидуализму в различных его ответвлениях, противостоит всем теориям и теорийкам, которые возводят атомистическую разобщенность людей в вечный закон бытия. Толстой-психолог видел человеческое Я во взаимодействии, взаимозависимости с другими Я и в немалой степени именно поэтому необычайно обогатил изображение человека в искусстве.

В больших произведениях Толстого главенствует, звучит могуче и разнообразно тема возрождения человека, обогащения личности через народ. Этот процесс духовного обогащения переживают и герои «Войны и мира», и Константин Левин, и Дмитрий Нехлюдов из «Воскресения». Духовная эволюция толстовских героев диктуется и мотивируется прежде всего логикой социальной жизни, историческим опытом России. Пьер Безухов испытывает душевный подъем, находясь на Бородинском поле, а Левин — участвуя в сенокосе; мы тут гово-

рим, казалось бы, о вещах трудно сопоставимых, но есть в них и нечто общее: выход за рамки барского существования, радость движения от Я к Мы.

И вот здесь — одна из наиболее очевидных линий художественной преемственности, связывающей с творчеством Толстого произведения видных зарубежных писателей XX века. Путь интеллигента-правдоискателя, порывающего (или готового порвать) с миром собственников, осознающего (или готового осознать) свою близость к тем, кто трудится, страдает и борется,— одна из магистральных тем в литературе нашего столетия. Тут можно вспомнить многих и разных литературных героев. В их числе любимые персонажи Ромена Роллана — Жан-Кристоф и Аннета Ривьер. И оба брата Тибо, Жак и Антуан, у Роже Мартен дю Гара. И Роберт Джордан у Хемингуэя. И юный Ганс Гастль из «Прощания» И. Р. Бехера. И Вернер Бертин, герой антивоенных романов А. Цвейга. Нелишне будет отметить, что в «Очарованной душе» Ромена Роллана один из узловых эпизодов — тот, где Аннета Ривьер читает своим ученикам в классе сцену смерти Пети Ростова из «Войны и мира»; что для бехеровского Ганса Гастля «Война и мир» становится поводом к размышлениям — «все должно стать по-иному»; что Вернер Бертин в своих революционных поисках ищет опоры у любимых им русских писателей. Упомянутые здесь произведения написаны далеко не сегодня, они принадлежат уже, так сказать, к классике XX века. Но тема нравственных исканий личности и движение ее от Я к Мы сохраняет свою актуальность, включается в контекст современных проблем: достаточно сослаться на новые книги писателей ФРГ — «Болезнь Галлистля» Мартина Вальзера, «Юность» Вольфганга Кёппена. А толстовский мотив «все люди неразрывно связаны и равны между собою» не так давно обрел новую художественную жизнь в романе Торнтона Уайлдера «День восьмой», в образе-символе гобелена, в котором нити нерасторжимо переплетены — как судьбы людей...

Недавно у французских критиков возник повод к тому, чтобы задуматься над жизнеспособностью художественных традиций Толстого. Во Франции вышел объемистый том сочинений Анны Зегерс, включающий роман «Мертвые остаются молодыми»; этот известный антифашистский роман, художественное исследование судеб Германии в XX веке, появился впервые в оригинале тридцать лет назад, но актуальность его содержания никем не подвергается сомнению. Автор вступительной статьи к французскому изданию Клод Прево и критики, откликнувшиеся на выход книги, А. Вюрмсер и Ж.-П. Леонардини заинтересовались сопоставлением романа «Мертвые остаются молодыми» с «Войной и миром»[1]. К. Прево в своей вступительной статье цитирует давние строки из критического очерка Анны Зегерс о Толстом: «Тот, кто пытается проникнуть в произведения Толстого, пусть хоть на отдельных страницах, тот проникает, руководимый художником, в самую суть людей, какое бы место эти люди ни занимали в жизни народа, какова бы ни была их классовая принадлежность, профессия, их родные места,— Толстой обнажает пружины их поступков, которые должен знать тот, кто хочет в собственной стране воздействовать на людей.

Мы стоим перед произведениями Толстого как перед второй действительностью, проясненной силой гения,— она кажется нам более понятной, чем действительность, окружающая нас, потому что она как бы очищена от мелочей, от всего второстепенного, от того, что почти затемняет для нас в повседневной жизни людей и события».

Вот здесь К. Прево видит то, что сближает Анну Зегерс с Толстым, то, что она унаследовала от него. И в самом деле: писательница сумела в пределах одного большого повествования охватить жизнь нации в ее целостности, в развитии и противоборстве ее движущих сил. Проникая в суть человеческих характеров и поступков, она проникает и в суть общественных отношений. Именно так удалось ей дать глубокий художественный анализ феномена «фашизм», обнажить его исторические, классовые корни — наперекор тем мифам, которыми окружено это явление в буржуазном, обывательском сознании

К. Прево попутно замечает, что романы широкого масштаба, написанные в «трудном жанре большой политической и исторической фрески»[1], есть и в литературе последних десятилетий: в наше время, как правило, с этим жанром могут справиться лишь писатели, вооруженные передовым мировоззрением. Он называет «Страстную неделю» Арагона, «Живые и мертвые» К. Симонова, «Век просвещения» А. Карпентьера, «Сто лет одиночества» Г. Гарсиа Маркеса.

Автор «Ста лет одиночества» занимает особое место в этом ряду — его творчество уходит корнями в латиноамериканский фольклор, в Рабле и Сервантеса. Что же касается К. Симонова, Л. Арагона, А. Карпентьера — то каждый из них с вниманием читал Толстого, размышлял над ним, высказывался о нем и воспринял в той или иной степени его художественный опыт. В частности, в области большой эпической формы. Тот «трудный жанр», который К. Прево назвал «исторической и политической фреской», а советское литературоведение обычно называет романом-эпопеей, получил широкое распространение в художественной прозе XX века. И особенно в литературе революционной, социалистической. Достаточно назвать «Тихий Дон», «Хождение по мукам», а в зарубежных литературах —

[1] См.: «Humanité» 2.V.1977.

[1] Claude Prevost. Préface. Anna Seghers et l'histoire. In: Anna Seghers. Oeuvres. Paris, Livre-Club Diderot, 1977, pp. XXXVI—XXXVII.

Т. МОТЫЛЕВА

ТОЛСТОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИСКАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА

трилогию М. Пуймановой, «Хвалу и славу» Я. Ивашкевича.

Известно, что Толстой сам в личных беседах сравнивал «Войну и мир» с «Илиадой». Термин «эпос», «эпопея» напрашивался сам собой. Тургенев в письме к Людвигу Пичу от 10.XI 1881 года (написанном по-немецки) утверждал, что «Война и мир» — «великолепнейший современный эпос («das grossartigste moderne Epos»). Подобное же определение — совершенно независимо от Тургенева — много раз давал «Войне и миру» Ромен Роллан. «Война и мир» остается для меня образцом современной эпопеи»,— писал он в 1935 году.

Вместе с тем вовсе отвлечься от романной природы «Войны и мира» тоже нельзя — от древней эпопеи повествование Толстого принципиально отличается своей аналитической, реалистической природой, конкретностью исследования характеров и обстоятельств, бескомпромиссной критичностью, а главное тем, что оно своей проблематикой обращено к острым, нерешенным вопросам русской жизни того времени, когда оно было написано. Попытки «вывести» роман-эпопею Толстого прямо из древнего эпоса, минуя реалистическую романную традицию, иногда делаются, но они неосновательны. В «Войне и мире» получился своего рода сплав народно-эпической широты, поэтичности, цельности с богатым опытом социально-психологического романа XIX века, русского и западноевропейского. Новаторская, глубоко демократическая природа этого произведения заключена не только в народной героике, но и в остроте нравственной, социальной мысли. И неудивительно, что новый жанр, созданный Толстым, приобрел в XX веке особую притягательную силу для писателей, которым хотелось понять жизнь отдельных людей в контексте больших исторических сдвигов и понять закономерности истории через судьбы, думы, переживания отдельных людей.

После Толстого роман, где действие определяется по преимуществу событиями «частной жизни», стал уже явлением эстетически устаревшим. Толстой оказал влияние на развитие мировой литературы и тем, что создал первый образец романа-эпопеи, и тем, что раздвинул рамки художественной прозы, взятой в целом.

Словом, Толстой завещал мировой литературе не какие-то конкретные приемы письма, а скорей — общие творческие принципы, которые могут применяться (и применяются) очень по-разному. Художественные открытия Толстого по-своему восприняли, по-своему постарались продолжить и лаконичный Хемингуэй, и многословный Фолкнер. Томас Манн и Ромен Роллан резко несхожи не только по способам письма; в течение долгих лет они и в идейном плане были очень далеки друг от друга — и все же они оба преемственно связаны с автором «Войны и мира», и оба не раз говорили об этом.

Общая тенденция литературы XX века — возрастающее разнообразие художественных форм и стилей. Оно особенно явственно сказывается в области романа (или повести, или романа-эпопеи). Ведь роман, как верно заметил М. Бахтин, строится «в зоне контакта с незавершенным событием современности», это жанр «становящийся и еще не готовый», «вечно ищущий, вечно исследующий самого себя и пересматривающий все свои сложившиеся формы».

Современное состояние художественной прозы (и прежде всего — прозы реалистической, социально содержательной, стремящейся исследовать мир наших дней, ориентироваться в нем) подтверждает эти положения. Мы читаем книги писателей разных стран, посвященные острым проблемам нашего времени, и убеждаемся, что у каждого романа своя структурная формула, свои, подчас очень неожиданные, особенности стиля, языка. По-разному сочетается в них авторское повествование — с рассказом, воспоминанием, свидетельством одного (или нескольких) персонажей. По-разному сочетается достоверное воспроизведение действительности — и художественная условность, символика, гротеск. По-разному трактуется повествовательное время, иной раз пересекаются, совмещаются разные временные плоскости. Многие современные романы обладают коренными признаками реализма, одушевлены энергией социального исследования, строятся как взаимодействие типичных характеров и обстоятельств — и в то же время отклоняются от жизнеподобия. (Никак нельзя свести к жизнеподобию ни социально-философский роман Алехо Карпентьера «Превратности метода», ни повесть-притчу Анны Зегерс «Каменный век», ни тем более — лирические романы Арагона «Гибель всерьез», «Бланш, или Забвение», «Театр/Роман».)

Представление о Толстом как «ясновидце плоти», как художнике, сила которого прежде всего в умении передать зримый, материальный облик людей и предметов, возникло еще в начале века с легкой руки Мережковского, оно отчасти сохраняется в западной критике, но оно по меньшей мере односторонне. Художническому глазу Толстого было доступно не только то, что открыто обычному зрению, но и то, что скрыто от него. И сколь бы ни был Толстой чуток к линиям, краскам, звукам, запахам реального мира, важнее всего для него было то, что происходит в душе человеческой. Он был убежден, что художник обязан открыть, понять, объяснить людям «невидимое, неощущаемое, непонятное прежде».

Литература XX века усовершенствовала, довела до необычайной чувствительности инструментарий психологического анализа; она стремится проникнуть и нередко с успехом проникает и в бессознательное, и в подсознательное, дает развернутую стенограмму скрытых мыслей, переживаний, ощущений человека. И мы не можем забыть, что у истоков больших психологических открытий новейшей литературы стоит Толстой с его «диалектикой души».

Художественная проза нашего столетия нередко взаимодействует с философией бо-

лее явно и осознанно, чем это делалось в прежние времена. Она несет в себе обобщенные размышления о центральных проблемах бытия. Философская ориентация писателей, их острая нравственная озабоченность выражаются, в частности, и в том, что они вносят в сюжеты своих произведений элемент иносказания и поучения: к современным романам-притчам, повестям-притчам творческий опыт Толстого имеет, как мы уже видели, довольно близкое касательство.

Но тут важно и другое. В свое время Флобер, читая «Войну и мир», восхищаясь силой Толстого как живописца и психолога, в то же время возмущался тем, что русский романист не только рассказывает, но и «философствует»: авторские размышления, или, как мы бы сказали сегодня, элемент эссе в романе, казались Флоберу чем-то недопустимым и чуть ли не антихудожественным. Сегодня мы смотрим на это иначе. Даже и в XIX веке — разве не философствовали в романе, еще до Толстого, и Бальзак, и Гоголь, и Гюго? Век двадцатый, богатый драматическими событиями, затрагивающими судьбы всего человечества, властно побуждает мастеров прозы размышлять, делиться с читателями своими размышлениями, даже и в ущерб цельности сюжета и темпу повествования. Авторская эссеистика — органически необходимая часть многих романов XX века, тут можно вспомнить и Анатоля Франса, и Ромена Роллана, и Томаса Манна, и Германа Гессе. К философскому эссе, к размышлению в романе тяготеют и наши современники, например Алехо Карпентьер или Лайош Мештерхази; стихия беспокойной критической мысли, творящей нравственный суд над национальным прошлым, над собственным прошлым, присутствует — и определяет философски-публицистические «вторжения» — в романах видных прозаиков ГДР: Германа Канта, Макса Вальтера Шульца, Кристы Вольф.

В современном романе и повести изображение вымышленных лиц и событий нередко содержит подлинные документы — военные, исторические, политические, мемуарные. В тяготении к документальности по-своему сказывается познавательная энергия реалистической литературы наших дней, стремление писателей воспроизвести факты прошлого или настоящего со всей точностью. Однако и в этой конкретной области Толстой был предшественником современных прозаиков. Вместе с тем Толстой до последних дней не переставал быть художником — его дневник за 1910 год заключает в себе замыслы новых произведений, новых образов; «нет конца этим чувствуемым мною типам», писал он меньше чем за полгода до смерти. Документ может быть использован, конечно, и там, где присутствует или даже преобладает художественный вымысел. «Хаджи-Мурат» не был бы гениальным произведением, если бы представлял простой пересказ исторических фактов. С другой стороны, Толстой задолго до «Хаджи-Мурата», в «Войне и мире», щедро включил в художественное повествование приказы и письма Наполеона, фрагменты военных диспозиций; весь этот материал, найденный в исторических источниках, сочетается у него с исключительно искусной стилизацией документов эпохи.

Современная литература знает множество произведений, построенных на документальной основе,— чаще всего это книги биографического или автобиографического жанра. Но она знает и произведения, где документ, настоящий или стилизованный, «работает» именно как составная часть художественного повествования: он привлекает внимание читателей не только фактическим содержанием, но и тем, что по стилю выделяется из контекста. В романе Г. Бёля «Групповой портрет с дамой» цитируются трескучие сочинения молодого нацистского воякн — автор намеренно оставляет нас в неведении относительно того, взяты ли эти цитаты из прессы третьей империи или представляют собой пародию. В том же романе приводятся на нескольких страницах подлинные документы, пространные выдержки из официальных распоряжений и протоколов, свидетельствующие о зверском обращении гитлеровских властей с советскими военнопленными. Понятно, насколько эти страницы усиливают антифашистское звучание романа.

Разумеется, нет смысла искать следы заимствования у Толстого, подражания ему в любом современном романе или повести, основанных на реальных фактах, включающих документальные тексты. Но мы и тут убеждаемся: уже у Толстого можно нередко найти открытия, находки, новые приемы письма, которые, казалось бы, всецело принадлежат литературе нашего времени.

В повествовательной прозе XX века немало произведений, где параллельно развертывается несколько самостоятельных сюжетных линий, слабо связанных или вовсе не связанных между собой: персонажи тут скреплены не столько личными отношениями, знакомствами, встречами, сколько внутренней соотнесенностью их судеб, общностью тех проблем, которые эти судьбы несут в себе. Когда-то, в двадцатые годы, такой принцип строения романа принял вызывающие, крайние формы у Дос Пассоса — его трилогия «США», именно в силу своих экспериментальных излишеств, осталась одиноким явлением в литературе. Однако мы и в последние десятилетия познакомились со многими романами, где цельность художественного замысла выражена вполне ясно, но где герои идут каждый как бы своей дорогой, не зная друг о друге. К таким способам строения сюжета прибегают романисты очень различного склада, от Фолкнера до Анны Зегерс.

В романе венесуэльского прозаика Мигеля Отеро Сильвы «Когда хочется плакать, не плачу» три главных героя вовсе не встреча-

---

Т. МОТЫЛЕВА
ТОЛСТОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИСКАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА

ются, живут в разных слоях общества, умирают, так друг друга и не узнав, однако параллелизм их жизненных путей очевиден для читателя и наталкивает на размышления о сложных проблемах современной молодежи Романы, построенные подобным образом, в наши дни никого не поражают, не кажутся чем-то непривычным. И тут стоит вспомнить, как «Анна Каренина» смутила в свое время многих критиков нетрадиционным строением — тем, что линия Анны и линия Левина почти до конца повествования обособлены одна от другой. Сегодня очевидно, насколько продуктивным оказалось новаторство Толстого даже и в том, что касается отдельных приемов построения романического сюжета.

Андре Моруа, горячий почитатель Толстого, в 1960 году писал о нем: «Мы уже находим у него все, что в наши дни объявляют новшеством». Моруа ссылается на то, что у Толстого можно найти и «чувство отчужденности, одиночества», и «душевную тревогу», и повышенное внимание к подсознательному, к таинственным движениям души. Да, у Толстого можно найти все это, но еше и многое другое, что очень существенно для литературы XX века.

Дело не в конкретных находках в области повествовательного искусства, сюжетостроения, дело даже и не в отдельных, новых у Толстого, способах психологического анализа. Толстой сделал столь важный шаг вперед в художественном освоении реального мира, что вне его опыта уже невозможно работать,— многие его открытия давно уже стали общим достоянием мировой литературы.

Современный роман и повесть в зарубежных странах по конкретным формам — это можно повторить здесь — заметно отличаются от произведений Толстого. Но в литературе наших дней живет — и по-разному проявляется — то главное, что создано Толстым. Исследование мира в его многоцветном реальном бытии, в его многообразии и динамике. Широкая постановка проблем народной жизни, художественное утверждение народных масс как активной силы истории. Страсть к познанию человеческой души в ее противоречивости, изменчивости, текучести. Нравственные вопросы, проникающие в самую сердцевину художественного повествования. Утверждение творческой свободы повествователя (а также и драматурга, очеркиста, публициста), отказ от сковывающих искусство формальных канонов. Взгляд на долг художника как на особую, высокую форму служения людям. В этом широком смысле вся большая реалистическая литература нашего столетия восприняла, впитала в себя творческие заветы Толстого.

◆

ЯН КОЗАК

ОБ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМЕ И ПАТРИОТИЗМЕ В ЛИТЕРАТУРЕ ЧЕХОСЛОВАКИИ

В эпоху строительства развитого социализма, когда возрастает значение активной и сознательной деятельности каждого из нас, возрастает соответственно роль искусства и литературы — факторов, которые оказывают формирующее влияние на внутренний мир нового человека и прежде всего на его социалистическое сознание. Одна из главных задач искусства — воспитание членов нашего общества в духе подлинного патриотизма и интернационализма.

Весь опыт исторического развития двух народов нашей страны, их литератур свидетельствует, что истинная любовь к родине немыслима без интернационалистских убеждений и что именно интернационалисты являются настоящими патриотами. Стало классическим высказывание Клемента Готвальда о Зденеке Неедлы: «Зденек Неедлы пришел к рабочему классу, к социализму не потому, что не любил Ирасека, Сметану, Немцову или не дорожил национальными традициями истории и литературы. Он пришел к рабочему классу, к социализму именно потому, что любил Ирасека, Сметану, Немцову и отстаивал наследие нашей культуры, потому, что постиг логику и смысл истории, понял, что пролетариат и трудящиеся массы — это вновь пробудившиеся творческие силы нации...» Иначе говоря, Зденек Неедлы стал интернационалистом не потому, что не был патриотом, а *именно потому*, что им был.

В словах Готвальда — «именно потому» — очень точно схвачена диалектическая связь принципов социалистического патриотизма и пролетарского интернационализма: их нельзя механически соединить или отделить друг от друга, ибо речь идет о двух взаимообусловленных и взаимосвязанных сторонах одного и того же чувства,— речь идет о национальном самосознании рабочего класса. Слова Клемента Готвальда показывают вместе с тем, насколько глубоко проникли эти идеи в чешскую и словацкую культуру и прогрессивную общественную мысль.

С удовлетворением и гордостью мы можем сказать, что ныне обе наши национальные литературы развиваются в духе интернационализма и социалистического патриотизма в их диалектическом единстве. Этому способствовал и опыт межвоенного двадцатилетия, и суровая реальность второй мировой войны, и годы развертывания взаимной помощи и сотрудничества с Советским Союзом и всем международным социалистическим содружеством — и в период создания у нас в стране основ социалистического строя, и в процессе решения задач развитого социализма. Этому помогало и понимание великой гуманистической миссии социализма в борьбе за сохранение мира на земле.

Ведущие идеологические принципы, о которых мы говорим, начали утверждаться у нас уже в 20—30-е годы — тем самым чешская и словацкая литература продолжала демократические и гуманистические традиции искусства прошлого и — не в последнюю очередь — традиции дружбы с рус-

ским и другими славянскими народами, еще более укрепившиеся в годы борьбы с фашизмом. После победы Великой Октябрьской социалистической революции идеи международной солидарности трудящихся широко пропагандировались крупнейшими представителями мировой культуры — Максимом Горьким, Владимиром Маяковским, Ромэном Ролланом, Анри Барбюсом, Генрихом Манном. Чешская и словацкая литературы в ту пору все отчетливее приобретали революционную направленность. Писатели, критики, теоретики искусства убеждались, что пролетарский интернационализм, в какой бы сфере общественной жизни он ни проявлялся, есть, как подчеркнул наш видный литературовед академик Ладислав Штолл, осознанный гуманизм. В первую очередь поняли это представители старшего поколения передовых мастеров слова — Зденек Неедлы, Станислав Костка Нейман, Мария Майерова, Гелена Малиржова, Иван Ольбрахт, оказавшие большое влияние на литераторов молодых — таких, как Иржи Волькер, Владислав Ванчура, Юлиус Фучик, Бедржих Вацлавек, Курт Конрад в Чехии или Петр Илемницкий, Лацо Новомеский, Владо Клементис, Густав Гусак, Ян Поничан, молодые поэты, прозаики и критики, сплотившиеся вокруг марксистского журнала «Дав»,— в Словакии.

Идеи пролетарского интернационализма и социалистического патриотизма в наших литературах опирались на положения боевой марксистско-ленинской философии, отвергающей индивидуализм и национализм, отстаивающей принципы человеческой солидарности, единства сил социализма.

Как писал в одном из выступлений 50-х годов Ладислав Штолл, «совершенно очевидно, что в решении национального вопроса индивидуалист станет вести себя как ярый националист, а националист в личных взаимоотношениях с обществом — как законченный индивидуалист. Индивидуализм и национализм — разные проявления одной и той же психологии, глубоко враждебной по сути великому и в высшей степени гуманному делу социализма»[1].

С первых лет становления социалистической литературы в Чехословакии партия разъясняла, что борьба с национализмом вовсе не означает пренебрежения к национальной специфике, напротив она стимулирует и поддерживает развитие национального искусства.

Важным этапом в развитии марксистской литературно-теоретической мысли в нашей стране стали 1934 — 1935 годы. В это время разрабатываются главные положения теории социалистического реализма, развертывается активная борьба за новое, социалистическое искусство и литературу, его концепцию. Именно социалистический реализм предполагает осознание диалектического единства общего и особенного, интернационального и национального. Многие наши ведущие художники слова: Курт Конрад и Бедржих Вацлавек, Станислав Костка Нейман и Мария Пуйманова, Ярослав Кратохвил и Петр Илемницкий — не раз подчеркивали, каждый по-своему, международное значение опыта советской литературы, ее интернациональный характер, говорили о том, как этот опыт можно творчески сочетать с национальной спецификой.

После освобождения Чехословакии Советской Армией, после победы рабочего класса и трудящихся масс в феврале 1948 года создались все условия для утверждения в наших литературах идей пролетарского интернационализма и социалистического патриотизма. Здесь прежде всего хочется назвать знаменитый «Репортаж с петлей на шее» Юлиуса Фучика, открывший новый этап в развитии нашей литературы. Сколько прекрасных стихов и романов, проникнутых восхищением и любовью к советским воинам и советскому народу, прославляющих великую освободительную миссию СССР, создали наши ведущие писатели — Витезслав Незвал, Владимир Голан, Франтишек Грубин, Ярмила Глазарова, Вацлав Ржезач, Вилем Завада и многие другие.

Огромное идейно-художественное воздействие этих произведений серьезно обеспокоило недругов социализма, стремившихся подорвать его основы в нашей стране,— они выступили с идейной программой, направленной против литературы социалистического реализма и его принципов, против прогрессивных традиций чешской и словацкой литератур. В сущности это были попытки изолировать нашу литературу, оторвать ее от идейной общности социалистических литератур. Это была подмена принципов интернационализма и патриотизма эпигонским отношением к модернизму, низкопоклонством перед Западом, национализмом. Конкретно-историческое понимание человека уступало, таким образом, место абстрактным, внеисторическим концепциям.

Все это расчищало путь индивидуализму, способствовало процветанию теорий элитарной культуры, приводило к исчезновению подлинно национального колорита в искусстве, порождало равнодушие к судьбам человека и человечества. «Молодое, ласковое солнце интернационализма», которое некогда приветствовал критик-демократ Шальда, было, по словам Иржи Тауфера, «предано поруганию» на радость подстрекателям международного антикоммунистического психоза. Горячее признание Октябрьской революции и Советского Союза — им по праву гордилась, как бы предвосхищая будущее, чешская и словацкая литература 20-х годов — намеревались предать забвению.

Борьба за новый подъем чешской и словацкой литератур в процессе консолидации нашего общества после 1969 года означала и борьбу за дальнейшее укрепление принципов интернационализма в искусстве в целом и в творчестве отдельных художников. Впрочем, справедливости ради от-

[1] L. Štoll. Umění a ideologický boj. Praha, 1972, s. 182.

метим, что и в кризисные 60-е годы подлинно социалистические писатели и деятели искусств никогда не изменяли этим принципам, постоянно опираясь на них в своем творчестве. Принципы эти определяют направленность ряда замечательных произведений последних лет.

В послевоенный период тональность словацкой литературе была задана «Хроникой» Илемницкого, прозой Минача, Яшика, обратившихся к проблематике Словацкого национального восстания. Традиции эти продолжает литература 70-х годов и в первую очередь — новые произведения, посвященные героическим страницам нашей недавней истории. Восстание предстает в них как великая школа дружбы и сотрудничества народов в борьбе за освобождение — таким оно и было в действительности, и прав Лацо Новомеский, сказавший в 1969 году, что в ходе восстания интернациональное становилось национальным, а национальное — интернациональным.

Если говорить о словацкой поэзии, отражающей глубокие исторические сдвиги в жизни своей страны, достаточно сослаться на имена А. Плавки, В. Мигалика, П. Горова, Я. Костры. Эти поэты своим творчеством убеждают, что именно строительство социалистического общества, братство наших двух народов, участие Чехословакии в содружестве социалистических государств обеспечили чешскому и словацкому народу новую жизнь. Очень популярна в поэзии — и словацкой и чешской — тема Советского Союза. И воплощается она отнюдь не поверхностно, а глубоко прочувствованно, без громких слов и ложного пафоса. Вспомним поэмы Л. Новомеского или книгу стихов Мирослава Валека «Слово», с такой силой и так открыто провозгласившую идеи интернациональной солидарности, великой любви к родине.

И чешская поэзия вмещает в себя родную страну и весь земной шар. Творчество Мирослава Флориана, Иозефа Рыбака, Иржи Тауфера, Ивана Скалы — это познание мира в его противоречиях и одновременно выражение любви к родине, ее традициям. Велико значение этой поэзии: ярко и многообразно изображая мир, увиденный глазами чешских и словацких поэтов, она вместе с тем свидетельствует об интернациональном характере борьбы со злом. Она обращена к широчайшему кругу читателей — к людям разных национальностей и разного цвета кожи. В ней живы замечательные традиции поэзии советской.

И в прозе принципы интернационализма и патриотизма определяют не только выбор тем, но и точку зрения на жизнь и человека, нашего современника. Это относится к романам Богумила Ржиги, к произведениям Зденека Плугаржа, Рудольфа Калчика, Божены Роттеровой, Богумила Ногейла и многих других. Все большее место занимают в них проблемы социалистической морали, борьбы за высокие нравственные принципы, за подлинно человечные отношения между людьми, за новое отношение к труду. Проблемы эти ставятся и решаются по-интернационалистски, с учетом широкого международного контекста. Естественно, что такая литература ощутимо влияет на духовный мир нашего современника, его чувства, помогает формировать его нравственный облик.

Следует особо подчеркнуть, что многие наши талантливые молодые авторы выражают свои интернационалистские убеждения и патриотические чувства, обращаясь к событиям второй мировой войны, к темам, которые позволяют раскрыть сердечное отношение наших людей к СССР и советскому народу. Это не может не встретить поддержки со стороны наших писательских союзов, ведущих с творческой молодежью постоянную работу — организуя дискуссии, семинары, командировки, предоставляя возможность печататься, публикуя рецензии.

И еще несколько слов — о том, что требует весьма серьезного внимания. Богумил Ржига как-то очень верно заметил, что мир становится все более интернациональным, а люди и государства сейчас гораздо ближе друг к другу, чем в прошлом. Как же отражают наши литературы дружеские связи и тесное сотрудничество между социалистическими странами в последние годы? Писать есть о чем: сколько возникает волнующих ситуаций, как глубоко влияет на человеческие судьбы процесс социалистической интеграции, развитие все более многостороннего сотрудничества! Немало наших писателей бывает в длительных зарубежных поездках, в братских странах социализма, своими глазами видя, как решаются гигантские созидательные задачи эпохи. Разве это не магистральные темы времени? Думается, что трудно исчерпать сюжеты, которые подсказывает литературе жизнь.

Правы те, кто считает, что нам, писателям мира, необходимо лучше знакомить друг друга с достижениями наших литератур. И здесь многое еще предстоит сделать. Союзы литераторов разных стран могли бы, например, составить антологии лучших произведений прозаиков и поэтов, отображающих нашу современность на высоком художественном уровне, рекомендовать их для перевода и издания за рубежом. Ведь далеко не всегда мы достаточно знакомы с истинными достижениями других литератур.

Мы, чехословацкие деятели культуры, особенно остро чувствуем необходимость взаимного интернационального сотрудничества и высоко ценим его пользу, ведь мы живем в стране, которая является родиной двух братских народов — чехов и словаков. Взаимодействие двух национальных культур, обладающих целым рядом специфических особенностей и вместе с тем очень близких — и своими корнями, и своими задачами, — укрепляет социалистическую культуру Чехословакии, способствует ее расцвету.

Перевод с чешского Л. БУДАГОВОЙ

◆

В. СТЕЖЕНСКИЙ

СУРОВАЯ ПРАВДА МАКСА ФОН ДЕР ГРЮНА

Известность пришла к нему внезапно, обрушившись шквалом брани и похвал, угроз и восторгов. Имя Макса фон дер Грюна, горняка из шахты «Кёнигсборн-2/5», вдруг замелькало на газетных страницах, стало повторяться в радио- и телепередачах.

Случилось это в марте 1963 года, после того как еженедельник «Эхо дер цайт» опубликовал главу из его романа «Светляки и пламя» [1]. В ней рассказывалось о трагическом происшествии на одной из шахт ФРГ. По распоряжению хозяев в забое был установлен угольный струг новой системы, не проверенный предварительно в действии. Произошла авария, в результате которой погиб работавший на струге шахтер.

Хотя автор не написал, о какой именно шахте и какой фирме, изготовившей это оборудование, идет речь, владельцы машиностроительного завода «Вестфалия-Люнен» сочли себя оскорбленными и затеяли против писателя скандальный судебный процесс. Они потребовали запрещения дальнейшей публикации романа и предъявили Максу фон дер Грюну иск на ошеломляющую сумму.

Процесс длился очень долго но общественное мнение было на стороне писателя, осмелившегося сказать правду об условиях труда горняков, и суд вынужден был его оправдать. Однако, не дожидаясь окончания процесса, хозяева шахты, в которой Макс фон дер Грюн проработал свыше тринадцати лет, поторопились уволить его. Попытки устроиться на другое место оказались безуспешными: фамилия опасного сочинителя уже была занесена в черные списки.

Роман «Светляки и пламя» не был дебютом Макса фон дер Грюна в литературе.

«Меня постоянно спрашивают,— говорит он,— как я стал писателем. Мне кажется, что стоило бы сначала спросить: как я стал читателем».

Он родился в Байрёйте 25 мая 1926 года. Отец и мать его работали на фарфоровой фабрике. Они старались дать сыну образование, которое позволило бы ему подняться по социальной лестнице хоть на ступеньку выше их.

Будущий писатель окончил народную, потом торговую школу и поступил в коммерческое училище. Книги стали его постоянными спутниками. «Я, очевидно, принадлежал,— рассказывает он,— к той небольшой группе детей рабочих, кому дома не запрещали читать книги, считая такое занятие бесполезным. Правда, на ночь у меня в комнате вывинчивали предохранитель, но мать разрешала мне читать при свете карманного фонарика. Батарейки для него я покупал на свои деньги, зарабатывая их разноской газет».

Читал он много. Любимым его писателем стал Стефан Цвейг. Книги Цвейга, запрещенные гитлеровскими властями, тайком давал мальчику школьный учитель, к которому Макс фон дер Грюн на всю жизнь сохранил горячую благодарность. «Звездные часы человечества», «Мария Стюарт», «Бальзак», «Цвингли и Кальвин» — вот настольные книги фон дер Грюна той поры. Потом он зачитывался «Разговорами с Гёте» Эккермана. Надолго запали ему в память книги Б. Травена, Дж. Лондона, К. Гамсуна, Э. Хемингуэя, Дж. Джойса.

Перед самым началом войны отца Макса фон дер Грюна нацисты арестовали и бросили в концлагерь. На коммерческой

[1] Опубликован в «Иностранной литературе» № 3, 4 за 1967 г.

карьере будущему писателю пришлось поставить крест — кто стал бы иметь дело с сыном «государственного преступника»?! В последние годы войны Макса фон дер Грюна призвали в армию, отправили на западный фронт. Очень скоро он попал в плен к американцам и провел несколько лет в лагере для военнопленных в одном из южных штатов США, в 1948 году — вернулся на родину. Стал работать на стройке каменщиком, потом — забойщиком и машинистом в шахте. Все эти годы, урывая минуты от отдыха и сна, он пробовал силы в литературе. Опубликовал несколько рассказов, стихов, очерков.

Свой первый роман «Люди в двойной ночи», названием которого послужила строка из стихотворения одного из первых рабочих поэтов Германии Генриха Кемпхена (1847—1912), Макс фон дер Грюн написал в 1959 году.

Больше года пытался автор пристроить рукопись в какое-нибудь западногерманское издательство и отовсюду получал вежливый, но категоричный отказ. В 1961 году писатель познакомился с директором архива рабочей литературы в Дортмунде Фрицем Хюзером. Тот прочитал рукопись, понял, что перед ним — новый сильный талант. Хюзер и помог Максу фон дер Грюну опубликовать роман. В 1962 году книга вышла в Реклингхаузене, рурском промышленном центре, в издательстве «Паулюс».

Сюжет романа типичен для многих произведений о шахтерах. Произошел обвал. Трое горняков оказались отрезанными от мира; пять дней и ночей, кажущихся им бесконечными, ждут они своего спасения. В отличие от авторов такого рода книг Макс фон дер Грюн выдвигает на первый план не конфликт «человек и природа», а конфликт социальный. Он показывает, что авария была не случайной, а явилась неминуемым следствием хищнической добычи угля в шахте, которую собирались закрыть, и поэтому считали «нерентабельным» заботиться о технике безопасности.

Один из горняков умирает. Остаются двое — забойщик Хубалек и студент теологии, подрабатывающий в свободное от занятий время на шахте, Бринкман. Между ними возникает острый конфликт, в основе которого — социальные мотивы.

Хубалек видит в Бринкмане чужака — интеллигента, который, по его мнению, никогда не встанет на сторону рабочего. Хубалек убежден, что общество, в котором они живут, четко поделено на две неравные части: верх и низ. «Низ» — это рабочие, причем лишь те, кто зарабатывает себе на жизнь физическим трудом. «Верх» — все, кто, по мнению Хубалека, не работает, то есть не занимается физическим трудом: капиталисты, служащие, студенты.

Брикман пытается ему объяснить, что столь прямолинейная классификация общества, при которой студенты и капиталисты оказываются в одном лагере, неверна. Однако делает он это неумело, прибегает

Макс фон дер Грюн

к теологической фразеологии, что еще больше отдаляет от него Хубалека.

Макс фон дер Грюн одним из первых в западногерманской литературе показал социальное бесправие рабочих, их полнейшую зависимость от произвола хозяев. Даже такой во многом политически незрелый и духовно ограниченный человек, как Хубалек, для которого главное, чтобы «водились деньжата» и был бы «собственный садик», понимает всю лживость официальной пропаганды о «социальном партнерстве» и «свободе». «Болтают о свободе, — с горечью говорит он.— Только идиоты думают, будто здесь, под землей, может быть свобода. Это словечко лишь для тех, кто гребет деньгу лопатой. Они говорят о свободе, а думают о доходе...»

Хубалека не возьмешь и на другие пропагандистские приманки. «Экономическое чудо? Ерунда! — заявляет он.— У рабочих чудес не бывает... Экономический подъем? Чушь! Уголь как был, так и остался черным, и в забое такая же жара».

В образе Хубалека нашли отражение политическая индифферентность, боязнь нового, философия пассивности, свойственные в то время довольно значительным слоям западногерманского рабочего класса.

В. СТЕЖЕНСКИЙ
СУРОВАЯ ПРАВДА МАКСА ФОН ДЕР ГРЮНА

Хубалек уверен, что в любых условиях, при всех изменениях, которые могут произойти в обществе, «рабочий всегда останется в дураках». Поэтому, дескать, не имеет смысла проявлять политическую активность, бороться за изменение существующих порядков.

Роман «Люди в двойной ночи» прозвучал суровым обвинением в адрес капиталистических монополий, для которых жизнь шахтера мало чего стоит, обвинением социальной системы, узаконившей подобное отношение к рабочему. «Это ценная и поучительная книга,— писала тогда выходящая в Рурской области газета «Хельвегер анцайгер».— Кто прочитал ее, испытал не только потрясение, но и возможность заглянуть в глубины, где работают не обязательно герои, но и люди, заслуживающие нашего самого высокого уважения».

Профсоюзные газеты публиковали письма читателей, подтверждавших жизненную правдивость книги Макса фон дер Грюна, в ландтаге были сделаны запросы в связи с неприглядными фактами, получившими огласку благодаря этому произведению и читательским откликам. Однако за пределами Рурской области роман «Люди в двойной ночи» остался почти неизвестным. Большая западногерманская печать сделала вид, что такой книги не существует.

Второе крупное произведение Макса фон дер Грюна — роман «Светляки и пламя», как уже говорилось, замолчать не удалось. Сначала он был опубликован в кёльнской газете «Нойе илюстрирте», редакция которой, несмотря на протесты автора, изъяла из текста все критические места. Разразился скандал. Теперь уже писатель грозился привлечь к ответственности редактора за «умышленный обман читателей».

Именно в это время концерн «Клёкнер» предпринял попытку «приручить» Макса фон дер Грюна. Как рассказывает писатель, ему предложили крупную сумму денег и высокооплачиваемую должность редактора заводской газеты. Взамен он должен был воспрепятствовать выходу романа отдельной книгой, а при работе над следующим произведением «консультироваться» с представителем концерна. «Если бы я согласился,— говорит Макс фон дер Грюн,— то я бы погиб как писатель. Никто не захотел бы иметь со мной дела. Обо мне бы все время думали: кто ему заплатил, чтобы он написал то или это, ведь он уже получал деньги за то, чтобы не писал того или этого». Но Макс фон дер Грюн предпочел остаться безработным, испытывая немалые материальные трудности. «Мне грозят экономическими репрессиями,— писал он своему издателю,— открыто заявляют, что хотят со мной расправиться, что в их власти обуздать меня, отбить охоту сочинять романы...» Лишь в конце 1963 года роман «Светляки и пламя», без искажений и купюр, вышел в том же издательстве, что и «Люди в двойной ночи».

Центральным персонажем своего произведения писатель вновь сделал человека вроде бы ничем не примечательного, не отличающегося ни активностью характера, ни особой политической зрелостью, ни широтой духовных запросов.

Шахтер Юрген Форман хочет лишь одного: иметь возможность работать и оставаться человеком. Но в отличие от своего литературного предшественника Хубалека для Формана быть человеком — это больше, чем иметь уютный, со всем электромеханическим комфортом домик, свой сад и автомобиль. Форман прежде всего хочет, чтобы его уважали как личность, считались с его человеческим достоинством. Это вполне естественное и скромное желание вступает в непримиримый конфликт с реальной жизнью. Где бы он ни работал — в шахте, на стройке, на погрузочной площадке, наконец, на заводе у конвейера,— он везде ощущает себя лишь деталью огромного бездушного и непонятного механизма, называемого производством. «Мы обслуживаем здесь машины и инструменты,— размышляет Форман,— но в сущности-то мы сами стали инструментами и машинами».

Стремясь к простым человеческим отношениям с товарищами по работе, Форман все время чувствует, как лихорадка приобретательства, погоня за заработком делают их чужими друг другу. Он хочет уверенности в завтрашнем дне, но не может быть уверен и в нынешнем. Он думает, что фашистское прошлое давно и окончательно преодолено, но видит, как вчерашние гитлеровские палачи и их прихвостни безнаказанно расхаживают по западногерманской земле.

Нет опоры у Формана и в семейной жизни. Его мечта о ребенке натолкнулась на упорное нежелание жены иметь детей, которые, по ее мнению, будут только мешать зарабатывать деньги.

В своей рабочей среде Форман не исключение. Он лишь первый заговорил вслух о том, о чем другие думали про себя и с опаской. Заговорил о своих сомнениях, о невозможности так жить дальше, о необходимости что-то предпринять.

«Мы очень хотели бы возмутиться,— говорит Форман, выступая на собрании,— потому что нельзя не возмущаться царящими у нас порядками. Но мы молчим, ведь нам надо зарабатывать деньги, ведь мы хотим жить, и хорошо жить... Гонясь за материальным благополучием, мы терпим все. Мы даже позволим себя выпороть, если за это нам гарантируют в конце месяца определенную сумму. Мы молчим, когда наши начальники называют нас «дерьмом» и «идиотами»... И сами ссоримся друг с другом на радость тем, кто выжимает прибыль из нашей рабочей силы, из нашего здоровья. Мы должны зарабатывать деньги, и чем больше мы их зарабатываем, тем больше тратим и тем меньше остается в нас человеческого, тем боль-

ше калечится наш характер, тем больше накапливается в нас скотства».

Обвинительная речь Формана не встречает поддержки у собрания, хотя многие с ним согласны. А некоторые профсоюзные функционеры, вроде члена производственного совета Бормана, открыто выражают недовольство строптивостью рядового члена профсоюза.

Критические высказывания Формана в адрес профсоюзных вожаков дали повод шпрингеровской прессе демагогически упрекнуть роман в «антипрофсоюзных тенденциях», а его автора — в отрицании прогрессивной роли профсоюзов, в то время, как писатель подвергает критике лишь отдельных, забывших рабочие интересы профсоюзных функционеров.

Хотя Форман резко отрицает приспособленчество — отказ от своих убеждений, он еще не готов вступить в борьбу со всем тем, что порождает это отвратительное явление, унижает и оскорбляет человеческое достоинство. Как справедливо отмечала газета «Нойес Дойчланд», герой романа уже может «найти ответ на некоторые вопросы, но путь к разрешению конфликтов он найти не может, очевидно, потому, что этого не может и сам автор». И все-таки социальная критика в романе «Светляки и пламя» по сравнению с предыдущими произведениями писателя стала не только острее, но четче и прицельнее. Макс фон дер Грюн не ограничивается осуждением пороков общества, в котором живут его герои. Он открыто называет конкретных виновников и носителей социального зла.

В 1964 году роман «Светляки и пламя» был издан в Германской Демократической Республике. Вскоре там был поставлен по этому роману телевизионный фильм, имевший большой успех. В 1967 году роман был опубликован в Советском Союзе. К концу 60-х годов его уже издали в восемнадцати странах. Макс фон дер Грюн получил возможность всецело посвятить себя литературной деятельности.

«Я не признаю литературы,— говорит Макс фон дер Грюн,— которая в погоне за прекрасным готова умереть, мне всегда казались подозрительными так называемые эстеты, которые жонглировали словом «искусство», желая, вероятно, скрыть свою оторванность от мира.

Я не считаю поэзией стихотворение, призывающее к расовой ненависти и к истреблению народов, даже если оно эстетически безупречно.

Я не признаю также литературы, которая не обогащает меня, довольствуясь тем, что резвится на лужайке для шутов, когда-то предоставленной ей и обнесенной оградой корифеями эстетики, и создает язык, понятный лишь «посвященным».

Я никогда не понимал, что значит «высокая» литература, я пишу о людях, которых в нашем обществе называют рабочими или служащими, я наблюдаю их, но писать о них могу лишь в том случае, если знаю их конфликты, если вместе с ними испытывал страдания. Может быть, лучше сказать словами Лихтенберга: «Мне причиняют боль многие вещи, которые у других вызывают лишь жалость».

В 1965 году писатель опубликовал сборник рассказов «Остановка в пути».

Некоторые из вошедших в книгу рассказов — лишь беглые зарисовки увиденного, наброски к будущим, более значительным произведениям, но в лучших рассказах талант писателя его удивительная наблюдательность и умение сказать о многом немногими словами получили новое подтверждение.

Герои рассказа «Маски», рабочий-крановщик и продавщица универмага, случайно встречаются на улице большого города. Когда-то они были знакомы, даже любили друг друга, но потом жизнь разлучила их на долгие годы. И вот, встретившись, каждый начинает рассказывать о себе небылицы, хвастаясь тем, на какую ступеньку социальной лестницы сумел якобы подняться. И каждый с горечью думает: нет, я ему (ей) не пара. А ведь старые чувства друг к другу не угасли, еще было бы не поздно соединить свои судьбы, но они расстаются, очевидно, уже навсегда.

Герой рассказа «Граница», приехав со своей дочерью-школьницей на границу с ЧССР, рассказывает ей то, о чем умалчивают в западногерманских школах: как гитлеровские войска вторглись когда-то в Чехословакию, как истребляли и преследовали ее мирных жителей.

Запоминаются рассказы, в которых автор рисует картины — большей частью невеселые — окружающей его действительности. Это «Остановка в пути», герой которого после многих лет отсутствия приезжает в родной город и чувствует там себя чужим, никому не нужным, он даже не может поговорить с земляками, потому что разучился понимать местный диалект; это «Нелегкая миссия Бринкгофа» — рассказ о старом горняке, у которого один за другим погибают на шахте три сына; это «Поездка в утро» — о том, как хмельная компания шахтеров решила «покататься» на машине, сбила женщину и уехала, бросив ее на дороге.

Убедительность их — в правдивости, достоверности. События, лежащие в основе, отражают западногерманскую повседневность, в которой так хорошо ориентируется автор.

Но когда Макс фон дер Грюн отступает от принципа писать лишь о том, что близко знаешь, что выстрадал сам, его подстерегает серьезная неудача, как, например, в рассказе «Наумбург» о поездке в Германскую Демократическую Республику. Несколько дней пребывания в этой стране оказались для автора явно недостаточными, чтобы понять происходящие там про-

---

В. СТЕЖЕНСКИЙ
СУРОВАЯ ПРАВДА МАКСА ФОН ДЕР ГРЮНА

цессы общественно-политического развития, глубже познакомиться с образом жизни ее граждан. Рассказ этот вызвал довольно резкую, но справедливую критику в ГДР.

Творческое развитие писателя шло непростыми путями, но он всегда видел поставленную перед собой цель.

«Два письма Поспишилу», как «Светляки и пламя», подобны бризантному снаряду», — так анонсировало издательство «Лухтерханд» новый роман Макса фон дер Грюна, вышедший в свет в 1968 году.

Взрывчатая сила этой книги заложена не в драматичности сюжета, не в характере главного героя, во многом еще более покорного и безответного, чем Юрген Форман, а в беспощадном срывании покрова респектабельности с общества «всеобщего благоденствия».

«Собирая материал для романа «Два письма Поспишилу»,— рассказывает Макс фон дер Грюн,— я три месяца проработал на щитовой в одной из крупных электростанций. Не для того, чтобы познакомиться с технической стороной дела — об этом проще было бы узнать из специальной литературы, — а чтобы почувствовать самому, каково это сидеть по восемь часов в день в стерильном помещении и ничего не делать — будто бы ничего не делать».

Уже с первых страниц книги можно заметить, как возросло мастерство писателя. Более уверенно и динамично развертывается действие, более точным и сдержанным стал язык, отказавшийся от обилия пышных метафор и восклицательных знаков, чем нередко грешили некоторые из ранних произведений Макса фон дер Грюна, своеобразнее и оправданнее сделались речевые характеристики персонажей.

Пауль Поспишил, от лица которого ведется повествование, работает на крупной современной электростанции. По своему положению он специалист высокого класса, стоит ближе к «белым воротничкам», чем к простым рабочим. У него приличное жалованье, собственный домик с садом.

Сидя за пультом управления в светлом просторном зале с красивой удобной мебелью, Поспишил вполне ощущает себя «социальным партнером» своих хозяев, верит, что сверкание никеля и яркость красок, душевые установки, кондиционеры, цветы — все устроено только для них, рабочих, как знак уважения. Иногда Поспишилу кажется, что он вообще всесилен. Ведь от нажатия расположенных перед ним кнопок, от поворота рычажка зависит жизнь огромного города. Он, простой рабочий, может погрузить во мрак дома, магазины, банки, остановить трамваи, прервать движение машин на заводах и фабриках. Но порой у него возникают сомнения: а не являются ли он и его товарищи по работе «просто дополнительными шестью кнопками к остальным двумстам двадцати семи»?

По натуре своей не любящий задумываться о всяких неприятностях, Поспишил торопится отогнать эти сомнения. Однако неприятности сами нежданно-негаданно вторгаются в его казавшуюся такой устойчивой и безоблачной жизнь. Вторгаются в виде двух писем, круто изменивших судьбу героя романа.

Первое письмо — от матери. Она сообщает сыну, что ей удалось узнать адрес того гитлеровского приспешника, который погубил его отца и пытался застрелить ее в те дни, когда гитлеровцы вторглись в Чехословакию. Мать умоляет Поспишила поехать к этому негодяю и «посмотреть ему в лицо».

Прошлое, о котором Поспишил давно забыл, оказывается, еще живо, оно совсем рядом. Но стоит ли в него возвращаться? Автор показывает мучительную борьбу, происходившую в душе его героя. В конце концов Поспишил решается ехать, чтобы добиться наказания фашистского преступника.

Администрация отказывает Поспишилу в краткосрочном отпуске за свой счет. Ему дали понять, что если бы он собрался поехать не на поиски нацистского преступника, а, скажем, на встречу судетского землячества, то в этом случае нашлась бы, разумеется, возможность удовлетворить его просьбу. Тогда интересы производства не пострадали бы.

В романе убедительно показано, что участие в реваншистских сборищах всячески приветствуется влиятельными кругами.

Бывший нацистский доносчик Байерль, отправивший в концлагерь отца Поспишила, безбедно живет теперь на государственную пенсию в собственном домике и увлекается разведением мальв. Разумеется, он совсем не хочет вспоминать о прошлом, а к тому же срок давности за такого рода преступления прошел и ни один западногерманский суд не принял бы к рассмотрению жалобу Поспишила. Нацистское прошлое осталось в ФРГ непреодоленным и безнаказанным.

В бессильной ярости Поспишил подкрадывается ночью к домику Байерля и срезает у него все мальвы, хотя понимает, что от этого «ничего не изменилось и ничего не изменится».

Вторым письмом, полученным им по возвращении домой, было извещение дирекции о его увольнении.

Напрасно Поспишил пытался протестовать, доказывать свою правоту. Для хозяев он человек неблагонадежный, захотевший «ворошить прошлое», «гоняться за призраками». За это он должен быть сурово наказан, чтобы другим боязно было следовать его примеру.

Мираж «социального партнерства», «человечного предприятия», «равенства и свободы» стремительно рассеивался. «Свобода,— говорит Поспишил, — стоит мне услышать это слово... Сегодня вкалывать сверхурочно, завтра неполный рабочий день, послезавтра вылететь на улицу, стоять за пособием по безработице — вот наша свобода!»

В конце концов Поспишилу как величайшую милость предлагают издеватель-

ский компромисс: приказ о его увольнении отменен не будет, но его вновь возьмут на работу, даже на прежнее место, на этот раз не как специалиста, проработавшего много лет, а в качестве ученика. Кроме того, ему предлагают публично признаться, что он злостно нарушил контракт и поэтому никогда не будет обращаться в суд с жалобой на администрацию.

Морально сломленный Поспишил подписывает бумаги, обрекающие его на полное бесправие.

Писатель не оправдывает, тем более не одобряет бесславную капитуляцию своего героя, он лишь подчеркивает ее вынужденность, подчеркивает беспомощность и бессилие одиночки перед могуществом предпринимателей. В условиях, когда острый экономический кризис охватил Рурскую область, когда закрывались десятки горнодобывающих предприятий, найти новую работу Поспишилу было бы невозможно. Тем более что его фамилия уже попала в черные списки.

Хотелось бы особо остановиться на образе коммуниста Фреда Вердемана. В литературе ФРГ это один из первых положительных образов коммунистов. Годы мучений в гитлеровских концлагерях изувечили его физически, но не могли сломить ни духовно, ни нравственно. Непоколебимая идейная убежденность влечет к нему и таких людей, которые, как Поспишил, не разделяют его взглядов. Хотя в тогдашних условиях запрета коммунистической партии Вердеман не занимается активной партийной работой, за ним установлена неослабная слежка, каждый его шаг, каждая встреча с друзьями становятся известны полицейским властям. Писателю, оказывается, достаточно нескольких таких деталей, чтобы передать обстановку антикоммунистической истерии, страха перед прогрессивными идеями, насаждаемого средствами массовой информации.

Вместе с тем нельзя не заметить, что иногда автору изменяет не только литературный вкус, но и чувство политического такта. Это происходит, например, в том случае, когда он пытается провести своего рода параллели между судьбой Байерля и Вердемана. И тот и другой живут в одиночестве, в маленьких домиках, подальше от городской суеты. Оба увлекаются разведением мальв, и оба в одно и то же время оказываются внезапно лишенными этой своей небольшой радости. Разница лишь в том, что у Байерля все его цветы срезал человек антифашистских взглядов, а у Вердемана погубил мальвы какой-то юнец, подогретый антикоммунистической пропагандой. А в результате картина одинакова: и домик Байерля, и домик Вердемана выделяются в обоих поселках, как унылые голые пятна среди цветочного великолепия соседних дворов. И читатель не может преодолеть чувства недоумения.

Западногерманская критика уже обращала внимание на эти моменты. «Такая символика,— писал Ганс-Альберт Вальтер,— не имеет никаких оснований. Ведь Байерль действительно преступник, он отправил в концлагерь отца Поспишила, хотел убить его мать. Вердемана. напротив, преследуют, за ним шпионят не из-за совершенных им преступлений, а единственно из-за его убеждений. К чему же такое отождествление?»

Надо полагать, что Макс фон дер Грюн со временем сам это понял. В интервью, данном в 1970 году газете «Нойес Дойчланд», он заявил, что если бы писал свой роман сейчас, то иначе показал бы в нем и Вердемана.

В течение трех лет вышли в свет три новых сборника рассказов писателя: «Отпуск на Платтенском озере», «Над стойкой гаснут огни» и «Стенограмма».

Почти все герои рассказов — рурские горняки: отработавшие свой век ветераны, «силикозная гвардия», как их здесь называют, и молодые, едва начавшие трудовую жизнь, но уже потерявшие работу люди. В рассказе «Над стойкой гаснут огни» из одноименного сборника речь идет о тягостной судьбе горняков. В конце 60-х годов в ФРГ проводилось массовое закрытие шахт, горняки бросали старые поселки, в которых жили из поколения в поколение, перебирались в город, поближе к заводам, фабрикам, но в городе не могли найти крышу над головой. Писатель говорит, что только солидарность — классовая, человеческая, товарищеская — может помочь рабочим защитить свои права.

Этой же проблеме посвящена пьеса-ревю «Чрезвычайное положение, или Приехал уличный театр», поставленная в январе 1969 года. Автор показывает, что в разобщенности молодежных и рабочих выступлений, в отсутствии классовой солидарности была одна из главных причин неудач борьбы против концернов и монополий. В пьесе подвергнуты критике левоэкстремистские взгляды определенных кругов молодежи и консерватизм, пассивность высокооплачиваемой части рабочего класса ФРГ.

Взыскательный, не желающий довольствоваться достигнутой славой, писатель Макс фон дер Грюн пробует силы в разных литературных жанрах. Читатели с интересом познакомились с его вышедшей в 1973 году книгой «Люди в Германии (ФРГ)». Автор нарисовал в ней запоминающиеся портреты школьной учительницы, владельца ресторана, работницы фарфорового завода, полицейского. Это — социальные очерки, основанные на документальном материале, раскрывающие жизнь людей разных профессий и политических убеждений.

В том же году вышел новый роман Макса фон дер Грюна «Местами гололед» [1].

Роман еще находился в издательстве, но сообщения о готовящейся публикации уже

[1] Опубликован в «Иностранной литературе» № 6, 7 за 1974 г.

В. СТЕЖЕНСКИЙ
СУРОВАЯ ПРАВДА МАКСА ФОН ДЕР ГРЮНА

вызвали переполох среди рурских промышленников и профсоюзных функционеров. А дирекция коммунального банка, принадлежащего профсоюзам, каким-то образом познакомившись с содержанием романа, направила писателю своего рода меморандум с требованием внести необходимые с ее точки зрения поправки. В случае отказа дирекция банка грозила привлечь автора к суду.

«Местами гололед» отличается политической четкостью, глубиной проникновения в действительность. «Автору удалось,— писала австрийская коммунистическая газета «Фольксштимме»,— дать убедительный анализ нашего общества». «Роман Макса фон дер Грюна,— отмечал западногерманский писатель Герман Пивитт,— это очищающий взрыв, семимильный шаг вперед...»

Сюжет романа таков. Механик автобазы Карл Майвальд обнаруживает в служебных помещениях подслушивающие устройства, установленные по распоряжению дирекции. Возникает остроконфликтная ситуация. Возмущение рабочих автобазы принимает поначалу стихийные, неуправляемые формы: во время рождественского праздника они разбили вдребезги все эти установки, сожгли рождественскую елку, а заодно и полученные от хозяев подарки. Но даже эти полуанархистские действия произвели впечатление на владельцев фирмы.

Верный своей художественной манере, Макс фон дер Грюн избегает прямого осуждения пассивности и долготерпения героев, однако дает ясно понять, что стрелка социального манометра подошла к опасной черте и вот-вот может произойти взрыв, хотя далеко не все рабочие понимали необходимость совместных действий, проявляли решительность.

Взрыв произошел, когда дирекция, мстя Майвальду за разоблачение существующих на автобазе порядков, уволила его, обвинив в «разглашении производственных тайн». Рабочие автобазы уже не ограничиваются, как коллеги Поспишила, признанием того, что несправедливость, допущенная по отношению к одному из них сегодня, может завтра коснуться каждого. Пассивное сочувствие перерастает в активные действия. Рабочие объявляют забастовку, требуя восстановить Майвальда.

Вместе с тем писатель показывает, что ни профсоюзные функционеры, ни местные руководители социал-демократической партии, членом которой состоит Майвальд, не хотят помочь ему в борьбе за восстановление справедливости. «Никого это дело уже не интересует,— говорит ему председатель производственного совета автобазы,— все хотят жить спокойно...» «Такую роскошь, как высокая мораль, мы не можем себе позволить»,— поучает Майвальда один из лидеров профсоюза.

Единственным надежным союзником Майвальда, как показано в романе, являются коммунисты в лице Манфреда Роггензака. Именно он помогает Майвальду составить и отпечатать листовки, организовать демонстрацию рабочих.

Автор не рассказывает о том, как сложилась дальнейшая судьба его героя. Но можно с уверенностью сказать, что Майвальд, пройдя школу социальной борьбы, достигнув определенных высот классового самосознания, не отступит, если потребуется вновь защищать свои права, права своих товарищей.

В романе «Местами гололед» Макс фон дер Грюн затрагивает еще одну, важную для современной Западной Германии проблему: положение иностранных рабочих. Известно, что в начале 70-х годов в ФРГ находилось около двух миллионов иностранных рабочих, так называемых «гастарбайтеров», не считая членов их семей, преимущественно из стран южной Европы. Используют их, как правило, на самой черной, малооплачиваемой работе. Среди обывателей отношение к приезжим рабочим двоякое: с одной стороны, их побаиваются, считая потенциальными грабителями и убийцами, с другой, всячески стараются унизить, оскорбить, дать понять, что они люди «третьего сорта».

К этой проблеме писатель возвращается и в книге «Жизнь в стране обетованной» (1975). Макс фон дер Грюн резко осуждает продолжающуюся в ФРГ дискриминацию «гастарбайтеров», призывает к классовой солидарности людей труда всех стран.

В том же 1975 году он опубликовал книгу путевых очерков «Если мертвая ворона упадет с дерева», рассказав в ней о своей поездке в Турцию, Афганистан, Пакистан и Израиль.

Эти очерки — своего рода социальные и этнографические исследования. Автор не только показывает, но и размышляет и предлагает читателю поразмышлять вместе с ним.

Вот в одном турецком городе солдаты с винтовками наперевес пытаются остановить демонстрацию — еще минута, и прогремят выстрелы. «А я подумал о наших полицейских,— пишет автор,— ведь они не неграмотные крестьянские парни из анатолийских деревень, но и они не моргнув глазом будут стрелять, если прикажет тот, у кого на погонах одной звездочкой больше, чем у них».

Когда Макс фон дер Грюн читал в Турции свои очерки о положении турецких рабочих в ФРГ, кое-кто из присутствовавших настойчиво ему возражал: «Вы считаете, что нас там дискриминируют, меньше платят, чем немцам, поселяют в бараки. А ведь здесь многие из нас живут еще хуже, в гнилых землянках, без водопровода и электричества. Вы пишете, что в Западной Германии хозяева не считают нас за людей, но и здесь нас за людей не считают, только к тому же и платят сущие гроши». Вот и еще одна проблема, волнующая писателя. Не так-то просто объяснить этим людям, что их земляки в ФРГ тоже бедствуют.

Бедность, забитость простых тружеников на каждом шагу бросались в глаза автору, особенно в Афганистане и Пакистане.

Правда, в Афганистане, как показано в книге, за последние годы происходят перемены к лучшему, благодаря помощи Советского Союза. «Русские,— отмечает Макс фон дер Грюн,— начали осуществлять тут гигантскую аграрную программу. Программа скоро будет завершена».

В Израиле писатель увидел, как милитаризация страны, разгул шовинизма и расизма губительно действуют на сознание людей. Рассказывая о встречах с израильтянами, автор с возмущением пишет, что многие «считают арабов людьми низшего сорта», с которыми якобы «нельзя идти на мирное соглашение». «Один из них,— продолжает писатель,— даже сказал мне: мы — народ без пространства. Но ведь эти слова я слышал еще в школе, сорок лет назад... И я подумал: колониализм многолик».

Писатель активно участвует в общественной жизни своей страны. Он был одним из создателей литературного объединения «Группа-61» и общезападногерманского Союза писателей. «Надо, чтобы писатели,— говорил Макс фон дер Грюн,— осознали наконец, что они не могут больше оставаться индивидуалистами, что в ближайшем будущем они будут существовать как писатели, как творческие личности лишь в том случае, если пробьет себе дорогу то, что в конечном итоге приведет к власти трудящихся. Конкретно это означает, что и для писателей... должна стать законом рабочая солидарность, которой так боятся власть имущие».

Много сил и времени отдает Макс фон дер Грюн встречам со своими читателями. Не только у себя на родине, но и за ее рубежом. География его поездок обширна, трудно перечислить страны, где он побывал за последние годы: Англия и ГДР, Норвегия и Польша, Бельгия и Советский Союз, Франция и США. Бывает, что встречи, начавшись в одном городе, продолжаются в другом, и писатель по нескольку недель колесит по дорогам на своем «БМВ» от библиотеки к университету, от университета к школе. «Такие поездки мне просто необходимы,— говорит он.— После завершения работы над рукописью обязательно надо оторваться от письменного стола, сменить обстановку, подышать воздухом странствий, поговорить с разными людьми».

На одной из таких встреч случилось присутствовать и мне.

Было это во Франкфурте-на-Майне. Поздно вечером в гостиницу заехал Макс фон дер Грюн, и мы отправились в университет. Улицы уже опустели, и писатель гнал машину на предельной скорости. Нет, мы не опаздывали, просто Макс фон дер Грюн любитель стремительной, я бы сказал сумасшедшей, езды.

Возле университета, расположенного на окраине города, тоже было безлюдно. Ветер шелестел полусорванными со стен плакатами, под ногами шуршали листовки. Как выяснилось, здесь только что прошли выборы в студенческий комитет. Я засомневался: придет ли кто на эту встречу в столь поздний час, да еще после перевыборного собрания?

Актовый зал был полон. На миг показалось, что мы в Москве, в Политехническом.

«Примерно каждые двадцать лет,— начал Макс фон дер Грюн,— появляется некто и утверждает: роман умер. Потом появляется писатель и доказывает, что роман не умер. Доказывает своей книгой».

И вот уже аудитория у него в руках, все слушают, затаив дыхание, боясь пропустить слово. А Макс фон дер Грюн рассказывает, как тяжел и мучителен труд писателя и как он прекрасен и радостен. Он разговаривает со слушателями на равных, без тени превосходства.

«Каждый свой роман,—продолжает Макс фон дер Грюн,— прежде чем отправить в типографию, я переписываю по пять, а то и семь раз. Устраиваю проверку всем моим персонажам: достоверны ли они, вполне ли убедительны?

Роман имеет дело в первую очередь не с обстоятельствами и взаимосвязями, а с изображением человеческих характеров, людей, которые живут, вынуждены жить в этих обстоятельствах и взаимосвязях. Тогда конфликты возникают сами собой, их не надо придумывать.

Больше всего я бьюсь над языком, основой основ литературы. Работая над рукописью, я всегда задаю себе вопрос: так ли разговаривает мой герой? Может ли он знать слова, которые сейчас употребил?»

Потом писатель читает главу из своей книги, отвечает на бесчисленные вопросы.

Задают вопросы не только о литературе. Спрашивают о «восточной политике», о Советском Союзе, о европейской безопасности.

Макс фон дер Грюн отвечает просто, доходчиво, подкрепляя аргументы примерами из богатого жизненного опыта. «Я думаю,— говорит он,— во всяком случае такое убеждение сложилось у меня в результате многих бесед с рабочими и профсоюзными деятелями, что большинство рабочих в нашей стране считает необходимым тесное сотрудничество с Советским Союзом».

В одной из статей, названной «Партийность литературы», говоря об общественном призвании писателя, Макс фон дер Грюн писал: «Быть партийным в том, что ты пишешь,— это, по-моему, единственный сегодня путь, дающий возможность чего-то добиться... Мой долг состоит в том, чтобы смотреть на вещи и события глазами оскорбленных, обиженных, угнетенных и эксплуатируемых».

Защитником этих людей, выразителем их надежд, глашатаем их требований неизменно выступает в своих лучших произведениях писатель Макс фон дер Грюн.

◆

Заметки на полях

ТРУДНЫЕ ДОРОГИ ИСПАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В горячих дискуссиях о демократических преобразованиях в стране, о скорейшей ликвидации последствий франкистского наследия немалое место отведено культуре. Ее состояние на сегодняшний день, перспективы развития в будущем волнуют многих. Журнал «Ресенья де литература, арте и эспектакулос» посвятил специальный номер проблеме «Испанская культура и франкизм». Оглядываясь назад, писатели, художники, философы, критики подводят итоги.

Известного философа, автора многих книг Хосе Луиса И. Арангурена занимает прежде всего вопрос о том, что именно составляет содержание понятия «испанская культура в период франкизма». Арангурен считает, что необходимо разделять «культуру франкизма», которую режиму так и не удалось создать, и «культуру в период франкизма». При этом он высказывает интересную, хотя и не бесспорную мысль:

> «Получилось так, что франкистскому режиму не осталось другой возможности, как ассимилировать постепенно культуру, существовавшую до него. Именно она стала играть ведущую роль. Некоторое отставание в развитии, а подчас и топтание на одном месте — цена, которую культуре пришлось за это заплатить».

В то же время Арангурен отмечает, что наряду с той культурой, которую признавала официальная Испания, существовала другая, более демократическая. И ее роль, по мнению философа, будет увеличиваться по мере дальнейшего развития испанского общества по пути демократии. Именно этой культуре посвятил свою статью драматург Франсиско Ньева. Он считает, что франкизм во многом определил ее особенности:

> «В периоды реакции часто расцветает дух непокорности, и контуры искусства, оппозиционного по отношению к официальному определяются более четко... Пока мы не в состоянии определить, каких высот достигла испанская культура за годы репрессий, поскольку мы еще не имеем возможности познакомиться со всем, что создано за это время».

Действительно, одной из особенностей современной испанской литературы явилось то, что немалая часть ее была создана писателями, покинувшими страну после 1939 года. Сейчас, когда на родину возвращаются многие политические деятели, когда публикуются книги ставятся пьесы, на которые ранее был наложен запрет, особое значение приобретает литература, созданная писателями-эмигрантами, и ее связь с культурой, развивающейся внутри страны. Без Сесара Муньоса Арконады, Алехандро Касоны и многих других не может быть верной и полной картины испанской прозы и драматургии второй половины XX века. Лучшая часть испанской послевоенной поэзии, ее гордость — произведения Луиса Сернуды, Рафаэля Альберти, Хорхе Гильена, Леона Фелипе также созданы в эмиграции. Вместе с тем вопрос о месте испан-

ских писателей, живших за рубежом, в литературном процессе в стране достаточно сложен. Критик Салустиано Мартин считает, что рассматривать литературу писателей-эмигрантов как единое целое просто нельзя. Вдали от Испании оказались люди разных убеждений, разных возрастов: одни из них, как Мария Тереса Леон, Роса Часел, опубликовали свои первые книги до начала борьбы испанского народа против фашизма, другие, например Мануэль Андухар, Паулино Масип, сформировались как писатели лишь в 40-е годы. На творчество всех, кто покинул родину, немалый отпечаток наложила культура тех стран, куда забросила их жизнь. И если можно нащупать у них что-то общее, оно заключается в своеобразном мироощущении, отразившемся в их книгах. С. Мартин пишет:

«Реализм как ведущее направление испанской прозы в эмиграции... идет гораздо дальше простого изображения быта, дальше реализма XIX века, объективной прозы, тремендизма [1] или натурализма. Он несет на себе особый отпечаток, обусловленный психологическим состоянием испанца, которого сложная судьба поставила в крайнюю ситуацию, не оставив ему выбора».

На страницах журнала идет речь и об основных тенденциях развития испанской прозы, поэзии, драмы внутри страны. Один из крупнейших современных писателей Испании Мигель Делибес так оценивает прозу франкистского периода:

«Испанский роман с достоинством преодолел это препятствие. Ту незначительную свободу слова, которой была совсем лишена пресса, наши писатели использовали, чтобы говорить правду о проблемах, которых на страницах газет нельзя было даже коснуться».

Особенно заметно влияние франкизма на развитие испанской драматургии. Культурная политика правительства в период Республики была направлена на развитие свободной творческой инициативы. Эксперименты прогрессивных драматургов и деятелей театра были подчинены одной задаче — сделать искусство близким и понятным простому люду. После захвата власти франкистами творческие достижения интеллигенции в области театрального искусства были сведены на нет. В качестве причин упадка испанской драмы после 1939 года — кроме политических, разумеется,— обычно называют франкистскую цензуру и коммерческий характер театральной системы в стране. Существенное значение имеет и тот факт, что буржуазный зритель стремился поскорее забыть о войне, о политических и социальных проблемах, стоявших перед страной. Он ждал, требовал развлекательных пьес, конфликты которых не выходили бы за пределы сферы забавных недоразумений и любовных похождений. Именно такие пьесы и составляли в течение длительного времени репертуар испанских театров.

Опасение властей предержащих вызывали лишь пьесы, заставляющие зрителя осознать конфликты и противоречия эпохи. Причем в равной степени это относилось и к современной драме других западных стран. Так в число нежелательных авторов попадали О'Нил, Т. Уильямс, А. Камю и многие другие. Если их и ставили, то полулегально, на сценах экспериментальных и университетских театров. «Правительство всячески стремилось избежать какой-либо интеллектуальной проблематики»,— замечает известный театральный критик Мигель Анхель Медина.

Подобная политика была в состоянии лишь замедлить, но не остановить вообще поступательное развитие театрального искусства. Постепенно стали появляться пьесы, в которых со всей остротой поднимались проблемы, волновавшие страну. Некоторые из них попадали на сцену, другие — и таких было немало — получали разрешение только на публикацию. Нередко пьесу дозволяли сыграть один раз экспериментальным театрам, ориентировавшимся на подготовленного зрителя из среды демократически настроенного студенчества и интеллигенции. Таким образом, пьеса официально не считалась запрещенной, но в то же время оставалась практически неизвестной широкому зрителю. Поэтому при сравнении оказывается, что история испанской послевоенной драмы шире и богаче, чем испанского театра того же периода. История испанской драматургии последних десятилетий включает и то, что написано писателями в эмиграции. Нужно, однако, признать, что в отличие от романа или поэзии, где немало выдающихся произведений, драматургия эмиграции более бедна, что объясняется, по всей видимости, спецификой этого вида искусства, нуждающегося в силу своей эстетической природы в непосредственном контакте со зрителем.

Развитие туризма, массовая эмиграция испанских рабочих, приток разнообразной информации о жизни в других странах положили в 60-е годы конец культурно-идеологической изоляции, в которой жила страна. В Испанию проникают и получают распространение новейшие течения европейской мысли в области философии, социологии, литературы и кино. На полках книжных магазинов стали появляться произведения, не издававшиеся раньше совсем или издававшиеся ограниченно. На испанской сцене стала возможной постановка пьес Брехта, О'Кейси, Сартра. Однако положение испанских современных драматургов не улучшилось.

[1] Тремендизм — близкое к экзистенциализму направление в испанской литературе 40-х годов.

«Сегодня мы произносим имена Альберти, Гарсиа Лорки, Валье свободно, как будто всегда могли делать это,— пишет Мигель Анхель Медина.— Прошедшие годы кажутся кошмарным сном... Однако надо признать, что по существу ничего не изменилось: хотя цензуре все чаще приходится идти на уступки, она по-прежнему на посту и предприниматели вынуждают театр считаться со своими интересами. А «проклятые» имена пока не перестали быть таковыми».

Таких имен можно назвать немало. Это видный прогрессивный драматург Альфонсо Састре, с творчеством которого мы знакомы по постановкам советских театров и по вышедшему в издательстве «Искусство» в 1973 году сборнику «Гибель тореро» и еще шесть драм». Среди них и те драматурги, кого принято объединять термином «независимый театр»: Анхель Гарсиа Пинтадо, Мануэль Мартинес Медьеро, Херонимо Лопес Моссо и другие. Большинство их пьес и по сей день нельзя увидеть на испанских сценах. Причина — резкий критицизм по отношению к обществу потребления, а нередко и непривычная для Испании драматургическая форма: высмеивая пороки современного испанского общества, они утрируют их, сочетая гротеск и сатиру, используя приемы театра абсурда. Но, несмотря на вынужденное полулегальное положение, эти пьесы являются фактом современной культурной жизни страны. И наряду с другими явлениями они дают основание М. А. Медине прийти к выводу:

«Франкизм не остановил развития нашего театра, как ни стремился. И теперь нам, тем, кто еще в состоянии писать, предстоит избавиться от балласта, так долго закрывавшего от нас более широкие перспективы».

Выступившие на страницах «Ресенья де литература, арте и эспектакулос» подчеркнули, что франкизм тормозил развитие культуры особенно сильно в Каталонии. Критик Антонио Бланч пишет:

«Ни один сектор испанских литератур не пострадал так от франкизма, как каталонский. Речь идет не только о стиле или темах — как в литературе на испанском языке,— но и о самом факте ее существования».

Действительно, после 1939 года было сделано все возможное, чтобы уничтожить культуру каталонского народа. Были закрыты газеты и журналы, издательства, запрещено преподавание на родном языке в школах. В учреждениях и общественных местах официально признанным был лишь «язык Империи», как высокопарно именовался испанский язык. Именно насильственно навязываемым каталонской литературе билингвизмом объясняет ряд критиков тот факт, что многие литераторы-каталонцы, например, Хуан и Луис Гойтисоло, Хуан Марсе, Хосе Мария Хиронелья, стали писать книги на испанском языке.

«Роман — это голос народа, своего рода эпос современного общества,— считает Антонио Бланч.— Разве могла политическая цензура допустить, чтобы в литературе отразились этнические особенности, образ жизни, которые систематически и целенаправленно подавлялись? То, что можно было в отвлеченной, полной символов поэзии, никто не стал бы терпеть в более близкой к реальной действительности прозе. Подтверждение этому — тот факт, что многие романы, написанные в 40-е и 50-е годы, могли быть изданы впервые лишь несколько лет назад».

Но уничтожить язык, культуру, традиции шести миллионов человек оказалось не под силу даже франкизму. И если в 1944 году было опубликовано всего 5 книг на каталонском языке, а в 1960-м—50, то в 1975-м их было уже около 600. Безусловно, даже эта цифра составляет очень незначительный процент в общем потоке книгоиздательской продукции страны, но она свидетельствует об определенной тенденции. Такие каталонские писатели, как Мануэль де Педроло и Теренций Мойкс, являются гордостью современной литературы Испании.

Положение каталонской культуры сегодня все больше привлекает к себе внимание прогрессивной общественности страны, предпринимаются попытки исправить ущерб, нанесенный ей долгими годами франкизма. Большое значение в этой связи имеет начатая в 1977 году по инициативе барселонской интеллигенции кампания по изучению различных областей жизни провинции: ее экономики, культуры, образования. Цель этого движения — осмыслить специфику Каталонии, национальные традиции ее народа и помочь ей изжить наследие франкизма.

Движение каталонцев отражает общую тенденцию к резкой политизации среди испанской интеллигенции, принимающей все более активное участие в том сложном процессе перестройки внутренней жизни, который происходит в стране. Особенно заметно это стало в период подготовки к выборам в кортесы, состоявшимся 15 июня 1977 года. Энергично включились в предвыборную кампанию известные писатели Альфонсо Гроссо, Анхель Мария де Лера, литературовед, член испанской Королевской Академии Гильермо Днас-Плаха.

Однако прошлое не так легко сдает свои позиции. Правые силы страны все еще активно заявляют о себе — то взрывом бомбы в одном из театров Барселоны во время спектакля «Мигель Сервет» (пьеса Альфонсо Састре), то демонстрацией, проведенной

фашиствующими молодчиками в годовщину мятежа генерала Франко. Испанскому народу, добившемуся определенных успехов на пути демократизации страны, еще предстоит нелегкая борьба для завоевания подлинной свободы. В эту борьбу предстоит сделать свой вклад и интеллигенции Испании. Именно поэтому она и хочет осмыслить прошлое.

Н. МАТЯШ

ФОЛКНЕР В ГОЛЛИВУДЕ

— Какой Фолкнер, тот самый?

Нет, не слава всем нам теперь известного писателя вызвала этот вопрос. Молоденькая девушка, помощник режиссера в Голливуде Мета Карпентер задала его только потому, что она сама была родом с Юга, откуда происходил Уильям Фолкнер, и ей уже случалось слышать эту фамилию. Она даже, кажется, однажды встречала «Билла фолкнера» в кругу общих знакомых. «Так это тот самый?»

Мета тогда была совсем молода, а Фолкнер начинал свой путь. Приехал он в Голливуд ради заработка и вот — встретил землячку. В то время, вспоминает Мета, на кинофабрике не трудно было затеряться среди знаменитостей: Морис Шевалье, Хемфри Богарт, Билл Роджерс, Гари Купер, Чарли Чаплин, но земляки нашли друг друга... Теперь, спустя сорок лет, говорит Мета Карпентер, она часто слышит у себя за спиной завистливо-почтительный шепот: «Фолкнер... Она была близка с Фолкнером»... Поэтому ей представилось правильным рассказать историю их встречи, дружбы, любви.

На Западе существует целый поток подобной литературы: мемуары законных жен и записки любовниц... «Что ж, мне от выгоды своей отказываться?» — под таким примерно девизом большей частью все это пишется. Есть такой налет и на книге Меты Карпентер, только что изданной и названной «Любовь благородного человека». Но все-таки это честная книга, простая и непритязательная. Действительно, раз уж свела судьба с «классиком современной литературы», зачем же отдавать на волю голливудских сплетен собственную историю? Мета рассказала ее сама.

Книгу Меты Карпентер следует рассматривать и как еще одно звено обширной фолкнерианы, целой библиотеки из книг о Фолкнере, которая растет у нас на глазах. Не все судят о Фолкнере единодушно, но все же за счет общих усилий вырисовывается его сложный облик. И эта книга — еще одно свидетельство того, как в буржуазном мире большой художник, пробиваясь сквозь противоречия, им же выявленные, сам попадает в сеть тех же противоречий. Фолкнер, поборник бескомпромиссной правды, вынужден лукавить перед собственной совестью; он чувствует стремление бизнесменов от искусства эксплуатировать его талант, но продолжает заниматься литературной поденщиной; утверждает способность человека перебороть любые враждебные обстоятельства, а сам вынужден порой идти на компромисс.

> «Ничто в моем прошлом, ограниченном опыте не могло подготовить меня к эмоциональному общению с Уильямом Фолкнером, человеком, который был на 10 лет старше и несравненно выше меня по интеллектуальному уровню...»

С начала 30-х годов — в самую легендарную пору Голливуда — Мета Карпентер выполняла обязанности суфлера, курьера и секретаря. Фолкнер приехал туда в 1932 году, потом приезжал в 1935-м и позднее. Он работал на студиях, названия которых нам хорошо известны.— «Метро-Голдвин-Майер», «Твентис сенчюри Фокс». Изнутри, с доскональным знанием материала, изображает Мета Карпентер голливудскую обстановку, эту «фабрику», перерабатывающую в качестве сырья все, в том числе и писателей. Фолкнера приспособили делать в сценариях диалоги, ремарками занимался кто-то другой.

За время работы в кино Фолкнер написал много таких диалогов, но не создал ничего значительного. Навязанная жизнью необходимость сотрудничать с Голливудом тяготила писателя.

«У Муссо появились новые лица — Клиффорд Одетс, Артур Миллер, Гесс Шлезингер, Раймонд Шандлер, Мэри Маккарти. Когда я услышала, что Карл Сэндберг и Синклер Льюис начали работать над сценарием, я бросилась к Биллу, надеясь, что это заставит его переменить свое мнение о Голливуде к лучшему; такого не произошло. Когда в газетах объявили, что Джон Стейнбек работает с Альфредом Хичкоком над сценарием «Спасательная лодка», Фолкнер только презрительно фыркнул».

«Даже за тот, сравнительно короткий период, пока он зарабатывал деньги в Голливуде,— пишет Мета Карпентер,— Фолкнер мог убедиться в том, как система кинобизнеса развращала авторов, подающих большие надежды: их новые книги, если они вообще появлялись, оказывались обычно всего лишь халтурой, в которой с трудом можно было узнать руку прежнего автора. Некоторые писатели настолько привыкали браться за работу, только заполучив чек на первую сумму, что они уже больше не могли писать по вдохновению. «Продажные шкуры»,— говорил про них Билл».

Фолкнер не считал себя пригодным к работе сценариста («Я не стремлюсь к тому, чтобы в Голливуде полностью использовали то, что я здесь пишу, в общем-то это безразлично. Мое дело писать книги, а не сценарии»). Но Фолкнер чувствовал силу кино и потому быстро откликался на запросы времени. Работая уже во время второй мировой войны над сценарием по роману Хемингуэя «Иметь и не иметь», он смело меняет место действия, переносит его во Францию и превращает фильм в открыто антифашистский.

«...Он был художником, просто не умеющим работать в полсилы; в отличие от других романистов и драматургов, приезжавших в Голливуд, он не писал, исходя из конъюнктуры или выгоды, и не имел того циничного отношения к работе («дают — бери»), которое доминировало в Голливуде. Диалоги у него были обычно длиннее нормы, но в них была точно схвачена живая речь, была в них напряженная динамика действия. Будучи заинтересованным прежде всего внутренним состоянием своих героев, Фолкнер, как никакой другой писатель, пришедший в Голливуд, умел мыслить и зрительными образами. Он прекрасно понимал, что Хоукс (режиссер, с которым работал Фолкнер.— Ю. П.) не может снимать мысли, и то, что он предлагал своему режиссеру, всегда было кинематографично и живо».

Работа в Голливуде была для Фолкнера тяжелой обязанностью.

«Он ненавидел студию, ненавидел систему работы двух авторов над одним сценарием, хотя Лонгстрит и был его другом (и незаурядным сценаристом.— Ю. П.), ненавидел саму необходимость пробивать время прихода и ухода на особой карточке».

«После 6 часов он хотел, чтобы ничто не напоминало ему о кино. Вечер принадлежал ему. Внутренним взором он обращался к фантастическому миру своей Йокнапатофы. Порой, когда мы сидели на веранде, он забывал обо мне, о шуме с улицы и замыкался в своей спокойной отчужденности, и только по вздрагивающим мышцам на лице и горящим глазам я могла догадаться, что в его голове рождаются новые рассказы или очередной эпизод из будущего романа ставится на положенное ему место. Если я напоминала ему о каком-нибудь происшествии на студии звукозаписи или о том, что теперь уже можно надеяться на наступление союзников в Европе, он мычал в ответ что-то невнятное и, не прерывая хода своей мысли и воспоминаний, хлопал меня по колену. Я понимала, что все эти оборванные Сноупсы или какие-то другие персонажи его вымышленного округа оттеснили меня в самый дальний угол его сознания».

Фолкнеровская неприязнь к Голливуду, о которой он говорил порой открыто, а кроме того, нарушение им принятых в Голливуде жестких норм, определяющих стиль работы авторов, привели наконец к молчаливому заговору режиссеров и продюсеров против Фолкнера: ему просто перестали предлагать работу. И произошло это именно

тогда, когда финансовое положение писателя было особенно затруднительным. Книги его не переиздавались, потому что на них не было читательского спроса. Правда, в это же самое время начинает складываться репутация Фолкнера среди критиков: его произведения изучаются, интерпретируются, превозносятся. Потом Фолкнеру даже придется обороняться от этих похвал. «Успех у знатоков» не давал, однако, возможности существовать за счет собственно писательского труда, и Фолкнер вынужден был снова обращаться в Голливуд.

«Фолкнер написал мне, что снова идут переговоры о его возможном возвращении в Голливуд, а я отложила письмо со вздохом сожаления: мой знаменитый Фолкнер, повсюду восхваляемый, величайший писатель Америки, все еще надеется на то, что пренебрегающий им Голливуд даст ему заработать деньги, чтобы он мог оплатить долги и содержать людей, зависящих от него».

Но как же изменилось отношение Голливуда к Фолкнеру, когда он стал звездой литературной сцены, лауреатом Нобелевской премии! Теперь уже Голливуд готов был заплатить любые деньги, чтобы заполучить знаменитость.

Работая в Голливуде и пытаясь отстоять свою творческую независимость, Фолкнер умел быть и жестким. Он знал, как и с кем говорить. Об этом писал и в появившихся при жизни писателя фактически авторизованных воспоминаниях его сосед по Оксфорду Джон Каллен. На лице Фолкнера почти постоянно было то особое выражение, которое немедленно пресекало всякую возможность непрошеного вторжения в его жизнь. В то же время он и сознательно создавал себе облик, пригодный для общественного потребления.

«Фолкнер вернулся в Голливуд в начале лета. И вот в первый раз, глядя, как он идет, странно подавшись вперед, услышав его более свободную, медленную речь, я вдруг поняла, что он обладает ясным и острым пониманием обстановки, что он меняется, когда попадает в новое окружение. Перемены в Нью-Йорке, где он начинал ходить быстрее и приобретал четкость речи, были совсем не те перемены, что видны были в нем в Голливуде: здесь он ходил прямо, даже одежда его становилась менее небрежной, порой даже аккуратной. И я легко могла представить себе, как после первых же дней в Оксфорде он начнет ходить на манер местных жителей, станет говорить медленнее, используя местные словечки, сменит городской костюм на брюки и куртку и потом уже будет носить их не снимая».

«Взявшись за руки, шли мы по Сансет-стрит, следуя правилу совершать хорошую прогулку после хорошего ужина. В те годы на этой улице было полно различных киноконтор, богатых магазинов, ночных клубов и маленьких ресторанчиков. Отсюда, от ресторана «Трокадеро», открывался головокружительный вид на Лос-Анджелес, казалось, будто прямо к темному небу прикреплены были сияющие огни рекламы. Глядя с вершины холма, в конце улицы, на эти огни, мы увидели, как движущийся среди звезд ряд огоньков превратился в самолет.

— Хотел бы я,— произнес Билл, следя жадными глазами за летящими огоньками,— взять в аренду машину и прокатить тебя по небу.

— Хорошо было бы...

— А не испугаешься?

— Ни капли,— отвечала я.— Ведь я уже пробовала летать на старом военном «кукурузнике».

— Вам приходилось летать, мадам? — Фолкнер бросил на меня недоверчивый взгляд.

— Приходилось, у себя в Мемфисе. Но потом, когда я уехала из дома, пришлось бросить.

— Жаль, я не знал.

— Что я летаю?

— Что ты летаешь, что ты ездишь верхом... Ведь это так?

— Так.

— И охотишься?

— Да, но только я не люблю убивать живое.

— Вот так-то. Мне нужно было сразу понять, как только я увидел тебя за столом, что ты не просто красива, ты прекрасна, но что мы с тобой похожи. Сразу надо было понять.

Мгновенье я смотрела на него, отметив грустное выражение его серьезного лица, взгляд человека, который видит перед собой все то, что он мог бы иметь, а потом быстро повернула разговор к его любимой теме — самолетам. Он непринужденно заговорил о летной службе в канадских военно-воздушных силах во время первой мировой войны и своих боевых заданиях в Европе.

— Когда я разбился,— сказал он,— мне казалось, что я уже никогда не буду летать.

— Ах, Билл.— Я замерла на месте. Мы остановились у входа в «Трокадеро». Двери то и дело открывались, впуская роскошно одетых мужчин и женщин, и тогда на улицу лилась музыка.— Ты разбился?

— Да, выполняя задание во Франции.

Я взяла его за рукав, и так мы стояли в потоке машин, глядя друг на друга.

— Ты был ранен?

— У меня в голове серебряная пластинка.— Он постучал по голове возле уха и ухмыльнулся.— Подороже моего счета в Оксфордском банке.

В тот вечер и в течение последующих долгих лет я верила, что Уильям Фолкнер был сбит над Францией. Я не имела никакого основания сомневаться в этом, пока вскоре после его смерти не узнала, что Билл вообще не уезжал из Канады во Францию и потому его никак не могли там сбить.

Фолкнер рассказывал историю о том, как его сбили, многим. Правда, он отказывался вдаваться в подробности, когда газетчики, слышавшие об этом эпизоде, задавали ему вопросы во время интервью...

...Теперь мне кажется, что Билл придумал это романтическое падение на землю с прекрасного неба Франции от обиды, что ему не удалось принять участие в военных операциях в Европе из-за неожиданного окончания первой мировой войны. И где-то в лабиринте его творческого сознания остался жить этот вымысел, превратившись в реальность. Все остальные образы вошли в его произведения, он населил целый округ живыми людьми, но этот эпизод он оставил при себе. Со временем, и, как я убедилась, довольно скоро, вымысел превратился у Фолкнера в реальность. И сама я по-прежнему ясно представляю себе, как самолет Билла спиралью падает на землю и из хвоста у него вырывается пламя. Для меня этот нереальный эпизод стал фактом».

Самые красочные, стойкие легенды о Фолкнере (а это — легенды): Фолкнер — военный летчик, Фолкнер — торговец запрещенными напитками, Фолкнер — мастер на все руки, маляр, матрос — были созданы самим писателем еще в молодости. Иногда эти легенды возникали случайно, по недоразумению, которое, однако, Фолкнер не считал нужным устранять, напротив, он поддерживал и даже развивал легенду в желательном для него направлении. Иногда легенда оказывала обратное воздействие на его жизнь, и Фолкнер был вынужден предпринимать известные шаги, чтобы претворить легенду в действительность.

Личное мифотворчество было свойственно многим американским писателям, включая Хемингуэя, Скотта Фицджеральда и Вулфа. Фолкнер в этом смысле не был исключением. Проблему эту для всего фолкнеровского поколения литераторов сформулировал его земляк, писатель, которого он сам называл отцом своего поколения и своим литературным учителем,— Шервуд Андерсон. В начале 20-х годов в «Бедном белом» Андерсон писал об этой чисто американской жажде во что бы то ни стало пробиться в «великие», о национальной «жажде величия», пусть даже сфабрикованного величия. Фолкнер, резко критиковавший американский дух саморекламы, доходящий до полного самодовольства, сам порою платил ему дань. Ненавидя «паблисити», Фолкнер не мог не считаться с ним. Конечно, речь здесь идет не о каком-то «разоблачении» писателя, а об

уточнении наших собственных представлений о нем. Книга Меты Карпентер вносит в этом смысле ряд невеселых, но необходимых поправок к биографии Фолкнера.

На наших глазах проходит жизнь крупнейшего писателя Америки — небогатого фермера из глубокой американской провинции, многие годы не имевшего литературного имени и вынужденного заниматься «кровавой халтурой» в Голливуде, обремененного долгами, семьей, детьми и тяжело переживавшего неустроенность своей жизни.

Чувство ответственности и выдержка — те самые свойства, которые, как мы знаем, Фолкнер ставил выше всего в людях, находит в нем Мета Карпентер. «Выбирая между горем и ничем, я приму горе» — в этих известных словах из фолкнеровского романа «Дикие пальмы» для Меты Карпентер горькая формула его жизни.

«Однажды я услышала, как она (жена Фолкнера.— Ю. П.) сказала: «Билли скоро научит меня сочинять книги, правда, Билли?»

Ее глаза на узком лице, вспыхнувшем от немыслимости произнесенных слов, умоляли мужа сказать «да», даровать ей это чудо, которое, может, возродит ее, человека уже погибшего. Ведь как же, Зельда Фицджеральд написала роман и рассказы, пусть то же сделает и Эстел Олдхем Фолкнер в своей отчаянной попытке сравняться с человеком, который является ее мужем; когда будет опубликован ее роман, ей уже не придется скрываться в огромной, все затмевающей тени Билла. Прежде чем Билл отвернулся от нее, я успела заметить гримасу страдания на его лице; он покраснел и сделал вид, что не понял, не услышал».

«Как-то я спросила Билла:

— Но почему именно ты должен нести весь этот груз ответственности?

— Так вышло.

— Но зачем ты соглашаешься?

— Наверное, для этого создан».

Эта внутренняя цельность, сила характера Фолкнера, несмотря на потери и компромиссы, осознаются Метой Карпентер как высшие человеческие достоинства.

Ю. ПАЛИЕВСКАЯ

◆

Л. ТОДОРОВА

МИФЫ О КОНВЕРГЕНЦИИ И КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН

Огромны и глубоки изменения, происходящие в современном мире. Они носят поистине всеобъемлющий характер, вторгаясь в материальную и духовную жизнь людей. Все увереннее претворяется в жизнь разрядка международной напряженности, и не только на европейском континенте. Хельсинкские решения все более наполняются конкретным содержанием. Все чаще мы становимся свидетелями того, как достигаются разумные компромиссы, конструктивные решения назревших проблем современности.

При всем различии между странами — участницами Европейского совещания, их социальными и политическими системами, культурами и традициями есть нечто общее, сближающее их, что в 1975 году и привело к совещанию на высшем уровне в Хельсинки, а затем и к встрече в белградском Дворце конгрессов. Мы прежде всего имеем в виду озабоченность судьбами человечества, ответственность за международную безопасность, приверженность идее мирного сосуществования, стремление к развитию сотрудничества в различных областях. В мире окрепла реалистическая заинтересованность в том, чтобы сообща возводить здание добрососедства и взаимного понимания.

Участников совещания в Хельсинки объединяет важная задача, зафиксированная в Заключительном акте,— расширять, углублять и сделать поступательным и прочным процесс разрядки. Полезно напомнить, что государства-участники совместно поставили перед собой ясные и определенные цели, считая, что «культурные обмены и сотрудничество содействуют лучшему взаимопониманию между людьми и между народами и способствуют таким образом упрочению согласия между государствами». Они выразили убеждение, что дружественные взаимоотношения будут содействовать взаимному обогащению культур при уважении самобытности каждой из них.

«Создание атмосферы доверия между государствами, столь необходимой для прочного мира, требует, чтобы народы все лучше знали и понимали друг друга,— говорил Л. И. Брежнев на Конференции коммунистических и рабочих партий Европы в Берлине.— Именно с этой точки зрения, прежде всего, мы подходим к вопросам культурного обмена и человеческих контактов во всем их многообразии».

Не подлежит сомнению, что интересы народов настоятельно требуют углубления процесса разрядки, претворения в жизнь принципов мирного сосуществования, которому в ядерную эпоху нет разумной альтернативы. Разного рода искусственные помехи на пути смягчения международной напряженности чреваты опасными последствиями, могут обернуться для человечества трагедией.

Однако утверждение принципов мирного сосуществования отнюдь не отменяет идео-

логической борьбы. Напротив, процесс разрядки международной напряженности проходит в условиях обостренной идеологической борьбы и сам порождает ожесточенные споры и баталии. В этой связи показательна и активизация буржуазных идеологов, пытающихся извратить существо происходящих в мире перемен, прибегая к самым изощренным приемам и методам. Очевидно, что духовный кризис капитализма отнюдь не привел к уменьшению его идеологической активности. Никогда раньше на пропаганду не затрачивалось столько сил и энергии, как теперь. По величине средств, расходуемых на эти цели, современный период едва ли может сравниться с какой-либо другой эпохой в истории буржуазного общества. Используются всевозможные средства и в первую очередь вся мощь каналов массовых коммуникаций. Используются в целях возрождения и пропагандирования разного рода видоизмененных, модернизированных старых культурологических концепций. И мы видим, как возникают обновленные варианты все тех же давних теорий, которые не остывают, не замораживаются, но как бы держатся на медленном огне. И температурный режим здесь регулируется меняющейся политической конъюнктурой.

Обращает на себя внимание, например, теория конвергенции, представляющая некий итог в области социальной демагогии на Западе. Вот что пишет английский историк Арнольд Тойнби: «Чтобы овладеть современной техникой, государство должно располагать способными техническими специалистами, учеными и администраторами. Представители этих профессий сделаны из одного теста, независимо от того, в какой стране они работают и каких взглядов придерживается правительство этой страны. Технические специалисты, ученые и администраторы в 125 странах хорошо понимают друг друга. Фактически они уже составляют ядро будущего космополитического сообщества... Единообразие профессиональной деятельности,— утверждает Тойнби,— делает этих людей и их жизненные стандарты все больше похожими друг на друга, в каких бы странах они ни жили. В результате то идеологическое ярмо, вокруг которого разгораются такие сильные страсти, все в меньшей и меньшей степени оказывается состоятельным...» И далее: «Дорогие многим разногласия будут отмирать трудно, но можно предсказать, что все они рано или поздно отомрут, если, конечно, в ближайшем будущем род человеческий не толкнут на массовое самоубийство—мировую ядерную войну. К концу столетия существования СССР понятия «советский» и «социалистический» будут лишены смысла, потому что строй в Советском Союзе и строй в Соединенных Штатах Америки будут практически одинаковыми».

Цитата эта взята нами из статьи Тойнби, помещенной в сборнике «Воздействие русской революции, 1917—1967». Статья содержит основные моменты теории конвергенции и характерна тем, что написана в тоне мнимой «объективности», «беспристрастности». Тон этот тем более может ввести в заблуждение, что автор — крупный историк, пользующийся большим авторитетом в академических кругах. Тойнби исходит из того, что научно-техническая революция, где бы она ни происходила, приводит к одинаковым социальным последствиям, создает одни и те же жизненные стандарты. Согласно этому взгляду, и при социализме, и при капитализме формируются в конечном счете одни и те же общественно-экономические структуры и, соответственно, складывается аналогичная духовная жизнь. Тойнби абсолютизирует черты сходства, сравнивая процессы НТР в странах социализма и в странах капитализма, и не касается сущности этого явления. Нигде он не анализирует так называемое «новое единое» общество, не объясняет, каким образом могут быть преодолены существующие между двумя противоположными социальными системами коренные различия в формах собственности, в способах распределения материальных и духовных благ.

«Философия развития культуры Тойнби,— отмечает В. Р. Щербина,— в настоящее время пользуется особой популярностью вследствие своей эластичности, специфической «универсальности», удовлетворяющей сторонников самых противоположных воззрений как представителей безликой космополитской нивелировки, так и апологетов национальной замкнутости... Основным процессом современной истории, соответственно такой точке зрения, является неизбежность «денационализации» или «оксидентизации» мировой культуры, ассимиляции, растворения всех национальных культур в общей «монаде» современной мировой цивилизации»[1].

Аналогичные Тойнби суждения находим у таких буржуазных теоретиков, как Гэлбрейт, Белл, Шлезингер, Арон и др. В развитых странах, подчеркивает известный американский экономист Дж. К. Гэлбрейт в своей книге «Новое индустриальное общество», существует экономическая система, в действительности являющаяся плановой, несмотря на ее «идеологический ярлык»... Один из выводов, следующих из этого анализа, заключается в том, что существует широкая конвергенция между индустриальными системами. Требования технологии и организации, а не «идеологические символы», говорит автор, определяют формирование экономического общества, вот почему там «нет места для идеологии». «Конвергенция обеих, как будто бы различных, социальных систем,— пишет

[1] В. Р. Щербина. Проблемы советской литературы и мировой художественный прогресс. М., 1972, стр. 7.

Л. ТОДОРОВА
МИФЫ О КОНВЕРГЕНЦИИ И КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН

далее Гэлбрейт,— протекает во всех важных областях».

В свою очередь историк А. Шлезингер считает, что мир перешагнул через устарелые идеологии и достиг гораздо более гибкой и жизненной социальной структуры. Какое же содержание вкладывает автор в понятие «идеология»? «Под идеологией я подразумеваю совокупность систематизированных и застывших догм, с помощью которых люди пытаются познать окружающий мир и сохранить его или же, наоборот, преобразовать существующий строй». Теперь идеологии исчерпали себя, дополняет Белл, по мнению которого старые идеологии потеряли свою «правдивость» и свою способность убеждать. Белл вообще считает, что капитализм вышел из фазы социально-классовых и идеологических конфликтов. В настоящий момент, с его точки зрения, капитализм стал сродни социализму; это результат того, что и той и другой системе приходится решать одинаковые проблемы как материального, так и духовного порядка. Методологическая ошибка Белла заключается в том, что он определяет идеологию как продукт творчества отдельных «интеллектуалов». Ни он, ни его единомышленники не пытаются раскрыть социально-классовые причины возникновения и существования идеологии: оставаясь во власти предвзятых схем, они не «снисходят» до их конкретно-исторического анализа. Понятие «идеология» толкуется Беллом как система предубеждений, задача которой — оправдать эгоистические действия той или другой социальной группы. Чем быстрее будут преодолены эти «сковывающие» развитие догмы, тем скорее будет достигнуто «слияние» культур социализма и капитализма.

Взгляды эти были выражены Беллом первоначально в главной его книге «Конец идеологии», вышедшей в свет в 1960 году, а затем, в семидесятые годы, в несколько измененном, модернизированном виде излагались им в других работах, в частности в книге «Культурные противоречия капитализма». Однако методологические его позиции, смеем заметить, остались прежними, ничего сколько-нибудь принципиально нового в них не обнаруживается. Идеи же Белла, высказанные им в книге «Конец идеологии», и в настоящее время имеют широкое хождение на Западе.

Подобных же взглядов придерживался и Эрнст Фишер, по мнению которого идеология есть лишь «тень действительности», «фальшивое сознание», независимо от того, является ли она социалистической или буржуазной. Вывод напрашивается сам собой — интеллигенция во всем мире должна отбросить идеологические рамки и создать «очищенную» от идеологических мифов культуру. «Мне кажется,— говорит американский социолог М. Стюарт,— что мы переживаем переход от европейского, или девятнадцатого, столетия к эпохе «массового общества», и спустя пятьдесят лет различия между нашим и коммунистическим обществом будут намного меньше существующих в настоящее время».

Нет необходимости подробно здесь останавливаться на других приверженцах и разносчиках тенденциозных стереотипов буржуазной идеологии, но основные моменты их культурологических концепций подхватываются и всячески интерпретируются сторонниками «денационализации» и «деидеологизации» духовной жизни народов, проповедниками наступления эры конвергенции, социальная модель которой угадывается в западных, «атлантических», стереотипах культуры.

По справедливому замечанию В. Р. Щербины, концепция «конвергентного» социального и духовного развития эпохи обращена против возросшего влияния социализма. «Различные варианты теории конвергенции, утверждающие неизбежность слияния всех духовных, социальных и национальных потоков современной культуры в едином сознании индустриальной эры, глубоко космополитичны». Идеологи конвергенции систематически насаждают свое специфическое понимание общечеловеческого, стараются распространить его на все сферы искусства и духовной жизни вообще... «Национальное,— отмечает далее В. Р. Щербина,— соответственно таким взглядам,— пережиток прошлых периодов истории, нечто отживающее, перегородки, мешающие развитию общности и взаимоотношений народов, стремящихся к единству, сметаемые ходом истории, общечеловеческими масштабами культурного прогресса современности. Исторический опыт стран социализма, художественный опыт многонациональной советской литературы неопровержимо свидетельствуют о несостоятельности такой точки зрения»[1].

Важно отметить, что изолированное от конкретно-исторической формы рассмотрение отдельных явлений или процессов развития социализма и капитализма, их генерализация или универсализация приводят к ненаучным, бездоказательным выводам. «Чтобы исследовать связь между духовным и материальным производством,— писал Маркс,— прежде всего необходимо рассматривать само это материальное производство не как всеобщую категорию, а в определенной исторической форме. Так, например, капиталистическому способу производства соответствует другой вид духовного производства, чем средневековому способу производства. Если же само материальное производство не брать в его специфической исторической форме, то невозможно понять характерные особенности соответствующего ему духовного производства и взаимодействие обоих...

Так как Штрох рассматривает само материальное производство не исторически,

---

[1] В. Р. Щербина. Проблемы советской литературы и мировой художественный прогресс, стр. 26.

рассматривает его как производство материальных благ вообще, не как определенную, исторически развившуюся и специфическую форму этого производства, то этим он сам лишает себя той основы, на которой только и возможно понять как идеологические составные части господствующего класса, так и свободное духовное производство данной общественной формации»[1].

Изучение процессов современной духовной жизни общества требует диалектического рассмотрения с учетом их связи с материальной жизнью; раскрытия обусловленности духовной жизни общества жизнью материальной, типом и формой производственных отношений; конечно, необходимо считаться и с относительной самостоятельностью духовного производства.

Известно, что роль культуры в обществе зависит от характера общественной формации. Общественные отношения в сфере культуры отличаются своим специфическим, неповторимым проявлением, которое во всех случаях имеет идеологический характер.

Когда мы стремимся обнаружить различие между общественными формациями, то ищем его не в том, что производится, а в том, как, при каких производственных отношениях осуществляется производственный процесс. Что же касается сферы духовной, то культуры отличаются друг от друга именно по тому, как и с каких классовых позиций отражается общественное бытие. В этом случае вид применяемой для производства и распространения культурных ценностей техники отнюдь не является решающим фактором. Природа этих ценностей определяется характером и целями соответствующей социо-культурной системы. Именно последняя диктует культурную политику, создает качественные характеристики культуры и, соответственно, влияет на определение критериев стимулирования или ограничения количественной стороны продуктов духовной культуры. Основной причиной конвергенции культур, по мнению буржуазных теоретиков, является одинаковый уровень развития техники. Они при этом пренебрегают основными элементами, обусловливающими характер надстройки, а именно — единством производительных сил и производственных отношений, социально-экономической и политической структурой общества. Цель этого абстрактного подхода, стремящегося универсализировать различные по своему характеру и сущности культуры,— поставить знак равенства между культурами противостоящих друг другу общественных систем. Во всех модификациях теории конвергенции обнаруживается общая исходная позиция — научно-техническая революция рассматривается как самодвижущийся механизм, тогда как социальной системе отводится второстепенное место. Процесс конвергенции рассматривается как движение от социализма в направлении к капитализму. Опасность этой концепции, при всей ее теоретической несостоятельности, в том, что она продолжает оставаться одной из главных стратегических основ современных буржуазных теорий, объединяя в себе политический и идеологический опыт борьбы против марксистско-ленинской теории и практики. Именно с этим нам постоянно приходится сталкиваться на различного рода международных симпозиумах и дискуссиях, во время которых наши идеологические противники активно используют весь арсенал стереотипов данной концепции.

Этой антинаучной теории противостоят ленинские принципы международного культурного сотрудничества, ленинская теория двух культур.

«В обществе,— пишет Ленин,— раздираемом классовыми противоречиями, и не может быть никогда внеклассовой или надклассовой идеологии»[1]. В. И. Ленин указывал также, что «интернациональная культура, уже теперь создаваемая систематически пролетариатом всех стран, воспринимает в себя не «национальную культуру» (какого бы то ни было национального коллектива) в целом, а берет из каждой национальной культуры исключительно ее последовательно демократические и социалистические элементы»[2]. Именно из последовательно демократических и социалистических элементов национальных культур различных народов мира и складывается культура интернациональная. Ленинская методология изучения данной проблемы дает возможность подходить конкретно-исторически к сложным явлениям современной культуры. Сложные и противоречивые процессы в культурной жизни буржуазного общества, наличие, наряду с реакционным, демократического и прогрессивного искусства исключает одноплановые, общие оценки.

Культура современного буржуазного общества представляет собой многосложную и пеструю картину, в которую включены как обе противоположные культуры — буржуазная и социалистическая (или элементы ее), так и различные «субкультуры» с их бесчисленными нюансами и противоречивыми компонентами. Каждая из культур несет в себе определенные эстетические и идеологические принципы и цели, друг с другом несовместимые. Таким образом, конвергенция практически невозможна даже в рамках буржуазного общества. Тем абсурднее говорить о конвергенции культур двух антагонистических социальных систем.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 26, ч. 1, стр. 279—280.

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 39—40.

[2] Там же, т. 23, стр. 318.

Л. ТОДОРОВА

МИФЫ О КОНВЕРГЕНЦИИ И КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН

В настоящее время ни одна национальная культура не могла бы развиваться вне связи с культурной жизнью других народов. Социалистические страны выступают против культурной изоляции, поскольку это противоречило бы самой идее мирного сосуществования. В то же время они решительно противостоят любым попыткам буржуазных кругов использовать культурное сотрудничество как средство духовной ассимиляции. «Ставя лозунг «интернациональной культуры демократизма и всемирного рабочего движения»,—пишет Ленин,—мы из каждой национальной культуры берем только ее демократические и ее социалистические элементы, берем их только и безусловно в противовес буржуазной культуре, буржуазному национализму каждой нации»[1]. Необходимо поэтому иметь ясные критерии того, что́ именно мы можем брать в западной культуре и что для нас неприемлемо.

В сущности, теория культурной конвергенции находит отражение и в весьма широко распространяемой концепции «деидеологизированной культуры». Теория «деидеологизации» является очередной попыткой осовременить буржуазную науку, привести ее в соответствие с духом времени. Тойнби приходит к выводу, что развитие научно-технической революции и — как следствие ее — конвергенция обеих социальных систем сопровождаются «отмиранием» никому не нужного «идеологического ярма». Общеизвестно, что деятели культуры социалистических государств стремятся вести активную борьбу против всего, что представляет опасность для политического и нравственного прогресса, против дегуманизации, человеконенавистничества, межнациональной вражды. Западная пропаганда противопоставляет этим позитивным усилиям всякого рода концепции «деполитизации», «асоциализации», «деидеологизации» культуры, духовной жизни и творчества.

Известно, что борьба за сознание людей является одной из самых актуальных задач, которые решаются обеими социальными системами. И если марксистская идеология открыто и ясно защищает принципы социалистического и коммунистического общества, то буржуазная идеология ставит перед собой цель мистифицировать закономерности развития общественных формаций, фальсифицировать сущность современного капитализма, теоретически оправдать его существование... «Отныне дело шло уже не о том,—подчеркивает Маркс,—правильна или неправильна та или другая теорема, а о том, полезна она для капитала или вредна, удобна или неудобна, согласуется с полицейскими соображениями или нет. Бескорыстное исследование уступает место сражениям наемных писак, беспристрастные научные изыскания заменяются предвзятой, угодливой апологетикой»[1].

Лишенная исторической перспективы и, следовательно, целостной научной программы действий, буржуазная идеология приемлет негативистскую теорию отречения от всех идеологий и искусственно противопоставляет технический прогресс всякой идеологии, объявляя их несовместимыми. Таким образом преследуется цель нанести удар коммунистической идеологии и привлечь массы идеей «единого деидеологизированного общества», «свободного» и «демократического». Буржуазная пропаганда накопила изрядный опыт в жонглировании подобной фразеологией. С помощью средств массовой информации миллионные массы каждодневно подвергаются сильнейшей пропагандистской обработке в открытой или завуалированной форме; радиовещание, телевидение, печать и кино превращены в средства проведения направленно, тщательно разработанных идеологических операций.

Особое место в этих мероприятиях отводится претендующим на универсальный синтез концепциям, которые дают «теоретическое обеспечение» процессам активного культурного обмена между обеими системами на базе «сходных деидеологизированных культур». В сущности, теория враждебности идеологии культуре, абсолютизации противоречий между ними не является чем-то новым. Но теперь на нее возлагают ответственные социальные и политические задачи. Анализ новых процессов развития буржуазной культуры свидетельствует о появлении еще одной функции теории деидеологизации — умышленного отрицания культуры как совокупности достижений созидательной, творческой деятельности как общественного продукта.

Симптоматично, что очень часто в буржуазной социологии и философии культуру рассматривают метафизически, как уравновешенную систему, лишенную внутренних противоречий и конфликтов. Марксистско-ленинская философия определяет культуру как совокупность ряда общественных явлений (философии, науки, искусства, морали, традиций и пр.), объединяющих знания, умения и накопленные предыдущими поколениями ценности, которые призваны удовлетворять потребности общества, его классов, групп и прослоек.

В антагонистических обществах основной признак духовной культуры — ее классовость. При капитализме культура превращается в поле острых классово-идеологических столкновений, хотя не всегда они проявляются открыто. Социальные функции буржуазной культуры, хотя бы и завуалированные, состоят в охранительстве, в подкреплении политических и моральных принципов, которые утверждали и сохраняли бы устои капитализма.

В сущности, теория деидеологизации культуры — своеобразная идеологическая

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 121.

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 17.

реакция на прогрессивную и социалистическую культуру, форма буржуазного идеологического наступления. «Конец идеологий» — только удобный лозунг, цель которого — завуалировать идейное бессилие буржуазии, ее неспособность практически решить социальные и политические проблемы своего общества. «Конец идеологии — это в действительности идеология конца»,— писал прогрессивный американский социолог Р. Миллс.

Буржуазные теоретики не устают твердить, что деидеологизация — это всеобщее, «тотальное» явление, охватывающее все области общественной жизни. С их точки зрения, международные отношения ныне освобождаются от «мучительного гипноза» идеологий. Это надо понимать, в частности, в том смысле, что социалистические страны должны открыть зеленую улицу всей западной культурной продукции без разбора.

Культурный обмен между социалистическими и капиталистическими странами в настоящий момент порождает множество проблем, требует анализа обмениваемых духовных ценностей, их идейно-эстетического значения. Культурный обмен позволяет каждой стране, каждому общественному строю демонстрировать свой образ жизни, свои успехи и достижения во всех сферах социальной, политической, экономической и культурной жизни, показывать свои возможности и перспективы. Иными словами, культурное сотрудничество превращается в серьезную арену идеологического столкновения между социализмом и капитализмом. В то же время обмен художественными ценностями и научно-техническими достижениями имеет существенное значение для дела взаимного ознакомления различных народов с их достижениями в области культуры. Культурное сотрудничество поднимает авторитет стран и народов, создавших или же создающих непреходящие эстетические и научные ценности, культуру — выразительницу прогрессивных, высоконравственных и гуманных идей.

Не секрет, что буржуазия обладает способностью быстро и гибко приспосабливаться к новым условиям в международной жизни, умеет в максимальной степени использовать любые возможности в целях укрепления своих позиций. В то же время она вынуждена теперь считаться с реальной расстановкой сил на мировой арене. Реалистически мыслящие буржуазные деятели принимают принцип мирного сосуществования как единственно разумный в нынешних обстоятельствах. В этих условиях идеологическая борьба приобретает особое значение. «Духовная конфронтация с коммунизмом,— отмечает лидер социал-демократов в ФРГ В. Брандт,— явление, вполне естественное в современных условиях», и «нет никаких надежд на их (имеются в виду идеологические различия.— Л. Т.) преодоление в будущем».

Идеологическая борьба всегда была одной из самых важных областей классовой битвы между рабочими и буржуазией. Но в различные исторические эпохи та или другая ее форма была доминирующей, определяющей. Эта закономерность проявляется и в международном аспекте, изменение соотношения сил на международной арене в пользу социалистического лагеря привело к тому, что буржуазия теперь все большие надежды возлагает не на военные и экономические средства борьбы с социализмом, хотя, разумеется, и их она не оставляет своим вниманием, а на идеологические. Свою повышенную идеологическую воинственность она, однако, стремится как-то закамуфлировать. Открытая конфронтация идеологий предполагает наличие ясных программ, точно сформулированного отношения к проблемам мира и войны. Таких программ у буржуазии нет. Как известно, вскоре после Европейского совещания по безопасности и сотрудничеству Жискар Д'Эстен высказался за разрядку в идеологическом соревновании между различными социально-экономическими системами, ибо в противном случае, по его мнению, возникло бы «новое напряжение». Иными словами, была снова сделана попытка объявить причиной возникновения противоречий между Востоком и Западом идеологию. Нужно ли здесь доказывать правомерность идеологической борьбы, которую никто не может отменить, точно так же как никто не в силах отменить классовую борьбу вообще. Именно идеи выражают классовые интересы, устремления, пути общественного развития. Столкновение интересов и воззрений классов неизбежно порождает идеологическую борьбу.

Примечательно, что как представители буржуазной теоретической мысли, так и политические руководители западных стран зачастую исходят из того, что идейное разоружение должно быть односторонним— на уступки должны пойти страны социализма. Между тем их собственная политика, в частности культурная политика, остается до конца верной классовым интересам буржуазии и преследует совершенно определенные идеологические и политические цели. Под личиной «деидеологизации», внешнего аполитизма используются сложные и изощренные приемы идеологического проникновения в социалистические страны, пропаганды буржуазного образа жизни. Иными словами, в целях идеологического проникновения используются пути и средства культурного сотрудничества.

Для «обоснования» такого проникновения найден и соответствующий «теоретический модус»: массовые коммуникации. Все более широкое применение средств массовой информации характерно для обеих социальных систем и обусловливается

Л. ТОДОРОВА

МИФЫ О КОНВЕРГЕНЦИИ И КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН

высоким темпом внедрения новых технических достижений, определенными историческими тенденциями в развитии контактов между людьми, расширением этих контактов как в национальном, так и в международном масштабе. На этом, собственно, сходство кончается, и на передний план выступают глубокие различия в характере использования средств массовой информации.

Фактически буржуазия на Западе монополизировала радиовещание, телевидение, кинематограф, печать, подчиняя, таким образом, своим классовым интересам сферу духовного производства. Это позволяет ей не только формировать те жизненные стандарты и те эстетические вкусы, какие она находит нужными, но и «приспособиться к извращенной фантазии потребителя, взять на себя роль сводника между ним и его потребностями, возбуждать в нем болезненные вожделения...»[1]

Буржуазные теоретики в последние годы пропагандируют идею, будто средства массовой информации сами по себе представляют унифицирующую культурную силу, во многом независимую от «внешних» — политических, экономических, идеологических — условий. Один из самых ярких представителей технического детерминизма М. Маклюен утверждает, что массовые коммуникации—достаточно серьезная причина для возникновения «нового типа общечеловеческой культуры». Аналогичную фетишизацию техники находим и у Дэниела Белла: средства массовой информации призваны, на его взгляд, «объединить» капитализм и социализм через феномен «массовой культуры». В своей статье «Массовая культура и современное общество» Белл пытается убедить своих читателей в существовании следующей закономерной зависимости: в различных социальных системах одинаковые средства массовой информации порождают и одинаковую «массовую культуру». К аналогичным выводам приходит целая плеяда буржуазных философов и социологов. «Современная технология, — пишет Б. Розенберг,— является необходимой и достаточно серьезной причиной существования массовой культуры— ни национальный характер, ни экономический строй, ни политическая система не имеют в этом отношении какого-либо решающего значения». И продолжает: «Массовое производство, независимо от того, капиталистическое оно или социалистическое, требует унификации вкусов».

Итак, процесс сближения культур социализма и капитализма, по мысли буржуазных теоретиков, должен осуществиться в рамках глобальной «массовой культуры». «Действительно массовое потребление и массовые коммуникации, использование досуга, манеры танцевать, петь и одеваться — все это способствует созданию того, что, возможно, будет первым «планетарным типом» культуры в истории человечества... Новые культурные ценности принадлежат исключительно второй половине XX века, господствуют в промышленно развитых странах и проникли даже в так называемый «третий мир». Несмотря на то, что они остановились перед границами Китая, они определенно проникли в СССР. В СССР миллионы молодых людей в возрасте до тридцати лет следуют, пытаются следовать или во всяком случае приемлют ценности «потребительской цивилизации». Этими претенциозными умозаключениями итальянский социолог и журналист Д. Галли пытается доказать, что «массовая культура» приводит к гомогенизации культур, что ее возможности в этом смысле безграничны. Процесс слияния культур, по его мнению, в будущем преодолеет национальные, политические и экономические барьеры, в результате чего появится универсальный тип культуры... на основе, разумеется, буржуазных стандартов, на основе подсказанных капиталистическим обществом стереотипов.

В буржуазной социологии «массовой культуры» наряду с апологетическим направлением существует и критическое. Но критики «массовой культуры», как и ее апологеты, считают ее порождением средств массовой информации как таковых и потому свои критические стрелы одновременно направляют и в сторону капитализма, и в сторону социализма. И тот, и другой, по их мнению, должны разделить вину за происходящее будто бы в глобальном масштабе духовное обеднение человечества.

Какие же социальные функции выполняет «массовая культура»? Она стоит на страже господствующей идеологии, распространяя потребительские принципы буржуазного прагматизма, создавая такие эталоны эмоций и поступков, внушая такие взгляды и оценки, которые в целом выгодны господствующим силам буржуазии. «Массовая культура» — это, в сущности, антикультура, обеднение и опошление подлинной культуры.

Нередко «массовую культуру» отождествляют с чем-то безликим, бездуховным, подчиненным развлекательности, модным стандартам. «Массовая культура», однако, вовсе не так нейтральна и безобидна в идеологическом смысле, как уверяют на Западе. В действительности она таит в себе вполне определенные воззрения и столь же определенные представления о нравственности и морали. За внешней развлекательностью «массовой» псевдохудожественной продукции скрывается идеализация устоев буржуазного общества.

На международном Совещании коммунистических и рабочих партий в Москве Л. И. Брежнев чрезвычайно метко сформулировал марксистскую позицию в отношении «массовой культуры»: «Наемные идеологи империалистов создали специальную псевдокультуру, рассчитанную на оглупление масс, на притупление их общественного сознания». В этой связи заслуживают внимания высказывания различ-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, стр. 609.

деятелей культуры в западных странах. «Печально, но факт,— отмечает английская писательница Памелла Хэнсфорд Джонсон в журнале «Букс энд букмэн»,— что у нас публикуют низкопробные произведения, приучающие людей к мысли, будто моральная деградация — явление естественное и единственно достойное внимания. Подобная литература не просто бессмысленна, она ставит под угрозу общественную мораль и воспитание эстетических взглядов... она внушает читателю, что для нашего времени характерен интерес лишь к порнографии, патологии и садизму».

Монополистическая «культурная индустрия» бомбардирует сознание читателя, зрителя и т. д. «трогательно-сентиментальными» романами, «потрясающими» прежде всего своей жестокостью и садизмом, гангстерскими, ковбойскими и прочими историями, фильмами, в которых человек сталкивается с апокалипсисом в различных его вариантах — ядерное самоубийство человечества, космические катастрофы, землетрясения и т. д. Все это сдабривается дозой порнографии, ставшей чуть ли не обязательным элементом «массовой культуры».

В мире, где систематически попираются нравственные устои, низвергаются идеалы, где утрачены подлинные критерии смысла жизни, «массовая культура» превращается в аппарат для насаждения и поддержания конформистского духа. Ее цель — воспитание примитивных индивидов, равняющихся на стандарты, поступающих «как все». С помощью «массовой культуры» создается особый мирок, герметизированная среда, культивирующая однообразие, духовную убогость. Именно эта система идеологического контроля над личностью именуется раскрепощением от «бесполезного груза идеологий». Но все попытки замаскировать идеологические функции «массовой культуры» остаются бесплодными. Очевидно, что она является самой изощренной системой духовной обработки человека, идеологического контроля над личностью и, вместе с тем ужасающего по своим размерам нравственного опустошения человека в буржуазном обществе.

Глубокий анализ социально-экономического механизма капитализма позволил Марксу в свое время показать органическую враждебность буржуазного общества определенным отраслям духовного производства и прежде всего искусству. Известно, что и материальные и духовные блага должны создаваться во имя человека. Буржуазия, однако, превращая человека из цели в средство производства, соответственно деформирует задачи и функции искусства и культуры. С одной стороны, искусство становится бизнесом, с другой — оно превращается в инструмент идеологической обработки масс. «Массовые газеты, кинофильмы и телепрограммы,— говорит английская писательница Джудит Тодд,— служат продолжением политики этих кругов, но уже другими средствами, которые олицетворяют вульгаризацию власти, осуществляемой нагло и ловко, что присуще духу времени и обществу, двигателем которого является торговля и перед которым стоит альтернатива — продавать или погибнуть».

И в этой борьбе за самосохранение, борьбе против социализма «массовой культуре» выделено особо важное место, на нее возложены ответственные социальные и идеологические функции. Она имеет целью дискредитировать социалистическую культуру, поставив знак равенства между культурами капитализма и социализма, рассматривать каждую из них вне формирующей ее общественной среды, вне исполняемых ею социально-классовых задач. Таким образом, извращаются действительные процессы как в надстройке современного общества, так и в развитии мировой культуры с целью прикрыть антисоциальную сущность «массовой культуры», использовать ее в целях идеологического проникновения в страны социализма.

Буржуазные идеологи постоянно твердят, что у социалистических стран нет оснований отвергать продукцию «массовой культуры» потому-де, что она, по словам американского социолога Ван ден Хаага, является культурой почти каждого человека современности... То есть по линии «массовой культуры» проводится опять-таки идея конвергенции двух систем.

Свое понимание задач «массовой культуры» в современном мире представители буржуазных государств пытались навязать при разработке Заключительного акта на Европейском совещании в Хельсинки. Социалистическим странам было предъявлено претенциозное требование «неограниченного обмена людьми, идеями и информацией». Это был маневр, долженствующий внушить миру, что Запад «готов» к осуществлению «неограниченного» культурного сотрудничества с СССР и социалистическими странами, но... «там боятся», «там закрывают двери», и таким образом, продолжают оставаться «закрытым обществом».

Какова же в действительности позиция социалистических стран?

«Нет, страны социализма — это не «закрытое общество»,— сказал Л. И. Брежнев на Конференции коммунистических и рабочих партий Европы, состоявшейся в 1976 году в Берлине.— Мы открыты для всего правдивого и честного, и мы готовы всемерно умножать контакты, используя благоприятные условия, которые создает разрядка. Но наши двери будут всегда закрыты для изданий, пропагандирующих войну, насилие, расизм, человеконенавистничество».

Подписание документов совещания в Хельсинки открыло широкие перспективы для превращения Европы в зону мира и сотрудничества, а культурный обмен между странами с различными общественными системами может оказаться весьма благо-

---

Л. ТОДОРОВА
МИФЫ О КОНВЕРГЕНЦИИ И КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН

творным, если он будет вестись в целях взаимного обогащения подлинными достижениями в области науки и искусства.

Достигнутые в Хельсинки договоренности по ряду важных вопросов, связанных с политическим, экономическим, культурным сотрудничеством и безопасностью в Европе, явились новым этапом в развитии отношений между Востоком и Западом. Это результат объективных процессов все более углубляющейся интернационализации производительных сил. Явление это было отмечено Марксом и Энгельсом в «Манифесте Коммунистической партии» как одна из исторических закономерностей. «На смену старой местной и национальной замкнутости и существованию за счет продуктов собственного производства приходит всесторонняя связь и всесторонняя зависимость наций друг от друга. Это в равной мере относится как к материальному, так и к духовному производству» [1].

Интернационализация производительных сил в наше время стала необходимее, чем когда-либо раньше: предстоит решать ряд неотложных, жизненно важных проблем, затрагивающих интересы всего человечества,— охрана природы, овладение ресурсами океана, космоса и т. д. Реализация этих задач требует сотрудничества, кооперирования и совместных усилий всех стран мира.

Чем яснее буржуазия осознает неумолимый ход общественного развития, тем более жестоким и отчаянным становится ее сопротивление, ее борьба за самосохранение. Это заставляет буржуазную теоретическую мысль в последнее время вести поиски более широких концептуальных схем, способных подготовить систему развернутых идеологических акций против социализма, которые на практике реализуются буржуазной пропагандистской машиной.

Несмотря на то что в настоящий момент капитализм переживает тяжелейший кризис, охвативший все сферы экономической, политической и культурной жизни, было бы ошибкой недооценивать его возможности в сфере пропагандистской войны. Тем более что буржуазная идеология обнаруживает поразительную гибкость, умение приспосабливаться к обстоятельствам, к запросам чуть ли не всех профессиональных, социальных, возрастных и прочих групп. И среди этой пестроты и разнообразия постоянно присутствует один обязательный элемент — пропаганда буржуазного образа жизни.

Но огромный объем буржуазной теоретической продукции сам по себе свидетельствует о глубине кризиса, переживаемого буржуазной идеологией. «Чем же мы располагаем вместо единой и жизненной философии?» На этот вопрос, поставленный несколько десятилетий назад немецким философом Гуссерлем, буржуазные идеологи и сегодня не могут дать удовлетворительного ответа. Историческая обреченность капиталистического строя их самих обрекает, в конечном счете, на полное бессилие.

Не секрет, однако, что Хельсинкские договоренности отнюдь не всеми и не во всем претворяются в жизнь. Определенные силы не перестают действовать против рекомендаций Европейского совещания по гуманитарным проблемам и культурному сотрудничеству, особенно в области культурного обмена, где отнюдь не соблюдаются принципы взаимности.

Общеизвестно, что существующая диспропорция, явная неэквивалентность в культурном обмене между Западом и Востоком объясняются не чем иным, как стремлением правящих кругов Запада искусственно оградить широкие народные массы в своих странах от благотворного воздействия гуманистических идеалов социализма, не дать им возможность непосредственно ознакомиться с художественными ценностями и духовным миром социалистических стран их образом жизни, интересами и вкусами.

Проблема интересов и вкусов не принадлежит, конечно, к числу самых простых. Однако и здесь существуют определенные критерии и признаки, о которых мы вправе говорить. Вкусы в социалистическом обществе, как и образ жизни, разумеется, соответствуют мировоззрению, которое отвечает общим жизненным идеалам. Вкус может становиться частью нашего сознания, поэтому правомерно говорить о тесной взаимосвязи социалистического сознания и социалистического общественного вкуса и, следовательно, о том, что социалистический вкус может помогать формированию мировоззрения. Социалистический вкус необходим для выражения разумной, эстетически насыщенной человеческой жизни, он играет роль в формировании человека и его окружения, в формировании отношений между людьми, в формировании стиля и форм общественной деятельности.

Одной из характерных особенностей социалистического общественного вкуса является его демократический характер; с этой точки зрения он противостоит аристократическому, элитарному вкусу. Социалистический общественный вкус — понятие собирательное: на широкой шкале объединено много его различных вариантов и направлений. Его составные части или варианты находятся в постоянном движении — от «низких» к более «высоким». Как социалистический индивидуальный вкус приемлет не только высокое искусство, но и произведения развлекательного характера, так и социалистический общественный вкус нужно считать в значительной степени многослойным.

С этим связано и наше стремление лучше знать духовную жизнь других народов — Запада и Востока,— знакомить нашего читателя со всем лучшим, наиболее достойным, способным обогатить нас. Именно поэтому все наиболее ценное в художественном и идейном смысле, что появляется в творчестве писателей зарубежных стран Запада и Востока, становится достоянием читателей

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 428.

социалистических государств. Мы издаем произведения западных писателей самых различных творческих направлений, жанров и стилей, издаем массовыми тиражами, нередко бóльшими, чем на их родине. Это, конечно, не означает, что издательствами социалистических стран творения западных художников публикуются и популяризируются бездумно, без разбора. Напротив, здесь ведется тщательное изучение произведений и отбирается все наиболее ценное, все то, что помогает лучше понять общественную и частную жизнь за рубежом. Современный читатель в социалистических странах предъявляет высокие требования к переводимым произведениям иностранной литературы. Он не приемлет изданий, которые пропагандируют войну, расизм, насилие, неверие в человека.

На страницах западной прессы все чаще можно встретить неутешительные признания, что люди там живут в атмосфере страха, подозрительности, разобщенности, которые особенно характерны для США. Показательна в этой связи новая книга Джорджа Кеннана «Туча, несущая опасность: текущие реальности американской внешней политики», вышедшая в 1977 г. Известный американский дипломат и историк Кеннан напоминает, что для американского образа жизни характерны некоторые черты, которые другим могут показаться просто отталкивающими. Вот его слова: «У нас большая и серьезная проблема разложения ряда наших крупных городов, особенно самого большого — Нью-Йорка... У нас ужасная проблема преступлений с применением насилия во многих районах страны... У нас проблема инфляции... У нас проблема безработицы... У нас хаотичная и безобразно недостаточная система общественного транспорта... У нас проблема падения качества образования... Коррупция печати и телевидения, отданных на милость рекламодателей... Постыдное явление повсеместного распространения, подобно лесному пожару, порнографии... Если мы хотим предстать перед другими нациями как нечто большее, чем запугивающая военная держава, нам следует задуматься о том, какой же облик являет внешнему миру наше общество... Мы не можем быть источником надежды и вдохновения для других на фоне упадка, безволия и ухудшения жизни у нас дома» [1].

Нужны ли здесь какие-либо комментарии?

Произведения «массовой культуры» нередко называют развлекательными. Как понимать это? Насилие, обман, жестокость, убийства... Увлекательное развлечение, не правда ли? Это — «культура» обращения с пистолетами, насилия над женщинами, «культура» фабриковать трупы. Подобное «творчество» потому и не пресекается, а, напротив, лицемерно оправдывается ссылками на «свободу слова» и «демократические порядки», «права человека», что оно отвлекает американцев, особенно молодежь, от жгучих социальных проблем. В «массовой культуре» сливаются в одно целое жажда наживы и идеологическая обработка умов. Ее поделки отличает маньеристская извращенность, порнографичность, цинизм, в них — проповедь тщеты, бренности, бесполезности бытия, торжество насилия и смерти. И это-то бездумное и пошлое чтиво считается занимательным жанром? Тут, право, есть изрядная доля сарказма.

Культурный обмен между Западом и Востоком мыслится нами как международное сотрудничество, основанное на принципах взаимности, соблюдения суверенитета, укрепления доверия, уважения самобытности духовных ценностей. Стремлению радетелей «безбрежных» и «безбарьерных» обменов навязать нам свою псевдокультуру должен быть дан отпор.

Вокруг проблемы международного культурного сотрудничества не прекращается острая идейно-политическая борьба, сталкиваются различные суждения и концепции. Вопросы оптимальной модели международного культурного сотрудничества и обмена заслуживают специального исследования. Среди работ, посвященных этой проблематике, нам хотелось бы выделить статью О. Э. Тугановой «О международном культурном сотрудничестве в современных условиях»[1], в которой содержатся ценные методологические положения и объективный анализ существующих условий.

Основополагающие для нас принципы развития культурного сотрудничества вытекают из ленинской теории двух культур, ленинского учения о преемственности в процессе развития социалистической культуры. Важнейшим методологическим указанием для нас является ленинское положение о наличии в культуре буржуазного общества демократических и социалистических течений [2].

Другими словами, культура нашего общества призвана наследовать все передовое, лучшее, ценное, что создано данной национальной культурой, а также воспринять все наиболее прогрессивное и последовательно демократическое, что создается другими национальными культурами...

Известно, насколько противоречиво творчество ряда крупных художников Запада, в той или иной степени связанных с модернистскими течениями. Многие из них, преодолевая влияние этих течений, создают художественные ценности, разрушающие модернистские стереотипы и постулаты. Их обращенность к социалистическому мироощущению и марксистской эстетике знаменует собой важнейшее явление в творческом опыте нашего времени. Эстетические и нравственные позиции социалистической

[1] «Правда» за 12 июля 1977 г.

[1] См. «Рабочий класс и современный мир» № 5, 1976.

[2] Подробно см. О. Э. Туганова. Некоторые вопросы типологии течений в культуре современного буржуазного общества, «Вопросы философии» № 8, 1977.

Л. ТОДОРОВА

МИФЫ О КОНВЕРГЕНЦИИ И КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН

культуры привлекают все большее внимание передовых кругов современного мира.

«Во всяком случае,— говорит западногерманский писатель Макс фон дер Грюн,— я не смог бы писать, если бы не пришел к убеждению, что будущее человеческого рода заключено в социализме, более того, что человечество сумеет выжить только благодаря социализму. Иначе вообще нельзя, иначе наступит конец мира». Фон дер Грюн видит свою заслугу в том, что вместе с другими писателями «внес в литературу новое общественное измерение».

Западногерманский писатель-публицист Гюнтер Вальраф, творчество которого носит антифашистский и антиимпериалистический характер, считает, что публицистика «направлена на изменение общественных отношений» и имеет целью борьбу против возрождения фашизма, нарастания новой военной опасности в Европе. Восемьдесят процентов газет в Западной Германии, говорит Вальраф, готовы «оправдать фашистские пути или даже узаконить их». Разве за всем этим не стоит бесславная и преступная эра нацизма, чудовищных бед, обрушившихся на народы Европы и всего мира? Где у нас, спрашивает писатель, «например, инстанции, которые контролировали бы бундесвер? У нас есть закон против «радикальных элементов», однако его применяют только или почти только против левых».

С тревогой и озабоченностью говорит об этом и широко известный английский писатель Джеймс Олдридж: «Одна из поразительных черт современного западного общества — заметный крен вправо руководителей буржуазных партий и возрождение неофашистских организаций, которых реакционная пресса пытается представить в качестве «уважаемой» политической силы. Почти ежедневно мы наблюдаем все новые и новые проявления усиления влияния правых. И хотя сей феномен является уже признанным фактом английской действительности, остается немало вопросов, на которые трудно найти ответ. Почему это происходит? Кто слушает этих людей?

Социальная атмосфера, в которой мы живем,— отмечает далее автор,— представляет собой полный хаос. Наша культура переживает один из худших периодов...

Все то, что оказывает тлетворное влияние на культуру,— подчеркивает Олдридж,— пропитало собой и политическую жизнь, систему образования. Мы живем в постоянной борьбе, чтобы не дать этим разрушительным силам одержать верх. И это очень жестокая борьба» [1].

«В Британии,— пишет Олдридж в другой статье,— мы являемся сегодня свидетелями самого опасного рецидива фашизма с военных лет. Не только уличные марши, но и та терпимость, которую проявил к ним когда-то Гинденбург,— вот благодаря чему Гитлер всплыл в свое время как лидер буржуазии. У нас сейчас тоже объявились вежливые, респектабельные, аристократические гинденбурги, охраняющие право фашистов действовать среди нас,— и все это во имя демократии» [2].

Внимание также привлекает новая книга Дэвида Холбрука «Образование, нигилизм и выживание», в которой автор с критических позиций анализирует духовную жизнь современного буржуазного общества и подвергает суровому осуждению «массовую культуру».

Изложенные выше соображения ведут к заключению, что ни мировая культура в целом, ни любая отдельно взятая национальная культура Запада и Востока не могут успешно развиваться в условиях самоизоляции и герметической замкнутости. Они нуждаются в постоянном общении и взаимном обмене духовными ценностями, создаваемыми человечеством. В условиях Хельсинкских договоренностей и на путях дальнейшего смягчения напряженности перед международным культурным сотрудничеством и обменом открываются широкие, оптимистические перспективы.

---

[1] Джеймс Олдридж. Мир смотрит на вас, «Неделя», 31 октября—6 ноября 1977 г.

[2] Джеймс Олдридж. Ясность цели, «Правда», 8 ноября 1977 г.

РОН КОВИК

РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ

Фрагменты книги

Перевод с английского Н. ТОЛКУНОВОЙ под редакцией И. ГУРОВОЙ

Исповедь обманутого

Всякая война, как известно, порождает свою литературу. Вьетнамская война была для Америки первой телевизионной войной. В освещении ее литература, даже периодическая, отступила на задний план. Телевизионные корпорации держали во Вьетнаме десятки, а временами и сотни своих людей и легко побивали конкурентов из других средств массовых коммуникаций. Война подавалась на телеэкран, как лепешка из печи — с пылу, с жару. Через спутники Земли. Приехав с работы, смешав себе коктейль покрепче — для расслабления — и усевшись в полседьмого вечера у телевизора, американец и в Нью-Йорке, и в каком-нибудь безвестном Грин-Ривере, штат Вайоминг, мог наблюдать, как с утра работали его соотечественники в далекой, чужой и чуждой стране: просторные палубы авианосцев, стоявших у чужих берегов, стремглав уходящие в небо, ревущие стрелы самолетов, черные капли бомб, которые, отрываясь от крыльев, набирают разбег, чтобы обрушиться на чужую землю. Или тяжелые десантные вертолеты над рисовыми полями, поливающие чужую землю из крупнокалиберных пулеметов. Но самой этой, вьетнамской, земли телевизионный взгляд не достигал. Что делалось там, как рушились здания и гибли люди, этого американец обычно не видел — ни в черно-белом, ни в цветном варианте.

Телевизионное изображение войны было так же реально и так же обманчиво, как реален и в то же время обманчив единичный факт, вырванный, как одна жилка, из плотного мяса жизни. В нем солдат загородили генералы и пресс-офицеры, а вьетнамский народ был «представлен» сайгонскими марионетками Вашингтона, которые сейчас, убежав за океан, занялись главным образом ресторанным бизнесом. Тяжелые будни войны, тянувшейся из года в год, ее кровь и пот, муки мирного населения, стойкость «вьетконговцев», сражавшихся за то, чтобы по-своему устроить дела в своей стране,— всей этой, по выражению Твардовского, «правды, прямо в душу бьющей», на телеэкране, мягко говоря, не хватало, хотя американские корреспонденты вопреки американскому командованию делали иногда попытки показать грязь, позор и вопиющую несправедливость вооруженной интервенции.

Советским корреспондентам, находившимся в Америке, так и пришлось наблюдать вьетнамскую войну — на американском телеэкране, а на саму Америку смотреть сквозь призму Вьетнама. Странное было это зрелище для меня, запомнившего с детских лет нашу войну. Странное и горькое зрелище войны, которая до поры до времени не нарушала экономического процветания и для массы американцев была лишь телевизионными картинками, имевшими не больше отношения к их реальной, повседневной жизни, чем все другие телевизионные картинки. Они дремотно уживались с ней, электрокардиограмма национального сознания оставалась вполне спокойной в периоды ожесточеннейших бомбежек Вьетнама и обнаруживала беспокойство лишь при увеличении американских

© Ron Kovic, 1976.

потерь. Телевизор и приближал войну, и отдалял ее, превращая в обескровленную абстракцию.

Но даже в телевизионный век война порождает литературу. Вьетнамская не стала исключением. Размышления и наблюдения специалистов, политиков, журналистов быстро проделывали путь с газетных страниц в толстые журналы, а затем и в книжные издательства. Задолго до окончания войны полки книжных магазинов Нью-Йорка, Вашингтона и других крупных городов, а также университетских центров были завалены книгами очевидцев и аналитиков.

Не судят победителей. А Вашингтон проигрывал войну в джунглях, несмотря на всю беспощадную мощь своей техники и полумиллионный экспедиционный корпус. Проигрывал, хотя Линдон Джонсон, а затем Ричард Никсон клялись, что не отрекутся от стародавнего кредо американского шовинизма, согласно которому Соединенные Штаты выигрывают все свои войны — и справедливые, и несправедливые. Не судят победителей, а стратеги еще не кончившейся, но заведомо проигранной войны с конца 60-х годов подвергались все более критическому суду у себя в стране. Критическая литература теснила апологетическую. Мемуары Линдона Джонсона, написанные им по выходе в отставку, или, к примеру, записки американского главнокомандующего во Вьетнаме генерала Уильяма Уэстморленда пылились на магазинных стеллажах, «уценивались», как товар не по сезону или вышедший из моды. А публикация секретных «документов Пентагона» (о подготовке вьетнамской войны), переданных в печать Даниэлем Эллсбергом, вызвала громадный интерес. Эллсберг начинал сотрудником известной «РЭНД корпорейшн», блестящим и холодным молодым политологом, из тех, что математически вычисляли и «доказывали» возможность победы над национально-освободительным движением в Юго-Восточной Азии. Ход событий и причастность к человеческой боли сделали из него критика вашингтонского курса, жестокости и бесчеловечности вооруженного вмешательства в гражданскую войну в другой стране.

Такая эволюция постигла многих американцев, писавших о вьетнамской войне. Они тоже начинали крестоносцами, этакими романтическими империалистами, вдохновленными красноречием Джона Кеннеди: «Мы заплатим любую цену, вынесем любые трудности, преодолеем все препятствия, поддержим любого друга, воспротивимся любому врагу, чтобы выжила и преуспела свобода» (из речи при вступлении на пост президента 20 января 1961 года). Они тоже проделывали путь от ослепленности антикоммунизмом к прозрению, к пониманию сложности мира и происходящих в нем процессов. В их книгах спокойный анализ дополняется язвительностью, желчностью и тайной мстительностью обманутых. Бестселлером стала книга Дэвида Хелберстама «Самые лучшие и талантливые» — о тех блестящих и образованных и, однако, в силу своего мировоззрения, недальновидных деятелях из окружения Кеннеди и Джонсона, которые самонадеянно вовлекали Америку в трясину войны. Литературных премий и читательского признания была удостоена и книга «Пожар в озере», принадлежащая перу журналистки Фрэнсис Фицджеральд. С дотошностью и основательностью ученого она повествует о пропасти непонимания между американцами и вьетнамцами (даже их вьетнамскими марионетками и протеже), о том, что чудовищная военная машина США вела себя во Вьетнаме с изяществом слона в фарфоровой лавке.

Кратко упомяну о факте хорошо известном. Вьетнамская война так или иначе заставила «определиться» и американских писателей. Роберт Лоуэлл одним из первых выполнил долг поэта и гражданина, демонстративно отклонив приглашение на званый обед в Белый дом. Норман Мейлер участвовал в антивоенном «штурме Пентагона» и описал его. Джон Стейнбек потерял свое доброе имя, отправившись во Вьетнам, чтобы восславить американское воинство. Мэри Маккарти полетела вслед, чтобы опровергнуть Стейнбека...

И наконец, как водится, война привела в литературу новую поросль — молодых бородатых ветеранов Вьетнама, писателей и поэтов, которые долго не снимали солдатские бутсы и блекло-зеленые рубахи с армейскими нашивками. Свое слово они, надо думать, сказали еще не полностью. Но и в том, что сказано прозой и стихами, много неподдельной правды, вышедшей из джунглей, из опыта боев и ночных патрулей в чужой стране, где понятно лишь одно — опасность на каждом шагу, где люди меньше ростом, беднее живут и все одеты в «черные пижамы», где жизнь куда как дешевле, чем «American life» (жизнь американца), где сначала стреляешь, а потом, видя труп или смертельно раненого человека, выясняешь, солдат это или мирный житель, мужчина или женщина, старик или ребенок. В книге Рона Ковика есть жуткая сцена такого рода: приняв огонь домашнего очага за партизанский костер, американцы перестреляли ночью кучу детей. А война, между прочим, потому и была грязной, что состояла из тысячи таких «ошибок» и «случайностей»; лишь немногие из них получили такую огласку, как история с истреблением нескольких сотен мирных жителей в Сонгми.

Рона Ковика вряд ли назовешь писателем, но он принадлежит к той группе прошедших Вьетнам американцев, которые сменили автоматическую винтовку М-16 на пишущую машинку и перо. Он один из них. Его книга, как и другие

книги, созданные участниками войны с американской стороны,— это исповедь обманутого. Это исповедь обманутого, а затем потрясенного, задумавшегося и прозревшего.

Рон Ковик прозрел в инвалидном кресле на колесиках, парализованный по грудь, «три четверти тела отдав за Америку». В двадцать лет он лишился всех праздников жизни, которые несет с собой молодость, и до гробовой доски, до бесплатных похорон, положенных американскому ветерану, останется с той малой войной, которая уже кончилась и для его быстро живущих, забывчивых соотечественников быстро отходит вдаль, в забвение. Он обречен жить с этой войной всю свою жизнь и потому, как сам он пишет, «пытался вытравить память о войне и о своем увечье с помощью слов, ложившихся на бумагу». Добавим: и вытравить, и оставить — и передать другим.

Один детально описанный им эпизод помогает понять, из каких побуждений появилась книга «Рожденный четвертого июля».

29 мая, в традиционный, широко отмечающийся в Соединенных Штатах День поминовения павших, к инвалиду вьетнамской войны Рону Ковику, живущему в доме родителей в маленьком городке Массапикуа на длинном острове Лонг-Айленд, что под Нью-Йорком, приезжает командор местного поста Американского легиона — известной казенно-патриотической организации, объединяющей ветеранов во имя охраны «американских идеалов» и «американских ценностей». В инвалидном кресле Рона Ковика выкатывают из дома, вносят в роскошный открытый «кадиллак» и везут на главную улицу Массапикуа. На главной улице по случаю Дня поминовения — парад со всеми его американскими атрибутами, включая духовой оркестр и девиц-тамбурмажореток, жонглирующих жезлами и высоко вскидывающих ноги в сапожках с помпонами. Рон Ковик и Эдди Дуган, потерявший во Вьетнаме обе ноги, приглашены на парад как почетные гости. Как раненые герои, которых приветствует родной город. Как живые напоминания, что надо «поддерживать наших ребят во Вьетнаме».

Под звуки маршей выплясывают длинноногие девицы, важно катит «кадиллак», весь в цветах национального флага... Рон Ковик вспоминает, как совсем недавно на таких парадах он шагал скаутом, украдкой и с гордостью поглядывая на мать, стоявшую в числе зрителей на тротуаре. «Как легко было жить нам, как все быстро прошло...» Толпа на тротуарах почему-то не приветствует их, двух ветеранов-инвалидов. Во взглядах холодное равнодушие и, хуже того,— холодное любопытство. Он, Рон Ковик, парень из этого города, чувствует себя живым призраком. Диким зверьком в клетке. Чудищем...

Ему вдруг отчаянно хочется домой, под крышу и опеку родителей, в свою комнату, в безрадостное, но привычное и безопасное убежище своего одиночества. Но нет, как и веселые тамбурмажоретки, в День поминовения он — часть выверенного, обкатанного и отшлифованного казенно-патриотического ритуала. На виду у всех, всем показывая, какой он беспомощный, его вынимают из «кадиллака» и вносят на трибуну. Теперь он должен еще и слушать речи. Мэр и другие «отцы города» говорят об Америке, патриотизме, боге. Больше всех аплодисментов срывает командор. Потрясая кулаком, он орет в толпу: «Я верю в Америку! И я верю в Американизм! А главное, самое главное, я верю в победу Америки!»

А он, Рон Ковик, выставлен на всеобщее обозрение. Рон Ковик, которому там, во Вьетнаме, пуля разворотила спинной мозг, Рон Ковик, который в госпитале каждый день, с отчаянием, не поддающимся описанию, видел, как его сильное, тренированное, способное делать все тело двадцатилетнего молодого человека превращалось — навсегда! безвозвратно! — в тело жалкого калеки. Он, Рон Ковик, демонстрируется как символ той слепой веры, которая уже покидает его. Под патетические заклинания командора, вызывающие аплодисменты толпы, он недоумевает, почему же ему не дают слово, думает о судьбе своей и себе подобных: «Им нельзя говорить из-за того, что с ними сделала война, и вот за них распинаются тут другие и сыплют красивыми словами о том, о чем понятия не имеют».

За него говорили другие. И говорили не то. Пожалуй, именно отсюда и возникла автобиографическая книга Рона Ковика: из тягостного ощущения своей немоты, из протеста против роли, которую, не спросив его, ему отвели в родном городе,— против роли живой иллюстрации к демагогии об Америке и Американизме.

Рон Ковик родился в 1946 году, 4 июля — в День независимости, в национальный праздник Соединенных Штатов. Это совпадение дало не только заглавие его книге, но, думается, и дополнительный толчок к ее написанию. С детских лет он гордился тем, что родился в один день со своей страной, считал, что судьба по-особому отметила его,— разве не в день его рождения во всех дворах и на всех пляжах взвивались в вечернее небо праздничные фейерверки? Он вышел из провинциальной кондовой Америки и — не случись с ним того, что случилось,— скорее всего остался бы в ее гуще. В так называемый Американизм Рон Ковик верил когда-то не меньше срывавшего голос командора, а может быть, и чуточку больше...

Во вьетнамские годы в Америке нередко вспоминали старое присловье:

первой жертвой на войне падает правда. Но ведь правда приносится в жертву еще до войны. Более того, ее убиение — одна из необходимых идеологических предпосылок войны. Доказательства, если не прямые, то косвенные, можно найти и в книге Рона Ковика.

Не силой таланта и не глубиной проникновения в человеческую натуру привлекает она внимание, а честным отражением жизни и понятий так называемого среднего американца, причем на его уровне. Описывая свое детство, школу, увлечение бейсболом, походы в кино, автор не скрывает, а, напротив, подчеркивает, что он — типичное дитя своей страны. Говоря политически, он — типичный продукт идеологического конвейера, американской «массовой культуры» с ее упором на силу и бездумную развлекательность, с вкраплениями антикоммунизма и стереотипов «холодной войны».

Детство и отрочество Рона Ковика пало на 50-е — начало 60-х годов. Он вспоминает: «В те годы все только и говорили что о коммунистах... Мы были уверены, что учитель истории — секретный агент коммунистов... Мы бдительно следили за ним». Любимым героем был киноактер Джон Уэйн, игравший суперменов-ковбоев и суперменов — морских пехотинцев (кстати, Джон Уэйн стал рьяным сторонником вьетнамской войны, а его поклонники, угодив в джунгли, поневоле научились кинокритике). Реальнее живой жизни было для подростков ее отражение на кино- и телеэкране. Вербовщики морской пехоты, приехавшие в школу, которую заканчивал Рон, «будто сошли со страниц книг или с экрана... В тот день они сказали, что морская пехота сделает из нас настоящих мужчин, закалит тело, мозг и душу». И Рон Ковик решил идти в морскую пехоту...

Позволю себе небольшое отступление, ссылку на личный опыт жизни и работы в Америке. В середине 60-х годов, путешествуя по этой большой стране, я много раз встречался с продукцией американского идеологического конвейера — с бизнесменами, чиновниками, даже со студентами, еще не зараженными критическим духом и бунтарскими настроениями 68-го года. Однажды в самолете, шедшем из Детройта в Буффало, штат Нью-Йорк, разговорился с солдатом, собиравшимся во Вьетнам. Сев за предисловие к книге Рона Ковика, я перечитал очерк, где описывал ту случайную встречу, увидел, как походил тот солдат 1966 года на довьетнамского Рона Ковика: «Солдат знал все. Он был уверен в своем праве говорить за вьетнамцев и доминиканцев. Он знал все за все народы мира, неуязвимый, идеологически выдержанный, стерильно чистый американец, с которого заботливо сдуты последние пылинки сомнений и вольнодумства. Идеалист-империалист. «Боремся за свободу... Война есть война... Мы должны остановить коммунистов...» Я будто попал на урок американской солдатской политграмоты».

История американского вооруженного вторжения во Вьетнам и долгой грязной войны — это не только история воинственного антикоммунизма официального Вашингтона. Это, повторяю, и история обманутых и готовых обманываться американцев, которые в своей массе поначалу вполне поддерживали это позорное империалистическое начинание, увлеченные приблизительно теми же громкими, хотя и маловнятными понятиями об Американизме, которые возглашал командор в День поминовения. О шовинизме и чувстве национальной исключительности и самолюбования («группового нарциссизма») пишут многие американские исследователи. В монографии «Корни войны» известный социолог Ричард Барнет отмечает, что после второй мировой войны главной характеристикой Америки стала уже не «способность развивать технику и создавать богатство при определенных условиях», а военная мощь. «Все больше понятие «американец» означало того, кто отождествляет себя с борьбой против врагов Америки,— пишет Барнет.— Американизм стали определять в категориях антиамериканизма... Антикоммунизм теперь служил своего рода клеем, удерживающим быстро распадающееся общество. Когда клей начал давать трещины под давлением вьетнамской войны, его нелегко было заменить другой национальной целью».

Как убедится читатель, Рон Ковик не сразу научился осмысленному взгляду на свою страну — и не сразу пришел в антивоенное движение ветеранов вьетнамской войны, в котором обрел и достойную цель, и братьев по духу, и средство от одиночества. Вынося оскорбления и плевки «из публики», тычки полицейских, он начал свою войну за правду, войну тоже телевизионную. Он пишет: «Каждый раз, когда мне выпадал случай показать свое искалеченное тело на телевизионных экранах или людям в зале, меня охватывало дикое бешенство. Пусть, пусть посмотрят на меня хорошенько. Пусть поймут, что они натворили, когда посылали мое поколение воевать».

В книге рассказано о кульминации этой его войны — о смелой вылазке во вражеский стан на национальном съезде республиканской партии в августе 1972 года в Майами-Бич. Тогда, замеченный телевизионным корреспондентом Роджером Маддом, он сумел на всю страну, десяткам миллионов людей прокричать свое заветное: «Прекратить бомбардировки, прекратить войну!»

Добавлю то, что не успело войти в его книгу. В июле 1976 года Рон Ковик оказался на национальном съезде демократов в Нью-Йорке — уже не тайком, а

законным образом, не в зале под присмотром взбешенных охранников, а оратором на трибуне. «Я оживший мертвец, День павших — в инвалидном кресле»,— говорил он в своей короткой речи, призывая делегатов выдвинуть в вице-президенты США Фрица Эфо, уклонившегося по соображениям совести от призыва в армию во время вьетнамской войны. Его выслушали внимательно, газеты отметили «трогательный момент». Но Фрица Эфо кандидатом в вице-президенты, разумеется, не выдвинули.

Насколько действенны эти вылазки Рона Ковика, эти демонстрации своего искалеченного тела? Вьетнам полузабыт в Америке, а американский обыватель по-прежнему представляет твердыню равнодушия и своекорыстия. Но по крайней мере у Рона Ковика есть свой course — свое общественное дело, своя миссия. А что может быть человеку дороже?!

Рон Ковик преисполнен жалости и сострадания к жертвам войны. Об этом свидетельствует и тот поступок, о котором он объявил в связи с публикацией его книги в журнале «Иностранная литература». Он отказался от причитающегося ему гонорара, передав его в фонд строительства больниц во Вьетнаме.

С. КОНДРАШОВ

С днем рождения, моя страна и мой народ.

Не спрашивай, что может сделать для тебя родина,— спроси, что можешь сделать для нее ты.

Президент ДЖОН Ф. КЕННЕДИ
20 января 1961 года

Я — оживший мертвец,
День павших — в инвалидном кресле,
Я ваш янки дудль,
Ваш Джон Уэйн, с войны пришедший,
Праздничная хлопушка,
Рвущаяся в гробу.

I

Кровь из раны в плече все течет, заливая пулезащитный жилет, пули щелкают, зарываясь в песок совсем рядом. Я пытаюсь пошевелить ногами, но не чувствую их. Пробую вздохнуть — но не могу. Я должен выбраться отсюда, не знаю как, но должен.

Слева от меня кто-то кричит, чтобы я поднимался. Он кричит и кричит, но я увяз в песке.

Вытащите меня отсюда, вытащите, да помогите же! Помогите, пожалуйста! Помогите! О господи!

— Санитар! — кричу я.— Позовите санитара!

Громкий свист, и я слышу вопль:

— Палец! Палец отстрелили! Сержант, надо отходить! Отходить пора!

— Не могу! — хриплю я.— Ноги отнялись! Я ничего не чувствую!

Смотрю, как он бежит назад к деревьям.

— Сержант, что с вами? — Кто-то снова зовет меня, и я пытаюсь обернуться. Опять выстрел и вскрик: «А-а-а!» Я слышу, как позади меня падает тело.

Он, должно быть, убит, но мне все равно. Я хочу жить. Мне все равно.

И опять кто-то подползает сзади, чтобы спасти меня.

— Убирайся отсюда,— ору я.— Катись к чертовой матери!

Высокий негр с длинными жилистыми руками подхватывает меня и перебрасывает через плечо. Треск пуль вокруг — словно рвутся связки хлопушек. Они все рвутся и рвутся, кажется, само небо закрутилось вокруг нас. «Сукины дети, сукины дети!» — кричит негр. Свист пуль, и это небо, и солнце на моем лице, и онемелое тело, перекореженное, бессильно обвисшее, вновь и вновь погружающееся в песок, вверх-вниз, перекатываясь, проклиная, задыхаясь. «Сукины дети, сукины дети!»

Наконец меня стаскивают в яму в песке. Бесчувственная нижняя часть тела подмята подо мной. Не сказав ни слова, негр убегает. Я так и не видел его лица. Мне никогда не узнать, кто он. Он исчез навсегда. И вот уже другие поддерживают меня, перевязывают раны. На их лицах страх.

— Ничего,— говорю я.— Все прекрасно!

Мне только что спасли жизнь. Винтовка куда-то пропала, но у меня нет желания разыскивать ее. Зачем она мне? Я могу думать только об одном, одна мысль сверлит мозг: жить. И ничего нет сейчас в мире важнее.

С грохотом начинают рваться сотни снарядов. Я смотрю в небо, потому что не могу пошевелиться. Над ямой во всех направлениях пробегают люди. Я вижу их ноги и испуганные лица. Они кричат и тащат мимо меня раненых. И опять рвутся снаряды, все ближе и ближе. В яму прыгает высокий человек, прижимая меня к земле.

— Господи,— кричит он.— Господи, спаси и помилуй!

Начинается атака. Меня выносят из ямы — двое, трое, четверо... быстро привязывают ремнями к носилкам. Мои ноги свисают по сторонам, но тут кто-то догадывается, что я не могу ими управлять, и укладывает их на носилки.

— Я не могу пошевелить ногами,— почти шепчу я.— Не могу ими пошевелить.

Я дышу размеренно, стараясь успокоиться, стараясь не впадать в панику. Я хочу жить. «Спокойнее»,— твержу я себе, пока мои ноги прихватывают ремнями, пока мое изуродованное тело несут в санитарную машину, к другим раненым. Захлопывается тяжелая стальная дверь, и нас везут назад, через реку, на северный берег — в расположение нашего батальона.

Вокруг стонут раненые: «Господи, спаси меня!», «Помогите!» О, черт, мы же совсем беспомощны. Уже не морские пехотинцы, не герои с плакатов, не как в день выпуска. Это — настоящее. «Мама!» — стонет человек, у которого нет лица. «Я не хочу умирать! — кричит молодой парень, придерживая руками вываливающиеся кишки.— Нет, нет! Ну помогите же! Мама!» — кричит он.

Мы медленно переезжаем реку, машину сильно раскачивает. Мы больше не можем быть мужественными, да и зачем? Теперь это не имеет значения. Мы цепляемся за самих себя, за то, что вокруг, за воспоминания, мысли, мечты.

Стальная дверь открывается. Я вижу лица. Санитары, наверное. Кто-то смотрит на нас с любопытством. Воздух, свежий воздух. Я чувствую его, вдыхаю. Меня выносят из машины — над ранеными телами, сквозь крики боли. Я в вертолете, он поднимается в воздух. Война остается позади. Я буду жить, я еще дышу. И я твержу снова и снова: «Я буду жить, я выберусь отсюда».

Летим мы долго, но вот, наконец, оказываемся на месте. Меня переполняет радость. Я еще держусь. Я сумел продержаться, не сдался, и вот я в госпитале, где мне сделают операцию и выяснят, почему я не чувствую своего тела ниже груди. Теперь я знаю, что буду жить. Я буду жить, и меня спасет не бог, не вера, а я сам, потому что я так хочу. Я хочу жить. Меня переносят в комнату, залитую светом.

— Фамилия? — слышу я громкий голос.

— Ч-что? — говорю я.

— Фамилия? — повторяет голос.

— К-Ковик.

— Нет. Мне нужно знать фамилию, звание, регистрационный номер, дату рождения, имена родителей.

— Ковик. Сержант. Номер 2030261. А скажите, когда...

— Дата рождения! — кричит голос.

— Четвертое июля тысяча девятьсот сорок шестого года. Я родился в День независимости. Послушайте, я не чувствую...

— Вероисповедание?

— Католик,— говорю я.

— Ваша часть?

— Да что же это такое? Когда вы будете меня оперировать? — говорю я.

— Оперировать будут врачи. Успокойтесь,— говорит он невозмутимо.— Они очень заняты, сегодня много раненых, но вами тоже скоро займутся.

Он стоит передо мной почти по стойке «смирно» с бланком в руке и записывает все, что ему удается из меня вытянуть. Я не могу понять, почему меня так долго не оперируют. Мне очень плохо, и откладывать операцию нельзя.

Наконец меня переносят в длинную комнату, где много врачей и сестер. Они обступают меня, их движения быстры и уверенны.

— Все будет хорошо,— успокаивающе говорит одна из сестер.

— Дышите в маску,— говорит врач.

— Вы будете оперировать? — спрашиваю я.

— Да. Дышите глубже.— На мое лицо ложится непроницаемая темнота маски, и я всем своим существом молю об одном: только бы мне пережить операцию и вновь увидеть свет. Я так хочу жить. И прежде чем заснуть, пока мрак еще не совсем поглотил меня, я начинаю бороться, так бороться, как никогда в жизни.

Просыпаюсь я от криков раненых. Я жив! «Может быть, рана была мне карой за убитого капрала и за детей?» — думаю я. А теперь я искупил свою вину, и все будет хорошо. Я лежу здесь рядом с другими ранеными, привязанный ремнями к странной круглой кровати. Из носа у меня торчат трубки, слышно, как лязгает и чавкает какой-то аппарат. Тела своего я еще не чувствую, но знаю, что жив. Грудь сдавила дикая боль. Тело совсем ледяное. И слабое — оно еще никогда не было таким слабым, оно измучено, истерзано, оглушено болью. Мне все еще невыносимо труден каждый вздох. Я гляжу на людей вокруг сквозь завесу оцепенения. Этого я уже видел в вертолете. Он надрывно кричит, зовет мать, требует морфия, вздергивает окровавленные обрубки ног.

Напротив меня лежит кореец. Он даже и на войне-то не был. Сестра говорит, что он вышел купить газету и подорвался на мине. Ему оторвало руку и обе ноги. Теперь этот обрубок нелепо размахивает уцелевшей рукой, воет, как зверь, цепляется за последние крохи жизни и чувствует неумолимое приближение смерти. Он вопит как обезумевший. Скорей бы мне сделали укол морфия. Морфий — это почти счастье. Он приносит мрак и тишину. Я отдыхаю, я вырываюсь из этого мира безумия. И мне вновь снится наш двор.

Когда я просыпаюсь, очи все еще кричат, горит свет, и я слышу тиканье стенных часов — они тикают в такт их воплям. Я слышу, как вывозят из палаты мертвецов и устраивают новых раненых. Нет, мне необходимо выбраться отсюда.

— Можно звать вас по имени? — спрашиваю я у сестры.

— Нет. Зовите меня лейтенант Уикер.

— А нельзя ли мне...

— Нет, это запрещено,— говорит она.

Кореец все не умолкает. В другом конце палаты теперь лежит маленький ребенок. Сестра рассказывает, что его обожгло напалмом, сброшенным с наших самолетов. Ребенка мне не видно, но кричит он не переставая, как кореец и тот безногий.

Сержант из «зеленых беретов» зовет мать. Его я слышу каждую ночь. У него цереброспинальный менингит. Он умрет сегодня еще до наступления ночи.

Замолчал кореец, не размахивает больше над головой единственной рукой с двумя уцелевшими пальцами. Он умер, и его тоже увезли из палаты.

По палате идет монахиня с яблоками и четками для раненых. Она такая приветливая, всем улыбается. Санитар читает комиксы и проклинает орущего ребенка. А ребенок все кричит. По армейскому радио говорят, что скоро все солдаты вернутся домой. Парню с кровоточащими обрубками делают укол морфия.

По проходу идет генерал, подходит к каждой кровати. Он вышагивает важно, смотрит на каждого раненого. За ним следует тощий солдат с «Поляроидом» [1]. На генерале безукоризненный мундир и сверкающие ботинки.

— Добрый день, морской пехотинец,— говорит он.— От имени президента Соединенных Штатов и командования морской пехоты я уполномочен вручить вам орден «Пурпурного сердца» и снимок...— солдат с фотоаппаратом подскакивает и снимает раненого,— чтобы послать вашим родным.

Генерал подходит к моей кровати и говорит то же, что и остальным. Солдат подскакивает и запечатлевает, как генерал вручает мне орден.

— Вот снимок, чтобы послать вашим родным.

Я лежу в госпитале уже семь дней и семь ночей. Я царапаю записки на клочках бумаги — твержу себе, что выберусь отсюда, выживу. Я сжимаю резиновые мячи, чтобы вернуть рукам силу. Я пишу письма домой маме с папой, то есть женщина по имени Люси пишет их под мою диктовку. Я сообщаю родителям, что ранен серьезно, но для Америки можно принести и не такую жертву. Прошу их не беспокоиться, ведь я уже скоро буду дома.

Вот и пришел день расставания с госпиталем. Меня привязывают к специальному каркасу, везут из ангара в ангар, грузят в самолет, и я навсегда покидаю Вьетнам.

II

Автобус свернул с боковой улочки на широкий бульвар, потом поехал по Квинсу, где находился госпиталь. Первый раз за долгую дорогу все шутили и смеялись. Он почувствовал, что пробуждается от кошмара. Вот он и дома — эти улицы, бульвар, он знает их как свои пять пальцев. Воздух был свеж и прохладен. Автобус потряхивало. «Эй, вы там! — крикнул кто-то.— Нельзя ли полегче? Мама, мамочка!»

Боль сверлила ему спину, но, въезжая в ворота морского госпиталя Сент-Олбана, он смеялся вместе с остальными ранеными вояками. Охранник махнул рукой, автобус въехал в ворота и остановился. Его вынесли из машины последним. Ему показалось, что он, расплющенный как блин в своей железной распялке, вызывает здесь всеобщее любопытство.

Его положили в неврологическое отделение, где царили стерильная чистота и тишина. Он с трудом дозвался сиделку. Если они сейчас же не снимут верх железного каркаса с его спины, он начнет кричать, предупредил он. Верх сняли, а потом перевели его на первый этаж в палату для солдат с открытыми ранами. Первая пуля раздробила ему пятку, поэтому его сюда и перевели.

В палате 1-С вместе с ним лежало еще пятьдесят человек, недавно раненых на войне: двадцатилетние слепцы, безрукие, безногие, выпотрошенные калеки, в инвалидных креслах, корчащиеся от боли. На их лицах блуждала странная улыбка. Наверное, и у него такая же, подумалось ему. Ведь они, совсем еще мальчишки, уже играли со смертью и сумели обмануть ее.

Он лежал и внимательно следил за всем, что происходило вокруг. Каждый день его возили на процедуры, и он упорно тренировался, поднимая гири. В Дананге врачи

---

[1] Фотоаппарат, тут же выдающий готовые снимки.

посоветовали ему привыкнуть к мысли, что он всю жизнь будет прикован к креслу. Он смирился, но все чаще и чаще ему снилось, что он ходит. Каждый вечер, после того как уходил последний посетитель, он молился об этом. Он закрывал глаза и представлял, что идет.

Иногда его навещали земляки, члены американского легиона. Они приходили с женами и хорошенькими дочками, окружали его постель. Ему казалось, что это он их подбадривает, а не они его. Он герой, твердили они, вся Массапикуа им гордится. Однажды их командор торжественно встал и сказал, что в городе даже хотят назвать в его честь улицу. Но тут жена командора смутилась и заставила мужа замолчать. Он пошутил, объяснила она, после пары кружек пива его часто заносит.

Недели через две пришел какой-то мужчина и вручил ему большой конверт. Он дождался, чтобы посетитель ушел, и вскрыл конверт. Внутри была выписка из благодарности в приказе и медаль «За выдающиеся заслуги перед штатом Нью-Йорк». Приказ был подписан губернатором Рокфеллером. Конверт вместе со всем содержимым он засунул под подушку.

Никто из лежавших в палате еще не был демобилизован, так что подъем у них был в шесть утра, как положено по уставу. Всем, кто мог стоять, полагалось встать перед кроватями, пока шла перекличка. Потом они заправляли постели и проводили уборку палаты — вплоть до мытья полов и окон. Участие в этом обязаны были принимать все, даже безногие и безрукие. Его, правда, оставляли в покое. Во время переклички и уборки он обычно спал.

Потом наступало время лечебных процедур, а затем санитар сажал его в кресло и вез в душевую. Минут на пять санитар оставлял его в одиночестве, потом поднимал его тело и опускал на деревянную скамью. Ноги беспомощно болтались, ступни едва касались пола. Каждое утро он сидел в душевой и смотрел, как все худели его ноги. Через месяц их мышцы почти совсем исчезли. Его сильное тело двадцатилетнего мужчины стало телом жалкого калеки. Только сейчас начал он понимать, насколько страшным было его ранение. Хуже могла быть только смерть или полная утрата умственных способностей.

Он вспоминал слова священника в Дананге: «Твоя борьба только начинается. Мало кто захочет слушать, что приходится тебе терпеть. Ты должен научиться нести свой крест, а учиться этому придется в одиночестве. Все могут покинуть тебя, но пусть это тебя не страшит. Ты выдержишь, я в тебя верю».

III

А началось все для меня в 1946 году — четвертого июля 1946 года, когда я родился. Небо было расцвечено разноцветными звездами фейерверка. И каждый год этот день праздновала вся страна. Да, таким днем рождения можно гордиться.

Я до сих пор помню, как ликовали мама, отец и все наши ребята, когда я завершил свою первую победную пробежку во время игры с «Миджетсами» на первенстве Малой бейсбольной лиги Массапикуа Мы проиграли в тот вечер со счетом 22 : 7. Всю дорогу домой я плакал. Так давно это было, но я и сейчас иногда прислушаюсь — и услышу, как кричат мои друзья перед домом Пита на Гамильтон-авеню. У нас была большая компания: Бобби Зиммер, высокий парень с нашей улицы, Кенни, Пит, малыш Томми Ло, мой лучший друг Ричи Кастилья, живший напротив нас на площади Ли.

Мне нравилось играть в бейсбол, и я готов был играть хоть все дни напролет. Первой бейсбольной перчаткой я обзавелся в семь лет. Копил все деньги, какие мне давали, сдавал лимонадные бутылки. Вообще-то, конечно, перчатка была дрянь, но я считал, что она замечательная, во всяком случае, до тех пор, пока Бобби и другие ребята своими подачами не разорвали ее в клочья.

Бейсбол я тогда любил больше всего на свете. Моей любимой командой были «Нью-Йорк янки». Я не пропускал по телевизору ни одной их игры. Кастилья приходил к нам, и мы вместе смотрели передачу, следя за каждым движением Мики Мэнтла. И когда толпа ревела от восторга, мы тоже включали телевизор на полную мощность.

Когда наступало четвертое июля, повсюду в небо взлетали разноцветные ракеты. Если не считать рождества, это был мой самый любимый праздник. Как здорово, думал я, родиться в один день со всей страной. Я так этим гордился! И каждый год четвертого июля я справлял свой день рождения. Приходили друзья, приносили подарки, мы надевали бумажные колпаки и дудели в рожки, которые приносил отец. Мы объедались арбузами и мороженым, я рассматривал подарки и задувал свечи на огромном бело-красно-синем именном пироге, и мы хором пели «Поздравляем с днем рождения» и «Янки дудль». А потом мы набивались в старую машину матери Бобби, она везла нас в открытый кинотеатр, и, пока не начинался фильм, мы сидели на крыше машины, завернувшись в одеяла, и смотрели, как взмывали в небо ракеты и сверкающими фонтанами рассыпались римские свечи. А потом, когда миссис Зиммер отвозила нас домой, я лежал в кровати, и было немножко грустно, что все кончилось так быстро. Я закрывал глаза и сквозь сон слышал, как с треском рвутся праздничные хлопушки.

Я тогда очень любил бога и молился ему, и деве Марии, и Иисусу, и всем святым, чтобы они помогли мне стать хорошим мальчиком и хорошим гражданином. Каждый

вечер, перед тем как лечь спать, я вставал на колени у кровати, осенял себя крестом, закрывал лицо руками и молился, молился порой до слез. Я просил бога помочь мне так научиться играть в бейсбол, чтобы когда-нибудь меня взяли в команду высшей лиги. Бог ведь все понимал и все прощал. В первый раз я пошел в церковь причащаться в ковбойской шляпе и с двумя кольтами в руках.

Мой отец был контролером в универсаме. Кто-кто, а он умел работать. Его большие сильные руки вечно были чем-то заняты — сгребали листья на заднем дворе, сооружали очередную пристройку к нашему домику. Как-то летом, помню, я забивал гвозди на крыше и был страшно горд, что тружусь вместе с ним. Отец сердился, когда видел, что мы сидим без дела и даже не изображаем, что чем-то заняты. В его присутствии надо было обязательно с чем-то возиться или хотя бы делать вид, будто ты работаешь, пусть даже делать тебе и нечего.

А у нас, ребят нашего квартала, каждый день был заполнен до предела, так, словно он был единственным.

Весной мы с Бобби Зиммером копали червей и шли на рыбалку. С Ричи Кастильей мы смастерили телеграфный аппарат и протянули провода через улицу к его дому. У него был набор химикатов, и мы ставили научные опыты. Летом мы с Бобби играли в прятки во дворе, когда мама снимала с веревки белье. А когда темнело, Сью, моя сестра, и я ловили светлячков.

Осенью мы играли в футбол на улицах и сгребали опавшие листья. Мы помогали отцам собирать их в кучи и складывать в проволочные корзины, стоящие у дома, а потом поджигали и смотрели, как ветер ворошит рдеющую золу. И опять, как каждую осень и зиму, деревья на заднем дворе стояли голые и воздух становился чист и прохладен, а потом и лужи на улицах покрывались корочкой льда.

Мы снова шли в школу, и это было для меня вечным мучением. Мне там все было непонятно. Помню, как-то вызвали в школу мать и пожаловались, что я на уроке смотрю в окно. А я пытался сосредоточиться и сидеть прямо, как мне велели, но не мог и все равно смотрел в окно на небо и деревья. Я едва мог дождаться каникул. Мы вприпрыжку выбегали из класса, подбрасывали учебники в воздух и распевали: «Можно в школу не ходить и уроков не учить!» Мы свободны! И снова начинались летние каникулы.

Когда выпадал первый снег, мы доставали из подвалов санки и на животе съезжали по обледеневшей мостовой на площадь Ли прямо к дому Ричи. Мы кидались снежками, лепили снеговиков и строили крепости. Кастилья, я и Бобби Зиммер цеплялись за бампер автомобилей, чтобы посмотреть, кто дальше съедет по льду и устоит на ногах. Вместе с Кенни мы прятались за деревьями и обстреливали снежками проезжавшие вдоль бульвара машины, а потом звали Бобби, Пита и всю компанию кататься с холма Самоубийцы. Это был высоченный крутой холм у самого леса, и внизу, под обледеневшим склоном, торчал пень, который надо было объехать. Мы с Бобби мчались прямо на него, и в последнюю секунду я изо всех сил нажимал ногой на деревянную перекладину руля, высекая искры изо льда, и мы проносились буквально на волосок от пня. Тут нас сбрасывало с саней, мы валились один на другого и, хохоча, летели кувырком в сугроб. Мы делали себе варежки из отцовских носков и лепили снежки, пока варежки не промокали и не задубевали от мороза. Пальцы коченели, и варежки приходилось снимать. Я очень любил снег, да и все наши ребята тоже.

Каждую субботу после обеда мы шли в кино и завороженно смотрели, как выбрасывают изо рта пламя чудовищные доисторические птицы и как воюют на экране Джон Уэйн и Оди Мерфи. Мать Бобби давала нам с собой кулек конфет. Навсегда запомнился мне Оди Мерфи в фильме «До ада и обратно». Там в конце он прыгает на пылающий танк, который вот-вот взорвется, хватает пулемет и бьет по немецким окопам. Вот это герой! Я так хотел очутиться на его месте, у меня даже мурашки по спине бегали. Вокруг его ног бушевал огонь, но он все стрелял и стрелял. Лучше фильма я в жизни не видел.

Мы с Кастильей смотрели «Пески Иводзимы». Когда Джон Уэйн, играющий сержанта Страйкера, начинал штурмовать высоту и падал, сраженный пулей, почти у самой вершины, мы не могли оторвать от экрана глаз. За кадром звучал гимн морской пехоты, и мы тихонько подпевали. А потом солдаты водрузили флаг на Иводзиме, мелодия все звучала, и мы с Кастильей плакали. Я так любил этот гимн и всегда, когда слышал его, вспоминал Джона Уэйна и других храбрецов, поднявших в тот день флаг над Иводзимой. Вспомню о них — и заплачу. Джон Уэйн в «Песках Иводзимы» стал одним из моих кумиров вместе с Микки Мэнтлом и замечательной командой «Нью-Йорк янки».

В те дни по телевидению по второму каналу шла многосерийная военная программа. Насмотревшись ее, Кастилья и я исползали на животе весь задний двор, играя в войну. Все лето мы совершали набеги на строящийся дом Аккерманов, поливая огнем воображаемого врага. Мы швыряли в окна комья глины и камни, изображали треск рвущихся ручных гранат, а потом кидались вперед, стреляя из автоматов. Я перевязывал раненого немца и, пока Кастилья его допрашивал, успевал бросить еще пару гранат и вывести из строя нескольких врагов. Мы ходили в разведку и несли дозор на

нашем заднем дворе. Против строящегося дома Аккерманов мы применяли все виды оружия, начиная с противотанковых ружей и огнеметов и кончая бейсбольными битами. Мы изучали справочник морской пехоты, а Ричи еще принес несколько красочных брошюр с бравыми морскими пехотинцами на обложке. Мы зачитывались ими в нашем подвале и мечтали теперь не только играть за «Нью-Йорк янки», но и стать морскими пехотинцами. В тот год мы дали торжественную клятву в день нашего семнадцатилетия пойти на вербовочный пункт и вступить добровольцами в морскую пехоту.

Мы стали скаутами и маршировали на парадах в День поминовения павших. Мы разрабатывали планы ведения холодной войны и строили атомные убежища из ящиков из-под молока. Расхаживали в космических скафандрах и шлемах, делали ракеты из картонных коробок. Как-то в воскресенье мы с Кастильей из нашего подвала стартовали прямо на Марс на кушетке, которую мы превратили в ракету. Мы читали книги фон Брауна о Луне и о Венере. Весь наш квартал следил тогда за началом того, что газеты называли гонкой в космосе, и холодным октябрьским вечером мы с папой наблюдали за первым спутником, промелькнувшим в небе над нашим домом как яркая звездочка. Я и сейчас отчетливо помню, как мы стояли перед домом и отец ошеломленно смотрел на эту звездочку в небе над Массапикуа. Не верилось, что эта штуковина, этот спутник может лететь так высоко и так быстро вертеться вокруг Земли. Отец тогда положил мне руку на плечо, и я, не сказав ни слова, ушел в дом и уже в своей комнате размышлял о том, что русские обогнали американцев в космосе, и недоумевал, почему же наши ракеты не могут даже оторваться от стартовой площадки.

В школе весь тот год мы говорили только о ракетах, о том, как отделяются от них ступени и выводятся на орбиту спутники. Я часами читал в библиотеке книги о ракетах и о космосе, очарованный рисунками, снимками телескопов и звездными картами. На рождество мне подарили потрясающую ракету. В нее надо было накачать воду, потом спустить затвор — и ракета мигом перелетала через газон перед домом Кастильи на Гамильтон-авеню, а за ней тянулась струйка выбрасываемой воды. Мы с Кастильей таскали у мамы из кухни булочки, запакованные в фольгу, и привязывали их к пластмассовой ракете, потом сажали в носовой отсек муравьев и гусениц с секретными сообщениями на папиросной бумаге. В тот год мы сотни раз запускали ракету. Хоть ни один из наших грузов не был, как спутник, выведен на орбиту, удовольствия мы получали массу.

Мы все еще пытались догнать русских, и вот однажды по радио сообщили, что сегодня Соединенные Штаты запустят в космос свой первый спутник «Вэнгард». Вечером мама, папа и мы, дети, приникли к экрану телевизора и смотрели, как после отсчета длинная, похожая на карандаш ракета начала отделяться от земли. Она взлетала медленно, а потом вдруг взорвалась, превратившись в гигантский огненный шар. Ракета едва-едва успела оторваться от земли. Когда в выпуске вечерних известий повторяли запуск «Вэнгарда», мы все плакали. Какой печальный день для нашей страны, думал я, какой горький день. Первая же наша попытка вывести спутник на орбиту кончилась неудачей. Я медленно побрел в свою комнату. «Проигрываем, уступаем русским в космосе»,— проносилось у меня в голове. Теперь не скажешь уже, что Америка всегда и во всем первая.

Когда «Вэнгард» все-таки запустили, я учился в средней школе. Как-то во время урока вдруг заработало школьное радио. Директор торжественным голосом сообщил, что сейчас должно произойти очень важное событие. Он говорил об истории и о том, какой это замечательный день, что Америка наконец-то запустит свой первый спутник и все мы надолго запомним эти минуты.

Томительный отсчет перед стартом. Мы замерли на краешке стульев, обратившись в слух. Ракета начинает отделяться от пусковой установки. Оглушительно ревут двигатели, и как сумасшедший кричит радиокомментатор: «Взлетает, взлетает!» Мы в полном молчании ждем несколько секунд. Взлетит ли «Вэнгард»? И вот класс взрывается аплодисментами и оглашается ликующими воплями. Америка добилась своего! Мы запустили свой первый спутник. «Запустили, мы его запустили!» — надрывается комментатор.

Наконец-то Америка начала догонять русских. Каждое утро перед школой я смотрел по телевизору очередную серию фильма «Я вел тройную жизнь». Это был фильм про парня, который делает вид, что стал коммунистом, а на самом деле работает на нас. Помню, каким храбрецом он мне казался, ведь он рисковал жизнью ради нашей страны. Он прикидывался коммунистом, а сам был нашим агентом и собирал важные сведения, чтобы русские не могли взять над нами верх. Он выглядел ужасно благородным, у него была жена и ребенок, и он ходил на конспиративные встречи, шепотом называл своих друзей «товарищи» и обменивался информацией на скамейке в парке, прикрывшись газетой.

В те годы все только и говорили что о коммунистах. Если они не делают больше ставки на космос — значит, они проникают незаметно в школы и исподтишка пытаются внушить нам свои идеи, считали мы с Кастильей. Мы были уверены, что учитель истории — секретный агент коммунистов. На следующем тайном собрании нашего клуба мы пообещали докладывать обо всем, что он говорил на уроках. Весь год мы бдительно следили за ним. Как-то он сказал на уроке, что недалек тот день, когда население Китая достигнет одного миллиарда человек. «Одного миллиарда! — воскликнул он

сжимая кулак.— Понимаете вы, что это значит?» И добавил почти шепотом, глядя в окно: «Вы понимаете, какое это может иметь значение?» Больше он ничего не сказал, но мы с Кастильей тут уж окончательно уверились, что он коммунист.

Примерно тогда я начал делать у себя в комнате зарядку и сжимал резиновые мячи, пока руки не начинали болеть. Я хотел стать сильным. Я не мог оторвать взгляда от могучих силачей на листах-приложениях в комиксах о супермене. В рекламе говорилось, что самый слабый и тощий парень может чуть ли не мгновенно обзавестись стальными мышцами. Я каждый день увеличивал нагрузки, твердо решив сделать свое тело здоровым и сильным. Напрягал мышцы и часами рассматривал их в зеркале, ежедневно измерял сантиметром бицепсы. Утром перед школой я подтягивался на перекладине в дверях моей комнаты. Я был тогда невысок и раз в неделю монеткой наносил на косяк царапину, отмечая свой рост, чтобы потом посмотреть, не подрос ли еще.

Я занялся борьбой, вступил в школьную команду и каждый день тренировался в спортзале школы. Мы проделывали упражнения, пока пот градом не начинал катиться по лицу, и нам казалось, что мы вот-вот хлопнемся на пол без сознания. Тренеры говорили: «Главное — хотеть выиграть, хотеть быть первым. Бороться надо честно, но так, чтобы непременно победить». Они все увеличивали нагрузки, и когда мы чувствовали, что абсолютно выдохлись, они заставляли нас превозмочь боль и усталость и продолжать тренировку. «Давай, давай,— кричали они.— Работай, если хочешь победить! Думаешь, что это предел, а ты заставь тело преодолеть его. За победу надо платить! Человек всегда может сделать больше, чем кажется».

Я хотел быть героем. Хотел, чтобы на меня оглядывались, чтобы шептались обо мне в коридорах школы.

— Глядите,— говорил кто-нибудь.— Вон Ковик идет.

А я, мощный, спокойный атлет, молча проходил по коридорам школы, дыша глубоко и размеренно, чувствуя ток крови в мышцах.

— Вот идет Ковик,— говорила хорошенькая старшеклассница.— Какой симпатичный! — И я знал, что все смотрят мне вслед на майку с названием команды, восхищаются моими плечами борца.

Я был прирожденным спортсменом. Тогда мое тело умело практически все. Держался я уверенно и независимо, движения мои были полны энергии. Я умел и любил ходить и бегать. Влезал по канату, потом шел на беговую дорожку. Я до сих пор чувствую в руках легкость длинного фиберглассового шеста и тартан дорожки под ногами — даже на соревнованиях я прыгал босиком. Вот я начинаю разбег с дальнего конца дорожки, гладкий шест чуть вибрирует в руках, а на лице моем написана решимость. Шест точно вонзается в ямку, тело, раскачиваясь как маятник, взлетает в воздух, изгибается, проходит высоко над планкой, и я падаю на спину в прыжковую яму. Планка на месте!

Я взрослел, и мама все чаще подшучивала надо мной. Она считала, что девочки меня не интересуют, но я-то постоянно думал о них! Я мечтал о Джоан Мерфи — мы с ней сидели за одной партой в шестом классе, но я так никогда и не осмелился пригласить ее куда-нибудь.

Весной, за год до окончания школы я написал письмо администрации команды «Нью-Йорк янки», в котором умолял попробовать меня в игре. Арлен, сестра Кастильи, напечатала письмо на машинке, и я несколько недель ходил в невменяемом состоянии, ожидая ответа. Я представлял, как отец и Кастилья отвозят меня на станцию лонг-айлендской железной дороги, жмут руку и желают удачи. Я стою и смотрю на них, а на руке у меня новая бейсбольная перчатка. «Все будет в порядке. Не волнуйся, Касти, меня возьмут». А после пробы настанет мой звездный час. Один из тренеров подойдет ко мне и скажет: «Ну что ж, Ковик, выглядели вы неплохо. Из вас должен выйти толк».

Но получилось все иначе. Хотя я все-таки дождался ответа и немедленно побежал к Кастилье рассказать, что мне дают пробу, но, когда настало время ехать, я попросту струсил и сказал себе, что все это мне не так уж и нужно. Ричи и Бобби Зиммер все эти дни так на меня наседали, что я даже пожалел, зачем я вообще им об этом рассказал. Я продолжал играть в бейсбол, но это было уже совсем другое дело. Я начал задумываться, чем еще мне хотелось бы заняться в жизни.

К осени оказалось, что все наши ребята как-то повзрослели. В школе мы по-прежнему приветствовали друг друга нашим старым знаком «Клуба сурков», который мы организовали еще в шестом классе. Мы подпирали подбородок ладонью, загибая и разгибая пальцы и выкрикивали: «Сурок, сурок!» Глупо, конечно, но это помогало нам держаться вместе. Мы переходили из класса в класс, каждый день с неослабевающим нетерпением ожидая конца занятий, чтобы поскорей вернуться домой, сделать уроки и гонять мяч на улице. И все же теперь многое переменилось. Кастилья по-прежнему хотел стать священником или морским пехотинцем, но виделись мы с ним уже гораздо реже. Бобби Зиммер как-то сказал мне, что Ричи отращивает волосы и тайком курит вместе с Питером Вебером в заброшенном карьере в лесу за нашим кварталом.

Бобби и сам отрастил длинные волосы. Мама говорила, что у него грива, как у Элвиса Пресли. В школе на перемене его всегда можно было видеть с какой-

нибудь хорошенькой девчонкой, он, первый из наших ребят, получил водительские права. А я все еще стеснялся девочек. По утрам мы с Кенни и Майком Лэмбом ждали на остановке автобус, а мимо катил Бобби Зиммер, то и дело сигналя и одной рукой обнимая свою подружку. Он заворачивал за угол Гамильтон-авеню и мчался по Бродвею к школе, а мы все торчали на остановке и подпрыгивали, стараясь согреться. Питер Вебер и Кастилья тоже стали ездить в школу на машине, или же их подвозили новые приятели.

Наши школьные годы подходили к концу. Двенадцать лет мы росли вместе, в одном квартале, и постоянно бегали с Торонто-авеню на площадь Ли и на Гамильтон-авеню. Никто уже не помнил, как началась наша дружба, но мы стали по-настоящему близки друг другу, «почти как братья», сказал мне как-то Питер, и всем нам хотелось верить, что это навсегда.

В тот год убили президента Кеннеди. Мы с ребятами играли в футбол в снегу, выпавшем на улицы Лонг-Айленда. Играли молча — ведь когда кто-нибудь умирает, положено хранить молчание. Мне казалось, что я лишился близкого друга. Долго еще чувствовал я горечь потери. В воскресенье мы пошли в кино. Не помню, какой был фильм, но мне вдруг стало так стыдно, что я сижу здесь. Меня возмущало, как это люди вообще могут преспокойно идти в кино или на футбол, когда в Далласе убит наш президент. Эта боль не оставляла меня еще долго после его смерти. Помню, как застрелили Освальда и как я закричал, чтобы мама скорей бежала к телевизору. Все это казалось диким и нелепым, но ведь это произошло, произошло на самом деле. Помню, как Джонсон приносил присягу в самолете, и страх в глазах женщины-судьи из Техаса. А потом похороны и гроб. Наверное, вся страна смотрела похороны Кеннеди, как какой-нибудь важный футбольный матч. По улице медленно шествовали черные лошади, и его маленький сын отдавал честь, как прежде он сам. Вскоре после смерти президента в кондитерском магазинчике в конце нашего квартала был выставлен его портрет с датами жизни: 1917—1963. Фотографию долго не убирали; мы ушли на войну, а она все висела там на стене.

Весной, незадолго до окончания школы, отец повел меня в торговый центр Массапикуа устраиваться на работу впервые в жизни. Я получил место в универсаме, неподалеку от вербовочного пункта морской пехоты — сгружал с машин ящики с замороженными продуктами и расставлял их по полкам. От холода у меня немели руки. Работали мы вместе с Кенни, каждый день после школы, и я все время мечтал о морской пехоте. Болели ноги, и ныла спина, но я знал, что скоро подпишу бумаги и уеду отсюда.

Я не хотел стать таким, как мой отец, и из вечера в вечер возвращаться домой из универсама. Он был хорошим и сильным человеком, но эта работа совершенно его выматывала. Я не собирался, как он, по двенадцать часов в день шесть дней в неделю надрываться в этом вонючем универсаме. Мне хотелось большего, хотелось чего-то добиться в жизни.

Я рос, мне уже сровнялось семнадцать. Когда я смотрел в зеркало на двери моей комнаты, то видел, как я вытянулся и возмужал. Я делал глубокий вдох, напрягал мышцы, вставал боком к зеркалу и долго изучал свое отражение.

За месяц до окончания школы наш старший класс собрали в актовом зале — с нами хотели поговорить вербовщики морской пехоты. Они шли по залу в парадной синей форме, печатая шаг, ботинки их сверкали. Они как будто сошли со страниц книги или с экрана, и мечта стать героем претворилась в явь. Морские пехотинцы стояли перед нами не как живые люди — как памятники, и я смотрел и слушал, затаив дыхание. Они говорили очень громко, один из них был высоким, другой — небольшим, но сильным на вид.

— Здравствуйте, ребята,— сказал высокий.— Мы пришли сюда сегодня, потому что узнали — некоторые из вас хотят поступить в морскую пехоту.

Морскими пехотинцами могут стать только самые лучшие, предупредил он, и если кто-нибудь не уверен в себе, то лучше и не пытаться. Он очень красиво говорил о славной истории морской пехоты, что она никогда не знала поражений и что Америку еще никто и никогда не мог победить.

— Морская пехота — первая всегда и во всем: первая принимает бой и защищает честь нашей страны. Мы несем службу в далеких странах и у себя дома, мы всегда на месте, когда нужны Америке. Американский морской пехотинец — это самое лучшее, самое гордое в мире звание.

Они кончили говорить, деловито собрали бумаги и спустились со сцены, туда, где уже собралась кучка ребят. Мне не терпелось кинуться к ним, назвать себя и пожать им руку. Я пожимал им руки, глядел в их глаза, и мне невольно чудилось, что я обмениваюсь рукопожатием с Джоном Уэйном и Оди Мерфи. В тот день они сказали, что морская пехота сделает из нас настоящих мужчин, закалит тело, мозг и дух. Мы сможем послужить своей стране, как призывал нас наш молодой президент.

Мы разлетались в разные стороны, впереди была целая жизнь, и у каждого — свои мечты. Помню, как мы в последний раз играли в бейсбол. Я стоял у черты, солнце било мне в лицо, а я смотрел на Ричи, Пита и всех ребят. Последнее наше лето вместе, последняя игра на Гамильтон-авеню.

И вот в один прекрасный день я ушел с работы, и мы с отцом отправились в красно-бело-синий домик в Левиттауне. К тому времени, когда были закончены все формальности, наступил сентябрь — сентябрь 1964 года. Вскоре мне предстояло сесть на поезд и уехать, чтобы стать морским пехотинцем.

В ночь перед отъездом я долго не ложился, досматривая последний фильм. Потом заиграли «Звездно-полосатый флаг», я вскочил в приливе патриотизма и встал по стойке «смирно». По спине у меня бегали мурашки. Я положил руку на сердце и, замерев, глядел на экран, пока он не погас.

— Ладно, барышни! — опять загремел сержант.— Я сержант Джозеф, а это,— он указал на невысокого сержанта в конце строя,— сержант Маллинс. Я ваш старший инструктор по строевой подготовке, а он — младший инструктор. Вы подчиняетесь нам обоим. Будете внимательно слушать и выполнять все наши приказы. Может, ваши души принадлежат господу богу, но уж задницы принадлежат американской морской пехоте.

Сержант прохаживался перед строем, покачиваясь на каблуках, и поглаживал бедра длинными худыми пальцами.

— И вот что, хвосты собачьи: вы должны стоять по стойке «смирно», слышите? Головой не вертите. Смотрите прямо перед собой.

Была невыносимая жара. Он чувствовал, что по лицу катится пот, но боялся пошевелить головой и смотрел прямо перед собой, как было приказано.

— Налево! — скомандовал сержант.

— Дурачье поганое! — закричал второй.— Да не туда! Когда вы научитесь слушать команду, ублюдки несчастные? Вы в морскую пехоту пришли служить, не куда-нибудь!

Сержант-коротышка рассмеялся. Он набрал в грудь побольше воздуха, встал перед одним из новобранцев, носками своих начищенных ботинок почти касаясь ботинок парня, и заорал прямо ему в ухо:

— Ну ты, слизняк, я из тебя этот гражданский дух выбью! Вас тут восемьдесят душ, молоденькие, миленькие, тепленькие, прямо барышни. Так вот, слизняки, запомните хорошенько: вы принадлежите мне, и так будет, пока я не сделаю из вас морских пехотинцев.

Строй был неровный, совсем не военный. Он старался изо всех сил: стоял вытянувшись, смотрел прямо перед собой и держал руки точно по швам, как было указано в справочнике, который они с Ричи тщательно проштудировали. У него даже руки затекли от напряжения. Он старался стать настоящим морским пехотинцем и точно выполнять все команды. А ведь их еще даже не отправили в учебный лагерь. Но он был полон решимости, хотя и не понимал, почему они злы, почему кричат и ругаются. Но это ничего не меняло: он станет хорошим солдатом и будет точно выполнять все приказы.

С места ночевки их куда-то повели, погнали бегом, осыпая руганью,— восемьдесят новобранцев в костюмах и галстуках, в майках и свитерах, длинноволосых и коротко стриженных, коротышек и толстяков, из Нью-Джерси и Детройта. Инструктор буквально наступал им на пятки и ругал на чем свет стоит. «Вперед! Вперед!» Он бежал и смотрел в небо, дыхания не хватало.

— Эй вы, слизняки, вон туда!

Перед ними было здание, похожее на большой ангар. И все восемьдесят колонной по одному вошли в это строение из алюминия. Что же это такое? Что происходит? — не мог понять он. Все оказалось совсем не таким, как он себе представлял. Почему их толкают, пинают, понукают, почему кричат и издеваются над ними? Но не успел он собраться с мыслями, как их выстроили в шеренгу перед большими деревянными ящиками. На каждом ящике был написан номер.

— Сейчас вы разденетесь,— закричал сержант.— Снимете с себя все, что напоминало бы о гражданке, и положите в ящики. Видите ящики с номерами? Все снимите, ясно? Выполняйте! Быстрее, барышни, быстрей!

Все тут же принялись выполнять команду сержанта: расстегивали пояса, стаскивали рубашки, брюки, носки и ботинки. Все долой, все. Потом сержант начал обходить строй, кричал, ругался и тыкал их кулаком в спину.

У него на шее висел образок — мама подарила на рождество. Он носил его много лет, никогда не снимал: ни в школе, ни на тренировках. А теперь сержант-коротышка издевательски тыкал в образок пальцем и приказывал бросить его в номерной ящик.

— А нельзя ли мне его взять с собой? — спросил он.

— Отставить разговоры! — закричал на него сержант.— Ах ты слизняк чертов! Чтоб у меня без разговорчиков, смотри!

Сержант рванул образок и бросил его в ящик. Раздался громовой голос инструктора, он обернулся: началась муштра: строевой шаг, походный бег и опять строевой.

Он совсем растерялся. Снова они кричали, бранились и понукали. Все время его настигал кулак сержанта, и ему казалось, что его легкие вот-вот лопнут.

— Я стараюсь,— сказал он.

— В ногу, в ногу! — командовал сержант.

Строевой, походный бег. «В ногу, в ногу! Вперед марш!» Что они хотят от него? Зачем все это делается? Ему захотелось домой, потом расхотелось. Потом опять захотелось, а потом он уже вообще больше не знал, чего ему хочется. Его куда-то гнали, толкали, орали на него. Дикой ненавистью пропитан этот день, это место, эти срывающиеся на визг голоса, от которых никуда не скроешься. Спасите! Вытащите нас отсюда! Господи, помоги!

Опять они стояли перед ящиками.

— Сейчас вы получите обмундирование,— сказал сержант.— Ну, барышни, теперь мы будем учиться одеваться. Загляните каждый в свой ящик: там лежит пара черных носков. Видите вы носки, барышни?

— Да, сэр! — хором отозвались восемьдесят глоток.

— А ну-ка, еще раз! — скомандовал сержант.

— Да, сэр! — прокричали новобранцы.

— Сейчас по моей команде каждый возьмет эти носки и наденет их. Понятно, барышни? — спросил он с явным сомнением.

— Да, сэр!

— Выполняйте! — отдал приказ сержант.

И тотчас же сто шестьдесят рук зашарили в ящиках, выискивая носки и торопливо натягивая их на ноги.

— Теперь брюки! — раздался новый приказ.— Запомните, это называется брюки. Не штаны! Морские пехотинцы носят брюки. Надеть брюки! — скомандовал сержант.

— Есть, сэр! — прокричали они в ответ и схватили брюки, а потом пояса, рубашки, куртки, береты и, одетые, выстроились у стены ангара. Многим форма не подходила по размеру. Он чувствовал, что берет сползает ему на глаза, голова буквально утопала в нем. Брюки складками ложились на ботинки, которые тоже были ему велики. Настоящее пугало огородное! А может быть, он похож на художника, у которого берет съехал на нос. Хорош, нечего сказать. Он огляделся — ну, остальные не лучше. У одного коротышки брюки доходили чуть не до подмышек, а лица из-под берета вовсе не было видно.

— А теперь слушайте! — сказал сержант.— Вы на острове Парис, взвод сто восемьдесят первый. Взводом командую я. И если уж вы собрались стать морскими пехотинцами, так вы у меня попотеете и будете слушать все, что я говорю, слушать и выполнять без промедления. Хотите служить в морской пехоте, хотите отсюда живыми выбраться — значит, слушайте и выполняйте.

Остров окутывали сумерки. Каким долгим был этот день — не день, а сто... нет, тысяча дней. Бесконечный день. Самый долгий в его жизни. Но если только так можно стать морским пехотинцем — что ж, он готов. Пусть впереди его ждет много таких же дней, недель — он готов!

Молодой президент говорил, что им придется пройти через тяжкие испытания и принести большие жертвы. И как бы здесь ни было тяжело и скверно, он справится со всем, как подобает настоящему мужчине. Он не подведет президента, и близким не придется краснеть за него. Он сумеет вынести все, на это у него достанет твердости. До конца выдержит, все тринадцать недель.

Наконец-то раздалась команда покинуть ангар, где они пробыли словно целую вечность.

— Живей входите! А ну, живей! — сержант уже вбежал в открытую дверь казармы.— Постройтесь перед койками и слушайте меня внимательно.

Три месяца эта казарма будет их домом, сказал он им. Здесь они будут жить, спать, мыться и работать, пока не станут морскими пехотинцами.

— Уже поздно,— сказал сержант-коротышка.— Знаю, что вы, барышни, сегодня устали. Устали или нет?

— Да, сэр! — прокричали новобранцы.

— Громче, не слышу!

— Да, сэр! — снова закричали они.

— Вот так-то лучше.

Сержант отбарабанил длинный список имен, начав с президента и вице-президента Соединенных Штатов и кончив собой — инструктором по строевой подготовке, и объявил, что теперь они должны будут на ночь повторять эти имена. А потом он скомандовал: «Ложись!» И они отозвались: «Есть лечь, сэр!» В мгновение ока каждый лег на свою койку, вытянувшись по стойке «смирно».

— Вот так и лежите всю ночь. Прекрасная тренировка для вас.

И они лежали не шевелясь, вытянув руки по швам. Сержант велел молодому негру из Джорджии пропеть «Отче наш».

— Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое, да будет воля Твоя, да придет царствие Твое...— пел негр.

Когда он кончил, свет погас, и они закрыли глаза.

Так окончился первый день.

(Загорается свет, свет, свет, стою у своей койки) сэр! ЧТО ВАМ КОВИК? сэр! о господи о боже мой да сэр есть сэр раз два есть сэр. Если буду убит в бою похороните в родном краю СЛУШАЙ МОЮ КОМАНДУ — САДИСЬ! ВЫПОЛНЯЙТЕ! НАЛЕВО! — раз два три четыре пять пехотинцем хочу стать. ВОТ БАРЫШНИ ВАША ВИНТОВКА ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ЕЕ КАК СВОИ ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ! ТЫ ЧТО ЧИТАТЬ НЕ УМЕЕШЬ? вот ружье а вот винтовка научусь стрелять я ловко. Не спрашивай что может сделать для тебя твоя страна — Америка. Америка. РАВНЕНИЕ НАПРАВО! СЧИТАЙТЕ ЧТО ЭТА МИШЕНЬ — ПОГАНЫЙ КОММУНИСТ. ПОСТРОИТЬСЯ ПЕРЕД КОЙКАМИ! БЫСТРЕЕ! (всегда надо еще быстрее, восемнадцать мне сегодня восемнадцать) СЕСТЬ! ВСТАТЬ! мама помоги ради бога помогите хоть кто-нибудь НАПРАВО! загорается свет ПОДЪЕМ! Мы вынесем любые трудности с вашего разрешения сэр прошу прощения сэр извините сэр преодолеем все препятствия виноват сэр да сэр нет сэр ЕШЬТЕ БЫСТРЕЕ БЕГИТЕ БЫСТРЕЕ ЕШЬТЕ БЫСТРЕЕ БЕГИТЕ БЫСТРЕЕ Но в одном мы поклянемся — к рождеству домой вернемся личный номер два-ноль-тридцать-двести шестьдесят один сэр президент соединенных штатов достопочтенный линдон бейнс джонсон сэр вице-президент Отче наш иже еси на небеси ПРИГОТОВИЛИСЬ! есть сэр да святится имя Твое НАЧАЛИ! да придет царствие Твое ВЫПОЛНЯЙТЕ! ВЫПОЛНЯЙТЕ! ВЫПОЛНЯЙТЕ! да будет воля Твоя ВЫПОЛНЯЙТЕ! ВЫПОЛНЯЙТЕ! Стать морскими пехотинцами господи благослови морскую пехоту господи благослови америку ПОДТЯНУТЬСЯ! ПОДТЯНУТЬСЯ! господи благослови старшего инструктора господи благослови президента ВЗВОД СТОЙ! господи благослови командира батальона господи благослови джона уэйна УБЕЙ! УБЕЙ! УБЕЙ! иже еси на небеси КОММУНИСТЫ КИТАЕЗЫ ЯПОШКИ да святится ЕСЛИ ХОТИТЕ СТАТЬ МОРСКИМИ ПЕХОТИНЦАМИ... ПРИХОДИТСЯ ДОРОГО ПЛАТИТЬ ПЛАТИТЬ ПЛАТИТЬ ПЛАТИТЬ Если буду убит в бою похороните в родном краю да придет царствие Твое рядовой ковик сэр два-ноль-тридцать-двести шестьдесят один сэр да сэр нет сэр раз два есть сэр да будет воля Твоя о боже мой помоги мне помоги мне во веки веков есть сэр во веки ВЫПОЛНЯЙТЕ! есть сэр ВОТ ВАША ВИНТОВКА Я ХОЧУ ЧТОБЫ ВЫ И НОЧЬЮ С НЕЙ НЕ РАССТАВАЛИСЬ ВСТАТЬ ЛЕЧЬ ВСТАТЬ ЛЕЧЬ ВСТАТЬ ЛЕЧЬ есть сэр раз два есть сэр раз два НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ! БЕГОМ СВОЛОЧИ СВОЛОЧИ СВИНЬИ СВИНЬИ Нет ничего прекраснее БЫСТРЕЕ ЕЩЕ БЫСТРЕЕ а когда я вырасту я буду ДЕСЯТЬ! ДЕВЯТЬ! ВОСЕМЬ! СЕМЬ! ШЕСТЬ! ПЯТЬ! ЧЕТЫРЕ! ТРИ! ДВА! ОДИН! ВПЕРЕД МАРШ! о святая дева мария о господи иисусе спасите МЫ ЛУЧШИЕ МЫ ЛУЧШИЕ МЫ ЛУЧШИЕ сто восемьдесят первый взвод самый лучший РАВНЕНИЕ НАПРАВО! я хочу закричать нет подождите я сейчас подождите я сейчас подождите я сейчас закричу закричузакричузакричузакричузакричузакричузакричу МОРСКАЯ ПЕХОТА МОРСКАЯ ПЕХОТА МОРСКАЯ ПЕХОТА вице-президент соединенных штатов МЫ НИКОГДА НЕ ЗНАЛИ ПОРАЖЕНИЯ! ПОЛЗКОМ НА БРЮХЕ ЧЕРВИ ЧЕРВИ ПОЛЗКОМ МЫ НИКОГДА НЕ ЗНАЛИ ПОРАЖЕНИЯ! СТОЯТЬ СМИРНО! СТОЯТЬ СМИРНО! БЕГОМ МАРШ! МАРШ! МАРШ! МАРШ! МАРШ! МАРШ! МАРШ! МАРШ!

IV

Они пришли за ним рано утром. По деревянному скату поднялись на крыльцо, постучались в парадную дверь. Он слышал, как в гостиной они разговаривали с родителями о параде, о том, чтобы он в своем инвалидном кресле тоже принял участие в процессии в День поминовения павших.

— Пора,— сказал отец, входя в его комнату.

— Сейчас, папа,— ответил он, поднимая голову с кровати.— Только надену штаны.

Одеваться было очень трудно, но постепенно он привыкал. Он перевернулся на живот, ухватил штаны и натянул их. Опять перевернулся на спину, застегнул пояс. Потом, уперевшись руками за спиной, выжался и сел на кровати рядом с инвалидным креслом. Он уцепился за спинку одной рукой и быстрым движением перенес тело на сиденье. Ноги его оставались на кровати — отец знал, что теперь необходима его помощь. Он осторожно спустил его неподвижные ноги, сначала одну, потом другую.

— Готово? — спросил сын.

— Готово! — ответил отец.

Он зашел за спинку кресла и, как обычно, обняв сына под мышками, приподнял его, чтобы тот мог еще раз поправить брюки.

— Порядок,— сказал сын.

Отец бережно опустил его, и он, повернув кресло к двери, покатил по длинному узкому коридору в гостиную. Там рядом с матерью стоял высокий мужчина, который, вспомнил он, приходил к нему в госпиталь, и еще какой-то толстяк. Оба были одеты в форму Американского легиона, на голове красовались фуражки. Он старался сидеть в кресле как можно прямее, держась одной рукой, чтобы не потерять равновесия. Он пожал руку высокому командору Американского легиона и толстяку, стоявшему рядом.

— Ты прекрасно выглядишь,— сказал командор, делая шаг вперед.— Все такой же бравый морской пехотинец, которого мы навещали в госпитале,— улыбнулся он.— Да, мистер Ковик,— обратился он к отцу,— вашему сыну мужества не занимать.

— Мы гордимся им,— сказал толстяк.

— Весь город гордится им и тем, что он совершил,— вновь улыбнулся командор.

— Он многим пожертвовал,— сказал толстяк и положил ему руку на плечо.

— И пусть эта жертва,— сказал высокий командор,— пусть его жертва и жертвы других наших парней будут не напрасны. Мы будем вести войну до победы,— сказал он и посмотрел на его отца.

Отец несколько раз кивнул, показывая, что понял.

Пора было отправляться. Толстяк взялся сзади за ручки его кресла. Он ведь работал в морском госпитале, напомнил он.

Сын попрощался с отцом и матерью, толстяк свез кресло по длинному деревянному скату на тротуар перед домом.

— Второй год уже вас, ребяток, вожу,— сказал он.

Толстяк с командором на мгновение задержались, обсуждая, как им усадить его на заднее сиденье открытого «кадиллака».

— Сегодня ты выезжаешь с шиком,— сказал командор.

— Знай наших,— сказал толстяк.

— Но я еще не научился...

— Ладно, ладно,— сказал командор.

И не успел он опомниться, как толстяк, работавший в госпитале, поднял его с кресла и, ногой распахнув дверцу, осторожно усадил на заднее сиденье большого открытого автомобиля.

— Сделано, господин маршал.— Толстяк потрепал его по плечу, сел рядом с командором в машину, и они покатили по Торонто-авеню, беспрерывно сигналя.

— Мы сейчас заедем за Эдди Дуганом,— сказал командор, оборачиваясь к нему.— Ты ведь знаешь Эдди? — он вдруг заговорил очень быстро.— Хороший парень. Тоже потерял обе ноги. Теперь он на протезах. У него сейчас все идет отлично, верно? — ткнул он толстяка в бок кулаком.

— Эдди Дуган стойкий парень, каких поискать,— сказал толстяк.

— А помнишь Кластернака? Ты ведь слышал о нем? Он погиб. В его честь назвали улицу.— Командор надолго умолк.— Да... погиб. Первым из наших ребят. А за ним и другие. Вот маленький такой парнишка, как же его звали? Сейчас... ах, ну да — Джонни Хинон... еще в бейсбол с вами играл.

Он помнил Джонни Хинона.

— Он, кажется, подорвался на мине и умер в госпитале во время операции. Я навещаю его родителей, они живут возле старой школы. Славный парнишка был,— сказал командор.

— Он еще подрабатывал доставкой газет,— сказал толстяк.

— И Питерсы тоже... оба брата...— снова заговорил командор после долгой паузы.— Оба в одну неделю. И Алан Грейди... Ты знал Алана Грейди? Он был скаутом.

Парень на заднем сиденье кивнул. Да, он знал и Алана Грейди.

— Он утонул,— сказал командор.

— Мы стольких замечательных ребят потеряли! — сказал толстяк.— Досталось нам. Город теперь уже не тот.

— И ведь сколько это тянется! — со злостью сказал командор.— Давно уж пора бы этим вашингтонским ублюдкам кончать волынку да сбросить парочку бомб потяжелее куда следует. Тогда вся война в неделю бы окончилась. Победа была бы за нами, и ребята бы все вернулись домой.

И вот они прибыли на место, откуда должно было отправиться шествие. Там уже собралось множество народу: скауты и музыканты духового оркестра, отцы семейств в фуражках и мундирах Американского легиона, мамаши из вспомогательного отряда легиона и хорошенькие тамбурмажоретки. По улице разлилось красно-бело-синее море. Он вспомнил, как, бывало, вся их компания тоже надевала скаутскую форму и маршировала в Дечь поминовения по этим самым улицам. А на тротуарах толпились сотни людей, выкрикивали приветствия и размахивали флажками. Его мать стояла среди других женщин их квартала, подбадривала его возгласами. «А вот и мой маленький янки дудль!» — кричала она, и он от смущения натягивал шляпу на глаза.

А сейчас скауты украшали «кадиллак» красно-бело-синей гофрированной бумагой и вешали на машину плакаты с надписями: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ, РОН КОВИК И ЭДДИ ДУГАН» и «ПОДДЕРЖИМ НАШИХ РЕБЯТ ВО ВЬЕТНАМЕ». И еще один небольшой плакатик, на котором было написано: «РАНЕНЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЬЕТНАМСКОЙ ВОЙНЫ РОН КОВИК И ЭДДИ ДУГАН».

Они медленно проехали сквозь толпу и заняли место во главе процессии. Он слышал у себя за спиной звуки труб и барабанов. Он смотрел, как впереди выплясывают на мостовой хорошенькие тамбурмажоретки и клоуны. На тротуарах толпились жители городка. Все как и прежде, как в годы его детства.

Но что-то было не так. Сначала он не мог понять что, но что-то изменилось. Никто не приветствовал их, не размахивал флажками: люди просто стояли и смотрели на

него и на Эдди Дугана так, словно их тут не было. Словно они — призраки, как Джонни Хинон или Алан Грейди, но призраки воскресшие, и он не понимал, в чем тут дело.

Они с Эдди старались держаться как подобает настоящим героям, хотя это стоило им больших усилий. Несколько раз они начинали приветственно махать руками, но потом он понял, что выражение этих лиц, этих устремленных на него глаз изменить невозможно. Ему вдруг почудилось, что он — какой-то редкий зверь в клетке, что они с Эдди — военные трофеи, выставленные на всеобщее обозрение. И чем яснее он осознавал это, тем сильнее хотелось ему перенестись с заднего сиденья «кадиллака» домой в свою комнату, где было так тепло и безопасно. Шествие едва началось, а он уже чувствовал себя в ловушке, как тогда, в госпитале.

Одиночество было непереносимым, он все посматривал на Эдди. Почему никто их не приветствует? Эдди потерял обе ноги, а у него от тела вообще почти ничего не осталось — и никого это не трогает.

Они подъехали к трибуне. Эдди поднялся на сиденье и встал на костыли. Толстяк распахнул дверцу машины. Командор тем временем открыл багажник, достал инвалидное кресло и поставил его у дверцы. Люди вокруг смотрели, как толстяк поднимает его и пересаживает в кресло, и это было ему очень неприятно: он не хотел, чтобы кто-нибудь видел, как он искалечен и беспомощен — его должны носить на руках, точно младенца. Он пытался подавить в себе это чувство — улыбался, приветственно махал рукой, шутил, только бы смягчить напряжение. Но нет, невозможно вытерпеть, когда на тебя таращат глаза, как на какое-нибудь чудище. Он отдал бы все, лишь бы оказаться сейчас дома.

Кресло втащили на помост и вывезли на середину, где сидел Эдди, положив костыли около стула. Они сидели рядом, глядели на толпу, слушали ораторов — мэра и других городских шишек. Все они говорили красивые слова о самопожертвовании, о патриотизме, о боге, призывали собравшихся поддержать солдат во Вьетнаме, чтобы их героизм и их жертвы были не напрасны.

И вот пришла очередь командора. Он подошел к микрофону размеренным шагом, вскинул голову и открыто и прямо глянул на толпу.

— Я верю в Америку! — воскликнул он, потрясая кулаком.— И я верю в Американизм! — Теперь толпа разразилась приветственными криками.— А главное, самое главное, я верю в победу Америки! — Он говорил с большим подъемом. Вся страна должна сплотиться, провозглашал он, чтобы поддержать своих сынов. Он рассказывал, как вместе с отцами этих ребят сражался в Корее и на фронтах второй мировой войны. Они тогда чувствовали поддержку всей страны и одержали великую победу в битве за свободу. Голос его дрожал: нет, они не могут так просто уйти из Вьетнама! — Мы должны победить...— сказал он. Потом помолчал и указал пальцем на них с Эдди Дуганом: — Мы должны победить ради них!

Под гром аплодисментов командор покинул трибуну. Речи продолжались, но чем дальше, тем все более скованно он себя чувствовал. У него возникло такое ощущение, что он вот-вот вырвется из своего неподвижного тела и закричит. Он хотел бы слушать и верить всему, что говорят эти люди, но невольно перебирал в уме события этого дня и все пытался понять, почему же им с Эдди не дали слова. Вот они сидят здесь, ничего не делая, как он неделями и месяцами сидел в кресле в госпитале и дома в своей комнате в полном одиночестве. Зачем же он позволил им сделать из него героя, главнокомандующего парадом, зачем разрешил провезти себя через весь город в этом «кадиллаке», когда они даже не предложили ему выступить?

Они ведь никогда не воевали, эти люди, но говорят так, будто только им и дано судить о войне, а они с Эдди ничего и сказать не могут, потому что они не такие, как все. Им нельзя говорить из-за того, что с ними сделала война, и вот за них распинаются тут другие и сыплют красивыми словами о том, о чем и понятия не имеют.

Речи кончились, его снесли с помоста, и толпа начала аплодировать ему. Это смутило его еще больше. Он ведь этого не заслужил, да и не нужно ему всего этого. Скорей бы домой отсюда. Ничего другого ему теперь не хотелось.

Вдруг он услышал, как кто-то в толпе окликает его: «Ронни! Ронни!» Его имя раздавалось вновь и вновь, и наконец он увидел, кто его зовет. Малыш Томми Ло, с которым они вместе росли на Гамильтон-авеню. Томми, как и Ричи Кастилья и Бобби Зиммер, был в числе его лучших друзей. Они не виделись несколько лет — с тех пор, как окончили школу. Томми тоже поступил в морскую пехоту и как будто был ранен. Но ему никто не сказал, что Томми тоже отвоевался. И вот Томми обнимает его, и оба они плачут у подножия трибуны — обнимаются и плачут у всех на виду. Ему было неловко, он хотел бы скрыть переполнявшие его чувства, но не мог — слезы катились у него по щекам, и он обнимал друга так крепко, что руки занемели. Как хорошо, как замечательно, что он снова видит его! Как будто вместе с Томми вернулось то удивительное, то счастливое время, и он хотел продлить эти минуты. И они все обнимались и обнимались, а когда Томми наконец отстранился, лицо у него было совсем красное от слез и боли. Томми держался за голову руками, которые тряслись, и смотрел на него, сидящего в кресле, все еще не веря своим глазам. А он заглянул Томми в лицо и увидел, как оно печально.

Вокруг них толпились люди, глядели с любопытством на встречу двух друзей. Он вытирал слезы, старался засмеяться, чтобы они с Томми да и все остальные не чувство-

вали себя неловко, но Томми не улыбнулся в ответ, а плакал и покачивал головой. И только теперь он заметил на лбу друга тонкий шрам у самых волос — такие шрамы он видел в госпитале у тех, кому размозжило череп, так что часть кости пришлось заменить специальной пластинкой.

Но Томми не хотел говорить о том, что с ним случилось.

— Давай-ка выберемся отсюда,— сказал он, взялся за ручки, приделанные к спинке кресла, и покатил его сквозь толпу. Он провез его через весь город в клуб Американского легиона. Они сидели в баре и смотрели на мэра и прочих политиканов, и Томми пытался оберегать его от пьяных легионеров, пристававших к нему с рассказами о своих военных подвигах.

Высокий командор, уже сильно пьяный, подошел к ним с Томми и спросил, не отправить ли их по домам на «кадиллаке». Нет, они пойдут пешком, сказал Томми, и они ушли из клуба Американского легиона, подальше от бара и пьяных рож. Томми катил его кресло через город, где они родились и выросли, мимо бейсбольного поля, где играли детьми. На Гамильтон-авеню они остановились перед домом Питера Вебера и просидели там всю ночь. Им все не верилось, что они снова вместе.

Я смотрю на идущих по пляжу юношу и девушку. Они идут, взявшись за руки, по влажному песку, на который набегают волны. Девушка смеется. Я бы отдал все на свете, чтобы быть сейчас на месте этого парня. Я хочу чувствовать, хочу снова чувствовать! Хочу идти рядом с девушкой по песку, вот как сейчас идет он. Господи, я хочу снова стать таким, как прежде! НЕТ, НЕТ, НЕТ! Это подло, это несправедливо! Обокрали меня, обокрали! Теперь для меня все кончено навсегда.

Каждую ночь, возвращаясь из бара, он въезжал на крыльцо по деревянному скату, который соорудил его отец. Наверху он обязательно сбивал креслом большой голубой бидон для молока, бидон летел в кусты, и, чертыхнувшись, он открывал входную дверь, которую отец оставлял незапертой. Обычно было уже два или три часа ночи, и он старался никого не разбудить, хотя сам едва мог катить свое кресло. Каждую ночь он останавливался перед распятием и погружал пальцы в святую воду. Господи, бормотал он, помоги мне, пошли мне женщину, которая смогла бы полюбить такого жалкого калеку. Пальцами, смоченными святой водой, он осенял себя крестом, как когда-то в детстве. Ты должен помочь мне, господи, ты должен дать мне силы. Мое изуродованное тело навсегда останется таким, а жить мне еще долго. Ты должен мне помочь, господи, сделай же что-нибудь! Иногда к нему подходил пес, он трепал его по голове. Вот настоящий друг, думал он, на него я могу положиться. Он разворачивался и катил по тесному узкому коридору, мимо книжной полки, ударялся рукой о стену, чертыхался, злился и сворачивал в свою комнату. Иногда он так и не ложился спать, просиживая всю ночь за пишущей машинкой. Он пытался вытравить память о войне и о своем увечье с помощью слов, ложившихся на бумагу.

Он был одинок как никогда в жизни. Одинок, затерян в стране мертвых. Ему хотелось разорвать онемевшую оболочку, освободиться от этого нелепого беспомощного тела. Он хотел ходить по траве на заднем дворе. Хотел сбегать к парикмахеру и подстричься, хотел гонять мяч с Ричи, играть в бейсбол, снова чувствовать под ногами мостовую Гамильтон-авеню. Хотел поутру стоять под душем и чтобы горячая вода струилась по спине и по ногам.

Но теперь было ясно, что случившееся с ним так же окончательно и непоправимо, как сама смерть.

Никто, думал он, не любит размышлять о непоправимом, о безысходном, о том, что мертво и необъяснимо и уходит внезапно и безвозвратно. Человек умирает, другие закапывают его в землю, стоят над могилой и произносят слова, которые должны объяснить, почему так случилось, слова, столь же красивые, как цветы и надгробный памятник, слова, говорящие, что это не конец, а лишь начало новой, удивительной жизни. Как легко говорить такие слова, отрицать самую возможность конца! Почему же никто не произносит их над его ложем? Почему же никто не убеждает его, что весь этот кошмар не вечен? Не было ни у кого таких слов, и никто не мог бы сказать ему, что все еще будет хорошо. Его конец не был началом. Теперь он знал, что навсегда останется таким, что его тело больше никогда не будет живым. Никогда.

(Окончание следует)

Антирубрика

АВРАМ ДЭВИДСОН

Булыжники Саратога-стрит

Перевод с английского СУЛАМИФИ МИТИНОЙ

«Булыжники Саратога-стрит будут срыты» — гласил газетный заголовок. Мисс Луиза подняла брови, вставила в глаз монокль (вероятно, последний в мире, какой еще оставался в употреблении), прочла заметку, передала газету сестре. Мисс Огэста прочитала ее без очков, с совершенно непроницаемым лицом и возвратила.

— Не будут,— сказала она.

Сестры взглянули на выцветшую фотографию в серебряной рамке, стоявшую на каминной полке, потом друг на друга. Мисс Луиза положила газету рядом с оловянным кувшином для шоколада, позвонила в маленький колокольчик. Мгновение спустя в комнату вошел седой слуга-мулат.

— Кэрразерс,— обратилась к нему мисс Огэста,— мы позавтракали, можете убрать со стола.

■

— А по-моему, это возмутительно! — сердито бросила Бетти Линкхорн.

— Детка,— мягко возразил ей дед и отпил глоток чаю,— прогресс остановить нельзя.

— Прогресс, скажешь тоже! Да во всем городе это единственная улица с хорошей мостовой. Уж тебе-то, папа, это известно? И вот только потому, что там булыжники, а не асфальт, не гудрон и не...

— Дочка,— перебил ее Эдвард Линкхорн,— я еще помню те дни, когда мостовые у нас в городе были деревянные. Помню очень ясно, потому что, несмотря на запрет отца, как-то в теплый летний денек пошел гулять босиком и занозил пятку. Мама вытащила занозу иголкой, а отец меня выдрал... И потом, ты не находишь, что по булыжникам довольно трудно ходить в туфлях на высоком каблуке?

Бетти улыбнулась — отнюдь не примирительно.

— Не нахожу. А вот миссис Харрис находит — впрочем, если бы ее выдрали за то, что бегала босиком... Да что там, папа,— сердито продолжала девушка (дед между тем хранил дипломатическое молчание),— признаемся честно: не подверни миссис Харрис ногу, и не будь она женой подрядчика, и не будь его компаньон председателем местной организации правящей партии штата, которая хозяйничает тут везде — и в городе, и в округе, и во всем штате вот уже двадцать лет...

Мистер Линкхорн неторопливо намазывал медом кусочек поджаренного хлеба:

— «Будь желания наши скакунами горячими, каждый нищий давно бы наездником стал»...

— Ну, и что же тут плохого?

— «И весь мир бы в гордыню безмерную впал».

— Ладно, дочка, посмотрю, что тут можно предпринять.

■

Мэр давал интервью представителю печати:

— Ну, что там дальше? Когда в тюрьме будут новые нужники? Так вот, если б это хулиганье, уголовники эти, не совершали преступлений, то не угодили бы в тюрьму,

так? Ну, что там дальше? Булыжники Саратога-стрит? Булы-ы-жники! Опять эта история с булыжниками, будь они прокляты! Можно подумать, это не булыжники, а бриллианты или еще что. Так вот. Слушай, друг, все булыжники в городе были срыты, еще когда я мальчонкой бегал, винт и штопор! Осталась только Саратога-стрит. А все ее жители, они где-то в прошлом застряли, ты меня понимаешь? У каждого перед домом — газовый фонарь, нет, только подумать, а? Коновязи, тумбы — а? Винт и штопор! Что они себе воображают — мы живем в век лошадок и кабриолетов, что ли? Так вот, парк там у них обнесен высоченным забором — ну ладно: частная собственность Но улицы принадлежат муниципалитету, ясно? Кто-нибудь сломает себе ногу о такой вот булыжник, а муниципалитет — плати денежки, да? Так вот, насчет булыжников. Они будут срыты, и никаких разговоров. Ну, что там дальше?

■

Высказывания мэра были напечатаны в местной газете (издатель ее очень хорошо знал, кто платит за всякие официальные объявления) в весьма приглаженном виде: «Никто так не чтит традиции и старину, как я, но булыжное покрытие на Саратога-стрит попросту опасно, и оставлять его нельзя. Вместо булыжной мостовой там будет гладкая и удобная асфальтовая, более отвечающая нуждам времени».

Словом, как сказал мэр: «Ну, что там дальше?»

А дальше посыпались протесты от обществ охраны старины — и городского общества, и окружного, и общества штата, но все они были втиснуты в коротенькие сообщеньица по две-три строчки и напечатаны на последней полосе, среди объявлений... Общественный интерес к булыжной эпопее все возрастал, чему способствовали заметки в центральной печати. «Аристократия полезла на баррикады»,— писала одна из столичных газет; «Двадцатый век вступает в схватку с традициями Саратога-стрит»,— вторила ей другая; «Любимые горожанами булыжники обречены! Историческая Саратога-стрит вскоре будет стерта с лица земли!» — жалобно восклицала третья. Вот в таком духе. А еще в таком:

Мистер Эдвард Линкхорн: Не хотите ли, джентльмены, выпить чего-нибудь? Мы очень польщены, что такой крупный иллюстрированный журнал уделяет нам столько места.

Корреспондент: Ну вы-то понимаете, материал забирает за живое. Не надо столько содовой, Сэм.

Фоторепортер: Послушайте, мистер Линкхорн, можно задать вам один вопрос?

Линкхорн: Конечно.

Фоторепортер: Ну так вот, я обратил внимание, что на Саратога-стрит в каждом окне плакатик: «Спасем булыжную мостовую!» Во всех домах, кроме одного. В чем тут дело? Его хозяева — против булыжников, что ли?

Линкхорн: Видите ли, джентльмены, дом этот, двадцать пятый номер, принадлежит барышням де Грэй, дочерям знаменитого генерала де Грэя, героя Гражданской войны. У нас есть площадь его имени, и там ему поставлен памятник. Есть и улица его имени.

Корреспондент: Неужели его дочери еще живы? Какие они из себя?

Линкхорн: Ни разу не удостоился чести их видеть. Вот уже много десятилетий их не видел ни один человек в городе.

■

Но это было не совсем так: их постоянно видел Кэрразерс... Кстати, он тоже читал газеты.

— Дались им эти несчастные булыжники! Чем они мешают?— спрашивал он себя, а однажды даже позволил себе постучать пальцем по газете — точнее по очередной статье, где обсуждалась булыжная эпопея, и вопросительно взглянуть на хозяек.

— Не посмеют,— уронила мисс Огэста.

— К чему эти лишние разговоры?— нахмурилась мисс Луиза.

И Кэрразерс поспешно ретировался.

■

— Газеты больше пишут о сестрах де Грэй, чем о булыжниках,— удивилась Бетти Линкхорн.

— Но люди действительно важнее булыжников,— возразил ей дед. Впрочем, называть их дом «таинственным убежищем» — тут газетчики, пожалуй, перехватили. Просто эти дамы ни с кем не желают общаться, вот и все.

Бетти хмыкнула и уткнулась в газету.

— Папа, выходит, что из тех, кому доводилось видеть сестер де Грэй, не осталось в живых никого, кроме их дворецкого. Слушай, а может, они давным-давно умерли, а? Может, старик Кэрразерс покрыл их воском и каждый день сметает с них пыль метелкой из перьев?

Мистер Линкхорн сказал, что вряд ли.

■

Но вот наступил день, когда булыжники Саратога-стрит должны были быть срыты. К восьми утра единственный квартал этой улицы заполнился толпой. Падал мягкий снежок. Трещали камеры телевидения и кинохроники, комментаторы, держа перед собой микрофоны, скороговоркой вели репортажи. На углу Саратога-стрит остановились грузовики департамента общественных работ, и из них стали выпрыгивать рабочие с отбойными молотками.

В восемь часов одну минуту дверь дома двадцать пять по Саратога-стрит распахнулась. Толпа разглядывала грузовики и потому заметила это не сразу. Но вот кто-то крикнул:

— Смотрите!

И все разом обернулись.

Первым вышел Кэрразерс, очень прямой

и важный, держа в руках какие-то предметы, о назначении которых поначалу трудно было догадаться. Толпа расступилась перед ним. Сперва он раскатал довольно потертую, но еще сохранившую красный цвет ковровую дорожку. Потом расставил два складных стула. Затем застыл в ожидании.

Из двери вышла мисс Луиза де Грэй, за ней — мисс Огэста. Молча прошествовали они сквозь безмолвную толпу, молча опустились на складные стулья: мисс Луиза — лицом к югу, мисс Огэста—лицом к северу.

Кэрразерс развернул два флага и стал по стойке смирно — в одной руке полосатое знамя с тридцатью шестью звездочками, в другой — знамя армии штата Теннесси.

Не менее пятидесяти миллионов телезрителей затаив дыхание смотрели, как мисс Луиза вытащила отцовскую саблю из ножен и положила ее к себе на колени, а мисс Огэста поставила отцовский мушкет, зарядила его и протолкнула заряд шомполом.

Всех троих медленно засыпало снегом, но и Кэрразерс, и обе дамы словно застыли.

В девять двадцать семь на место происшествия прибыл личный представитель мэра, известный тем, что произносил речи без бумажки, и сам мэр считал это чем-то вроде колдовства.

— Вот тут у меня,— громко провозгласил он, показывая толпе какой-то листок,— заявление господина мэра; его честь сообщает о своем намерении созвать заседание муниципалитета с единственной целью: превратить Саратога-стрит в частное владение. А уж тогда, если кто-нибудь получит из-за этих булыжников телесное повреждение, муниципалитет не будет нести никакой ответственности.

В толпе засвистели, заулюлюкали, но представитель мэра широко улыбнулся и, сообщив, что муниципалитет свято чтит традиции, обратился к девицам де Грэй: не будут ли они так любезны уйти домой, а то как бы им не простудиться.

Ни одна, ни другая не шелохнулись. Но личный представитель мэра недаром достиг таких административных высот.

— Ну что же, ребята,— повернулся он к рабочим,— тут вам делать нечего. Гоните обратно в гараж. И можете считать этот день свободным.

Под ликующие возгласы толпы грузовики укатили. Мисс Луиза вложила саблю в ножны, мисс Огэста разрядила мушкет в воздух, личный представитель мэра учтиво поклонился (жест этот был навеки запечатлен двадцатью кино- и телекамерами). Девицы де Грэй разом поднялись со стульев. Их окружила пресса, но они прошли сквозь кольцо репортеров, словно их тут и не было, и прошествовали к дому. Мисс Луиза, державшая саблю перед собой, заметила в толпе Бетти и ее деда. Она внимательно его оглядела.

— Ваши черты мне как будто знакомы,— проговорила она.— Что скажешь, Огэста?

— Действительно,— подтвердила мисс Огэста.— По-моему, вы сынишка Уилли Линкхорна, не так ли?

Мистер Линкхорн, которому уже стукнуло семьдесят, молча кивнул.

— В таком случае не зайдете ли к нам? Барышня тоже пусть зайдет. А вы, люди добрые,— она остановилась у двери и оглядела толпу,— расходитесь по домам да выпейте хорошую порцию горячего пунша с мускатным орехом.

И под одобрительные возгласы сограждан захлопнула дверь.

■

— Кэрразерс, подайте, пожалуйста, портвейну,— распорядилась мисс Луиза.— Малыш,— обратилась она к седовласому Линкхорну,— хотите знать, что заставило нас нарушить уединение, в котором мы пребывали шестьдесят лет, и устроить публичную демонстрацию, столь несвойственную нашей натуре?

Мистер Линкхорн растерянно заморгал:

— М... м... м... полагаю — верность традициям Саратога-стрит, воплощением которых стали для вас булыжники.

— Чепуха!— оборвала его мисс Огэста.— Нам наплевать на традиции Саратога-стрит. А что до булыжников, так пропади они пропадом — от них такой ужасный грохот!

— Тогда в чем же...

Взмахом руки сестры показали на выцветшую фотографию в серебряной рамке, стоявшую на каминной полке. Она изображала молодого человека, с лихо закрученными усами, в военной форме конца минувшего столетия.

— Хорейс Уайт,— проговорили они разом.

— Он ухаживал за нами обеими,— пояснила старшая,— но ни за что не желал сказать, которой отдает предпочтение. Из-за него я отказала Руперту Робертсу и Мори Стоуну. Сестра отвергла Джимми Тейлора и Уильяма Сноу. Уходя на Испанскую войну [1], Хорейс подарил нам эту фотографию и обещал сделать выбор, когда вернется Мы его ждали.

Кэрразерс внес чашу с горячим портвейном и тут же вышел.

Рассказ продолжила младшая сестра:

— Когда он вернулся, мы спросили его, на ком же он остановил свой выбор. Он улыбнулся и объявил, что передумал: ни на одной из нас он жениться не намерен. Улицу как раз собирались мостить булыжником, она была взрыта. Там мы его и похоронили — в десяти шагах от газового фонаря и в пятнадцати от водоразборной колонки. Там он лежит и по сей день, под этими гнусными булыжниками — от них такой ужасный грохот! Быть может, на смертном одре я смогу простить оскорбление, которое он нанес мне,— но оскорбле-

[1] Испано-американская война 1898 года. *(Прим. перев.)*

АНТИРУБРИКА

ния, которое он нанес моей дорогой сестре, не прощу никогда.

И мисс Луиза эхом повторила:

— Оскорбление, которое он нанес мне, я, может быть, и могла бы простить — на смертном одре, но оскорбления, которое он нанес моей дорогой сестре, не прощу никогда.

И она разлила дымящееся вино по четырем стаканам.

— Значит, вы...— начал было мистер Линкхорн,— то есть вы хотите сказать...

— Вот именно. Я связала ему руки, а сестра, мисс Луиза, выстрелила изменнику в сердце из отцовского мушкета. У отца сон был крепкий, и он ничего не услышал.

— Вот это да!— выдохнула Бетти.

— Я уверена — вы никому не скажете ни слова. А то ужасная бы получилась неловкость... Да, он был негодяй, этот Хорейс Уайт, но признаюсь вам: кажется, я люблю его до сих пор.

— Я тоже,— сказала мисс Луиза.— Я тоже.

Они подняли стаканы:

— Помянем Хорейса Уайта.

Как ни нуждался мистер Линкхорн в подкреплении, он едва пригубил вино; но девицы — все три — дружно опорожнили свои стаканы.

РИФАТ ИЛГАЗ

РАССКАЗЫ

Перевод с турецкого ЧАНГА МАЛИШЕВСКОГО

Продавец масла

Я было принялся за очередную статью о продажных писателях прошлого, как передо мной вырос некий чиновник в европейском костюме, с портфелем и фотоаппаратом. Заученно улыбаясь, он обратился ко мне:

— Зашел посмотреть на вас, уважаемый господин Шадан.— И так выразительно уставился на стул, что мне не оставалось ничего другого, как предложить:

— Ну что ж, садитесь и смотрите, если угодно.

Он сел и представился:

— Я директор отдела рекламы фирмы «Дельта». Мы торгуем растительным маслом.

— А я писатель, к рекламным делам ни малейшего касательства не имею. И масла в рот не беру — ни растительного, ни животного. Питаюсь, так сказать, хлебом и сыром. И вообще, по-моему, вы просто ошиблись дверью.

— Ничуть,— возразил он.— К маслу вы можете и не прикасаться, это не имеет никакого значения. Достаточно употреблять название

— Название?— не понял я.

— Разумеется. Название.

— Ничего не понимаю, объясните.

— Сейчас поясню: наше масло называется «Дельта», не так ли?

— Судя по тому, как вы его назвали, да...— сказал я, все еще ничего не понимая.

— Так вот, слово «Дельта» должно как можно чаще появляться в ваших статьях.

— Что должно появляться?— переспросил я.

— «Дельта», разумеется.

— Как вы себе это представляете?

— Очень просто. Например, вы пишете о собрании руководства какой-нибудь политической партии и здесь, между прочим, упоминаете, что председателю подают еду, приготовленную на масле «Дельта», что пирожки, которые он ел, жарились в масле «Дельта», что каждое утро за завтраком он употребляет исключительно масло «Дельта», даже во время партийных конференций он...

— Стоп! Не продолжайте!— прервал я его.— Ничего не выйдет! Во-первых, я не пишу о партийных руководителях. Во-вторых, друг мой, я не подхалим и не торговец маслом. А в-третьих, очень советую подыскать для рекламы твоего масла кого-нибудь другого! Короче — я не продаюсь, и более того — в моих статьях как раз бичую подобных писак!

— А позвольте спросить, уважаемый, разве вы не получаете за свои статьи гонорар?

— Да, когда дают...

— Прекрасно. Вот и мы тоже предлагаем вам работать не задаром... За написанные вами статьи...

— Только не впутывайте меня в свои делишки!

— Ну зачем вы так...

— Довольно!

— Что ж, смотрите, как бы промашки не вышло! Наше масло не обязательно прославлять... Если оно вам не по душе, это тоже годится. Осыпайте его проклятьями, мешайте с грязью, если вам угодно... Можете нашу фирму «Дельта» даже оскорблять!

— Вам-то от этого какая польза?

— Мы дадим опровержение. И ваша газета будет вынуждена его спубликовать. А это тоже реклама. Давайте подсчитаем. Один раз упомянутая «Дельта» — сто лир...

— Как это понимать?

— И понимать нечего: каждое упоминание «Дельты» в ваших статьях стоит сто лир.

— Объявлениями я не ведаю. Пожалуйста, обратитесь в соответствующее бюро, по коридору направо.

— Объявление в вашей газете мы уже дали. Это совсем другое дело...

Я не выдержал, схватил его за руку и повел к двери.

Но когда снова сел за стол, ничего, кроме слова «Дельта», написать уже не мог. Я понял, что не успокоюсь, даже если измажу пресловутой «Дельтой» этого человека с головы до ног. Выжал из себя только два столбца и застрял. На сегодня довольно, решил я. Невозможно без конца писать одно-единственное слово. Похоже, что пока не пропущу пару стаканчиков, не успокоюсь. И верно — в себя я пришел только у «Бедроса».

Трех дней не прошло, снова сижу я за тем же столом, в задумчивости кручу перо... Глядь — снова этот «дельтач» пожаловал. Стоит и так же гнусно ухмыляется.

— Премного благодарен,—говорит.— Ваша статья превзошла все наши ожидания.

— Какая еще статья?— спрашиваю.

— Как же, как же, дорогой, ну та, что в прошлом номере... Та, что я заказал...

— Заказал? Уж не хочешь ли ты сказать, любезнейший, что это ты заказал мне статью?

— Вот счет, прошу вас...

— Слушай, парень, не морочь голову! У меня сегодня работы много. Или твоя фирма, прости господи, действительно хочет заказать себе оскорбление?

— Только одна ваша подпись, и все!— говорит он, открывает портфель и достает какой-то счет.— Итак, «Дельта» упомянута двадцать четыре раза. Двадцать четыре на сто — получается 2400 лир. Прошу вас, распишитесь в ведомости, и деньги ваши!

Вот так стал я торговцем масла, вернее, был завербован в качестве компаньона фирмы «Дельта». И с тех пор, можете поверить, стоит только мне в статье упомянуть «Дельту», как сейчас же на мой письменный стол вспархивает этакой птичкой столировая бумажка. Сам я ни к какой партии не принадлежу. «Дельта» (еще сто лир) политикой не занимается. Как бы ни была «Дельта» (100 лир) связана с внутренними делами, «Дельта» (100 лир) партией не является. «Дельта» (100 лир) — «Дельта» и есть (100 лир). «Дельта», «Дельта», «Дельта»! И эти тоже приплюсуйте! По сто лир, будет еще столько-то... Короче — дневной заработок!

Это, пожалуй, выгоднее, чем продавать на черном рынке запасные части к автомобилям, к тому же почетнее! «Дельта»! «Дельта»! «Дельта»! Счастье приносящая в каждый дом «Дельта»!

Знаю: последние несколько раз я упомянул «Дельту» всуе, то есть без занесения в ведомость. Но посмотрите, до чего просто запродается человек! И теряет чувство меры. И подобно всем продавшимся, попирает все когда-то им написанное.

Пароход в половине второго

— Хайри-уста, который час?

— Около часа!

— Мне бы надо точнее, с минутами...

— Дорогой Абидин-эфенди, зачем тебе это? Ты что, на пароход или на поезд опаздываешь? Разве ты не будешь ночевать здесь, в типографии?

Абидин-эфенди в архиве газеты работает. Спешить ему особенно некуда, однако почему бы человеку не поинтересоваться точным временем, что в том плохого?

Итак, было уже за полночь. Вернее, час ночи, и даже минут пять или десять второго. Так ли уж не важны эти пять—десять минут?

Он бесшумно появился в дверях корректорской.

— Музаффер-бей, не откажите в любезности сказать, который теперь час?

Музаффер, который в тот момент считывал шестой пункт текста какого-то закона, сделал досадливо-нетерпеливый жест, мол, не мешай, и пробурчал:

— Около половины второго.

Мимо такого равнодушного к себе отношения Абидин-бей пройти просто не мог.

— Послушай, у тебя часы, что ли, стоят?

— Часы-то идут, да вот я простаиваю.

Вспыльчив да отходчив был Абидин-бей. Рассердится, бывало, а на следующее утро забудет, с кем поругался, да сам первый и поздоровается. Но иногда безо всякой причины помрачнеет, и тогда мы спешим к нему, выяснить пытаемся, в чем дело, кто развеселить его пы-

---

АНТИРУБРИКА

тается, кто подбодрить, кто внимание ему оказать.

Он спустился в ротаторную. Хаккы-уста работал на ротапринте, запарился даже весь.

— Здравствуй, Хаккы-уста,— обратился к нему Абидин.— Который час?

Тут бы и рассердиться Хаккы-усте, а он засмеялся.

— О-о, — говорит,— уж не свидание ли у тебя?

— Хочу для завтрашнего номера фотографию из архива принести.

— Приноси... Только разве она нужна немедленно?

— По-твоему, узнать который час — преступление?! Можно подумать, если у тебя спросили о времени, значит обидеть захотели!

Ну вот! Как и предполагал Хаккы-уста, обиделся Абидин-бей.

Спускаясь по лестнице, он заметил кофевара. Абидин-бей знал, что у того нет часов, и все-таки спросил:

— Кязим-эфенди, не знаете ли, который теперь час?

— Знаю...

— Сколько же, по-вашему?

— Полагаю, что-то около часу. Я у Идриса спрашивал, он в ночную работает. Так он сказал, что, мол, четверть первого. С полчасика назад, вот и считайте, сколько теперь. А, кстати, зачем вам время-то? Что час, что два. Все равно спать-то где-нибудь на столе пристроитесь!

Конечно, все они правы! Кто он такой, этот тип в испачканных типографской краской штанах, чтобы время ему сообщать? Надо быть человеком значительным в этой типографии, чтобы тебя уважали и отвечали на твои вопросы. Для того, чтобы тебя уважали, надо уметь быстро сдавать рукописи в набор, стремглав вскакивать в такси или на трамваях мчаться домой или еще куда. Надо обязательно торопиться на пароход до Кадыкёя или уже со всех ног лететь на поезд, чтобы иметь право на человеческое достоинство. Вот тогда тебе ответят, который час!

А такому, который как беспризорный кот спит на столе, проводит ночь возле машин или до утра ерзает на стуле, пытаясь заснуть, такому, спроси он, который час, просто не ответят или вот так — посмеются...

Летом пришла горячая пора. В типографии работа кипела и днем и ночью, жар от линотипов распространялся до архивной комнаты.

В тот день Абидин-эфенди (пусть не удивляется читатель, поскольку в типографии не делали различия между «беем» и «эфенди») побрился еще с утра. Он надел брюки, купленные еще четыре года назад и все это время пылившиеся в одном из архивных шкафов, рубашку полумесячной свежести и из такой черной ткани, что даже типографская пыль не брала ее.

Первым заметил эту перемену служащий отдела объявлений Хайри.

— Вы такой шикарный сегодня, Абидин-бей! Что-нибудь случилось?

— Мне нужно будет уйти, как только тираж пойдет...

— Вероятно, вы приглашены...

— Да, вроде того...

Потом ему встретился старший наборщик.

— Что-нибудь стряслось, Абидин-бей?

— Сегодня ночью домой поеду, дорогой... К своим...

— К каким таким своим? Ты что, втихую женился?

— Мы ведь тоже не лыком шиты, дорогой,— парировал Абидин с деланным негодованием.— И у нас есть дом, и родня имеется!

Он вошел в наборную, когда там закончили матрицировать спортивную страницу. Собирая фотографии, он обронил:

— Нечего им тут валяться, запру в архив...

— Дай бог здоровья, Абидин-эфенди! Уж не в баню ли в Топханэ собрались?— приветствовал его наборщик Эродган.

— Что ж, мы хуже других, что ли?— рассердился Абидин-эфенди.— Хоть бы и в баню!

Он стреб фотографии и отнес их в архив. Больше дел у него не было.

— Музаффер-бей!— сказал он, снова появляясь в дверях корректорской.— Который час?

Музаффер с готовностью полез в карман жилета, вытащил часы.

— Один час три минуты,— четко отрапортовал он.

— Благодарю... Еще рано...

— Уезжать собрались, уважаемый?

— Надо успеть на пароход в половине второго... Не особенно-то рассидишься...

Потом спустился в ротаторную. Хаккы-уста крутился возле бумагорезки.

— Бог в помощь!— сказал Абидин.— Который час?

— О-о!— заметил Хаккы-уста.— Ну да это вы так нарядились?

— Да вот, на пароход не опоздать бы. Так который теперь час?

— Сейчас поглядим...

Хаккы отошел от машины, вынул из кармана куртки часы:

— Ровно четыре минуты второго!

— Пароход в половине второго... Ну счастливо оставаться!

Сделав вид, что он что-то забыл, Абидин-эфенди снова зашел в архив, когда спускался, окликнул Ремзи-бея из редакции:

— Который час, не скажете?

Ремзи-бей, проглядывающий заголовки, поднял глаза на Абидина-эфенди.

— Почему вы такой шикарный, Абидин-эфенди?

— Да вот, приглашен к родне,—

ветил Абидин-эфенди, радуясь, что к нему проявили участие.

— Сейчас... Одиннадцать минут второго.

— А пароход в половине второго... Всего доброго!

На лестнице он повстречал цинкографа.

— На пароход я успеваю? Он будет ровно в половине второго...— обратился к нему Абидин-эфенди.

— Вполне,— ответил тот.— Еще только четверть.

«Даже не поинтересовался, куда это я еду»,— рассердился Абидин-бей.

— Пропущу пароход, долго ждать придется...

Но цинкограф не спросил, «кого» это ему ждать придется. Вот ведь народ какой пошел!

Надо было еще повидать Зеки-бея.

— В отгуле он...— сказал его помощник.

— Передай Зеки-бею... Если я завтра опоздаю...— начал Абидин-бей, но парень перебил его:

— Абидин-бей, вы разве сегодня не здесь ночуете?

— Почему это я должен ночевать именно здесь? Даже у помощников бывают отгулы...

— Да нет, я хотел сказать...— начал парень.

— Ты передай Зеки-бею, что я скажу. Если я опоздаю, пусть позвонит цинкографу... и попросит клише иллюстрированной страницы... Ну, пока!

Выходя из типографии, он остановился — забыл-таки с ночной сменой попрощаться, да и наборщиков не повидал. Вот ведь досада, придется вернуться!

Наборщики усердно работали.

— Счастливо оставаться, ребята!— крикнул им Абидин-бей.

Трое наборщиков, как по команде, повернули голову в его сторону. И все трое, в один голос задали ему один и тот же вопрос:

— Эй, Абидин-бей, куда так поздно собрались?

Столь значительный интерес к его особе превзошел все ожидания Абидин-бея, и он с важным видом произнес:

— В Кадыкёй!

— Знать, подработку нашли ночную...

В ответ он только хитро улыбнулся.

— Который час?

И все трое одновременно ответили:

— Двадцать пять минут второго!

— А пароход в полвторого... Ну, я пошел!

За пять минут едва ли успеешь к пароходу. Он торопливо сбежал вниз. У лестницы стоял ночной сторож. Абидин-бей пожал ему руку. Затем вышел на улицу и глубоко вздохнул.

Медленно побрел он к мосту. Пароход давно ушел. Впрочем, ему он и не был нужен. Часы в Каракёе показывали сорок шесть минут второго. Значит, пароход отошел уже шестнадцать минут назад. Он вскинул голову и даже не взглянул на часы. Потом засунул руки в карманы и тяжело зашагал к Ункапаныйскому мосту.

«Шеф у себя?»

Да кто же я здесь, в конце концов?! Привратник? Сторож? Курьер? Секретарша? Ответственный секретарь? А может быть, я все-таки мелкий чиновник отдела подписки и распространения? Во всяком случае, почему-то каждый, кто идет к нашему шефу, непременно заходит ко мне в кабинет... Я сказал — кабинет... Вернее было бы сказать — зал ожидания. Работаю я, пишу ли, читаю ли, они, ни капли не стесняясь, прутся с вопросом:

— Шеф у себя?

— У себя!

Добро бы еще этим вопросом все и кончалось. Думаете, если шеф у себя, то они так просто и войдут? Ничего подобного! У них наготове уже второй вопрос:

— А кто у него?

— Никого!

Казалось бы, можно войти, не правда ли? Так ведь нет же! Пока все-все не выспросят, не войдут. И обязательно еще спросят:

— Сердитый?

Поди догадайся! Разве так просто ответишь? А кстати, что из того, сердитый шеф или в хорошем настроении? Что до меня, мне-то все едино, а вот для них, видать, значение имеет! Каждый входящий в кабинет шефа непременно думает о деньгах. А если шеф не в духе, так просто этот вопрос не разрешишь. Другое дело, когда шеф в настроении! Но если я, к примеру, скажу, что шеф не в духе, думаете, посетитель повернется и уйдет? Думаете, так просто отцепится от меня, не выяснив, что да почему?

У нашего шефа забот хоть отбавляй, он на месте не сидит. Оттого и затруднительно иной раз бывает ответить на вопрос: «У себя ли шеф?» Даже если и ответишь: «Нет его!» — на том дело не кончится. Так и жди:

АНТИРУБРИКА

— А куда он пошел? А с кем пошел? А когда вернется?

Но и на этом не успокаиваются:

— Не в банк ли отправился? Может, на почту, за переводами?

Если я подробно отвечаю на все вопросы, их, мерзавцев, это тоже не устраивает. Норовят еще хитрее подъехать:

— Хорошо, а в котором часу он вышел?

— В котором часу?.. В двенадцатом...

— А где шеф обедает?

Даже если я знаю, где шеф обедает, болтать мне некогда, я довольно выразительно отвечаю:

— Нигде он не обедает, с собой приносит и ест в кабинете!

Но не спасает меня и это.

— Значит, минут на десять, не более. Не так ли? Пожалуй, я подожду.

Вот грех-то! Посетитель берет со стола газету и усаживается напротив. Где уж тут работать! Думаете, он ту газету читает? Как бы не так! Все глазами зыркает — то в мои бумаги на столе, то на картинки на стенах, то на старые газеты, сваленные в углу... А потом опять меня забрасывает бестолковыми вопросами:

— У вас подписчиков сколько? А тираж? А читателей? Почему вы не устраиваете лотерею? В других газетах это делают.

Или о политике заговаривают:

— Ваш шеф к какой партии принадлежит?

В зависимости от того, кто передо мной, я и отвечаю. Но они не успокаиваются:

— Почему ваша газета не поддерживает правительство?

Ну уж если речь о нашей газете, то она, пожалуй, стараниями шефа единственная, поддерживающая правительство и власть! Сомневаюсь, читал ли этот тип когда-нибудь нашу газету, держал ее в руках?!

Этот вопрос для меня больной, на нервы мне действует, вызывает желание тотчас защитить доброе имя моей любимой газеты. Когда я его слышу, немедленно прихожу в бешенство, так и готов разразиться бранью.

Есть у нас Хасан Йылмаз. Хитрая бестия. Шефа нашего он как огня боится, а всю свою храбрость считает нужным показывать только в моем присутствии.

— Где этот тип?— орет он всегда.— Опять его нет? Когда же он появится, наконец? Я устал его ждать! Если ты шеф, так руководи, сиди на месте! Мы-то свое журналистское дело знаем! Ни от одной статьи не отказываемся! Ну, появится он сегодня?!

Вот пристал, будто я — шеф! Будто у него ко мне дело! Чудак человек, мне-то что до твоих дел с шефом? Если тебе что-то причитается, пожалуйста, получай! Все равно ты со мной полученным не поделишься. Что же ты ко мне-то прицепился!

Слов нет — этот Хасан Йылмаз был у нас одним из самых знаменитых сотрудников в газете. Голова у него словно яма угольная! Ничего не разглядишь! Там у него небось пауки сеть сплели, добычи дожидаются. Только по сию пору ни одной мыслишки, полезной для отечества, из этой угольной ямы что-то не вылезло. А надо бы! Да где там! Появись она, на нее небось еще на выходе пауки бы набросились!

Как-то, в конце прошлого месяца, он, потирая руки, вошел в мой кабинет. Судя по виду, злой как тигр. Меня вдруг охватило сострадание — знаю, у него и на сигареты-то нет. Он, не здороваясь, направился к моему столу и, показав кончиком носа на дверь шефа, спросил:

— У себя?

— Да,— бросил я, желая показать, что не намерен продолжать разговор. Но он задал второй вопрос:

— Кто-нибудь у него есть?

— Никого!

— Что делает?

— А что можно делать в своем кабинете? Сидит, разумеется!

— Я спрашиваю, чем занят?

— Не знаю!— рявкнул я и сурово поглядел на него.

В ответ он окинул меня свирепым взором и заорал:

— Что!!! Не знаете? Какое право имеете не знать! На кой черт вас сюда посадили!

— Я — чиновник отдела подписки и распространения,— отвечаю.

Он вдруг стал на меня надвигаться:

— Если вы не справляетесь со своей работой, увольняйтесь, и пусть на ваше место возьмут кого-нибудь порасторопнее!

В тот день мне никак не хотелось, чтобы Хасан Йылмаз попал в кабинет шефа. Оттого ли, что я хотел уберечь от него шефа? Или мне хотелось, чтобы этот тип еще пошатался без копейки в кармане? Пожалуй, ни то и ни другое. Скорее всего на меня такое впечатление статья его произвела, которая в тот самый день появилась в нашей газете.

— Два часа назад,— говорю,— я заходил к шефу в кабинет. Он был очень раздражен.

Мои слова поубавили ему пылу.

— А-а-а!..— протянул он.— Значит сердитый... А на кого же он сердится?

— Да вот сделал выволочку директору-распорядителю. Халюк-бей насилу от него смылся.

— За что же он его так?

— Точно не могу сказать, но вроде бы Халюк-бей слишком много авансов выдал в последнее время. Шеф на него топал ногами, кричал, что он, мол, не глядя авансы раздает.

Плечи Хасана вдруг опустились, и он тихо так спрашивает:

— Как вы думаете, шеф остыл?

— Не думаю! Все время там что-то ворчит.

Этим я его доконал! Он схватил рукопись, торчавшую у него под мышкой, и стал нервно постукивать ею по руке.

— Надо понимать, сегодня ничего не получится?

— Выходит, что так!—ответил я спокойно.

И он, не оборачиваясь, выбежал из кабинета.

Однажды я пришел на службу раньше обычного. Нужно было обвести красным карандашом объявления, опубликованные в нашей газете, и приклеить марки. Дошла очередь и до вчерашней газеты. Я стал ее перелистывать. Вдруг в углу страницы на меня мрачно глянула статья Хасана Йылмаза. Казалось, между строк ее шевелились пауки! «Ну-ка, посмотрим, какого еще вздору он накропал»,— подумал я и начал читать. Нет! Такое мог написать только человек с одной извилиной. Надо быть воистину злым демоном, чтобы насочинять подобное! Каких только гадостей не напихал он в ту статью! И что, мол, нравственность испорчена, и что с самых первых классов у нас не отличишь девочек от мальчиков, и что чаршаф — самая подходящая одежда для наших женщин, и что отсутствие его чуть ли не является причиной роста безработицы и падения нравов. Но и этого ему показалось мало. Он еще обозвал наш народ «ленивой нацией»! Так прямо и закончил статью: «Мы — ленивая нация!»

«Ну я тебе покажу «ленивую нацию»! По-твоему, двести тысяч турок работают в Западной Германии по собственной лени! Нет, погоди, покажу я тебе «ленивую нацию»! Только попробуй заглянуть ко мне в комнату!» — негодовал я.

Надо сказать, что в последнее время тираж нашей газеты стал заметно падать. По какой причине — никто точно не знал. И хотя строили разные предположения, открыто о них старались не говорить.

С утра шеф кидался на всех. Заметил, что я читаю писанину Хасана Йылмаза, и закричал:

— Вы что тут газеты почитываете, вместо того чтобы объявления размечать!

Захотелось мне, с одной стороны, оправдаться, с другой — шпильку подпустить. Я и ответил:

— Да вот, проглядел статью Хасана Йылмаза...

— Молчать!— заорал шеф.— Все вы одним миром мазаны! Всяк о чем хочет и что хочет болтает! Погубите вы газету!

Влетел к себе в кабинет и хлопнул дверью. Минут через пять, как по заказу, появляется Хасан Йылмаз. Я сам себя успокаиваю, брови расправляю и ласково эдак ему:

— Добро пожаловать, любезный Хасан-бей!

Опешил Хасан Йылмаз. Не ожидал такого приема. Однако постарался придать себе добродушный вид и молча одними бровями спрашивает:

— У себя?

— У себя, любезный Хасан-бей, у себя!

— Один?

— Никогошеньки!

Заметив, что лицо мое смягчилось, он решил задать еще несколько вопросов:

— А что, работает?

— Нет, любезный Хасан-бей, юмористический журнал смотрит.

— Значит, в настроении шеф...

— Не то слово! Мы с ним с утра шутили... В прекрасном настроении. Просто, я бы сказал, в замечательном!

Положив портфель на мой стол, Хасан бодрым шагом направился к двери шефа и трижды постучал. Ответа не последовало. Он постучал еще раз. Снова никакого ответа. Повернулся, посмотрел на меня, словно ища поддержки. А я ему киваю, мол, заходи, смелее!

Он открыл дверь и прямо-таки ввалился в кабинет. Ну и буря поднялась!

— Убирайся вон! Как ты смел войти без моего разрешения! Развалили газету! Ни дисциплины, ни уважения к старшим! Надавать бы вам оплеух как типографскому подмастерью! Кабинет я ваш приказал запереть, и отныне с газетой все ваши счеты покончены! Убирайся, говорю! Ты еще здесь?! Пшел вон!!

Было такое впечатление, будто Хасану влепили хорошую пощечину. Он нетвердым шагом подошел к моему столу, взял под мышку портфель. Потом как-то растерянно посмотрел на меня и, волоча ноги, понуро поплелся к выходу.

◆

Из нашей почты

Живое общение с читателем непосредственно на страницах журнала (см. «Из нашей почты» — 1977, № 1, 3, 8, 10) поощрило многих наших добровольных корреспондентов к продолжению обмена мнениями о прочитанном в «Иностранной литературе», о содержании журнала в целом, о наиболее понравившихся (или не понравившихся) произведениях последних лет. Тут и коротенькие, в полстранички, отзывы, и целые трактаты, мелко исписанные от руки тетрадки.

Можно с удовлетворением отметить, что читатели не оставляют редакцию своими советами в отношении того, какие произведения они хотели бы видеть напечатанными в ближайших номерах «Иностранной литературы». Еще больше отзывов о только что прочитанном или оставшемся в памяти от прошлых лет.

Читатель часто категоричен: прочел и приговорил. И нам дорога горячность его приговора — первая, свежая, непосредственная реакция. Но, может быть, еще ценнее отзыв того, кто неторопливо вернется к журнальной книжке, перечитает любимые места и не поспешит с письмом: сверит свой взгляд с мнением критиков-профессионалов, попробует более широко оценить место произведения в общей картине нашего знакомства с зарубежной культурой. Такого рода неспешный суд еще необходимее в случае недовольства той или иной публикацией. Писем обдуманных, развернутых, аргументированных все больше в нашей почте, хотя здесь представлена вся гамма интересов, вкусов и индивидуальных оценок, из которых и складывается объективная картина восприятия зарубежной литературы в нашей стране.

И пусть не со всяким личным мнением, выраженным в том или ином письме, редакция может согласиться, но всякое суждение о работе журнала нам интересно — лишь бы это было искреннее и неравнодушное суждение. К числу таких неравнодушных отзывов и принадлежат печатаемые ниже письма.

Е. ВОЛИН,
г. Тула

С удовольствием выполняю Вашу просьбу и посылаю отзыв о журнале. Сожалею только, что не делаю это регулярно (читаю журнал с 1963 года, с 15 лет), сожалею потому, что письма в редакцию — своего рода проявление читательской этики, показатель того, что читатель не равнодушен. Однако существует еще боязнь пустословия и отвращение к панибратству. Это сдерживает.

Я люблю «Иностранную литературу», с нетерпением жду очередной номер. Всегда и в каждом нахожу для себя интересное и не только интересное, но и нужное.

Учитель литературы в школе неодобрительно относился к моему увлечению «иностранщиной» (его выражение). Увлечение (не совсем удачное слово) не прошло до сих пор.

Я не представляю себе себя без любви к Гоголю, Гончарову, Чехову, многим и многим русским и советским писателям и поэтам (читаю и перечитываю статьи В. Белинского, недавно прямо-таки с юношеским волнением вновь прочитал «Молодую гвардию»), так же как не представляю себя без любви к У. Фолкнеру, Э. Штриттматтеру, Ж. Амаду, Г. Бёлю, Дж. Олдриджу, Л. Мештерхази, Г. Г. Маркесу (останавливаюсь, ибо перечислять пришлось бы слишком долго, не говоря уже о поэтах и поэзии вообще). Мне кажется, что только тогда и открылась передо мной вся красота и величие русской поэзии, когда я увидел и услышал невиданное и неслыханное до сих пор, когда полюбил навсегда столь много имен, когда понял, что поэзия не только национальна, но и интернациональна, что это — океан, не разъединяющий, а соединяющий.

Некоторые считают мое увлечение переводной поэзией дилетантством или чудачеством. Но, повторяю вновь, без этого я и в русской поэзии многого бы не увидел и не услышал. И сегодня я с благодарностью могу сказать, что журнал стал для меня своеобразным университетом, во многом повлиявшим на формирование моих литературных взглядов и идейно-политических убеждений.

Если характеризовать журнал (непосредственно авторов и не в меньшей мере соавторов, всех тех, кто не только перевел, но и прочувствовал), то для «ИЛ» свойственны самый высокий уровень публикаций и принципиальная, воинствующая, идейная позиция, которые обрели в нем (да и иначе быть не может) прекрасный органический сплав.

У меня, например, навсегда останется доброе и светлое чувство от романа Дж. Апдайка «Кентавр», несмотря на отталкивающе-натуралистические описания и сцены, которых там немало.

Конечно, у моего учителя литературы были по-своему законные опасения. Молодости свойственна тяга ко всему новому, необычному, но нет еще достаточной способности ориентироваться и отбирать, есть опасность запутаться, проскользить по поверхности. Помню, как многие «любители» Хемингуэя отшатнулись от «Островов в океане», такие же «любители» французской литературы не смогли дочитать до конца «Плоды зимы» Б. Клавеля, книгу, на мой взгляд, замечательную, умную, или «Вещи» Ж. Перека, книгу, которую я советовал и советую читать. Чтение, на мой взгляд, не развлечение, не забава, а дело серьезное, требующее напряжения и труда и только тогда приносящее настоящее удовлетворение.

Журнал печатает немало произведений сложных по форме, и то, что он популярен,— показатель высокой культуры советского читателя. Конечно, не обходится без издержек, но не они определяют все: мой брат, рабочий, не относится к категории страстных читателей, предпочитая многому футбол и хоккей, однако его восхитил роман Фолкнера «Шум и ярость». Человек он чуткий и добрый, и такая книга не могла не задеть его за живое, а книга эта по-своему трудная для чтения.

Сразу же после того, как я закончил чтение романа А. Мердок «Черный принц», я прочитал подборку рассказов болгарских писателей. Эффект был такой, будто я вышел из затхлой и темной комнаты на свежий воздух. Я не против публикаций А. Мердок, Л. Малербы и других, ценю их мастерство (не знать этого нельзя). Но хочется сказать трижды «да» социалистической литературе, творчеству художников Запада, которые ясно определили свою позицию в современном обществе (ясность — не упрощенчество, не примитивизм).

Такая позиция нужна и читателю. Помогает ему в этом критика журнала, раздел «Культура и современность», публицистика, интервью, дискуссии, анкеты. Естественно, что у меня есть свои пожелания журналу, и, может быть, они заинтересуют редакцию.

1. Хотелось бы больше видеть на страницах журнала авторов социалистических стран, в том числе критиков (это не упрек, а пожелание, упрекнуть редакцию здесь не за что).

2. Немало печатается произведений о рабочих, о рабочей литературе на Западе. Каков он, рабочий-читатель? Может быть, о нем скажут литераторы-марксисты этих стран?

3. Десять лет назад журнал напечатал статью о поэзии США. Каково сейчас состояние американской поэзии? Только ли наркотический бум определяет ее?

В. В. БЕЙЦУН,
инженер-геодезист, 28 лет,
г. Хабаровск

В годовой подписке «ИЛ» обязательно найдется что-нибудь по моему вкусу, не говоря уже о том, что в журнале можно найти Фолкнера или Хемингуэя, Апдайка или Камю. Каждый год у меня появляются новые, как бы это сказать, друзья, что ли. В 1976 году это великолепный венгр Лайош Мештерхази со своей «Загадкой Прометея» — сколько юмора, и силы, и ума, и в то же время знакомишься с древнегреческой мифологией; это Торнтон Уайлдер «Теофил Норт» (после «Норта» я сразу прочел его книги «Мост короля Людовика Святого» и «День восьмой»). С удовольствием прочел рассказ Трумэна Капоте «Гость на празднике». Имя Джона Чивера говорит само за себя, он пишет великолепные и страшные будничные романы и рассказы, если можно так выразиться. Впрочем, кто читал его, тот поймет, о чем я хочу сказать.

Очень хорошая повесть Луиджи Малербы «Сальто-мортале» и не менее отличное толкование ее — статья И. С. Кона. И. С. Кон, по-моему, замечательный и умный публицист и социолог, я знаю его по его публикации «Культура, секс и общество». Неплохо было бы печатать его каждый год. Очень понравился Гюнтер Вальраф — этот журналист «держит руку на пульсе планеты» Неплохо пишет Эмил Манов, но «Сына директора» второй раз читать не станешь. Стихи хороши, по-моему, только из раздела «Литературное наследие», так как, наверно, очень трудно выбрать стоящие стихи и поэтов из огромного количества стран и в этих странах из огромного количества пишущих, тут сначала надо все перевести, а потом уже выбирать.

И. Д. ВОЙТЕНКО,
г. Москва

Прочитал в № 3 отклики читателей на содержание вашего журнала и решил добавить свои.

Вы пишете, что «будут приняты редакцией во внимание предложения читателей, касающиеся более широкого представительства таких национальных литератур, как шведская, португальская, некоторые литературы латиноамериканских стран». Но так

уж получилось, что наиболее качественная (простите мне это слово в таком приложении) литература создана в англо- и франкоязычных странах (я говорю о литературе иностранной), и поэтому даже небольшое увеличение представительства других литератур значительно ухудшит дело. Вы можете просто лишить читателей хорошей литературы, пытаясь найти (против ваших же вкусов) что-то из узконациональных литератур.

Неудачны, на мой взгляд (вопреки вашему взгляду), и «афро-азиатские» номера. Зайдите в любой букинистический магазин, где есть «ИЛ» за эти годы, и вы увидите в первую очередь именно «афро-азиатские» номера, так что, пожалуй, это — не только на мой взгляд. При всем этом произведения африканских писателей, опубликованные в последнее время, выбраны на удивление весьма удачно (в первую очередь — роман А. Квеи Армы и повесть Меджи Мванги). На мой взгляд, за последнее время можно выделить лишь три удачных литературных направления в вашем журнале — англоязычное, франкоязычное и африканское...

Е. МЕДВЕДЕВ,
ЭКОНОМИСТ

Уже почти 10 лет являюсь регулярным читателем вашего журнала. Хотелось бы поделиться как впечатлениями от прошлых публикаций, так и пожеланиями относительно будущего журнального «репертуара».

Прежде всего, огромное спасибо за ознакомление читателей с творчеством англо-американских классиков, «корифеев». Публикация таких вещей, как «Шум и ярость» У. Фолкнера, «Письма Асперна» Г. Джеймса, «Портрет художника в юности» Дж. Джойса, романов Апдайка, Сэлинджера, Болдуина, Грина, Голдинга, стала поистине большим событием. И это действительно подарок для каждого читателя, явление в его духовной жизни. Многое сделано вами и в отношении публикации латиноамериканской прозы, хотя и не в такой мере, как хотелось бы. Все еще не знаком читателю Э. Сабато, Р. Бастос, хотелось бы побольше узнать Кортасара, Астуриаса, Рульфо, Варгаса Льосу. Почти неизвестна и драматургия Латинской Америки.

Много хорошего было опубликовано в поэтической рубрике, особенно в разделе «Литературное наследие». Незабываемы переводы А. Вознесенского из Лоуэлла, Микеланджело. Прекрасны французские циклы у М. Кудинова (Тардье, Мишо, Нерваль), польские переводы А. Эппеля (особенно «Ниобея»), рубаи Хайяма, стихи Су Ши и многое, многое другое — для перечисления всего понадобилось бы слишком много времени. Единственное пожелание, чтобы публикации циклов таких гигантов, как Рильке, Пабло Неруда, Лорка, были более регулярными и более обширными хотя бы до 20 страниц текста. Хочется, чтобы не прекращалось знакомство с поэтическим наследием древности и средневековья (особенно с древнекитайской поэзией, с поэзией немецкого барокко и романтизма).

Что бы хотелось увидеть на страницах «Иностранной литературы» в ближайшие годы? Хотелось бы прочесть такие произведения: «Когда я умирала», «Столб», «Непобежденные» У. Фолкнера, рассказы Фланнери О'Коннор, Дж. Д. Сэлинджера, романы Т. Вулфа, Дж. Гарднера, «Ураган» и «Мулатка» Астуриаса, «Игра в классы» Кортасара, романы Варгаса Льосы, Рульфо, Бастоса, Гарсиа Маркеса, «Жестяной барабан» Гюнтера Грасса, романы М. Вальзера, В. Ванчуры; новые публикации из Йитса, Теодора Рётке, Ю. Словацкого, Р. Десноса.

Желаю вам больших успехов в трудном, благородном и благодарном вашем деле.

В. ГУРЕВИЧ,
журналист,
г. Москва

Я отношу себя к постоянным читателям Вашего журнала, и мне приятно отметить, что почти в каждом его номере я нахожу по крайней мере одно интересное и значительное произведение, будь то переводной роман или критическая статья. Думаю, что это не так уж мало.

Среди наиболее важных и значительных публикаций последнего времени я хотел бы выделить роман Германа Гессе «Степной Волк» в № 4, 5 за 1977 год. Это, безусловно, очень крупное и интересное произведение, публикацию которого журнал может отнести в свой «кредит».

Отрадно, что редакцию не останавливает сложность или необычность формы произведения. Судя по всему, в своем выборе она исходит прежде всего из социальной значимости публикуемой вещи, ее гуманистической направленности и художественной ценности. Примером тому может служить не только роман Гессе, но и опубликованные в последнее время произведения Джойса, Малербы, Уайлдера и других писателей. Хочу добавить, что хотя я и не знаком с оригиналом, но, судя по всему, перед переводчиком «Степного Волка» — С. Аптом стояли очень сложные задачи, с которыми он, по моему мнению, отлично справился.

На мой взгляд, появление романа Г. Гессе и произведений некоторых других западных писателей имеет не только эстетическую, но и политическую ценность. По роду своей профессии мне иногда приходится сталкиваться с различными высказываниями буржуазных журналистов и критиков относительно культурного обмена между Востоком и Западом. В частности, утверждается, будто СССР выбирает из западной культуры лишь то, что принадлежит «прокоммунистически настроенным» западным авторам, или то, что может иметь быстрый коммерческий успех на внутреннем советском рынке, но что «подлинные ценности» западной культуры остаются неизвестными советским людям. Деятельность Вашего журнала убедительно опровергает подобные утверждения.

А. Я. КЕРНЕР,
г. Запорожье

В № 6 и 7 за 1977 г. опубликованы в разделе «Критика» статьи Г. Злобина «Куски ковра или Мосты Торнтона Уайлдера» и Н. Федоренко «Мгновение с Дюлой Ийешем». И то и другое прочел с огромным интересом. А почему? Произведения обоих авторов недавно печатались в «ИЛ». Читателю далеко не безразлично — читать биографию и критику «по горячим следам» или о неизвестном или забытом авторе.

В «ИЛ» так часто упоминается имя Кафки, что пора сжалиться над любознательным читателем и начать печатать Кафку [1].

Советский читатель, придя с работы (порой утомительной), заслужил отдых с «ИЛ» в руках над детективным романом Просьба напечатать Кристи, или Сименона, или кого-либо другого по вашему выбору. Неплоха была б и фантастика, только талантливая, типа книги «Меж двух времен» Д. Финнея. Не бойтесь принизить «ИЛ»: один-два подобных романа в год не подорвут авторитет журнала.

Не кажется ли вам, что критика и публицистика сильно потеснили беллетристику на страницах «ИЛ»? Например, в последнем номере (№ 7, 1977) беллетристика занимает 182 стр., остальное — 106 стр., то есть почти 40% объема журнала. А не хватило бы на это 30% журнала? Мне кажется, хватило бы вполне.

ЕВГЕНИЙ ПУШКИН,
инженер,
г. Одесса

Одним из самых интересных разделов журнала является раздел «Литературные иллюстрации». Однако здесь есть и некоторые недостатки. Так, неоправданной, на мой взгляд, была публикация повести Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Не совсем удачной была публикация, посвященная французскому «новому роману» ибо небольшие отрывки не могут дать ясного представления об этом направлении Было бы желательно, чтобы раздел «Литературные иллюстрации» чаще появлялся на страницах журнала Интересно было бы видеть в этом разделе произведения Жана-Мари Ле Клезио, Бориса Виана, Камары Лэя (отсутствие переводов гвинейского писателя не позволяет представить во всей полноте панораму литератур Африки).

Однако больше всего претензий возникает в связи с публикацией произведений писателей развивающихся стран. При этом выбор произведений не может вызывать возражений. Журнал открыл читателям таких интересных писателей, как ат-Тайиб Салих, Гурдиал Сингх, Габриэль Окара. Серьезные же претензии вызывает сам характер публикаций, комментарий, призванный помочь читателю оценить все достоинства произведения Такой комментарий интересен и для самого подготовленного читателя, ибо позволяет сравнить свое восприятие с мнением авторитетного критика. Однако в большинстве работ этого, к сожалению, пока не происходит. Причин здесь, на мой взгляд, несколько. Во-первых, произведения писателей развивающихся стран рассматриваются в сугубо национальном или региональном контексте Этим они как бы исключаются из мирового литературного процесса. Во-вторых, в работах, посвященных этим литературам, недостаточно учитывается национальная спепифика, придающая им неповторимое своеобразие. Делаются попытки провести аналогии с историей развития европейской литературы, причем, как правило, ее начальных этапов (в качестве примера можно указать на роман нигерийского писателя Нкема Нванкво «Данда», явно недооцененный критикой). В-третьих, основное внимание обращается на идейно-политическое содержание произведений и практически не говорится о художественных достоинствах...

Хотелось бы также видеть в вашем журнале произведения таких писателей как Катеб Ясин, Хосе Гарсиа Вилья И может быть, редакция найдет что-либо интересное в творчестве таких малоизвестных литераторов, как новозеландская писательница Джанет Фрейм, ирландец Джеймс Стивенс, канадец Хью Худ, алжирец Абдеррахман Араб.

УСТИНОВ Ю. В.,
ст. Александровская,
Кабардинская АССР

Со дня своего основания ваш журнал много сделал для популяризации произведений самых различных жанров писателей пяти континентов. Растут и непосредственные связи редакции с литературными кругами зарубежных стран. С другой стороны, расширяется и круг читателей «Иностранной литературы» и людей, знающих в той или иной мере один из иностранных языков.

Возможно, мое предложение, изложенное ниже, представит для вас определенный интерес. На него меня натолкнули многочисленные шахматные конкурсы в разных газетах и журналах, когда тысячи любителей шлют свои решения шахматных задач в газеты и журналы. Суть моего предложения состоит в том, чтобы дать возможность многочисленным любителям попробовать свои силы в литературном переводе. Конечно, организовать такой конкурс намного труднее, чем шахматный, ввиду очень больших трудностей технического и финансового характера Но попробовать, по-моему, стоит. Здесь может быть несколько решений. В частности, всем желающим принять участие в конкурсе перевода можно рассылать печатные экземпляры оригиналов рассказов на иностранных языках после внесения ими определенной суммы на счет госбанка. Можно пойти и другим путем: часть тиража «ИЛ» пустить с приложением на одном из наиболее распространенных иностранных языков. Номер с приложением должен стоить дороже, подписка на номер с приложением является разрешением на участие в конкурсе.

[1] Рассказы Ф. Кафки были опубликованы в «Иностранной литературе» в 1964 году (№ 1, стр. 134—181).

В. В. СКВОРЦОВА,
г. Краснодар

Напечатайте, пожалуйста, на страницах вашего журнала произведения современного испанского автора. Почему я прошу? Потому что мне очень понравился в № 3 за 1976 год роман «Рыжие сестры», хотелось бы почитать что-либо подобное.

И еще. Публикуйте, пожалуйста, сценарии зарубежных кинофильмов, ведь это тоже литературный жанр, а среди фильмов есть очень хорошие вещи.

В. БАННИКОВ,
инженер, 28 лет,
г. Тула

Хочу присоединиться к разговору о содержании журнала «Иностранная литература». Будучи полностью согласен с основными направлениями, принятыми редакцией, все же выскажу несколько пожеланий.

1) Хотелось бы, чтобы журнал активнее знакомил читателей с произведениями, ставшими классикой XX века, например, с неизвестными еще в русском переводе произведениями Ф. Кафки, У. Фолкнера (роман «Авессалом, Авессалом!») и др.

2) Неплохо было бы время от времени встречаться на страницах журнала с откровенно авантюрными романами, по преимуществу развлекательными (типа серии М. Дрюона «Проклятые короли» или даже пресловутых романов Анны и Сержа Голон о похождениях Анжелики). Думаю, что публикация, скажем, одного такого романа в год доставила бы большое удовольствие читателям.

3) Хотелось бы несколько чаще встречать в вашем журнале лучшие современные пьесы, в том числе таких мастеров, как Т. Уильямс, У. Гибсон, Э. Ионеско и др.

В. БУТИН,
г. Запорожье

Поскольку в журнале возникла рубрика «Из нашей почты», решил поделиться впечатлениями о журнале. Должен сказать, что журнал по художественному и духовному уровню, бесспорно растет Остается только пожелать, чтобы все прозаические публикации журнала были на уровне «Осквернителя праха» У. Фолкнера, «Смерти Артемио Круса» Фуэнтеса, «Назову себя Гантенбайн» Фриша, «Теофила Норта» Уайлдера и т. д. Тогда о нем можно будет сказать словами одного знаменитого литератора древности: «Внимай, читатель, будешь доволен».

В № 3 за 1977 г. прочел письмо Б. Тарасова и целиком с ним согласен в том, что литература современной Португалии у «Иностранной литературы» почти в глубочайшем загоне (подборка рассказов в № 9 за 1976 г. довольно жиденькая). А между тем, к примеру, никто из прочитавших какую-либо вещь Фернанду Наморы не остается недовольным. Был бы очень рад, если б редакция журнала, продолжая только что возникшую добрую традицию помещения под рубрикой «Литературное наследие» романов писателей не столь отдаленного прошлого, опубликовала под этой рубрикой какой-либо из небольших по объему и неизвестных еще (или недостаточно известных) советскому читателю романов писателя Эсы ди Кейроша. Художественный уровень его творчества несомненен — это одно из золотых имен европейской литературы. Несомненна также и его идейно-политическая позиция — ведь еще в первые послереволюционные годы великий наш пролетарский писатель Максим Горький, составляя план издательства «Всемирная литература», включил туда и произведения Эсы ди Кейроша.

А. ЗИНКЕВИЧ,
18 лет,
г. Донецк

«Иностранная литература» один из немногих журналов с неплохим КПД. В 1968 г. мои старики выписывали «Иностранку». Год назад я перечитал оставшиеся разрозненные номера, влюбился и выписываю журнал с 1975 г. и буду продолжать.

Вы молодцы, что даете материал на относительно высоком уровне и не заискиваете перед читателем. Для глубокого восприятия литературного произведения требуется встречная работа и восприимчивость...

Произведения, которые выделяются, по моему мнению: Квеи Арма «Осколки», Болдуин «Если Бийл-стрит могла бы заговорить», Еремич «Мысли и максимы», Кемаль «Семьдесят вторая камера», Мештерхази «Загадка Прометея», Олдридж «Горы и оружие», Паркинсон «Мышеловка», Теркел «Работа», Тувим «Ироническая проза», Макс Фриш «Назову себя Гантенбайн» (самая «хипповая» вещь, реалистичная), Ирвин Шоу «Вечер в Византии», Хайтов «Колючая роза», неплохие обзоры Н. Федоренко.

Неплохо было бы увидеть на страницах «ИЛ» древнюю классическую китайскую и японскую поэзию. Новые произведения Вонегута, Робера Мерля (обделяют вниманием его в «ИЛ» после «Разумного животного» Базена («Мадам Экс»)[1]. Хочется, чтобы «ИЛ» чаще печатала произведения из литературного наследия: Б. Брехт, Плутарх (из «Сравнительных жизнеописаний» — а почему бы и нет?), Сафо, Хемингуэй, Фейхтвангер «Лже-Нерон».

ВУС ЛЮБА,
Хмельницкая обл., УССР

Очень люблю ваш журнал, поэтому и не удержалась, рискнула написать. Захотелось и мне выразить мнение по тем вопросам, которые вы задавали ранее, тем более что в письмах читателей, опубликованных в № 1 журнала за 1977 год, не было никаких конкретных предложений, а у меня они есть.

Многое понравилось мне за два последних года. Это, во-первых, роман Ирены Кршенека «Дички», почему-то никем из читателей не упомянутый, пьеса Бернарда Шоу «Дилемма доктора», остроумный рассказ Меккина Уолтера «Действующие ли-

[1] Этот роман Э. Базена под названием «Анатомия одного развода» был опубликован в «Иностранной литературе» № 2, 3 1977 г.

в порядке их появления», «Мой Микеланджело» А. Вознесенского (свежо, ярко, образно, а какие стихи, какой гневный «Гнев»!), «Мой мальчик и я» Яромиры Коларовой, «Из моей жизни» В. Незвала, «Чудище из Ваккареса» Жозефа Д'Арбо. С большим интересом прочла новеллы Сюгоро Ямамото. Особенно потрясла меня третья — «Дом с бассейном». Читала ее вечером и всю ночь не могла уснуть, сердце разрывалось от жалости и боли. Он был так реален, этот молчаливый и терпеливый ребенок, так напоминал своим молчанием о тысячах других детей, не имеющих еды и крова над головой, что я еще сильней возненавидела империализм, эту раковую опухоль на теле человечества. Настоящая литература заставляет в конкретном увидеть общее, учит любить, ненавидеть и сострадать. Спасибо вам за такую литературу.

Некоторые читатели в диком восторге от «Вечера в Византии» Ирвина Шоу, «Назову себя Гантенбайн» Фриша, «Человека-ящика» Кобо Абэ. Почему? Они говорят: «О! Там ужасно интересно... и талантливо». Что же их интересует? «Изображаемое общество... и вообще...» А как же, например, «Дички»? «Ах, надоела эта война, да еще сюжет банальный...» Неужели внимание их прошло мимо настоящей радости и боли, страданий и любви, мимо мужества русского парня, самоотверженности Ганки, мимо старого Дрозда, тихого Яна — и сконцентрировалось исключительно на «человеке-ящике», Гантенбайне и прочих? Для меня это более чем удивительно. Конечно, я не могу упрекать редакцию «ИЛ» за те публикации, которые мне не совсем нравятся. Я понимаю: у разных людей разные вкусы. Однако стоит ли восхищения мир чуждый и надуманный?

А теперь о предложениях: я поддерживаю идею одного из читателей о том, что неплохо было бы из месяца в месяц печатать какой-то один роман, заслуживающий особого внимания. Не беда, что произведение может оказаться крупным. Его можно разбить на несколько журналов, лишь бы оно стоило этого. Именно потому я совершенно не согласна с тем же читателем, который считает, что подобным романом должен стать детектив. «ИЛ» не второсортный журнальчик, зазывающий читателя чтивом. У «ИЛ» читатель серьезный и не нуждается в искусственном и сомнительном подогреве интересов.

Мне хотелось бы прочесть в журнале два итальянских романа, о которых узнала из наиболее понравившихся рецензий Ц. И. Кин: «Семейный портрет» Марио Пикки и «История» Эльзы Моранте.

Д. КЕЧЛОВ,
г. Ленинград

Я выписываю и читаю ваш журнал с 1958 года. Из публикаций последних лет на меня произвели прекрасное впечатление роман К. Воннегута «Завтрак для чемпионов», рассказы С. Хилл, повесть Л. Малербы «Сальто-мортале». В ваших следующих номерах я рассчитываю увидеть новые произведения этих писателей. Я считаю, что ваш журнал недостаточно уделяет внимания детективному жанру. Например, я с удовольствием увидел бы в вашем журнале новую повесть Ж. Сименона или хотя бы его рассказы.

Мне совершенно непонятно, зачем вы опубликовали роман Т. Уайлдера «Теофил Норт». По-моему, этот роман не представляет никакого интереса.

Я думаю, что стоит еще раз уделить внимание прекрасным рассказам А. Моравиа, романам Ж. Амаду. Я также думаю, что для читателя представляют большой интерес произведения японской литературы. С удовольствием я читал роман «Человек-ящик» Кобо Абэ. Нельзя ли опубликовать новые произведения этого писателя?

ВЛАДИМИР ХАХАН,
техник-строитель,
г. Мурманск

Прочитал в № 1 1977 г. «Из нашей почты» и хочу тоже высказаться. Читаю журнал регулярно, в этом году в августе—сентябре был в отпуске, вернувшись, уже подписаться не мог. Я думаю, что все, что публикуется в журнале, находит своего читателя, поэтому нет смысла указывать: такое печатайте, а вот такое — нет. Могу только высказать, что бы мне еще хотелось видеть в журнале — нечто вроде «Лавки древностей», где бы немного места уделялось древним классикам, антикам, о многих из которых я знаю только понаслышке и не нахожу в библиотеке, которые, по-моему, мало издаются. Во всяком случае, здесь я еще не встречал ни разу на прилавке Овидия, Гомера, которых я все-таки читал, и других, о которых только слышал.

И второе: пора уже журналу обзавестись приложением томов на 20—24 в год, подобно «Огоньку», «Дружбе народов» и «Сельской молодежи», печатать произведения, ранее публиковавшиеся в журнале... Здесь я вижу только один недостаток: подписаться на журнал с приложением станет почти невозможно, потому нахально прошу в случае принятия моего предложения предоставить мне подписку (не бесплатно, но без очереди) лет на пять вперед.

А. ПОТЕМКИНА,
г. Москва

В вашем журнале опубликован роман Кобо Абэ «Человек-ящик». Публикации его предпослано предисловие Т. Грушина. С моей точки зрения, предисловие это не только не помогает понять сложное, оригинальное, с глубоким социальным и психологическим анализом произведение, но искажает его понимание и тем самым затрудняет чтение: вольно или невольно всегда встаешь на точку зрения того, кто заранее подготавливает к восприятию своеобразного предмета искусства.

Я спрашивала у нескольких постоянных читателей вашего журнала, какое впечатление произвел на них новый роман Кобо Абэ. Мне отвечали, что не стали читать: «Непонятно и скучно».

А жаль. Лично я редко встречала художественное произведение, столь насыщенное эмоциями, невольно захватывающими сопереживанием. Сюжет развертывается динамично, как в увлекательном детективе.

Прочитав роман, я о нем не переставала думать в течение нескольких дней. Потом перечла еще раз и вот пишу вам. Очень хочется поделиться своими мыслями.

Прежде всего поблагодарите, пожалуйста, переводчика. Я не могу прочесть роман в подлиннике, но, признаться, я не почувствовала и перевода: столь совершенен язык, столь точно переданы нюансы деталей и особенностей внутреннего мира персонажей и в описании природы. Мне хочется назвать этот роман поэмой.

Кобо Абэ пишет о своих современниках и, кажется, сам размышляет, задает себе вопрос: какие они? Стремление к одиночеству — не самая характерная черта персонажей Кобо Абэ. Можно было бы перечислить многие причины, заставляющие людей прибегать к автотолии — самокалечению, к состоянию улиткообразному, к самоуничтожению. «Даже нищие входят в число жителей города, и поэтому стать человеком-ящиком означает для них опуститься ниже уровня нищего».

Но в этом не только беда людей-ящиков, в этом и вина их. Общее для них всех — беспредельный эгоизм и эгоцентризм. «Вместо того, чтобы вылезть из ящика, я лучше весь мир запру в него...» Люди-ящики абсолютно лишены чувства социальной общности, они не хотят нести ответственности ни за свою судьбу, ни за судьбу общества.

Человек запрятал себя в ящик, отгородился от цивилизованного мира, но не ушел из него. Это не Робинзон Крузо и не Эмиль Жан-Жака Руссо, утверждающие себя трудом, покоряя природу. Человек-ящик полностью лишен понятий о человечности, о гуманизме.

Но сам Кобо Абэ — горячий гуманист. Он жалеет своих героев и описывает их страдания так, что у читателя сжимается сердце. Каждый из них — индивидуальность, личность. Знает ли автор сам, кто из них виновен больше других? «Наиболее быстрый способ приближения к истине — не выяснять, кто на самом деле был человек-ящик, а установить, кто не был человеком-ящиком»,— советует Кобо Абэ читателю. Многие хотели бы скрыться в ящике, особенно когда они становятся объектом праздного любопытства. Но зачастую тот, кто не хочет, чтобы за ним подсматривали, оставляет за собой не только право, но даже удовольствие подсматривать за другими. Именно склонность к подсматриванию, нездоровый интерес к интимной жизни любого человека Кобо Абэ бичует особенно страстно.

Не случайно единственный человек, имеющий собственное имя в романе — Еко Тояме,— девушка, художница и натурщица, потом медсестра-практикантка, «обнаженная». Обнаженная и физически, и духовно. Она ни за кем не подсматривает, доступная взорам всех. Ее красота влечет и вызывает столь сильные чувства, что каждый из персонажей романа чувствует себя способным так или иначе изменить себе, если бы она осталась рядом. Пусть совершаются убийства, процветают пороки, разгорается страсть и ненависть... Уязвима и она сама. Но все же она самое прекрасное, что есть в мире и, возможно, в вечности. Красота и природа!

Трудно понять, что действительно происходит с героями романа, что они воображают сами о себе. Всем людям-ящикам свойственно стремление к бездействию и воображению. Подсматривать и вожделеть — вот их удел. Страдания их безмерны, но может быть, они тоже только воображаемы? Пусть читатель сам подумает. С этим призывом автор и обращается к читателю.

Автор раскрывает нам, в виде аллегории, а местами и гротеска, пороки современной цивилизации, ее отрицательное влияние на духовный мир человека: и бездумное злоупотребление беспрерывной информацией, и жажда накопительства, более того, склонность к безнравственности, цинизму, вседозволенности, стремление к аутизму — погружению в собственные переживания, состояние, близкое к шизофрении. Подумать есть о чем. Роман кончается фразой: «Слышится сирена «скорой помощи». Ох, уж этот цивилизованный мир!

Прочитав два раза роман-аллегорию «Человек-ящик», размышляя над ним, находишь все новые и новые глубины анализа нашей современности, видишь ее отрицательные стороны, ее нездоровое влияние на души людей. И невольно вспоминается Гоголь, который считал, что «нельзя иначе устремить общество... к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости».

Хотелось бы, чтобы редакция опубликовала компетентную критическую статью о романе «Человек-ящик». В самом заглавии чувствуется намерение автора унифицировать героев, он нарочито лишил их собственных имен. В этом смысле «Человек-ящик» имеет нечто общее с произведением Луиджи Малербы «Сальто-мортале», где любой из персонажей мог оказаться убийцей старика. Разве это не страшно? А утешает лишь убежденность, что везде есть писатели, которым близка «зима тревоги нашей» и которые обеспокоены нравственным обликом человека будущего.

* * *

Советы и пожелания читателей, их дружественная критика будут внимательно изучены редакцией и максимально приняты во внимание. Единодушно желание наших корреспондентов — чаще читать на страницах «Иностранной литературы» произведения подлинно высокого художественного уровня. Некоторые из читателей ставят это в прямую зависимость от меры внимания журнала к англоязычным и франкоязычным литературам, имеющим давнюю культурную традицию и богатым известными литературными именами. Наш журнал стре

ся широко представлять европейские и американские литературы, прислушивается и в этом смысле к пожеланиям читателей. В опубликованных уже прежде письмах читатели выражали, например, желание познакомиться с романом Джозефа Хеллера «Что-то случилось» (США), думаем, что наши подписчики прочтут главы из него уже в этом году наряду с другими произведениями французских, немецких, английских романистов.

Но задачи журнала как полпреда всей мировой литературы значительно шире: каждая национальная культура имеет право и должна быть представленной советскому читателю в лучших своих образцах. Особое внимание журнал, естественно, призван уделять современным литературам той части света, которая встала на путь социализма. Не может быть обойдена вниманием и литература развивающихся стран. Само собой разумеется, что принцип социально-географического представительства и в этом случае не должен быть в ущерб качеству публикуемых произведений. Мы сознаем, что чем строже и безупречнее будет отбор этих произведений в редакции, тем скорее самые придирчивые наши читатели признают успех молодых (и древних, но помолодевших) литератур развивающихся стран. Процессы, идущие во всемирной литературе, таковы, что к числу наиболее популярных в мире имен все чаще относят имена писателей Азии, Африки, Латинской Америки. Кстати, и наши внимательные читатели давно называют среди своих любимцев Г. Гарсиа Маркеса, А. Карпентьера, Кобо Абэ, ат-Тайиба Салиха, А. Квеи Армы и других.

Мы с пониманием относимся к желанию читателей видеть более регулярным и разнообразным раздел «Литературное наследие», чаще знакомиться с книгами, ставшими классикой. Однако журнал «Иностранная литература» — это журнал прежде всего современной литературы, и мы вынуждены разочаровать тех, кто желал бы видеть на наших страницах переводы из Гомера или Сафо, которым самое место в книгах серии «Библиотека античной литературы».

Традиционным стало представление о том, что читатели в своей массе предпочитают легкое, развлекательное чтение, а современная зарубежная поэзия и проза усложненной формы, нелегкого психологического и интеллектуального содержания импонирует сравнительно небольшому числу «избранных», вкусы которых имеют снобистский оттенок. Почта «Иностранной литературы» последних лет заметно корректирует это расхожее понятие. Конечно, среди наших читателей немало еще и таких, которые рассматривают книгу как средство по преимуществу развлечения и отвлечения и настойчиво просят поместить на наших страницах «Анжелику» с продолжением и ходкий детектив. Но, пожалуй, еще большее число наших корреспондентов тянется к литературе «трудной», не облегченной. Многих даже привлекает усложненный художественный язык писателя, и с интересом воспринимаются попытки представить — с нужной мерой критической трезвости — такие необычные, экспериментальные произведения, как «Сальто-мортале» Л. Малербы или «Человек-ящик» Кобо Абэ. Желанием получить знание «из первых рук», познакомиться с предтечами европейского модернизма и самим вынести суждение о них вызваны многочисленные просьбы опубликовать в журнале произведения Ф. Кафки, Дж. Джойса или М. Пруста. В свое время редакция опубликовала произведения Кафки, и Джойса, и Беккета, и французских «новых романистов». Редакция и впредь намерена давать публикации такого рода, отметая, естественно, издержки моды и не в ущерб главному: вниманию к реалистической литературе, полнокровно и внятно, с гуманистических позиций выражающей идеалы и противоречия современного мира.

Вполне правомерно желание читателей поставить на обсуждение вопрос о «Приложениях» к «Иностранной литературе». Это во многих отношениях непростое дело заслуживает в перспективе серьезного внимания. К сожалению, мы не сможем воспользоваться предложением читателя, советовавшего устроить конкурс самодеятельного перевода, а для этого часть тиража печатать на языке оригинала. Это было бы не только затруднительно по организационно-полиграфическим соображениям, но, пожалуй, и не очень нужно, поскольку такой конкурс непрерывно и стихийно осуществляется с давних пор: редакция в немалом количестве получает переводы не только профессионалов, но и новичков, решившихся на свой страх и риск перевести то или иное произведение. В тех (естественно, довольно редких) случаях, когда перевод, пришедший «самотеком», удовлетворяет требования редакции, он находит себе место на страницах нашего издания.

Журнал благодарит всех читателей, отозвавшихся на его работу своими добрыми советами, замечаниями, похвалами и критикой, и ждет от вас новых писем.

◆

Среди книг

Издано в СССР

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

ВЕК НОВЕЛЛЫ

Французская новелла XX века.

В двух томах. Переводы с французского. Составители В. и Т. Балашовы. Статьи об авторах В. Балашова, Т. Балашовой, Г. Косикова и Ю. Стефанова. Москва, «Художественная литература», т. I — 1973, т. II — 1976.

Можно только с благодарностью приветствовать издание этих двух томов французской новеллы, составленных В. и Т. Балашовыми. Том первый включает произведения с 1900 по 1939 г., а второй — с 1940-го по 1971 г. По сути, здесь представлен чуть ли не целый век французской новеллы — от Анатоля Франса, Куртелина и Жюля Ренара до современных авторов.

Эта дань уважения к моей стране, к ее старейшему и прославленному искусству отрадна для меня не только потому, что я француз, но и потому, что я писатель и, да простят мне столь нескромное признание, в какой-то степени наследник традиционного французского искусства короткого рассказа.

Я говорю об этом не без горечи, так как в последние годы во Франции наблюдается некоторый спад жанра новеллы. Здесь требуется уточнение. Новеллы, конечно, по-прежнему читают, но скорее новеллы классические. До сих пор популярен у нас Мопассан. Только в самые последние дни я получил два или три сборника его рассказов, выпущенных карманным форматом. И все-таки в издательствах появилось какое-то пренебрежительное отношение к новелле. Издатели избегают печатать современные новеллы, утверждая, что книгопродавцы отказываются от них под предлогом отсутствия спроса. На самом же деле, если попытаться узнать мнение читателей, станет ясно, что новелла вовсе не перестала пользоваться любовью. «Заколдованный круг?» — скажете вы.

К сожалению, из периодики совершенно исчез короткий рассказ (с которым, например, до войны часто выступали Колетт и Жироду). В ту пору обычай ежедневно печатать рассказ был интересен по многим причинам. Это давало возможность большей части писателей печататься. Публика была приучена к чтению коротких историй. Я считаю, что новелла — прекрасная школа для писателя. С помощью минимальных средств нужно выразить как можно больше, всего на нескольких страницах запечатлеть ситуацию, переживания, конфликт и его разрешение — и все это без лишних слов и ненужного красноречия. Качества эти необходимы и для того, кто пишет, и для того, кто читает.

В тот период (до второй мировой войны), когда большинство французских газет ежедневно печатали рассказы, они выпускались затем отдельными сборниками. Так например, вышел целый том рассказов Жироду, озаглавленный «Утренние рассказы» (по названию газеты «Матен», что означает «Утро», где эти рассказы публиковались). И в Париже и в провинции выходило довольно много подобных изданий, правда, не всегда самого высшего сорта, но жанр короткого рассказа в ту пору очень привлекал писателей. Добавим, что и литературные еженедельники (куда более многочисленные, чем сейчас) охотно печатали рассказы.

Что же произошло? В ежедневных газетах рассказ уступил место рисованным

историям. Еженедельники, которые во многом изменились, тоже почти не печатают новелл, литература отступила под натиском другого рода материалов: политических, социологических, иллюстративных и т. д. Литературных журналов типа «Эроп» сейчас гораздо меньше, чем было прежде. А исчезновение новеллы из прессы привело к тому, что и издательства стали меньше публиковать сборники новелл. На мой взгляд, речь идет скорее не об утрате вкуса к короткой истории, а об утрате привычки: новеллы реже читают, ибо их меньше издают. А это, в свою очередь, не побуждает и писателей к сочинению новелл.

Однако именно в этом жанре созданы у нас образцы, которыми мы с давних пор можем гордиться. Произведения, собранные в двух томах, вышедших на русском языке, отражают то единство и разнообразие, которые присущи французской новелле. Общее и, я бы сказал, неизменное — это строгость и лаконичность. Разнообразие: каждая из новелл очень характерна для ее автора. В ней сконцентрировалось все, что типично для писателя: тонкая ироничность Анатоля Франса или теплота Колетт, деревенская сочность Перго или сумрачное мастерство Мальро — перед нами раскрывается целый веер французской новеллы. И еще одно ее качество я мог бы назвать — это достоинство, не утраченное и по сей день. В ней всегда идет речь о человеке, его чести, его истинной сущности. Насмешливая, ироничная, изобличающая и в то же время экспрессивная, французская новелла несет в себе и нравственное начало.

Какие похвалы жанру, скажете вы, который умирает, хотя им могла бы гордиться страна Мопассана. Но недостаточно даже самых высоких качеств, богатого прошлого и неисчерпаемых возможностей, если отсутствуют необходимые материальные условия. И было бы крайне обидно, если бы Франция, страна Вольтера, Мопассана, Флобера, Шарля Луи Филиппа, забыла столь изумительное и столь действенное искусство. Вот почему в последнее время предпринимаются некоторые попытки возродить и само искусство новеллы, и обычай ее читать — то есть вернуть ей место, которое она заслуживает. Гонкуровская Академия учредила стипендии новеллистам. Провинциальные газеты пытаются вновь возобновить регулярную публикацию новелл. А издатели начинают понемногу выпускать сборники рассказов. Новелла не вернула себе пока прежней популярности. И не пользуется у нас таким успехом, как в Советском Союзе и в других странах. Но постепенно она снова завоевывает прежние позиции.

Два тома новелл, лежащие передо мной, необычайно ценны не только потому, что являют собой глубокое исследование в области французской новеллы, увлекательный материал для чтения и реально воплощают этот вид искусства. Читая эти книги, как мне кажется, можно совершить путешествие не только по произведениям французских рассказчиков, но и по земле Франции, ее провинциям, изучить нравы и обычаи моей страны. Одновременно это может быть и путешествием по современной истории Франции, проникновением в ее заботы, горести, ее надежды, чаяния и победы. И путешествие это не будет отвлеченным, оно будет вполне конкретным: под небом нашей страны, среди мужчин и женщин, населяющих нашу землю. И вы увидите, что у каждого из них свое лицо и ни на кого не похожий голос.

Эти два тома могут оказать помощь и нам: они позволяют познать принадлежащие нам богатства. Зачастую друзья помогают нам обрести самих себя. Это как раз такой случай. И если французская новелла возрождается во всей полноте своих возможностей, а она возродится — я убежден, так как она никогда не умирала,— то это произойдет и благодаря большим друзьям французской культуры.

ПЬЕР ГАМАРРА

ОБЪЕДИНЯЕТ ЛИЧНОСТЬ ПОЭТА...

Павел Антокольский. Два века поэзии Франции. Переводы. Москва, «Художественная литература», 1976.

По-прежнему спорным остается вопрос: если поэт или прозаик много переводил с других языков, правомочен ли он эти переводы издавать отдельным томом (или томами) под своим именем? Иногда мы чувствуем, что это выглядело бы по меньшей мере странно, иногда это кажется нам естественным и нормальным. А если так — где же граница странного с естественным и что именно превращает странное в естественное?

Стихи Лермонтова «Воздушный корабль», «Горные вершины спят во тьме ночной», «Они любили друг друга так долго и нежно» мы встречаем всегда в книгах Лермонтова и считаем стихами Лермонтова, хотя указано соответственно. что это из Цедлица, из Гёте, из Гейне.

У Пушкина есть «Песни западных славян», переведенные с французского, а написал эти песни и ввел Пушкина в заблуждение Мериме. Общеизвестная литературная мистификация. Но все-таки это издается под именем Пушкина, так же как некоторые стихотворения Анакреона, Мицкевича, Шенье.

Это естественно. Но было бы странно, если бы мы взяли в руки книгу, на переплете которой стояло бы «Пушкин», а содержались бы в ней поэмы Байрона, хотя бы и в пушкинском переводе.

Странно было бы видеть: «Гнедич. Илиада. Перевод поэмы Гомера». Нет, все-таки: «Гомер. Илиада. В переводе Гнедича».

СРЕДИ КНИГ

Странно было бы видеть писателя, издающего под своим именем переведенный им роман Жюля Верна, ну хоть «Восемьдесят тысяч километров под водой», или «Домби и сын» Диккенса, однако «Песнь о Гайавате» Лонгфелло входит во все собрания сочинений Бунина.

Есть какая-то во всем этом едва уловимая грань, которая определяется, может быть, в первую очередь по признаку жанра. Прежде всего имя переводчика претендует на переведенную им поэзию, а еще точнее — на отдельные стихи. Перевел некоего поэта целиком, издаваться он будет под своим именем. Перевел выборочно несколько стихотворений того же поэта, можешь включить эти стихи и в свой сборник, со ссылкой на поэта, разумеется.

Итак, мы приходим к главному—к выбору, к отбору стихов. Поэт берет у другого поэта не все подряд, а то, что ему наиболее близко, что ему показалось даже как бы своим. Тогда, переводя, он вкладывает в перевод такую большую часть своей души, что потом стихотворение воспринимается читателями как его собственное, что мы и видим на примере Лермонтова.

В издательстве «Художественная литература» вышел том, на котором стоит имя Павла Антокольского. Пониже обозначено: «Переводы», а на титульном листе уточнено: «Два века поэзии Франции».

Никто не подумает, конечно, что в этом томе на трехстах пятидесяти страницах действительно уместилась поэзия Франции за двести лет. Для этого надо было бы издать, наверное, двести таких томов.

Следовательно, Павел Антокольский выбрал из французской поэзии то, что близко ему или было нужно ему для выражения своих собственных мыслей и чувств. В предисловии он так об этом и говорит: «Эта книга — прямое продолжение четырехтомного собрания моих сочинений. Продолжение в силу того, что работа над переводами французских поэтов давным-давно сопровождала мою собственную поэзию, была естественным (ее) продолжением...»

Итак — отбор. Отбор стихов для перевода — это тоже ведь способ самовыражения, точно так же как чтение чужих стихов на каком-нибудь вечере и в застолье. Одно дело, когда человек в застолье, в компании будет читать (ну, скажем, для бо́льшего контраста) Демьяна Бедного, а другое дело — Блока, Ахматову, Есенина. Это вопрос не только литературного вкуса, но и лиричности, склонности к философии, патриотизма, гражданского темперамента, революционности, прямолинейности, пристрастия к тем или иным эстетическим ценностям и т. д. и т. п. Короче говоря — это вопрос личности. А где личность, там и имя Личность объединяет стихи разных поэтов, так сказать, под одной крышей даже путем простого отбора, а тем более путем художественного (а в нашем рассматриваемом случае — высокохудожественного) перевода Ибо известно, что Антокольский — мастер стиха с самой заглавной буквы.

Конечно, Антокольский пристрастен. За небольшими исключениями (Бодлер, Аполлинер), в томе собрана гражданская, политическая, революционная поэзия. Подобно тому, как магнит из кучи металлических опилок притягивает к себе только железные, оставляя на листе бумаги медные, алюминиевые, серебряные и даже золотые, так и Павел Антокольский вобрал в свою орбиту, переводя поэтов Франции, все, что касалось французских революций и баррикад. Даже лексически самые разные и по существу и по времени поэты оказываются очень близкими. Это переводчик соединил их накрепко в одну боевую родственную обойму. Полистаем и взглянем:

* * *

Дрожи, тиран! И ты, предатель,
Переползавший рубежи,
Ты, подлых замыслов создатель,
Перед расплатою дрожи!
К оружью, граждане, вас батальон зовет
Вперед! (bis) Пускай земля кровищу гадов
пьет.

(Из Руже де Лиля)

* * *

К оружью! На Бастилию! Отмщенье!
В бой, буржуа! Ремесленники, в бой!

* * *

Марш-марш вперед, вперед! Все будет
нашим.
Нам — набережные, Лувр, Отель де Виль.
Войдем мы к вам, подразним вас,
попляшем
Там, где сияла в позолотах гниль.

(Из Пьера-Жана Беранже)

* * *

Лишь молодость несли они тебе
в подарок,
Крича: «Свобода! Смерть тиранам!
Победим...»

* * *

Пора вставать! Настало завтра!
Бушует полая вода.
Плевать на их картечь и ядра!
Довольно, граждане, стыда!
Встать на хозяина и челядь! Побороть их!

* * *

Что стоит расшатать ступени их чертога,
Колонны сдвинутся, и разом рухнет он.

(Из Виктора Гюго)

Поэзия Франции столь обширна, богата и разнообразна, что каждый переводчик находит в ней что-то, соответствующее своим пристрастиям, темпераменту, убеждениям, короче и проще говоря — по душе. Павлу Антокольскому ближе всего оказались мятежный дух французских революций и поэзия, их воспевшая. Вот почему его книга «Два века поэзии Франции» воспринимается не как разношерстный сборник «с миру по нитке, а как монолитное целое спаянное личностью переводчика, который сам есть наш славный поэт Павел Григорьевич Антокольский.

Что касается художественного уровня переводов, то о нем распространяться не приходится. Он (перефразируя строку из предисловия автора к этому тому) полностью соответствует тому, что Антокольский делает в собственной поэтической работе.

ВЛ. СОЛОУХИН

НЕМНОГО О БАЗЕНЕ

Эрве Базен. Анатомия одного развода. Перевод с французского Юрия Жукова и Розы Измайловой. Послесловие Валентина Катаева. «Иностранная литература» № 2, 3, 1977.

Эрве Базен — один из самых взысканных признанием и почестями писателей современной Франции. Он президент Академии Гонкуров, лауреат многих литературных премий: Аполлинера, Романской прессы и прочая, прочая. Но, по чести, для меня куда больше значит, что он превосходный ремесленник литературного цеха. Слово «ремесленник» применено здесь в его средневековом — высшем и гордом, а не нынешнем—уничижительном смысле. Мне не привелось встретиться с Эрве Базеном, хотя он не раз бывал в нашей стране, а немногочисленные и плохие к тому же фотографии ничуть не помогают представить его образ, кажущийся мне сложным, противоречивым при настойчивом и каком-то насильственном стремлении к порядку, простоте, основательности, что с годами все сильнее проступает в романном творчестве Базена. Я не верю, что внешность человека выдающегося может быть до конца нейтральна к его сути. Мне доводилось читать и слышать о заурядности, буржуазности, тусклой добропорядочности облика ряда крупных писателей наших дней и недалекого прошлого. Я жадно вглядывался в их портреты и фотографии, и рано или поздно то в зрачках, то в улыбке, то в складках рта, то в морщинах, избороздивших плоскость лба, то в печальных тенях подглазий обнаруживалось нечто такое, что возносило лицо, делало его драгоценным. И нельзя поверить в спокойного и очень довольного собой Базена его привычных изображений. Такой Базен еще мог бы создать «Супружескую жизнь», но никогда не создал бы трилогии «Семья Резо» и уж подавно — «Встань и иди». Убежден, что еще прочитаю в его чертах тайный знак того воодушевления, которым рождено «Встань и иди»,— не звучало в западной литературе последних десятилетий столь шемящей ноты.

В этом небольшом романе, по-нашему повести, сверкают крупицы — страшно произнести слово «гениальность», но нет иного понятия для обозначения той высшей одухотворенности художника, когда на творении его — свет божий. В истории обезножившей и медленно умирающей девушки, сумевшей из бедных останков собственной тающей жизни построить счастье других людей, заложена такая прекрасная, такая гуманная, да что там — святая мысль, что хочется снять шляпу перед писателем, чья душа выносила столь чистый, светлый, высокий образ добра.

Подобно многим моим соотечественникам, я узнал и полюбил Эрве Базена по его романам, составившим трилогию «Семья Резо». Но как ни хороши эти романы с поистине эпическим образом Грозной Матери, меня не оставляло подозрение, что Эрве Базен пахал тут по пару Мориака и что обостренность чувства, пронизывающего эти романы, порождена скорее литературной традицией, нежели мировосприятием автора, ведь во всех других произведениях (оставим в стороне «Встань и иди») Базен куда спокойнее, рассудительнее, объективнее. Но, наверное, я ошибаюсь, и острота трилогии — от едкой памяти детства, сохранившей боль и жгучую обиду оскорбленной юной души.

В последующих произведениях, также посвященных семейным проблемам — видимо, это область главных интересов Эрве Базена,— он все более и более становится хладнокровным аналитиком; ни пристрастия, ни гнев, ни чрезмерная любовь, ни художественный каприз, ни своеволие раскованной творческой личности не нарушают размеренного, последовательного, продуманного и точного, как урок анатомии, исследования того или иного аспекта семейной жизни, будь то чужой ребенок, супружеская измена, развод и т. п.

Базен так убежден в серьезности, доброкачественности, равно и в нужности людям своей почти научной работы, что не старается быть занимательным, ярким, обаятельным, изящным, искрящимся — все те эпитеты, которые обычно прилагаются к талантливой французской прозе, включая прозу самого Базена более раннего периода, отпадают, когда речь идет о его последних романах. Тут уместны другие слова, более употребительные в науке: скрупулезность, выверенность, добросовестность, исчерпанность. Базен ничуть не стремится увлечь читателя. «Супружеская жизнь» откровенно, даже вызывающе скучна, не блещет занимательностью и последний из опубликованных у нас романов «Анатомия одного развода». И все-таки это настоящая литература (особенно второй роман), которая останется, в то время как многие произведения, вызвавшие шумный восторг современников, не пережили своих создателей. Попробуйте перечитать некогда скандально знаменитые романы Андре Жида «Имморалист» и «Фальшивомонетчики» — до чего же наивно, до чего пусто и не нужно!

Эрве Базен, конечно, очень привязан к миру, который изображает; для него поэтична и значительна тут каждая малость, он не скупится на подробности и никуда не спешит, подвергая жестокому испытанию долготерпение читателя. Читаешь «Анатомию одного развода» и думаешь: господи, жизнь так коротка, а Эрве Базен так длинен! — и если не бросаешь чтения, так лишь из доверия и пиетета к создателю семейной хроники Резо и образа волшебной калечки. И терпение твое вознаграждается, ибо в замедленном повествовании с тьмой одуряющих подробностей обрисовывается постепенно и, наконец, предстает жгучей явью удивительнейшая фигура брошенной жены Алины Давермель, в девичестве Ребюсто.

Конечно, лишь окончательная зрелость души и таланта способна создать такой сложный и сильный образ. Внешне да и внутренне непривлекательная, раздражающая до зубовного скрежета, Алина в конце концов растопляет ваше сердце каким-то последним прозрением о горестной и милой человечьей сути. Спокойно и неумолимо ведет Эрве Базен свою жалкую героиню по всем кругам житейского ада, заставляет ее пройти все виды унижения, совершить все допустимые и недопустимые глупости, оплошности, нелепости, потерять все, что только можно потерять, стать полукалекой и безжалостно лишает ее даже малого реванша. Но реванш этот неожиданно происходит в сердце читателя. Нет, ты не берешь ее сторону, но вдруг открываешь в ней свою бедную сестру в человечестве. И она становится ближе тебе, чем ее корректный, преуспевающий и вроде бы во всем правый муж. Ее незащищенность — это твоя незащищенность, ее слабость — твоя слабость, ее неравная борьба — твоя борьба.

Не знаю, рассчитывал ли Эрве Базен заранее тот страшный эффект, которого достигает роман в изображении долгой и мучительной тяжбы между супругами Давермель. Поначалу удивляешься с оттенком почтительности все предусматривающей — до изощренности — законодательной и процессуальной системе «развода по-французски». Здесь оговорен каждый шаг, учтены все варианты поведения «сторон», малейшие отклонения от буквы закона. Разведенные супруги и дети их стиснуты железными обручами устоявшихся во времени, всепроникающих, не оставляющих никаких щелей, точных и ясных предписаний закона. Но не восхищение, а какой-то душный ужас охватывает тебя под конец романа перед чудовищной, бессердечной, уничтожающей человеческое в человеке машиной буржуазного правосудия. Закон вынуждает участников семейной драмы жертвовать теми хрупкими, но бесконечно важными душевными и нравственными ценностями, которые уже никогда не восстановятся. И проигравшие, и выигравшие несут почти равный моральный ущерб. В этой горькой правде — сила романа Эрве Базена. И в жалко-гадко-величественном образе мадам Давермель-Ребюсто, павшей в безнадежной борьбе за то высшее, не сформулированное в сводах законов и не гарантированное ими женское право, куда более важное, нежели сохранение семьи и неверного мужа Вот что подымает «Анатомию одного развода» над традиционным французским семейным романом.

ЮРИЙ НАГИБИН

ИНТЕРЕС К КЛАССИКЕ

Ю. Б. Виппер. Поэзия Плеяды. Москва, «Наука», 1976.

А. Д. Михайлов. Французский рыцарский роман. Москва, «Наука», 1976.

М. Трескунов. Жорж Санд. Ленинград, «Художественная литература», 1976.

Наталья Трапезникова. Романтизм Жорж Санд. Казань, Издательство Казанского университета, 1976.

Е. М. Евнина. Виктор Гюго. Москва, «Наука», 1976.

Советское литературоведение проявляет постоянный интерес к классической литературе Франции. Издательство «Наука» выпустило две книги, посвященные далеким, но весьма интересным и важным периодам французской литературы. Я имею в виду книгу Ю. Виппера «Поэзия Плеяды» и работу А. Михайлова «Французский рыцарский роман».

Творчество поэтов Плеяды, в особенности Ронсара и Дю Белле, пользуется у нас большой популярностью, чему немало способствовали и новые переводы В. Левика, опубликованные в последние годы. Многие известные чтецы выступают со специальными программами, составленными из произведений Ронсара и Дю Белле, которые привлекают всегда большое количество слушателей, главным образом молодежь. Ю. Виппер посвящает свое исследование развитию литературной школы Плеяды, совершившей настоящий переворот в развитии французской поэзии. Изучая становление Плеяды, выявляя общность эстетических принципов ее участников, автор одновременно стремится показать многообразие художественной жизни того времени и прежде всего особенности творчества таких поэтов, как Ронсар и Дю Белле. В орбите авторского внимания оказываются и поэты так называемого второго ранга, которые в свое время не были причислены Ронсаром к Плеяде. В книге Ю. Виппера национальные истоки Плеяды прослеживаются на фоне литературных и исторических процессов XVI века, отмечается влияние различных художественных тенденций, в частности маньеризма и барокко, на творчество поэтов этой школы. Свой труд автор заканчивает шестидесятыми годами, обещая читателям новую работу, посвященную позднему творчеству Ронсара. Серьезная, обстоятельная книга Ю. Виппера, написанная живо и увлекательно, несомненно будет интересна самому широкому кругу читателей.

«Французский рыцарский роман» А. Михайлова — первое советское исследование о рыцарском романе. В книге Михайлова используется богатейший историко-литературный материал, накопленный как зарубежным, так и отечественным литературоведением. Автор рассматривает эволюцию французского рыцарского романа на протяжении нескольких веков. Читатель знакомится с историческими условиями возникновения этого жанра, с его истоками и первыми памятниками, такими как «Роман об Александре» Васа и «Роман о Трое» Бенуа де Сент Мора. Естественно, что наибольшее внимание в книге уделено рыцарскому роману «кретьеновского времени» и творчеству самого Кретьена де Труа. Автор показы-

вает, как французский рыцарский роман с обширными многоплановыми композициями и большим количеством героев постепенно сменяют произведения, в которых все действие концентрируется вокруг одного персонажа и одного кульминационного события. В романах Кретьена де Труа и его последователей наиболее ярко проявился возникший в то время интерес к личности, к ее судьбе, ее психологии. Во внимании к человеку, в углублении психологизма А. Михайлов справедливо видит вклад рыцарской литературы средних веков в художественное развитие человечества. Специальные главы этой книги посвящены стихотворному и прозаическому роману XIII—XIV веков.

В последнее время значительно возрос интерес к романтическому искусству. В 1976 году вышли две новые монографии о Жорж Санд. В книге М. Трескунова «Жорж Санд» подробно рассматривается весь творческий путь писательницы, причем большое внимание уделено ее последним романам, таким как «Снеговик», «Она и Он», «Исповедь молодой девушки», которые меньше известны читателям. Отдельные разделы посвящены анализу публицистики Жорж Санд, ее общественной деятельности в период революции 1848 года, истории большой литературной дружбы Жорж Санд и Тургенева.

В центре работы Н. Трапезниковой «Романтизм Жорж Санд» — раскрытие истоков романтизма Жорж Санд, анализ особенностей ее художественной манеры. Жорж Санд, подчеркивает Н. Трапезникова, дорога советским читателям тем, что она была всегда неутомимой искательницей социальной правды, а ее герои всегда воплощали идеалы справедливости, самоотверженности, бескорыстия.

Проблемы романтизма ставятся в книге Елены Евниной «Виктор Гюго», Гюго принадлежит к числу наиболее любимых и читаемых в нашей стране зарубежных авторов. Собрания сочинений, так же как и отдельные его произведения, выходили и продолжают выходить миллионными тиражами не только на русском, но и на всех языках многонационального Советского Союза. Творчеством Гюго увлекаются люди самых разных возрастов. Каждая новая экранизация, инсценировка его произведений собирает большую аудиторию. Репертуары театров нашей страны включают его драмы «Рюи Блаз», «Мария Тюдор» и другие. Творческое наследие французского писателя стало предметом исследования видных советских литературоведов: М. Алексеева, Н. Берковского, Ю. Данилина, А. Иващенко, В. Николаева, Д. Обломиевского, Б. Реизова, М. Трескунова, И. Мешковой.

Автор новой работы о Гюго Е. Евнина подробно рассматривает творческий путь писателя, формирование его мировоззрения. Красной нитью через всю монографию проходит мысль о новаторстве Гюго-романтика, сумевшего проложить новые пути развития французской драмы, поэзии, романа.

У нас в основном знают и любят Гюго-романиста. Менее известен Гюго-поэт. Автор новой монографии о Гюго задался целью приблизить поэзию Гюго к русскому читателю, ввести в красочный мир образов великого поэта. Е. Евнина тщательно анализирует все поэтические сборники Гюго, останавливается на политических и философских проблемах его поэзии. Она показывает, как от сборника к сборнику углубляется лиризм, философичность его стихов, нарастает гражданственная тема, нашедшая свое наиболее полное выражение в сборниках «Возмездие» и «Страшный год». Читателю дается возможность отчетливо почувствовать красоту, звучность, динамичность поэзии Гюго.

Со страниц книги встает убедительный образ Гюго-гуманиста, который, пройдя через различные искания и ошибки, становится одним из вождей революционной демократии.

Особое внимание в книге уделено раскрытию сущности творческого метода Гюго. Автор показывает, что, создавая такие произведения, как «Отверженные», «Девяносто третий год», Гюго, конечно, много воспринял из практики французского реалистического романа второй половины XIX века, однако и в этих произведениях он остается писателем-романтиком. В послесловии «Великий романтик», обобщая особенности творчества писателя, Е. Евнина подчеркивает, что Гюго велик нравственным пафосом своего творчества, гуманизмом, глубоко эмоциональной проповедью борьбы со злом и несправедливостью, неповторимым художественным мастерством. Творчество Виктора Гюго наглядно свидетельствует о больших завоеваниях и достижениях романтизма, равно как и о границах этого художественного метода.

Автор отмечает, что убежденность Гюго в конечной победе доброго и светлого начала объясняет присущий ему оптимистический взгляд на мир и будущее. Этим же объясняется его утверждение активной роли искусства, призванного нести людям свет и добро. Гюго всегда открыто и страстно выражал свои гуманистические взгляды, и книги великого романтика продолжают и поныне волновать взрослых и юных читателей всего мира.

Е. Евнина приводит прекрасные слова советского писателя Алексея Толстого: «Он (Гюго) наполнил мое мальчишеское сердце пылким и туманным гуманизмом. С каждой колокольни на меня глядело лицо Квазимодо, каждый нищий-бродяга представлялся Жаном Вальжаном. Справедливость, Милосердие, Добро, Любовь из хрестоматийных понятий вдруг сделались вещественными образами... Мальчишескому сердцу они казались живыми титанами, и сердце училось плакать, негодовать и радоваться в меру больших чувств. Гюго набатно бил в колокол: «Проснитесь! Человек бедствует, народ раздавлен несправедливостью...».

И. ЛИЛЕЕВА

СРЕДИ КНИГ

Издано за рубежом

«НЕТ» НЕЙТРОННОЙ БОМБЕ

Pavel Koyš. Nie. Bratislava, Smena, 1977.

Книга эта непривычно большого формата озаглавлена одним словом — «НЕТ». Дата ее написания — август 1977 года, дата выхода в свет — август 1977 года Этим изданием-молнией редакционные и типографские работники вместе с автором — поэтом Павлом Койшем — присоединяются «к миллионам честных людей всего мира, которые провозглашают свое возмущенное «нет» — бомбе».

Павел Койш, с лирикой которого «Иностранная литература» уже знакомила своих читателей [1], не раз выступал в защиту политической поэзии. В авторском предисловии к сборнику «Вместе», 1976 (эта книга и вышедший в 1977 г. сборник «Твердыни» П. Койша были отмечены Государственной премией Словацкой Социалистической Республики), читаем «Много лет у нас не принято было писать и издавать политическую, или, как мы иногда не совсем точно говорим, ангажированную поэзию. В начале 50-х годов были намолочены целые стога поэтической соломы на актуальные политические темы Плохие стихи — не вина поэзии а вина поэтов Плохие стихи унес поток времени, хорошие же политические стихотворения (и как раз созданные в 50-е годы) остались хорошими Их писали Незвал и Завада, Скала и Флориан, писали их Костра, Плавка, Мигалик и Лайчак...

Но целомудренно устыдившись грехов, многие отшатнулись от политической поэзии Была тут, вероятно, еще одна причина: создать политическое стихотворение — дело нелегкое... Чтобы его написать, нужно разбираться в политике, нужно, чтобы политика вошла в твою плоть и кровь, нужно идти с кем-то и против кого-то, сражаться за что-то и против чего-то...

Поэзия — для поддержания собственного здоровья — должна быть многосторонней и многострунной. Она испытывает известный авитаминоз, если не содержит гражданской, политической лирики и эпики... Уместно напомнить, что великаны прогрессивной поэзии нашей эпохи — Маяковский, Хикмет, Элюар, Неруда Гильен — писали и на политические темы».

Поэма «Нет» — образец политической лирики и поэтической риторики (я не хочу сказать — риторичности). Это ораторский монолог, спор с политическим оппонентом перед всечеловеческим форумом. Автор обращается и к противнику, и к аудитории, состоящей из его единомышленников. От раздумья и анализа переходит к сарказму и инвективе. Стих его передает все оттенки ораторской интонации и вместе с тем находит опору в броских, подчеркнуто точных, подчас каламбурных рифмах.

Шесть глав поэмы—шесть взволнованных тирад, пронизанных гневом, иронией, болью. В них, как кадры кинохроники, проносятся картины прошлого, возникают видения страшного будущего, которое автор хочет отвратить,— и тогда поэма на какой-то миг становится антиутопией, звучат аргументы, обращенные к мозгу и к сердцу:

Все уже было.
Казалось, у смерти все есть.
И динамит, и шнур запальный.
Или набор сенсаций еще не весь?
Бог весть.
Вспыхивает хиросимское солнце.
Вьетнамские дети горят в напалме.
Дело делается со знанием.
Не шевельнут водород и стронций
вашей совести
и сознания?[1]

Тот, с кем ведется этот поэтический диспут, не персонифицирован. Поэт видит своего противника не в конкретной личности, а во всех носителях определенного образа мышления. Именно поэтому в поэме звучат и псевдоаргументы сторонников тотального уничтожения — звучат как саморазоблачение и как самообвинение:

И вот появилась бомба.
Первая нейтральная.
Пардон — нейтронная.
Бомбардировка — вещь законная...

Весь мир в очищенье нуждается.
Не только негры, даже многие люди —
у нас как бельмо в глазу.
С каждым днем все более заблуждаются.
Без этих заблудших лучше будет...

Прогрессу — дорогу!
Дорогу—нейтрону!
Мертвые не восстают и не стонут.
Нет, не спорьте,
разве не прав я?
Бомба сделает смерть гуманной,
небытие обернется нирваной,
сразу избавив от прав и...
бесправья.

Поэма Павла Койша — обвинительный акт пособникам смерти и слово в защиту жизни — пронизана верой в силу разума, в силу миллионов, которые обязаны остановить руку с нейтронной бомбой, занесенную над человечеством.

Нет,
не хотим, чтобы атомный гром
или тихий гриб, убивающий в интересах
тактики,
учинил мировой погром,
уничтожил жизнь во всей галактике...

. . . . . .

Нет! И тысячу раз — нет!
Это наша воля, воля миллионов.
Не позволим лучшую из планет
превратить в мишень смертоносных
нейтронов.

---

[1] См Павел Койш. Из книги «Для чего человеку дом», «Иностранная литература» № 3, 1977.

[1] Стихи даны в переводе автора статьи.

Чтобы пахло не гнилью, а медом
в человеческом улье,
чтобы в радужной дымке вращалась
Земля,
миллионы вам помешать присягнули.
Все против вас, в том числе и я.

«Нет» Павла Койша, как и его книги «Вместе» и «Твердыни»,— свидетельство гражданской активности поэта. Поэзия — таково его глубокое убеждение — вмешивается в политику, даже если, «к примеру, изображает красоту осенней природы». Тем более она не может молчать, когда речь идет о судьбах человечества.

О. МАЛЕВИЧ

«ПОСЛАНИЕ» РЕЖИССЕРА

Carlo Goldoni. "Il Campiello", con le note di regia di Giorgio St. Strehler. Milano, Editore Rizzoli, 1975.

У нас в Италии уже на протяжении некоторого времени отмечается исключительно интересная тенденция во взаимоотношениях между театральными деятелями — режиссерами, сценаристами, драматургами — и миром литературы и эссеистики. Иными словами, мы присутствуем при «феномене» вторжения режиссера — будь то театр или кино — в сферу публицистики, критики и, в более широком смысле, литературы. Может быть, самым значительным примером этого явления надо считать деятельность режиссера, чье имя уже известно в Советском Союзе: это Джорджо Стрелер.

В 1962 году Стрелер с большим успехом показал на ленинградской и московской сценах пьесу Гольдони «Слуга двух господ». В одной из статей Н. Акимов, чей талант и безукоризненный вкус хорошо известны, писал: «...о Стрелере можно говорить как о выдающемся режиссере, удивительно тонко ощущающем стиль драматического произведения... Вот режиссер, который безусловно всем существом входит в стиль драматического произведения, но входит в него не как охранитель буквы драматурга, а самостоятельно, творчески и инициативно». В 1977 году театр Стрелера «Пикколо ди Милано» вновь приехал на гастроли в СССР и показал в Москве и в Ленинграде пьесу Гольдони «Кампьелло», также прекрасно принятую зрителями и критикой.

Успех Джорджо Стрелера в Советском Союзе дает нам основание представить этого выдающегося режиссера и в другом качестве — как литератора и эссеиста. В самом деле, Стрелер понял, что «послание», с которым театральный деятель обращается к зрительному залу со сцены, не может оставаться изолированным фактом. Ему должна предшествовать и за ним должна следовать целая серия текстов — заметок, пояснений, которые позволят создать законченную панораму и дадут зрителю возможность по-настоящему приблизиться к театру и к режиссеру. Опыт, который в этом смысле произвел Стрелер, имеет большое значение для итальянской культуры и для того «диалога», что ведется у нас между миром театра и миром критики.

Первым вкладом в эти важные дебаты явилась книга, которую Стрелер издал несколько лет тому назад, обогатив зарождающийся новый литературный жанр. Книга называлась «За человеческий театр» и стала самым настоящим рабочим пособием для многих интеллектуалов, критиков, исследователей и для всех, кто горячо любит театр. В этой книге отражен разнообразнейший опыт режиссера. Читатель узнал обо всех его исканиях и находках на пути от драматургии — к постановкам, от «музыки» — к «слову». Возник некий синтез: итальянские читатели увидели богатую панораму записанных, произнесенных и осуществленных мыслей. Книга произвела особенно сильное впечатление потому, что включала автобиографические фрагменты, полемические высказывания по политическим и творческим проблемам, конкретные суждения, оценки и массу разнообразной информации.

Практически эта книга была адресована тем, кто хотел (и хочет) понять не только Стрелера, но вообще современный итальянский театр. И позднее режиссер продолжал следовать по этому пути. В результате родилась книга «Карло Гольдони. «Кампьелло» с режиссерскими заметками Джорджо Стрелера». Фактически в ней обобщен опыт режиссерской работы Стрелера не только над пьесой Гольдони, но и над произведениями таких великих драматургов, как Чехов, Горький, Шекспир и Брехт. Стрелер хотел довести свой замысел до конца, и ему удалось найти издателя, который согласился опубликовать книгу с текстом Гольдони и с «комментариями» Стрелера, а точнее говоря, с анализом этого текста. Выбор пьесы не был случайным. «Кампьелло» на венецианском диалекте означает: маленькая, крошечная площадь в каком-нибудь пригороде или местечке. Иными словами, для писателя, а следовательно, и для режиссера это — микромир, в котором действуют характерные персонажи. Мы открываем «и такую Италию» — с ее банальностями, с ее вздором, но и с ее большим человеческим теплом. Исполненная поэзии жизнь, как любил предупреждать сам Гольдони, развертывается здесь с абсолютной простотой, язык нарочито лишен всякого изящества — и все это для того, чтобы сохранить верность маленькой площади, той самой Кампьелло.

Стрелер, естественно, считался с авторскими указаниями. Поэтому в своих комментариях, которые сами по себе являются новым литературным фактом, он исходит из этой «простоты» Гольдони, чтобы выступить с собственной интерпретацией. Он признается, что решение осуществить постановку «Кампьелло», а затем прокомментировать ее в книге было для него настоятельной потребностью. Фактически Стрелер утверждает, что «делать театр» — значит

столкнуться с необходимостью принимать решения, учитывать причины главные и побочные, обстоятельства внешние и внутренние, а затем распутать весь этот сложный клубок и остановиться на определенном произведении. В этом смысле «Кампьелло» для Стрелера — как бы сумма идей и представлений, которые он почерпнул у других авторов и прежде всего у Чехова, Брехта, Шекспира. Не следует забывать, что одной из самых важных и значительных для итальянского режиссера была постановка «Вишневого сада». Поэтому становится ясным, что, обратившись к «Кампьелло», Стрелер также хотел воспроизвести «микромир», полный особенной выразительнос сти и человечности. Автор пишет: «Кампьелло» — это великая плебейская комедия... В центре всего — большой и разнообразный клан горожан: матери и дочери Сей. Клан необычайно един и суров в соблюдении своих ритуалов, но Гольдони, который почти всю свою жизнь изучал этот мир, добавляет к его изображению необычные тона и краски».

«Литературный» разговор, которым сопровождает действие Стрелер, важен. В своих заметках режиссер старается дать нам целый ряд разъяснений, касающихся той самой Италии площадей, кланов и предместий. Иначе говоря, он пытается включить в рассуждения о культуре «плебейский» элемент, который ускользает от критиков и зрителей. Так, например, он поясняет, что большой клан в свою очередь состоит из множества маленьких различных кланов; а женщины Кампьелло не имеют права прогуливаться по площади и могут выходить лишь на балкон или сидеть у окошка. Стрелер хочет дать читателям представление о реальности провинциальной жизни с ее вековой отсталостью. Поэтому в его анализе переплетаются обращения к тексту Гольдони и заметки, объясняющие самые различные ситуации. Стрелер обращается к читателю с важным «посланием», и, благодаря авторитету этого большого режиссера его «послание» воспринимается как настоящий манифест, касающийся не только театра но и жизни. «Мы признаем,— пишет Стрелер,— что законы, царящие в мире бедных людей, действительно отличаются некоторой замкнутостью и суровостью, но, с другой стороны, в этих законах есть и своя ясность: это целый свод принципов, правил поведения, и перед нами предстает мир, все еще единый, связанный солидарностью, управляемый и самоуправляющийся на основах старинной мудрости».

В словах этих выражена центральная мысль Стрелера и смысл его «послания»: пора обратить свои взоры к миру бедняков (мы могли бы сказать: к миру труда). Надо взглянуть на тех, кто может рассчитывать только на силу своих рук и кому нечего терять, кроме своих цепей,— только тогда станет ясен смысл истории, смысл жизни. В качестве отправной точки можно взять и Кампьелло, где люди болтают о пустяках, спорят, дерутся, но и любят.

И мы очень ценим тот вклад, который сам Стрелер внес в итальянское искусство как человек, режиссер, интеллектуал и активный участник политической борьбы за обновление Италии.

КАРЛО БЕНЕДЕТТИ

ИГРА В ЖМУРКИ

Anthony Phelps. Mémoire en Colin-Maillard. Montréal, Nouvelle Optique, 1976. Anthony Phelps. Motifs pour le temps saisonnier. Paris, P. J. Oswald, 1976.

Обе книги гаитянского поэта Антони Фелпса появились одновременно: стихи — в Париже, роман «Игра в жмурки» — в Монреале.

Между первым романом Фелпса «Минус бесконечность» (1973)[1] и «Игрой в жмурки», между его лучшей поэмой «Вот страна моя» (1968) и последним поэтическим сборником пролегли трагические события в Гаити, вне которых нельзя понять эти новые произведения. В 1969 году диктатура Дювалье скосила то молодое поколение гаитянских революционеров, которое воплощало в себе надежды революционных, демократических кругов на свержение тирании. Явно или подспудно в новых книгах Фелпса ощущается изменение атмосферы, ощущается «утрата надежды».

Название «Игра в жмурки» звучит по-французски как двойная фамилия «Колен-Майяр». Фелпс использовал эту игру слов, создавая странную фабулу своего романа. Она могла бы показаться неправдоподобной, если бы дело происходило в другой стране. Но действие происходит в Гаити, где и поныне властвует династия пожизненного президента Дювалье (сейчас уже в лице его сына). В романе некий адвокат Колен неудачно пытался совершить покушение на диктатора. Ему удалось скрыться. Но зловещие тонтон-макуты похищают из детского сада маленьких сыновей Колена. Дети — заложники, им грозит расстрел. Фигура Колена и его покушение придуманы Фелпсом. Но расстрелы родственников-антифашистов в качестве заложников реально случались в Гаити. Так, например, были уничтожены 16 человек из рода Сансариков, включая стариков, женщин и младенцев, а два брата-антифашиста погибли при разгроме коммунистического подполья летом 1969 года.

Действие романа Фелпса происходит в течение суток вскоре после этого разгрома. Кто же его герой (а точнее — антигерой)? В издательской аннотации, с нарочитой определенностью отделяющей его от автора, Клод назван «левым мелким буржуа». Конечно, он не левый, просто человек, ненавидящий тирана, как ненавидело его подавляющее большинство населения Гаити. Он — созерцатель, проводящий свою пустую, праздную, никчемную жизнь в кресле, на балконе отцовского дома. Это жизнь паразита, жизнь наблюдателя. Все, что происхо-

[1] Этот роман был опубликован в «Иностранной литературе» № 7, 8 за 1975 г.

дит в книге, происходит в его сознании, в его воспоминаниях, воображении, мечтах и фантазиях, в его снах и кошмарах. Книга и построена на сплетении и взаимопроникновении сна и яви. Через весь роман проходит один вопрос, который непрерывно задает себе Клод, страшась, однако, ответить на него: «Кто выдал детей Колена?» Вплоть до последней страницы читатель не получает ответа. То ли их нечаянно выдает ребенок, обманутый хитростью капитана макутов? Служанка? Мать Клода? Отец, которого якобы подвергали изощренным пыткам в тюрьме? И у читателя, наконец, возникает ощущение, что он сам, Клод, выдал этих детей. И все дело в комплексе вины, которым он одержим и который порождает все его фантазии и кошмары. И если отойти от этой условной метафоры, связанной с «детьми Колена», то тема романа — комплекс вины, а вина — в бездействии, в пассивности, с которой Клод, как и бóльшая часть населения Гаити, терпела и принимала преступления тирана Дювалье.

Сатирический персонаж? Надо ли понять этот роман как сатиру на гаитянского мелкого буржуа? Да, пожалуй. Но в этой сатире следует подчеркнуть и ноту самоиронии. Автор презирает Клода, однако, думается мне, частица этой иронии может относиться и к таким интеллигентам, как он сам. Ведь гаитяне даже в эмиграции не могут забыть погибших товарищей, чьи тени на минуту возникают и в романе Фелпса. Клод видит в старой газете отчет о разгроме коммунистических подпольных групп, о страшной резне летом 1969 года. Сознавая себя безвольным созерцателем, Клод, однако, все время пытается себе же самому показаться героем, стать на ходули. В этом смысл термина «особый негр», которому автор придает большое значение, ведь первоначально роман должен был называться именно так. «Особый негр», то есть негр-герой, человек, способный на подвиг, который рискует жизнью ради освобождения родины. И Клод в своих фантазиях видит, как он входит во дворец диктатора и, перестреляв охрану, убивает Дювалье. Этот террористический акт, без помощи товарищей и без всякой подготовки, совершается, разумеется, только в истерически-взвинченном сознании Клода.

Все это может показаться пародией на современных левацких анархиствующих террористов.

Но важнее другое. Думается, не случайно Фелпс напоминает гаитянскому читателю о погибших героях, создавая таким образом масштаб для сравнения героев и «героев».

Кто же были они, молодые гаитяне, реально заплатившие жизнью за попытку пойти путем кубинской революции? В 1959 году победа кубинской революции вдохновила гаитян на возрождение коммунистической партии, во главе которой стал писатель Жак Алексис. В дальнейшем из разрозненных революционных групп был сформирован объединенный демократический Фронт национального освобождения. Жак Алексис пал в 1961 году первой жертвой террора Дювалье, за спиной которого стояло ЦРУ, сообщившее палачам Дювалье о попытке Алексиса высадиться на северном побережье Гаити. Но и после его гибели революционная молодежь Гаити продолжала сплачивать силы Сопротивления. 60-е годы были десятилетием роста этих сил, роста их организованности и объединения под лозунгом борьбы «за вторую независимость», обращенном к крестьянам, к учащейся и рабочей молодежи. Но страна, в которой пятая часть населения жила в эмиграции, была задавлена террором. И ЦРУ, не сумев уничтожить победоносную Кубу, не собиралось допустить создания рядом с ней еще одного Острова Свободы. Агенты ЦРУ проникли в руководство революционных сил Гаити. Летом 1969 года убежища подпольщиков были разгромлены одно за другим, руководители сил Сопротивления перебиты тонтон-макутами, часть политических заключенных в тюрьмах Порт-о-Пренса уничтожена.

Как можно понять из выходящей в эмиграции прессы Фронта национального освобождения, сейчас обстановка в Гаити несколько меняется, в связи с этим идут поиски новых методов борьбы против реакционной диктатуры, в том числе и легальных, идет борьба за освобождение многочисленных гаитянских политзаключенных и за восстановление хотя бы некоторых политических свобод. Все эти проблемы живо волнуют передовые круги страны.

Но они не попали в поле зрения Фелпса при создании романа «Игра в жмурки». Он, видимо, задумал свою книгу как «портрет гаитянского левого мелкого буржуа». Издательское определение довольно точно. Удалось ли это Фелпсу?

Пусть Клод — карикатура на левацких экстремистов, ведь все его террористические акты — только иллюзия, самообман. Но невольно, читая этот роман, вспоминаешь классические ленинские характеристики психологии мелкобуржуазной революционности, с ее метаниями от отчаяния и полной пассивности к истерическим вспышкам активности, которые вскоре снова сменяются отчаянием и пассивностью. Не будем вспоминать по поводу современных ситуаций ни Желябовых, ни Каляевых. Те ситуации ушли в прошлое. Те же жесты в изменившихся условиях играют другую роль. Если, учитывая это, прочесть сатирический, иронический роман Фелпса, его ирония может попасть в цель.

Как прозаик Фелпс, несомненно, вырос. Его проза стала гораздо более изощренной, он уверенно использует ряд приемов, характерных для западной прозы последних десятилетий: стертые, зыбкие границы между сном и действительностью, субъективное время в памяти, употребление игры слов заглавия — «загадка» предательства и т. д. Впечатление от книги усиливается благодаря превосходной обложке — на ней черные

дети, поднимающиеся по широкой лестнице президентского дворца к входу, где их пожирает огромная, разверстая пасть Молоха.

Как ни странно, одновременно вышедший сборник стихов «Мотивы для смены сезонов» слабее, хотя на отдельных страницах образы пронзительны и запоминаются надолго. Это психологический путь эмигранта, у которого страна засела в сердце как заноза, образ ее за морской далью незаметно расплывается, и родной город уходит, «как лопнувший пузырь болот».

Это путь медленного приспособления эмигранта, негра Антилла, к иному миру, холодному, снежному, миру стали и стекла, к стране, не знающей лета, где звук тамтама — экзотика Но это и новый дом, если пока еще не новая родина. В каком-то смысле Фелпсу повезло — он нашел в Монреале хорошую работу, «девушку с ликом мадонны», отдавшую ему свою большую любовь и ставшую его женой, дом, где родился их сын Но каждый, кто знает трагедию Гаити, почувствует даже за самыми спокойными строками — иное, тревожное, порой недосказанный намек.

«Ушедшее время» — врастание в новый дом, где «под зеленым веком лампы» в ночной тишине возникают образы поэта. Всплывают воспоминания о встречах с его мадонной, о первой ночи, хитроумно зашифрованные образы любовных игр, обучение ее эротике. Счастье спокойной, взаимной супружеской любви.

И вдруг вторгается настойчивый, тревожный образ: Слон растоптавший звезды. В бесконечных вариациях одно и то же ощущение поэта, беспомощного, бессильного перед этой тупой, огромной, слепой силой. Образ точно найден. Слон растаптывает звезды. И признание:

О, святая гитара, пусть рвутся струны,
Я разучился петь...
Слон разбил гитару, голос поэта:
Святой Слон, ты изменил мой голос,
Ты изменил мое тело,
Мое излученье,
Я излучаю панику,
Меня нельзя узнать...

У меня нет рук,
А вместо сердца
Сердце из папье-маше...[1]

Вторая часть — «Стихи о разъробленном времени» — врезается, как поминальный вопль, в песни о счастливом покое дома.

В сильных стихах «Ночь беспозвоночных» поэт видит по ту сторону тумана свой родной город и узнает

Разрушенные гнезда,
Сожженную жатву,
Скошенную молодость...
И я,
Плоскостопный канатоходец,
Живущий в страхе, в криках воронья
Я вижу — он уходит,
Мой город расплывается в тумане.
Порт-о-Пренс, цветок болотный,
Расклеванный орлами...

Там властвует другой. Все дело во власти. Остальное — лишь «невинные цветочки»...

И тот, Другой, насилует.
Насилует, терзает,
насилует, ворует,
ворует, убивает,
кровь потеряла цену...

Возникает образ гаитянской истории. Президент Гаити, черный Пьерро, в ужасе бежавший из своего дворца и столицы, отданной во власть разнузданной, бандитской черни. Не предзнаменование ли его судьба для изгнанников-гаитян?

1969 год все изменил:

Еще вчера
мы, часовые родины,
стояли в свой черед
на вахте, охраняя сон
девочки Надежды.

1969-й. 2 июля на улице Порт-о-Пренса был застрелен макутами молодой Раймон Жан-Франсуа, один из руководителей Сопротивления и близкий друг Фелпса. «Письмо Раймону Жан-Франсуа» [1], полное боли, выстраданное, снова подняло голос Фелпса до гражданского звучания.

Не надо, однако, думать, что Фелпс согласился на роль погасшего голоса, гитары с порванными струнами.

Последний раздел «Стихи времени, ткущего будущее» — оптимистичен. Приближаясь к своему пятидесятилетию, Фелпс, по его словам, приходит к зрелости, к поре жатвы, урожая, сбора плодов. Разве не прекрасно прийти к первым итогам с сознанием обретенной в зрелости гармонии?

«Итака, Итака!» — этот возглас Одиссея, наконец увидевшего родные берега, открывает последние стихи. Они обращены к отцу поэта. И поэт поворачивается к нам белой, незнакомой нам стороной своего профиля. Ведь в нем течет и кровь белых, и негритянская кровь. Это гимн зрелости:

Отец, мой облик — свидетель,
Я освободился от шор и пут детства
И оком мудрости
Озираю владенья моей зрелости
От пенья женщины в ночи
До пляски мошек в полдень,
От древнего, выбитого в камне знака
До сжатой в кулак руки антифашиста.

О, амбары зрелости,
Земля, наконец обретенная,
Я уже не блуждаю, слепой, средь болот
И зыбучих песков.
Нащупывая путь
Дрожащими пальцами,
Я тот, кто посылает вызов року,
Преследует его и побеждает.

И поэт, уже в творческом воображении, снова обретает свою страну, столь любимую, желанную и прекрасную. Страну — прекрасную темнокожую принцессу. Страну-мученицу.

Мне же вся эта гаитянская ситуация — погибшие молодые революционеры и обретающие гармонию поэты — напоминает пушкинского «Ориона». «Нас было много на челне». И буря похожая. И так же «погиб и кормчий и пловец». А певец остался невредим. И сушит под солнцем свою ризу. Успеха!

Е. ГАЛЬПЕРИНА

[1] Стихи даны в переводе автора статьи.

[1] Опубликовано в «Иностранной литературе» № 9, 1971.

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

«ВЕС МИРА»

Так назвал вышедшую в зальцбургском издательстве «Резиденц» свою книгу один из самых известных австрийских писателей Петер Хандке. Она состоит из дневниковых записей 1975—1977 годов, кратких афористичных заметок, размышлений, наблюдений. Рецензент швейцарского еженедельника «Вельтвохе» Вильфрид Шёллер пишет, что автор пытается найти здесь новую форму самовыражения, которую сам он в кратком вступлении к книге определил как «репортаж сознания».

Мнение критиков об этой работе противоречиво. Рецензент журнала «Шпигель» Ганс Кристоф Бух отдает должное стилистическому совершенству прозы Хандке, заставляющему вспомнить о дневниках Рильке и Кафки. В то же время он указывает на все более заметную отгороженность автора от мира, от его проблем.

«Все, что занимало, волновало, интересовало нас в годы, когда писались эти заметки, осталось за пределами книги. Все, что составляет злобу дня для современников, Хандке не просто иг-

На фестивале театрального искусства, проводимом ежегодно в Зальцбурге, состоялась премьера спектакля по пьесе Рольфа Хохгута «Смерть охотника» о жизни Эрнеста Хемингуэя. Режиссер спектакля — Эрнст Хойзерман. Народный театр в Ростоке в ГДР под руководством режиссера Ганса Ансельма Пертена также готовит спектакль по пьесе Хохгута «Смерть охотника».
На снимке: Бернгард Викки — исполнитель роли Эрнеста Хемингуэя.

(Газета «Унзере цайт»)

норирует, но отрицает почти с яростью»,— пишет рецензент, приводя в качестве примера одну из цитат, в которой писатель отвергает сами слова «реальность» и «действительность»: «Употребляя эти слова даже в критическом контексте («диктант реальности»), мы оказываем этой темной «реальности» честь, которой она не заслуживает».

Обосновывая свою позицию, Хандке охотно ссылается на Гёте. «Но Гёте,— замечает по этому поводу Ганс Кристоф Бух,— занимался не только учением о цветах, он знал также и цвета социальной борьбы своего времени».

Некоторые места книги заставляют рецензента назвать писателя «мизантропом, который агрессивно оберегает от других свой столь ценимый им внутренний покой». Близкую к этому оценку дает книге Вильфрид Шёллер в «Вельтвохе», говоря об «отвращении Хандке к миру», о его «одержимости монологом».

«Хандке живет в пространстве, наглухо отгороженном от мира»,— заключает рецензент «Шпигеля», выражая сожаление, что такой «отказ от истории и общества» явился ценой, которую талантливый писатель заплатил, «чтобы достичь совершенства в узких рамках своего творчества».

НОВЫЙ РОМАН ГЕЛЬМУТА ЦЕНКЕРА

Мюнхенское издательство «Бертельсман» выпустило новый роман известного австрийского писателя Гельмута Ценкера «Лягушачий праздник». Западногерманская газета «Франкфуртер альгемайне» отмечает сходство многих черт этой книги с первым романом Ценкера «Кто здесь чужие» (1973), который принес молодому писателю-коммунисту широкую популярность. Оба романа — о рабочих, чем-то близки и истории, рассказанные в них.

Главный герой «Лягушачьего праздника» Герхард Янда — неквалифицированный рабочий. В начале романа ему 32 года, в конце — 34. Янда никак не может найти свое место в жизни. Какая-то смутная неудовлетворенность гонит его с одной работы на другую. Некоторое время он живет в псевдолевой «коммуне», но «коммуна» скоро вырождается, и Янда покидает ее. Раздобыв фальшивый диплом, он пытается даже подвизаться на педагогическом поприще, но попадает за это в тюрьму.

Наиболее важная перемена в жизни Герхарда Янда намечается во второй части романа, когда он встречается с Верой, подсобной работницей на мебельной фабрике.

«Лягушачий праздник»,— пишет газета,— особенно наглядно показывает, насколько творчество Ценкера связано с творчеством других современных австрийских писателей, таких, как Михаэль Шаранг или Франц Иннерхофер. Они вывели на сцену нового героя — молодого человека, лишенного образования и каких бы то ни было привилегий, пытающегося преодолеть свою изоляцию, ищущего работу, которая была бы для него чем-то жизненно важным, а не просто усугубляла безнадежность его положения».

Действие романа складывается из множества эпизодов, отображающих австрийскую повседневность. «Провести читателя через эти будни так, чтобы ему было интересно,— в этом и состоит мастерство писателя. Ценкеру по большей части это удается»,— замечает «Франкфуртер альгемайне».

АНГЛИЯ

«КАК НЫНЧЕ, МИЛЬТОН, АНГЛИИ ТЫ НУЖЕН!»

Уже само заглавие нового, восьмого по счету, романа английской писательницы Маргарет Дрэббл «Ледяной век» заставляет вспомнить политическую сатиру Байрона «Бронзовый век» и поэму Уистена Одена «Век тревоги», пишет Д. Джонс в еженедельнике «Лиснер». Байрон написал свой страстный протест против разгула реакции по следам печально известного Веронского конгресса монархов Священного союза, на котором обсуждался вопрос о том, как подавить революцию в Испании. Вторая мировая война, ужас перед новой, еще более чудовищной волной реакции — фашизмом — вот тема поэмы Одена. Духовный и экономический кризис, поразивший Англию в середине семидесятых, «стремление описать и поставить диагноз болезней Англии сегодняшней, определить, есть ли надежда на выздоровление», как пишет рецензент «Таймс литерари саплмент» Майкл Ирвин, определили пафос книги Маргарет Дрэббл.

Эпиграфом к роману взяты строчки из Мильтона: «Перед мысленным взором моим предстает благородная и могучая Нация, пробуждающаяся, словно Человек после сна...» — и из Вордсворта: «Как нынче, Мильтон, Англии ты нужен!» Подобная соотнесенность наблюдений молодой писательницы над нынешним десятилетием с традицией, восходящей к великим именам, безусловно, потребовала особой ответственности, тем паче что это — практически первая ее попытка создать широкое полотно современного общества. Герои «Ледяного века», представители самых разных слоев общества, уже достигли рубежа зрелости; это не молодые люди, ищущие свой путь в жизни, как герои книг «Вольер для птиц», «Один летний сезон», «Жернов», «Сквозь игольное ушко». У Энтони Китинга, его любовницы Элисон, его друзей и приятелей все позади — учеба в колледже, любовь, надежды, творческое вдохновение. Новое десятилетие принесло несчастья и опустошенность. Измена жены, неуправляемые, дурно воспитанные дети, болезни и катастрофы. Каждое мгновение что-то случается: во время празднования юбилея свадьбы банда террористов бросает бомбу в зал, где собрались близкие и друзья виновников торжества; девочка убегает из дома и не возвра-

щается — попадает в автомобильную катастрофу...

Холодный ноябрьский день. Энтони Китинг, в недавнем прошлом выпускник Оксфорда, продюсер радио и телевидения, а ныне — перекупщик недвижимой собственности, пребывает в добровольном заточении в своем особняке. Он только что перенес тяжелый сердечный приступ. Его «наставник», Лэн Винкобэнк, уговоривший его бросить телевидение и заняться «делом», приговорен к тюремному заключению за валютные махинации. Китинг чувствует, что ему не миновать банкротства. Так начинается роман, в котором прослеживаются судьбы дюжины людей.

Задача, которую поставила перед собой писательница,— показать духовный и экономический кризис страны, сказавшийся на судьбе каждого без исключения,— определила и манеру подачи материала. Дрэббл почти не интересуется поведением своих героев, не останавливается на описании их внешности, речевых особенностей, внутреннего мира: ведь их функции чисто иллюстративны. О таких, как они, можно прочитать в газетах и журналах последних лет. «Однако,— пишет Майкл Ирвин,— как художественные образы они по воле автора лишены права на самостоятельную жизнь. Мы привыкли к тому, что наблюдения Дрэббл точны, умны, проницательны, но в этом произведении они не подкрепляются логикой и убедительностью художественного текста... «Ледяной век» нельзя назвать романом: это скорее мятежная, мучительная исповедь о состоянии Англии».

СБОРНИК ВАЛЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

В последние годы на литературной сцене Уэльса, с одобрением отмечает прогрессивная английская печать, наблюдается оживление. Возросло количество серьезных публикаций. К их числу, пишет критик Раселл Дейвис в «Таймс литерари сапплмент», относится «Оксфордский сборник валлийской поэзии на английском языке». Появление этой книги, по его словам, особенно знаменательно постановкой проблемы национального самоутверждения в Уэльсе, показом того, «как много теряют те, кто не знает валлийской поэзии».

В задачу составителей сборника входило дать максимально полное представление о состоянии поэзии Уэльса с момента ее возникновения по сегодняшний день. Круг представленных в антологии поэтов весьма широк: от тех, кто писал только на валлийском языке (Анейрин, Талисин, Сион Сент, Сион Филип, Сондерс Льюис, поэты средневековья и отчасти XVII века — их стихотворения даны в переводах на английский), до тех, для кого английский язык стал родным.

Особый интерес, по мнению Рассела Дейвиса, представляют разделы, посвященные XIX и XX векам. Здесь читатель знакомится с Уилфредом Оуэном, Алуном Льюисом, Дж. М. Хопкинсом и Диланом Томасом, творчество которых стало уже явлением не только валлийской поэзии. Однако в антологии, замечает рецензент, их творчество воспринимается в общем контексте поэзии Уэльса, в кругу ее типичных проблем: национального самоутверждения, самоопределения нации, ее трудных исторических судеб, нравственно-этических вопросов бытия, занимающих немалое место в сознании валлийца.

БОЛГАРИЯ

ВЫДАЮЩИЙСЯ МАСТЕР СЛОВА

Болгарская общественность торжественно отметила 100-летие со дня рождения (дата, отмечавшаяся, по решению ЮНЕСКО, во всем мире) Елина Пелина, замечательного мастера слова, чьи рассказы и повести давно известны читателям многих стран. Как сообщает еженедельник «Литературен фронт», его произведения переведены на 48 языков, из них 105 вышло отдельными изданиями на 29 языках.

Особую популярность приобрел писатель в Советском Союзе, где издан 21 сборник его рассказов и повестей, в том числе том «Избранное», выпущенный в 1975 году издательством «Художественная литература».

В Софии, в зале Национального академического театра имени Ивана Вазова, состоялось торжественное собрание, на котором присутствовал первый секретарь Центрального Комитета БКП и председатель Государственного совета НРБ Тодор Живков и другие партийные и государственные деятели. С докладом о жизни и творчестве Елина Пелина выступил председатель Союза болгарских писателеи академик Пантелей Зарев.

«Елин Пелин,— сказал он,— как писатель стоит в ряду самых выдающихся художников нашей литературы, таких, как Иван Вазов и Алеко Константинов, Пейо Яворов и Йордан Йовков. Он один из тех писателей, которые могут нас представить миру как народ, обладающий силой, талантом и высоким самосознанием, как народ — носитель общечеловеческих нравственных ценностей. Гений болгарского народа, воссоздавший в своих книгах его духовный облик, Елин Пелин бессмертен, он жив и в настоящем и в будущем. Он вдохновляет нас, учит любви к родине, природе, к человеку, учит нас широте и высокой нравственности, приближает нас к народу, к его неиссякаемой силе».

О встречах с Елином Пелином, о влиянии его на их творчество рассказывают в своих воспоминаниях и статьях многие современные болгарские писатели.

«Должен признаться,— пишет в своей статье известный прозаик Эмилиян Станев,— что ни один болгарский писатель не оказал на меня такого влияния, как он. Елин Пелин — мой первый и лучший учитель, я бы сказал: в своем роде единственный. Он одарил меня

чувством языка, красоты болгарского слова, научил ясности и простоте, заставил меня проникнуть в душу моего народа».

«Его короткие рассказы,— подчеркивает другой известный прозаик Георги Караславов,— не уступают коротким рассказам самых выдающихся мастеров этого жанра. Имена многих его героев стали нарицательными».

«Значение творчества Елина Пелина для нашей прозы и литературы в целом,— пишет журнал «Септември»,— заключается в бескомпромиссности его реализма, в остром критическом и социальном начале его рассказов, в их ярко выраженном болгарском колорите. Критики неизменно будут обращаться к книгам Елина Пелина,— продолжает журнал,— потому что всегда найдут в нем нечто новое. Но во всех их изысканиях неизменно должно присутствовать сознание того, что он глубоко социальный, истинно народный писатель».

ГДР

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ

Состоялось присуждение Национальных премий за 1977 год. Этой высшей награды удостоены писатель Петер Хакс «за драматическое творчество», писатель Эберхард Паниц «за литературное творчество в целом и за пьесы для телевидения», писатель Гарри Тюрк «за творчество в целом и за работы для кино и телевидения», писательница Инга фон Вангенхайм «за художественные произведения и публицистику», писатели Эдуард Кляйн и Ирмтрауд Моргнер «за вклад в развитие социалистической литературы».

Национальные премии присуждены также художнику и графику Вернеру Клемке, сценаристу Вольфгангу Кольхаазе, режиссеру Лотару Варнеке, композитору Курту Швену и ряду других деятелей культуры.

«МИЛЛИОНЫ КНУТА БРЮММЕРА»

Телевидение Германской Демократической Республики показало новый фильм «Миллионы Кнута Брюммера». В основе фильма — известный рассказ Герберта Нахбара (см. «ИЛ» № 1, 1971). Сценарист — сам Нахбар, режиссер — Георг Шиман.

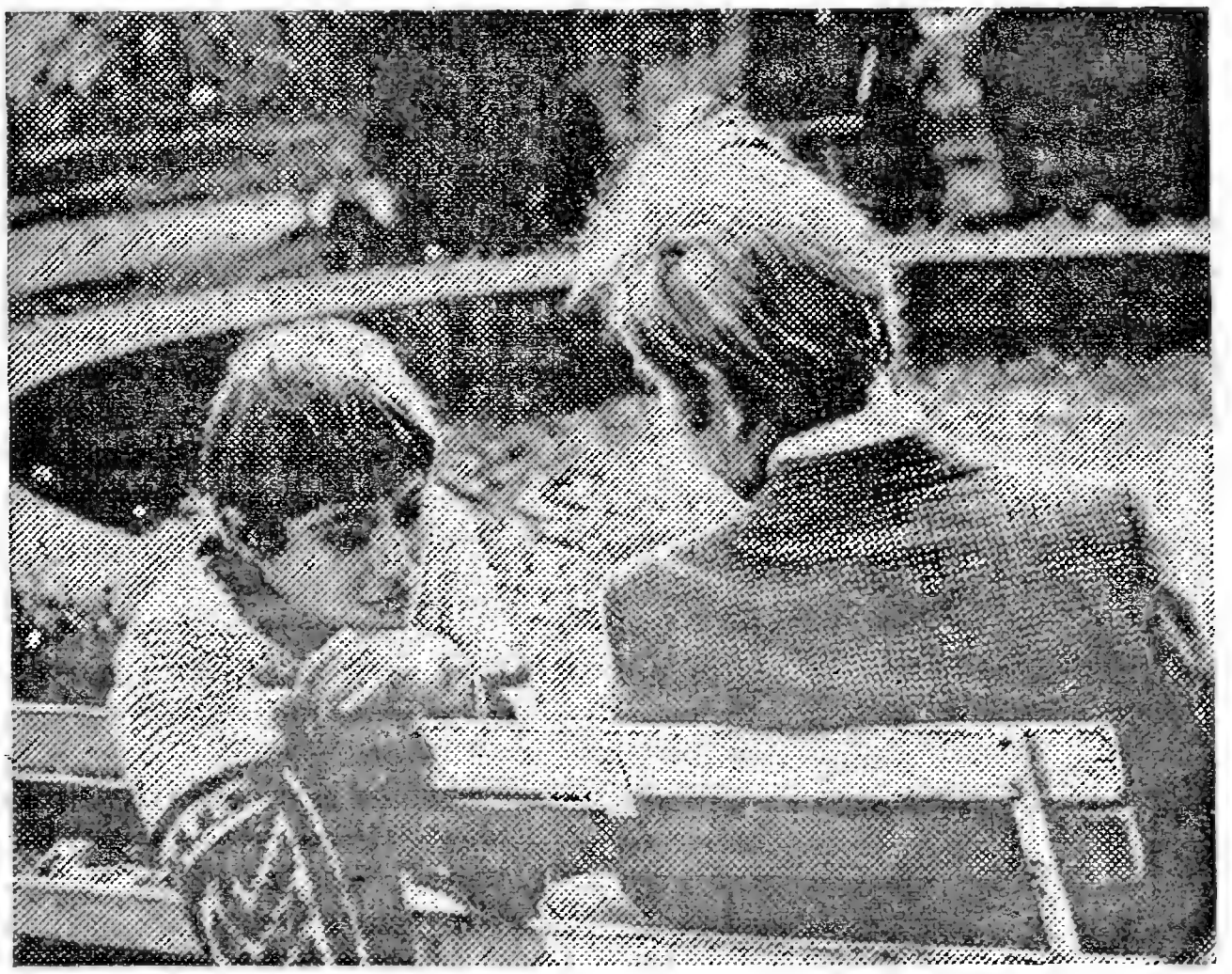
Как и в рассказе, главное действующее лицо фильма — Кнут Брюммер, пожилой человек, в прошлом моряк, фантазер, живущий в своем, выдуманном мире. Он мечтает о миллионах, которые якобы ждут его в Швеции, у самого короля. Действие происходит в конце второй мировой войны. Брюммер не интересуется политикой — он остается как бы в стороне от всего, что происходит в мире. Неожиданно для себя и для всех, кто его знает, он совершает героический поступок — спасает от фашистов человека, совершенно ему незнакомого, коммуниста Карла Хауброка, бежавшего из гитлеровской армии. Это меняет всю его дальнейшую жизнь...

«Я был поражен, как верно удалось молодому режиссеру Георгу Шиману (год его рождения — 1947-й) понять мой замысел,— сказал в беседе с Гейнцем Плавиусом, опубликованной в газете «Берлинер цайтунг», Герберт Нахбар.— Ведь это его первая самостоятельная работа. Шиман нашел интересные, яркие изобразительные средства, он сумел показать на экране то главное, о чем я хотел рассказать

ВЕНГРИЯ

На экраны страны вышел новый художественный фильм режиссера Петера Бачо «Холостой выстрел».
Центральная газета «Непсабадшаг» отмечает на своих страницах, что это фильм нового кинематографического жанра, фильм, выдержанный в стиле газетного репортажа. В фильме, события которого происходят в наши дни, рассказывается о том, как окончившие Политехнический институт и получившие специальность строителей молодые специалисты всем бывшим курсом едут на работу в город Мишкольц, чтобы вместе претворять в жизнь свои юношеские мечты о преобразовании города.
По свидетельству газеты «Непсабадшаг», в фильме на первый план выдвигается проблема жизненной и профессиональной адаптации молодежи, утверждается идея о неотдолимости нового, прогрессивного в борьбе со старым, отживающим.
На снимке: кадр из фильма «Холостой выстрел».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)



На снимке: Эрвин Гешоннек и Герман Байер в телевизионном фильме «Миллионы Кнута Брюммера».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

Это — не только прошлое, но и проблемы, которые люди стали решать после 45 года, их взаимоотношения, их психология. На мой взгляд, фильм получился интересным».

Газета «Нойес Дойчланд» отмечает удачное исполнение главной роли известным актером Эрвином Гешоннеком, а также игру других актеров.

лось в бóльшей степени приблизиться к поставленной высокой цели. Не случайно реакционные газеты называли нынешний фестиваль «красным пропагандистским спектаклем».

Рурскому фестивалю 1977 года удалось привлечь к театру тысячи рабочих людей, заинтересовав их многочисленными яркими постановками. По сравнению с 1976 годом число посетителей возросло на десять тысяч. Как отмечают рецензенты газеты «Унзере цайт», такой успех фестиваля — лишнее доказательство того, что, несмотря на частые упреки по адресу «культурного традиционализма», в массах ощущается сильная потребность именно в реалистическом, критически осмысливающем современную действительность театре.

Именно такие спектакли собирали наибольшее число зрителей. Ценной была и инициатива группы молодых актеров, объехавших со своими спектаклями многие города и индустриальные центры.

Большой интерес вызвала постановка «1848» — «исторический коллаж» о революции 1848 года с текстами Маркса, Энгельса, Гейне и Фрейлиграта. Успехом у зрителей пользовались и такие постановки, как «Гражданин Шиппель» Карла

В Лейпциге в мае состоялась премьера пьесы молодого западногерманского драматурга Франца Ксавера Крёца (см. его интервью «ИЛ» № 6, 1977 г.) «Агнес Бернауэр». В этой пьесе Крёц ставит вопрос о непримиримых противоречиях между богатством и бедностью, властью и человечностью в современном буржуазном обществе.
На снимке: сцена из спектакля «Агнес Бернауэр».

(Газета «Унзере цайт»)

ФРГ

ФЕСТИВАЛЬ В РЕКЛИНГХАУЗЕНЕ

По инициативе Объединения немецких профсоюзов в городе Реклингхаузене (Рурская область) ежегодно проводится фестиваль театрального искусства для рабочих. Его цель — «создать культурный форум для критического обсуждения жгучих общественных и социальных вопросов нашего времени». Однако фестивали предшествующих лет сплошь и рядом уходили от постановки социальных проблем, их спектакли были нередко зрелищными, и только. Как отмечает газета «Унзере цайт», фестиваль, состоявшийся в 1977 году, выгодно отличается в этом плане от предшествовавших, ему уда-

Штернхайма, «Фаустус» Эйслера, фрагмент Брехта «Хлебная лавка» (в постановке западноберлинского театра «Центрифуга»).

ИНДОНЕЗИЯ

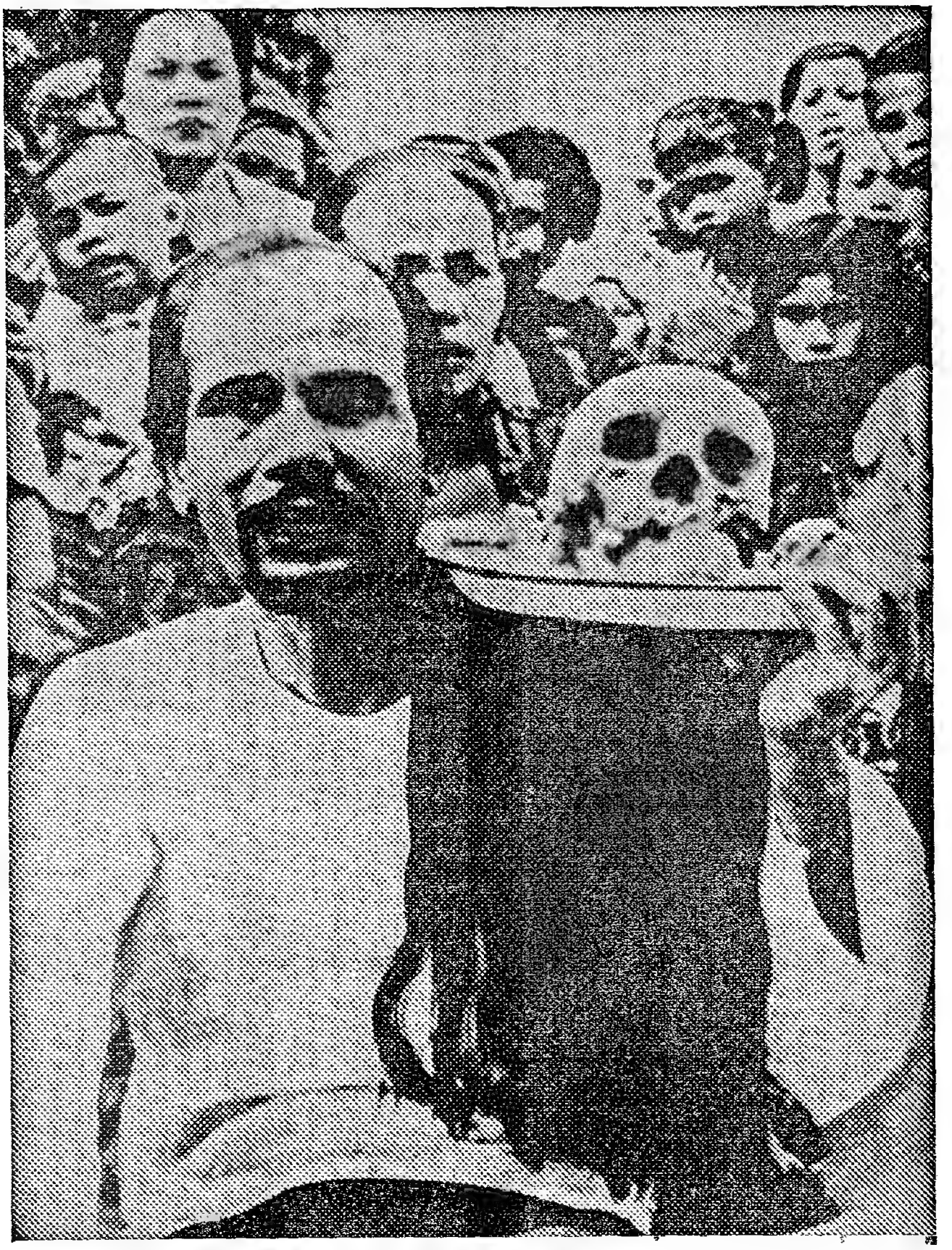
«СТЕНА ВРЕМЕНИ» СИТОРА СИТУМОРАНГА

Ведущие индонезийские газеты — «Компас», «Суара Карья» — продолжают печатать положительные рецензии на вышедшую в свет новую, пятую по счету, книгу стихов Ситора Ситуморанга «Стена времени». Впрочем, эту книгу едва ли можно считать новой в полном смысле слова. Все сорок вошедших в нее стихотворений были созданы в период между 1948—1964 годами и частично уже публиковались в периодической печати тех лет, хотя и не были включены автором ни в один из вышедших ранее сборников. Таким образом, «Стена времени» — как бы подведение итогов творчества поэта до переворота 1965 года, после которого Ситор Ситуморанг, как представитель левого крыла бывшей Национальной партии, восемь лет провел в тюрьме, а затем содержался под домашним арестом.

Рецензенты отмечают, что книга закрепляет уже сложившееся мнение о Ситоре Ситуморанге как ведущем индонезийском поэте лирико-философского плана, стихи которого требуют «соучастия» читателя и известной интеллектуальной подготовки. Значительное место в ней занимают двух-, трех- и четырехстрофные миниатюры, в которых сочетаются традиции малайского пантуна и японского классического стиха. Ряд стихотворений навеян посещением поэтом Москвы и его поездкой по Сибири и Средней Азии.

Критик газеты «Суара Карья» Эка Будианта назвал «Стену времени» «пособием по изучению поэтического языка», подчеркнув, что произведения Ситора Ситуморанга, наряду с поэзией Хайрила Анвара, В. С. Рендры и Т. С. Бахтиара, характерны для сегодняшних исканий индонезийских поэтов.

Что же касается действительно новых стихотворений Ситора Ситуморанга (некоторые из них уже публиковались в прессе), написанных после выхода поэта из тюрьмы (в тюрьме Ситору Ситуморангу, по его же словам, «писать не запрещали, но не разрешали пользоваться бумагой и карандашом»), то они пока еще ждут своего издателя.



На снимке: Ситор Ситуморанг в родной деревне во время ритуального празднества.

(Газета «Компас»)

ИТАЛИЯ

ЭДУАРДО ДЕ ФИЛИППО НА ОПЕРНОЙ СЦЕНЕ

Советским читателям и зрителям известны пьеса Эдуардо Де Филиппо «Неаполь — город миллионеров» и поставленный по ней автором одноименный фильм.

Теперь, более чем тридцать лет спустя после ее создания, эта комедия — одна из самых ярких и глубоких в богатом творчестве Де Филиппо—обрела третье рождение: на оперной сцене. На юбилейном, двадцатом, фестивале оперного и драматического искусства — «Фестивале Старого и Нового Света» — в итальянском городе Сполето состоялась премьера оперы «Неаполь — город миллионеров». Оперу одновременно услышали и увидели миллионы итальянских телезрителей — она транслировалась по телевидению.

Музыку написал выдающийся итальянский компо-

зитор Нино Рота (за границей более широкой известностью, чем его оперные и симфонические произведения, пользуется музыка к фильмам Федерико Феллини, особенно к фильму «Дорога», и мелодии из американского фильма «Крестный отец»). Автор либретто оперы — сам Де Филиппо. Он же и режиссер-постановщик — у него немалый опыт в постановках на оперной сцене: в свое время им были поставлены оперы «Нос» Шостаковича, «Севильский цирюльник» Россини, «Риголетто» Верди.

Премьера оперы привлекла широкое внимание не только музыкальной, но и театральной и литературной критики, вызвала споры в печати. Несколько интервью в связи с оперой дали Де Филиппо и Рота. Многим критикам кажется необычным (а некоторых просто шокирует) нетрадиционный, решительно демократический, глубоко народный характер оперы, в частности, широкое использование в ней неаполитанского диалекта. «В опере преобладает диалект,— говорит Де Филиппо,— но это не дань моде, ибо диалект иногда позволяет выразить очень кратко то, на что понадобилось бы куда больше слов».

Критика отмечает также, что при написании либретто оперы автор в значительной мере отошел от пьесы, изменил некоторые ситуации, внес бо́льшую определенность в характеры персонажей и отношения между ними. Особенно изменился финал: в нем усилились трагические мотивы, исчез пронизывающий пьесу дух надежды. В частности, нет знаменитой финальной реплики: «Но тьма ночи развеется», произносившейся в пьесе (и в фильме) главным героем, которого воплощал сам автор,— безработным неаполитанским трамвайщиком Дженнаро Йовине, в полной мере испытавшим ужасы войны и ее трагические последствия. В своих высказываниях для печати Де Филиппо утверждает, что нынешнее положение в Италии, когда подымают голову неофашисты, свирепствуют террор и беззаконие, да и весь опыт итальянской жизни последних лет не способствовали тому, чтобы в новом варианте «Неаполя — города миллионеров» полностью сохранились былые надежды и жизнерадостность.

Словно отвечая тем, кто упрекает Де Филиппо в пессимизме, Джорджо Амендола — один из видных деятелей ИКП — во вступительном слове, открывающем программу фестиваля в Сполето, сказал: «Сила Эдуардо, его глубокое моральное мужество в том, что он видит действительность такой, какая она есть, а не такой, какой хотелось бы, чтоб она была».

Критик газеты «Унита» Аджео Савиоли добавляет: «Конечно, эту действительность необходимо изменить. Впрочем, как художник и как гражданин, Эдуардо никогда не отступал. Но сигнал тревоги звучит для всех».

НА КРЫЛЬЯХ ЧЕХОВСКОЙ «ЧАЙКИ»

Несколько лет назад христианско - демократические заправилы итальянского телевидения на предложение Марко Беллоккио поставить телефильм ответили резким отказом. Молодой «разгневанный» режиссер, «диверсант» в кинематографе, с его грубым реализмом и гражданской страстностью, не был допущен к самому широкому и многолюдному голубому экрану. Однако теперь, после проведенных на телевидении преобразований, радиотелевизионная компания «открывает», как иронически замечает газета «Унита», режиссера Беллоккио. На голубые экраны переносится его документальный фильм «Сумасшедшие, которых нужно развязать»; ему поручают подготовку передачи (в пяти выпусках) об истории итальянского кино.

В основу телевизионного спектакля, поставленного режиссером Беллоккио, легла пьеса А. П. Чехова «Чайка». «На крыльях «Чайки» Беллоккио приземляется на ТВ» — так называлась статья о нем, помещенная в «Уните». Казалось неожиданным обращение этого современного режиссера, создателя таких напряженных политических лент, как «Кулаки в кармане», «Именем Отца», «Поместите чудовище на первой полосе», «Триумфальный марш», к произведению русской литературы конца прошлого века. Однако сам Беллоккио утверждает, что «Чайку» полюбил еще в детстве и вынашивал мечту об ее экранизации в течение трех, а может быть, и четырех лет. В главном герое пьесы, Константине Треплеве, итальян-

На снимке: Джулио Броджи, исполнитель роли Тригорина, и Памела Виллоризи, исполнительница роли Нины, с режиссером Марко Беллоккио.

(Газета «Унита»)

ский режиссер видит «молодого рассерженного человека, авангардиста тех лет, не имевшего ни успеха, ни читателей», а в Тригорине — «писателя, который добился успеха благодаря компромиссам (разумеется, не только в сфере литературного творчества)». «Но оба эти персонажа,— сказал Беллоккио в беседе с корреспондентом «Униты»,— обладают особым обаянием. Я узнаю себя в обоих и раздваиваюсь между ними».

В свое время, в юности, замечает корреспондент газеты «Паэзе сера», Беллоккио, видимо, отождествлял себя с Треплевым (это подтвердил и сам режиссер перед премьерой фильма), а теперь, на 38-м году жизни, чувствует, как над ним нависает тень Тригорина.

Во время работы над фильмом режиссера неоднократно спрашивали, кто выйдет победителем: Беллоккио или Чехов. Этот вопрос вызывал у него лишь раздражение. «Текст пьесы в переводе А.-М. Рипеллино остается неприкосновенным»,— заявил он корреспонденту «Паэзе сера». Однако когда фильм вышел на экраны, чисто «беллоккиевское» начало в нем стало очевидным, да и сам режиссер, предваряя мнения критиков, сообщил, что вернулся здесь к теме и стилистике, к бунтарскому духу своего раннего фильма «Кулаки в кармане».

Отходом от Чехова газета «Унита» считает отождествление создателя фильма с двумя персонажами: Треплевым и Тригориным. Критика и зрители отмечают и некоторую дерусификацию обстановки и воспроизведение итальянской атмосферы (возможно, венецианской) в «Чайке» Беллоккио: съемки велись в живописной местности недалеко от города Тревизо.

В фильме играют известные актеры — Лаура Бетти (Аркадина) и Джулио Броджи (Тригорин). В роли Треплева выступил Ремо Джироне, ранее работавший у Луки Ронкони, в роли Нины Заречной — молодая актриса Памела Виллоризи.

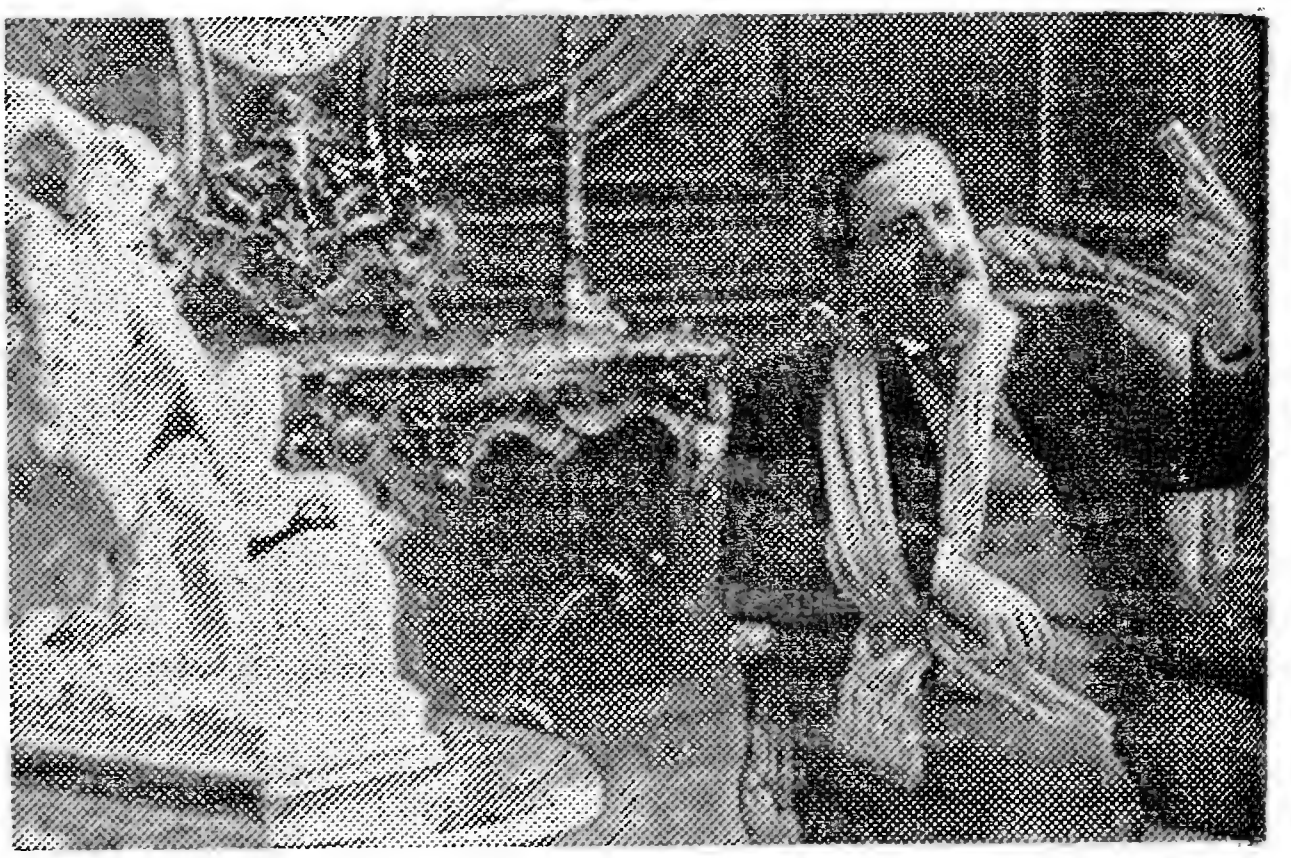
«Чайка» создана как для телевидения, так и для большого экрана.

КУБА

«ПРЕВРАТНОСТИ МЕТОДА» В КИНО

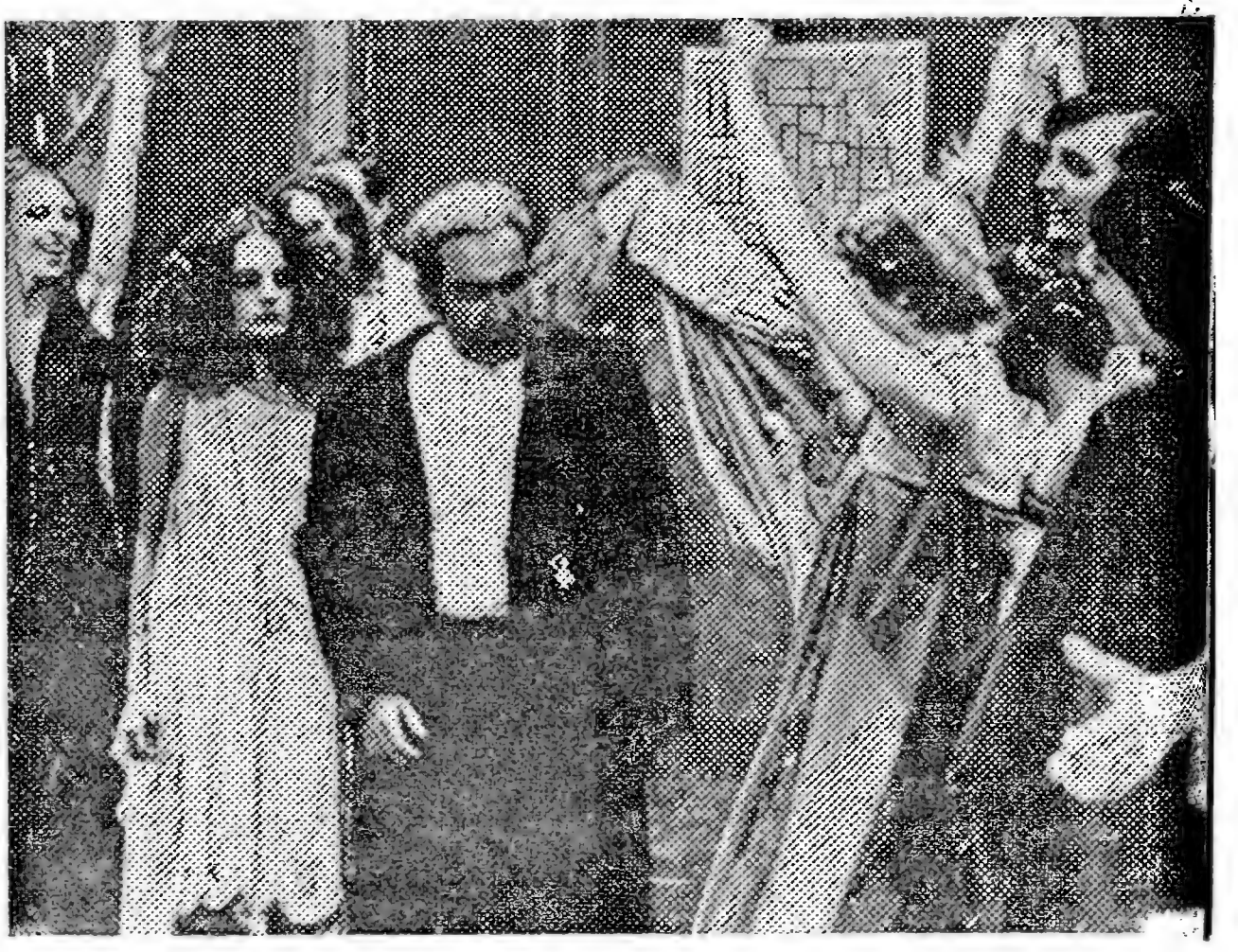
Герои романа Алехо Карпентьера «Превратности метода», опубликованного в журнале «Иностранная литература» (см. № 9, 10, 1977 г.), скоро появятся на экране.

Фильм по этому роману снимает видный чилийский режиссер Мигель Литтин, основавший в Чили при правительстве Народного единства Институт чилийского кино. Сценарий написан Литтином в содружестве с мексиканским писателем Хайме Аугусто Шелли. Производство фильма совместное: кубинского Института кинематографии, мексиканских и французских киноорганизаций, а также телевидения Франции. В роли Главы Нации снимается чилийский актер Нельсон Вильягра, роль Доктора Перальты поручена мексиканскому актеру Сальвадору Санчесу, Генерала Гофмана — кубин-



На снимках: кадры из фильма «Превратности метода». В роли Главы Нации — Нельсон Вильягра.

(«Пренса Латина»)



цу Рейнальдо Миравальесу. Мексиканский артист Габриэль Рейес выступает в роли Студента. Роль Офелии исполняет венесуэльская актриса Мария Аделина Вера, роль Мажордомши Эльмиры — мексиканская актриса Кэти Хурадо, Именитого Академика — французский актер Ален Кунг, Чоло Мендосы — мексиканец Эрнесто Гомес Крус. На съемках присутствует автор романа Алехо Карпентьер.

Подбор съемочной группы не случаен — в нем также отражена общая концепция романа и фильма. Мигель Литтин в интервью для агентства «Пренса Латина» подчеркнул, что «в романе Карпентьера надо видеть концентрированное изображение событий, происшедших в разное время и в разных местах, но являющихся следствием одной и той же реальности. Тема диктатуры, ее свержения всегда актуальна и для стран Латинской Америки, и для Европы. Поэтому в общей работе чилийских актеров и актеров из Мексики, приютившей чилийцев, с французами и венесуэльцами при постановке фильма по роману кубинского автора как бы продолжается главная тема — необходимость общей борьбы с многоликим, но единым в своей сути злом: антинародной диктатурой.

В фильме будет показан подъем народного движения, возглавляемого Студентом. Народное восстание свергает реакционную диктатуру.

Фильм снимается в Мексике, на Кубе, во Франции. В Париже съемки идут в доме известного французского инженера Гюстава Эйфеля, создателя знаменитой Эйфелевой башни. Этот дом, правда, не на рю де Тильзит, как в романе, а на Плас Иена, предстает в виде резиденции и последнего убежища свергнутого диктатора.

ПОСМЕРТНЫЕ ИЗДАНИЯ МАРИНЕЛЬО

В конце прошлого года гаванское издательство «Арте и литература» выпустило две книги крупнейшего кубинского критика и литературоведа Хуана Маринельо, который скончался весной 1977 года. Первая книга — сборник статей и очерков — включает двадцать шесть работ Маринельо последних лет. Они, по словам составителя сборника И. Альвареса, «дают исчерпывающую картину состояния кубинской и латиноамериканской литературы на сегодняшний день».

При жизни Хуана Маринельо мало кто знал, что он был также и поэтом. Вторая книга, выпущенная издательством,— полное собрание стихов Маринельо. Это издание приурочено к пятидесятилетию со дня выхода первого (и бывшего до сих пор единственным) сборника «Освобождение», опубликованного Маринельо в 1927 году. Очень гребовательный к себе, Маринельо в последнее время отказывался печатать свои стихи. В посмертный сборник вошли первые поэтические опыты Маринельо, цикл «Освобождение» и стихи 60—70-х годов. По словам журнала «Каса де лас Американас», этот сборник получил высокую оценку в кубинской и латиноамериканской прессе.

МАРОККО

ДВЕ КНИГИ БЕН ЖЕЛЛУНА

Недавно в Париже вышли две книги известного марокканского поэта и писателя Тахара Бен Желлуна: сборник стихотворений и эссе «Миндальные деревья умирают от ран» и роман «Одиночное заключение».

Первая книга, пишет обозреватель тунисского журнала «ИБЛА», содержит материалы, ранее опубликованные автором в марокканской и французской прессе или вышедшие отдельными изданиями. Стихи в ней соседствуют с притчами, а пламенные политические выступления — с лирическими описаниями обыденной жизни. В своей второй книге — романе «Одиночное заключение» — автор рисует жизнь североафриканского эмигранта во Франции. Манера повествования, избранная автором в этом произведении, по словам обозревателя, весьма оригинальна. Мазок за мазком он создает некую общую картину, которая передает психологию героя намного лучше, чем это могло бы сделать обычное «линейное» повествование.

НИДЕРЛАНДЫ

АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ Й. ЧАРЛЬЗА

«Что помогает воспитать еретика» — под этим необычным заголовком вышел в Амстердаме, в издательстве Де Безиге Бей, сборник рассказов Й. Чарльза (псевдоним В. Нагеля, профессора криминалистики). В предисловии к сборнику автор, известный своими непримиримыми взглядами на фашизм и неофашизм, говорит о том, что стремится «не загонять историю в уголок забвения», а, наоборот, освежить память современников красноречивыми, жизненно убедительными фактами. Война, утверждает писатель, далеко не кончилась разгромом коричневого рейха, и современный мир «расистов, захватчиков и экспроприаторов» служит тому доказательством. С негодованием следит Чарльз за зловещими признаками роста неофашизма. Прослеживая его истоки, Чарльз пишет: «...бисмаркизм, гитлеризм, штраусинизм — все они для меня равны, как единая цепь реакционной политики правящих классов».

К высказываниям автора, замечает рецензент книги «Что помогает воспитать еретика» Марсель Янссенс на страницах журнала «Дитше Варанде эн Белфорт», следует добавить мысль о том, что понятие «война» надо толковать более широко, ибо все современные формы империализма и неофашизма, характеризующиеся насилием и угнетением, являются очагами новых войн.

Сборник рассказов Й. Чарльза, по мнению Янссенса,—достойное продолжение того пути, который писатель проложил своими прежними книгами: «Назад по следу» и «Что предшествует маленькой «холодной» войне».

На снимке: кадр из фильма «Убийство президента». В роли Габриеля Нарутовича Здислав Мрожевский.

(Журнал «Фильм»)

ПОЛЬША

ПИСАТЕЛЬ-КОММУНИСТ

В польской прессе широко была отмечена 15-я годовщина со дня смерти выдающегося писателя Леона Кручковского. Так, в статье «Писатель-коммунист» газета «Трибуна люду» писала: «Леон Кручковский — полная противоположность писателям, замыкающимся в четырех стенах. Общеизвестна его огромная политическая активность, он являл собой образец писателя-коммуниста, который очень широко понимал свои общественные обязанности».

Литературную деятельность Кручковский начал как поэт, позже создал свои знаменитые романы «Кордиан и хам», «Павлиньи перья» (издательство «Чительник» в нынешнем году переиздало эти романы) и «Тенета». Всем его произведениям присущи полемическая острота, непримиримость с буржуазной идеологией.

Во время второй мировой войны, будучи узником гитлеровского лагеря смерти, Кручковский организовал «Театр символов», который не только помогал заключенным сохранить волю к борьбе, но и способствовал формированию самого автора как драматурга. Широко известны его пьесы: «Первый день свободы», «Немцы» (в русском переводе «История одной семьи»), «Смерть губернатора», «Юлиус и Этель». На основе пьесы «Первый день свободы» был снят одноименный фильм, демонстрировавшийся в Советском Союзе.

После войны Леон Кручковский возглавлял Союз польских писателей, занимался большой государственной и общественной деятельностью.

НОВЫЙ ФИЛЬМ ЕЖИ КАВАЛЕРОВИЧА

После семилетнего перерыва выдающийся польский кинорежиссер Ежи Кавалерович, автор таких известных фильмов, как «Поезд», «Мать Иоанна от ангелов», «Фараон», закончил съемки фильма «Смерть президента».

Новая работа режиссера, носящая характер исторической хроники, охватывает время недолгого правления президента Нарутовича, от его избрания в сейм до того дня в 1922 году, когда он был убит.

В опубликованном посмертно сборнике рассказов «Эскизы из ада честных» писатель переосмысливает опыт пятидесятых годов с позиции защиты идейных ценностей социализма.

Жизненную позицию Леона Кручковского лучше всего отражают слова, произносимые одним из героев в спектакле «Смерть Губернатора»: «История — это общественная борьба, борьба за все более справедливый мир, который является единственным условием существования справедливого человека».

Личность Нарутовича — человека, пришедшего «извне», после сорокалетнего пребывания в Швейцарии, интеллигента, «добросовестного инженера», как его называли,— по словам рецензента журнала «Фильм», явилась катализатором, выявившим крайние политические противоречия, которые существовали в правящих кругах буржуазной Польши. Нового либерально настроенного президента не приняли фанатически настроенные польские националисты, сторонники крайних мер, что и явилось результатом его гибели.

Сценарий фильма написан Ежи Кавалеровичем и Болеславом Михалеком. Оператор — выдающийся мастер польского кино Витольд Соботинский.

СУДАН

«КОНИ, НОЧЬ И ПУСТЫНЯ ЗНАЮТ МЕНЯ»

Уроженец иракского города Куфы Абу-т-Тайиб Ахмад Ибн аль-Хусейн аль-Мутанабби (915—965) был крупнейшим арабским поэтом средневековья.

О нем написано немало исследований в арабских странах и за их пределами. Как сообщает газета «Аль-Иттихад», последняя книга о знаменитом поэте вышла недавно в Судане в издательстве Хартумского университета. Ее автор — видный суданский ученый, литературовед, доктор Абдаллах ат-Тайиб.

Аль-Мутанабби (в переводе — выдающий себя за пророка) провел бурную, полную превратностей жизнь. В юности, спасаясь от врагов, он покинул родной город и несколько лет скитался с бедуинами по Сирийской пустыне. Затем находился на службе у феодальных правителей Сирии, Египта и Ирана, в качестве придворного поэта-панегириста.

В звонких звонких, чеканных стихах «Кони, ночь и пустыня знают меня», как и во многих других, аль-Мутанабби воспевал «витязей пустыни»—бедуинов, которые были для него воплощением истинных человеческих добродетелей, и призывал арабов объединиться в борьбе против персов и других чужеземцев. Однако его мечтам не суждено было сбыться при его жизни, а сам он часто бывал вынужден воспевать недостойных правителей-чужеземцев, у которых находился на службе.

Несмотря на противоречивый характер личности и творчества аль-Мутанабби, арабы во все времена высоко ценили его поэтическое мастерство. Многие строки поэта стали афоризмами и пословицами.

США

С ПЕСНЕЙ В БОРЬБЕ

Имя Пита Сигера известно далеко за пределами Соединенных Штатов. Один из наиболее выдающихся представителей искусства американского «фольксонга» — народной песни,— Сигер завоевал всемирную известность как сочинитель и исполнитель лирических баллад, негритянских спиричуэлз и — прежде всего — песен протеста. Газета «Дейли уорлд» сообщает, что в конце прошлого года издательство «Саймон энд Шустер» выпустило книгу «Песня, которая не кончается». Ее автор — Пит Сигер. Он рассказывает о своей жизни, о своем искусстве, о том, что значит песня в жизни людей.

Книга (в ней более пятисот страниц) состоит из четырех частей. Первая называется «Старые песни и новые люди». Сигер пишет, как и почему в 60-е годы в Америке резко возрос интерес к жанру «фольксонга». С чувством глубокого уважения и признательности, отмечает «Дейли уорлд», Сигер пишет о первом профессиональном исполнителе народных песен Вуди Гатри, благодаря которому «фольксонг» завоевал популярность в США.

Вторая часть книги, «Народное искусство и атомный век», включает статьи Сигера, написанные им в 50—60-х годах. В них, пишет «Дейли уорлд», «Сигер утверждает, что «фольксонг» не просто развлечение — это искусство немыслимо без тесных связей с современностью, с ее общественно-политическими проблемами. В «фольксоиге», по убеждению Сигера, всегда находит отражение то, что беспокоит человека в его повседневной жизни.

Третья часть, «Пишите музыку сами», содержит практические советы начинающим музыкантам — «фольксингерам». В последней части книги, «Мир, в котором живет музыка», Сигер пишет о том, какую популярность завоевало народное песенное искусство Америки во всем мире. Он пишет о своих многочисленных путешествиях-конецртах по многим странам. Газета отмечает, что одним из самых интересных своих путешествий Сигер называет поездку в Советский Союз.

Книга знакомит читателей также с песнями Сигера, которые, по мнению газеты, удачно «иллюстрируют» текст.

«В своих песнях Сигер выражает уверенность в том, что для совместной борьбы за справедливость люди должны объединиться,— пишет в заключение «Дейли уорлд».— По мысли Сигера, песня необходима людям: она помогает формированию чувства товарищества, которое дает силы для этой борьбы».

УРУГВАЙ

РЕАКЦИОННАЯ ВОЕНЩИНА И ТЕАТР «ЭЛЬ ГАЛЬПОН»

Видный уругвайский режиссер и деятель культуры Рубен Яньес (род. в 1929 г.), автор книг «Современный театр» (1968), «Предложения в области образования на 70-е годы» (1970), «Фашизм и народ» (1972), рассказал в интервью гаванскому журналу «Конхунто» о преследованиях уругвайской военщиной актеров и режиссеров известного театра «Эль Гальпон» в Монтевидео. Этот театр, где сконцентрировались лучшие творческие силы Уругвая, не хотел подчиняться полицейскому диктату и превратился в своего рода культурный штаб оппозиционно настроенной интеллигенции страны. В январе 1976 г. руководство театра и его ведущие актеры были арестованы. Их взяли в тюрьму сразу же после премьеры спектакля «Юлий Цезарь», поставленного Р. Яньесом по одноименной трагедии Шекспира. Постановка пьесы была объявлена «подрывной», а сам театр назван «коммунистическим логовом». Более трех месяцев провели работники и актеры «Эль Гальпона» в тюрьме, где неодиократно подвергались пыткам. Под давлением широкого общественного мнения военный суд вынужден был выпустить их на свободу. Как признавался сам министр обороны Уругвая, письменный стол в его кабинете буквально ломился от писем, петиций и телеграмм со всех концов света с требованием освободить актеров и руководство театра «Эль Гальпон».

В то время как их товарищи находились в тюрьме, актеры театра «Эль Гальпон», оставшиеся на свободе, сумели поставить но-

вый спектакль — пьесу Л. Пиранделло «Колпак с бубенчиками». Спектакль этот превратился в яркую манифестацию солидарности с осужденными, явился смелым актом гражданского неповиновения. 7 мая 1976 г. реакционное правительство Уругвая запретило деятельность театра «Эль Гальпон», а все его имущество, включая дорогостоящее современное оборудование, обширный реквизит и сценические площадки, построенные на средства прогрессивной общественности, были переданы в ведение Национального университета с целью создать университетский театр, руководство которого настроено профашистски. Однако ни один из актеров и режиссеров не согласился сотрудничать в этом театре. Идея «театра по указке» провалилась.

Ведущим актерам и руководству театра «Эль Гальпон» удалось выехать в Мексику, правительство которой предоставило им политическое убежище. В мексиканской столице театр возобновил свою деятельность. Театр «Эль Гальпон» живет и продолжает бороться.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ КИНОЭПОПЕЯ

Тридцать вторую годовщину освобождения Чехословакии от гитлеровских захватчиков чешская кинематография встретила выпуском нового фильма «Освобождение Праги», созданного народным артистом Отакаром Ваврой и заслуженным писателем Милославом Фаберой.

Фильм завершает эпическую кинотрилогию, начатую двумя лентами «Дни предательства» и «Соколово». Трилогия в документально-художественной форме воспроизводит важнейший переломный этап в истории Чехословакии — от предательского Мюнхенского сговора в 1938 году до славных майских дней 1945 года, дней восстания пражан и освобождения страны Советской Армией.

Создание этой монументальной кинофрески с многотысячным числом участников не только из ЧССР, но и из Советского Союза и Германской Демократической Республики — результат плодотворного сотрудничества деятелей культуры братских стран.

По принципу построения фильм «Освобождение Праги», как и вся трилогия, очень близок к советской киноэпопее «Освобождение». Мастерское совмещение в нем документальных и игровых кадров дополняет познавательное значение фильма глубоким эмоциональным воздействием на зрителя.

Высоко оценивая историческую и художественную ценность фильма, газета «Руде право» пишет о нем как о «величественном памятнике всем тем, кто сражался и отдал свою жизнь за свободу чехословацкого народа».

Газета подчеркивает огромное значение фильма для молодежи, которая получила возможность не просто узнать, но и понять и прочувствовать один из самых трагических и самых героических отрезков истории своей страны.

«За фильм «Освобождение Праги» режиссер Отакар Вавра и писатель Милослав Фабера удостоены Государственной премии Клемента Готвальда 1977 года.

На снимке: кадр из фильма «Освобождение Праги».

(Газета «Руде право»)

Авторы этого номера

ГИЛЬЕРМО АТИАС — GUILLERMO ATIAS (род. в 1915 г.).

Чилийский писатель. Автор сборника рассказов «Банальное время» («El tiempo banal»), отмеченного первой премией на конкурсе «Общества писателей Чили» в 1954 г., романа «В тени дней» («A la sombra de los dias», 1965) многих других произведений. «Иностранная литература» познакомила читателей с творчеством Г Атиаса, напечатав его повесть «...и потекли деньги» (№ 7, 1973).

Публикуемая в этом номере повесть «Против течения» («La contracorriente») получена от автора в рукописи. После военно-фашистского переворота в Чили писатель живет в эмиграции.

ПАВЛОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ (род. в 1924 г.).

Советский переводчик латиноамериканской прозы и поэзии. В его переводах опубликованы романы Мануэля Кофиньо Лопеса (Куба), Хоакина Гутьерреса (Коста-Рика) рассказы Хулио Рамона Рибейро и Хосе Диаса Кансеко (Перу), стихи Пабло Неруды (Чили), Ариэля Бадано (Уругвай) и другие произведения.

ГАБОР ГАРАИ — GARAI GÁBOR (род. в 1929 г.).

Венгерский поэт, генеральный секретарь Союза венгерских писателей, лауреат премии имени Кошута и литературной премии имени Аттилы Йожефа. Автор многих книг стихов. В последние годы вышли его поэтические сборники «Превращения Орфея» («Orpheus átváltozásai», 1970), «Лето в марте» («Márciusi nyár», 1971), «Солнце в окне» («Ablakban a nap», 1972), «Времена страсти» («A szenvedély évszakai», 1973), «Сезон элегий» («Elégiák évada», 1975).

На русском языке издан сборник его стихов «В моем сне звезды»; стихи Г. Гараи печатались также в антологиях и в периодических изданиях, в том числе в «Иностранной литературе».

Г. Гараи известен и как переводчик поэзии В его переводах в Венгрии выходили стихи И. Гёте, Р Рильке Б. Брехта, В. Незвала, Л. Мартынова, Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. Рождественского и др.

Публикуемая в номере подборка включает стихи поэта из его книги «Отсвет» («Visszfény». Budapest, Szépirodalmi Könyvkiado, 1976).

КОРЧАГИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1927 г.).

Советский поэт-переводчик с языков народов СССР. Переводил также стихи поэтов Болгарии (Е. Багряна, Д. Габе, П. Караангов) Венгрии (А Йожеф, Л. Беньямин, М. Вади). Польши (Я. Ивашкевич). Румынии (М. Эминеску, Т. Аргези М. Бенюк), Чехословакии (Ф. Галас Й. Кайнар, О. Микулашек, фольклор), Югославии (Ф. Прешерн, Д. Максимович, М. Алечкович, сербский эпос) и др.

ПАВЕЛ ВЕЖИНОВ (род. в 1914 г.).

Болгарский писатель, Герой Социалистического Труда, народный деятель культуры, лауреат Димитровской премии. Автор романов, повестей сборников рассказов, переведенных во многих странах мира. По его сценариям поставлено более двадцати полнометражных картин и телевизионных фильмов.

Творчество П. Вежинова — одного из популярных болгарских писателей — хорошо знакомо советским читателям. На русский язык переведены наиболее известные его произведения: «Военные повести», повести «В долине», «Вдали от берегов», «Вторая рота», «Следы остаются», сборник рассказов «Раннее, раннее утро», «Избранное», которое включает в себя роман «Звезды над нами», повесть «Синие бабочки» и рассказы.

Мы предлагаем вниманию читателя новую повесть П. Вежинова «Барьер» («Бариерата», София, Български писател, 1977).

ТАРАСОВА МАЯ ВИКТОРОВНА

Советский переводчик с болгарского. Переводила произведения П. Вежинова, Г. Мишева, И. Острикова, Н. Хайтова, Д. Фучеджиева, А. Далчева и др.

ЛЕФТЕРИС ПУЛИОС (род. в 1944 г.).

Греческий поэт, автор сборников стихов «Поэзия» (1969) и «Поэзия 2» (1973). Стихотворения Л. Пулиоса публиковались в ряде антологий молодых греческих поэтов и в ежегодных альманахах поэзии. Стихотворение «Мастерская» взято из альманаха «Поэзия 75», остальные — из сборника «Поэзия 2».

ЯННИС КОНДОС (род. в 1943 г.).

Греческий поэт, сотрудник афинского издательства «Кедрос». Автор сборников стихов «Периметр» (1970), «Хронометр» (1972) и «Непредвиденные» (1975). Публикуемые стихи взяты из последнего сборника.

НАСОС ВАГЕНАС (род. в 1945 г.).

Греческий поэт. Автор поэтических сборников «Марсово поле» (1974) и эссе «Цех» (1976). Стихотворения «Апология», «Мука», «Спектакль» и «Слепой» были напечатаны в сборнике «Марсово поле», стихотворение «Кто-то другой» — в альманахе «Поэзия 75», стихотворение «Родина» взято из журнала «Иридапос» (1976).

Авторские права принадлежат поэтам.

ДЗЕНИ МАСТОРАКИ (род. в 1949 г.).

Греческая поэтесса, филолог, переводчица английской поэзии. Автор сборника стихов «Дорожная пошлина» (1972), из которого взяты предлагаемые стихи.

(Подробнее об этих поэтах и их творчестве—во вступительной статье С. Ильинской.)

СЬЮЗЕН ХИЛЛ — SUSAN HILL (род. в 1942 г.).

Английская писательница, автор романов, рассказов, пьес. Начала писать в возрасте 16 лет. Ее первые романы остались незамеченными английской критикой; признание пришло к писательнице в конце 60-х годов, когда появились ее романы «Господа и дамы» («Gentlemen and Ladies», 1968), «Перемена к лучшему» («A Change for a Better», 1969), «Я в замке король» («I'm the King of the Gastle», 1970).

В последующие годы выходят ее романы «Странная встреча» («Strange Meeting», 1971), «Ночная птица» («The Bird of Night», 1972), «В весеннюю пору года» («In the Springtime of the Year», 1974), сборники рассказов «Альбатрос» и другие рассказы» («The Albatrosse» and Other Stories», 1971), «Немного песен и танцев» («A Bit of Singing and Dancing», 1973).

С. Хилл неоднократно присуждались крупные литературные премии Англии: Ллевеллина Райса, Уайтбред, премии Совета искусств.

«Иностранная литература» познакомила читателей с ее творчеством, опубликовав подборку рассказов (№ 1, 1976). В этом номере мы предлагаем вниманию читателя роман «Я в замке король», за который ей была присуждена премия имени Сомерсета Моэма.

Е. СУРИЦ (ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА БОГАТЫРЕВА).

Советская переводчица с английского и скандинавских языков. Переводила произведения Р. Киплинга, О'Генри, Кнута Гамсуна, Йенса Петера Якобсона, Ингмара Бергмана, Петера Себерга и др.

МОТЫЛЕВА ТАМАРА ЛАЗАРЕВНА.

Советский литературовед, доктор филологических наук, профессор. Автор книг о мировом значении Л. Н. Толстого» (19[illegible]), «Творчество Ромена Роллана» (1959), «Иностранная литература и современность» (1961), «Зарубежный роман сегодня» (19[illegible]), «Роман Анны Зегерс «Седьмой крест» (19[illegible]), «Достояние современного реализма» (19[illegible]), «Первый антифашистский роман» (19[illegible]), «Роман Иоганнеса Бехера «Прощание» (1976) и др.

ЯН КОЗАК — JAN KOZÁK

(род. в 1921 г.).

Чешский писатель, председатель чехословацкого Комитета Союзов писателей. Автор романов, повестей, рассказов.

На русский язык переведены его повесть «Марьяна Радвакова», роман «Святой Михал» («Иностранная литература» № 7—8, 1973). В периодической печати публиковались рассказы, статьи и очерки.

В последние годы писатель выпустил новую книгу под названием «Белый жеребенок» («Bílý hřebec», 1975), которая включает в себя три повести и роман «Гнездо аиста» («Čapí hnízdo», 1976). За этот роман писателю присуждена Государственная премия.

Статья «Об интернационализме и патриотизме в литературе Чехословакии» получена редакцией в рукописи.

СТЕЖЕНСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

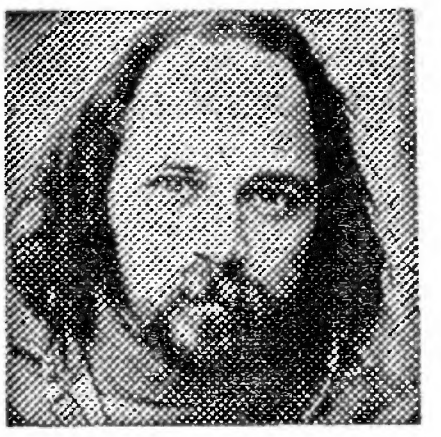
(род. в 1921 г.).

Советский литературовед, переводчик с немецкого. Автор ряда работ по литературам ГДР и ФРГ; переводил произведения А. Зегерс, Б. Узе, В. Кёппена, М. фон дер Грюна, З. Ленца, П. Шаллюка и др.

ЛИЛИЯ СТОЯНОВА ТОДОРОВА.

Болгарский социолог. Окончила философский факультет Софийского университета в 1963 г. Защитила кандидатскую диссертацию в Академии общественных наук при ЦК КПСС по проблеме социологии культуры. Ученый секретарь Института международных отношений им. Ивана Башева (София). Автор статей по вопросам философии и современной культуры.

Статья «Мифы о конвергенции и культурный обмен» — глава из подготовленной к печати монографии, посвященной исследованию проблем буржуазных концепций в области международного культурного сотрудничества.

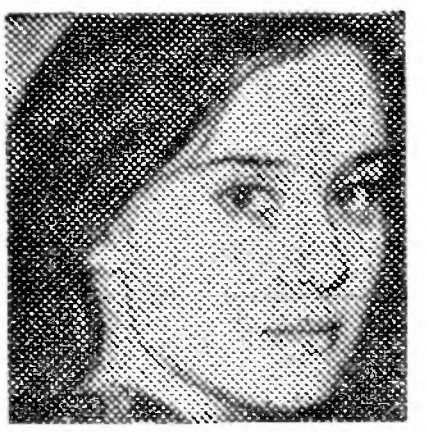


РОН КОВИК — RON KOVIC

(род. в 1946 г.).

Бывший американский солдат, служивший в морской пехоте США, затем воевавший во Вьетнаме, где получил тяжелое ранение и на всю жизнь остался инвалидом.

Мы публикуем в журнальном варианте его автобиографическую книгу «Рожденный четвертого июля» («Born on the Fourth of July». New York, McGraw-Hill Book Company, 1976).



ТОЛКУНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА.

Молодая советская переводчица с английского. В «Иностранной литературе» (№ 1, 1976) публиковался ее перевод отрывков из книги Стадса Теркела «Работа».

КОНДРАШОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

(род. в 1928 г.).

Советский журналист, лауреат премии им. Воровского, политический обозреватель газеты «Известия». Автор книг «Жизнь и смерть Мартина Лютера Кинга» (1969), «Американцы в Америке» (1970), «Свидание с Калифорнией» (1975) и др.

АВРАМ ДЭВИДСОН — ABRAM DAVIDSON.

Современный американский писатель. Автор приключенческих и детективных романов и рассказов.

Рассказ «Булыжники Саратога-стрит», который мы печатаем с небольшими сокращениями, взят из ежегодного сборника детективных рассказов «Двадцатилетний юбилей Эллери Куина» (Ellery Queen's 20th Anniversary Annual. New York, Popular Library, 1965).

РИФАТ ИЛГАЗ — RIFAT ILGAZ (род. в 1911 г.).

Турецкий писатель поэт и журналист. Начал печататься в 1927 г. под псевдонимом Мехмет Рифат. Автор нескольких поэтических сборников (Подборка стихов поэта напечатана в «Иностранной литературе» № 3 1969.)

Перу Рифата Илгаза принадлежит также роман «Класс — дай боже» («Hababam Sinifi», 1959) и двенадцать сборников юмористических рассказов.

Предлагаемые вниманию читателя рассказы взяты из сборников «Златосеятель» («Altın Ekicisi», 1972), «Небылицы» («Palavra», 1972), «Кот мастера Шевкета» («Şevket ustanın Kedisi» 1965) и «Соседский петух» («Garibin horozu», 1969).

ПЬЕР ГАМАРРА — PIERRE GAMARRA (род. в 1919 г.).

Французский писатель. Автор многих романов, сборников рассказов, репортажей, очерков.

На русский язык переведены его романы «Дети нищеты», «Розали Брусс», «Школьный учитель», повесть «Пиренейская рапсодия» («ИЛ» № 7, 1964), несколько сборников рассказов.

Статья «Век новеллы» получена от автора в рукописи.

КАРЛО БЕНЕДЕТТИ — CARLO BENEDETTI (род. в 1940 г.).

Итальянский журналист. корреспондент газеты «Унита» в Советском Союзе.

Статья «Послание» режиссера» (о книге Дж. Стрелера) получена редакцией в рукописи.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 3/XI-1977 г. А 10771 Подписано в печать 8/XII-1977 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л. = 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,80.

Тираж 604.000 экз. (1-й завод: 1—450 000 экз.) Зак. 3607.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Л. С. ЛАУРИ (Англия). Шарманщик

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394